



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000



К правдѣ.

STANFORD LIBRARIES

„Къ Правдѣ“.



ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ.

Съ участіемъ гг.: Блюсова И., Вентцеля К., Ви-
талины Р., Гославскаго Е., Дживелеговъ А., Ела-
тѣвскаго С., Залѣтнаго Н., Каменецкой Е., Ко-
вальскаго К., Коженикова П., Мандельштама М.,
Р—ва В., Скитальца, Стражева В., Тухомицкаго В.,
Тимковскаго Н., Телешова Н.

МОСКВА.

Издание магазина „Книжное Дѣло“.

1904.

ТК

PG3227

K2

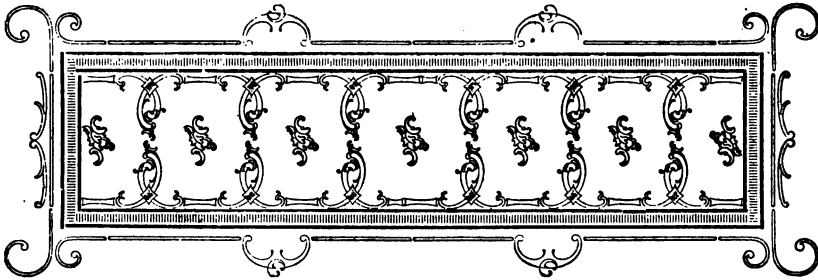
Дозволено цензурою. Москва, 31 марта 1903 г.



Типо литография Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К^о. Пименовская ул., соб. д.
Москва.—1903.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
I. Стихотвореніе И. Бѣлоусова	1
II. Въ лѣсу (лирическій отрывокъ). Н. Залѣтнаго	2
III. Къ вопросу о нравственномъ самовоспитаніи. К. Н. Вентцеля	7
IV. Кн. Георгій Александровичъ Дадіани (по личнымъ воспоминаніямъ). В. Р—ва	34
V. Соборный колоколь (повѣствованіе). Н. А. Новальскаго	49
VI. Этические идеалы Нитцше. М. Мандельштама	82
VII. Все въ себѣ (разсказъ). Е. Гославскаго	108
VIII. Соціальная наука и соціальная философія. А. Дживелегова	160
IX. Пѣсни скитальца. Скитальца	185
X. Антонъ Чеховъ и Максимъ Горькій. В. Стражева	186
XI. Собираетель (разсказъ). П. Кожевникова	207
XII. Другу (стихотвореніе). Р. А. Виталина	220
XIII. Пзъ записной книжки (картинка.) С. Елпатьевскаго	221
XIV. Прототипы Базарова. (По поводу 40-лѣтія „Отцовъ и Дѣтей“ Тургенева и 20-лѣтія смерти его). В. Тухоміцкаго	227
XV. Порывъ (стихотвореніе). Р. А. Виталина	285
XVI. Эстетика и нравственность. Н. Тимковскаго	286
XVII. Сильная (разсказъ). Стефана Жеромскаго . Перев. съ польскаго Е. Каменецкой	301
XVIII. Стихотвореніе И. Бѣлоусова	326
XIX. Призраки. Н. Телешова	327
XX. Съ послѣднимъ поѣздомъ. Ганса Оствальда . Пер. съ нѣмецкаго	335

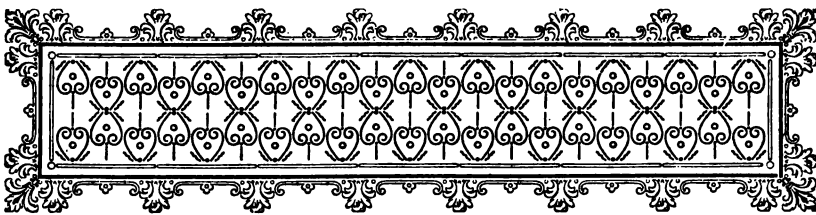


* * *

Не всѣ еще пѣсни пропѣты,
Не вся еще жизнь прожита!
Кое-гдѣ только видны просвѣты,—
Кругомъ же царить темнота.
Трудна и пустынна дорога;
Пусть знаютъ, кто ею идутъ,
Что мукъ неизвѣданныхъ много
И тернии пышно растутъ...
Лишь вѣра бѣ въ душѣ не слабѣла,—
Все вынесетъ слабая плоть,
И сколько бы ни было дѣла,—
Все въ силахъ она побороть!..
Пусть каждый нашъ лозунгъ запомнить
И будетъ на подвигъ готовъ:
Когда-нибудь, кто-нибудь вспомнить
За истину смѣлыхъ борцовъ!..

Ив. Бѣлоусовъ.





Въ лѣсу.

(ЛИРИЧЕСКІЙ ОТРЫВОКЪ.)

Въ чащѣ густого темно-зеленаго лѣса, среди прохладнаго сумрака древнихъ, сѣдымъ мохомъ покрытыхъ елей и почернѣвшихъ березъ росла сосенка. Стройная, тонкая, съ нѣжной розоватой корой, на диво высокая, цѣлой головой выше сосѣдей своихъ и родичей, она всею силой быстро несущихся, безпкойныхъ, молодыхъ соковъ своихъ стремилась къ небу... Къ тому небу, что огромнымъ изъ голубого бархата шатромъ, съ кистями изъ сѣровато-бѣлыхъ облаковъ, раскидывалось надъ лѣсомъ днемъ и манило мірадами призывныхъ, загадочныхъ огней по ночамъ...

Ели, березы и сосны—ровесницы и тѣ, которыя годились ей въ бабушки—часто роптали на нее глухимъ, гнѣвнымъ ропотомъ, укоряя сосенку шипящимъ шелестомъ въ томъ, что она хочетъ стать выше и лучше другихъ, что убѣгаетъ она отъ равныхъ себѣ и не стремится быть важной и солидной, въ три обхвата сосной. И неизмѣнно получали тѣ сосны, березы и ели задумчивый отвѣтъ:

— Не въ силахъ быть съ вами! Тамъ, въ низинахъ, душно и темно живетъ молодымъ побѣгамъ и въ отчаяніи глушатъ они сами себя... Тамъ, въ низинахъ, гогочутъ безобразныя, самодовольныя квакуши, муравей идетъ войной на муравья и хищный человѣкъ поражаетъ на смерть беззащитнаго русака... Не хочу быть съ вами!

— Ты гордячка!—шипѣлъ негодующій хоръ. — Ты неразумная гордячка! И ты поплатишься за это... А пока пусть червь заползетъ къ тебѣ въ сердцевину и—жадный—выѣстъ ее всю, всю, всю... И пусть земля откажетъ тебѣ въ живительныхъ сокахъ... Да будетъ такъ!

И змѣиный шопоть переходилъ въ гулъ, и гулъ этотъ росъ, ширился...

* * *

И только двое было у нея друзей: острокрылый, ржаво-бурый коршунъ, свившій себѣ гнѣздо изъ сухихъ прутьевъ на сосѣдней старушкѣ-сли, да могучій дубъ-отшельникъ, растущій на далекой ярко-зеленой полянѣ у обветшалаго креста на могилѣ грустнаго изгнанника, тщательно взрастившаго здѣсь сѣмя родной стороны.

Онъ былъ страшно одинокъ въ этомъ лѣсу и страшно не похожъ на прочихъ, этотъ дубъ-ворчунъ, и потому озлобленъ, суровъ и беспощаденъ въ рѣчахъ.

Сколько разъ, когда протестующіе голоса окружали молодую сосну и разбѣгались по лѣсу ироническимъ шопотомъ, сколько разъ онъ покрывалъ эти голоса торжественнымъ, громовымъ рокотомъ, какъ покрываетъ звонъ большого колокола звонъ младшихъ колоколовъ и бойкихъ колокольниковъ.

— Вѣрно говорить она: нѣтъ жизни съ подлыми змѣями и пошлыми лягушками! Нѣтъ, говорю вамъ, жизни въ темнотѣ да въ смрадѣ! Одна жизнь правдива—жизнь на высотѣ высокой, подъ свободнымъ небомъ, на яркомъ, жгучемъ солнцѣ! Какъ вы до сихъ поръ не поняли этого, слѣпые, жалкіе кроты!? А не поняли, такъ не мѣшайте другимъ понимать, и пусть растетъ она выше, все выше, дабы увидѣть далекую страну всеобщаго счастья и гордаго равенства! А ты,—обращался онъ къ сосенкѣ,—брось толковать съ ними: глухого не переспоришь... Ну, ихъ къ козлобородому, слюнявому лѣшему!

Съ какимъ восторгомъ, бывало, внимала сосенка въ тихія, полныя важнаго молчанія ночи, какъ грезилъ вслухъ дубъ-отшельникъ о чудномъ краѣ разумной и счастливой жизни, о

далекихъ звѣздахъ, — небесныхъ кострахъ, что зажжены во мракѣ таинственными друзьями всѣхъ измученныхъ, тоскующихъ, сильныхъ нездѣшнюю силою...

* * *

А коршунъ любилъ ее за другое...

— Скажу тебѣ откровенно, — не разъ заводилъ онъ съ нею громкія, отрывистыя рѣчи — что люблю я, смерть люблю, какъ все смѣлое и сильное, все, что глядитъ сверху внизъ на другихъ... Вѣдь, жизнь, другъ ты мой, принадлежитъ тѣмъ, кто не боится ничего, кто беретъ силой нужное ему и откровенно презираетъ то, что растеть внизу и что не надобно ему. Въ тебѣ есть что-то свѣжее, смѣлое, свое, понимаешь ли, собственное, и потому ты имѣешь право не замѣчать остальныхъ, и потому я люблю тебя, клянусь орломъ!

Какъ-то подслушала эти рѣчи вострушка, красно-бурая бѣлка, вышедшая полюбоваться заходомъ солнца. Подслушала, выкатила глаза отъ восхищенія, всплеснула лапками, оступилась... шлепнулась наземь. Шлепнулась и, обиженно потряхивая ушибленной лапкой, поспѣшила улизнуть къ себѣ, въ дупло, гдѣ и задала дѣткамъ порку съ досады... Боже мой, какъ тряслись со смѣху въ этотъ вечеръ листья березъ!

Кругомъ была закатная тишь и благодать; алѣли березы; золотисто-коричневые дорожки стлались межъ деревьевъ; въ чащѣ гасли багровые угли заката; все небо было словно застлано свѣтло-красноватымъ, какъ грудка удода, пухомъ; въ воздухѣ носились влажныя благоуханія смолы, ежевики и лѣсной земляники и жужжаніе укладывающихся ко сну насѣкомыхъ.

И сосенка, сама вся вдругъ зарумянившись, высказала наконецъ самую затаенную мысль и желаніе свое.

— Скажи, острокрылый коршунъ, — спросила она, — можно ли достичь вонъ той тучки, золотисто-розовой тучки, и украсить ею свою верхушку? Вѣдь, тогда, пожалуй, и страну счастья увидишь.

— Ха-ха! Конечно, можно... Гляди.

Коршунъ мгновенно превратился въ красную точку и скрылся

въ тучахъ, а потомъ упалъ оттуда тяжелымъ комомъ на сокола, который убилъ куропатку, и отнять у сокола добычу.

... Такъ сосенка росла все выше... все тоньше, чтобы увидѣть край гордаго равенства, чтобы надѣть на стройную вершину свою тучку, сотканную изъ утренней росы и вечернихъ красокъ...

* * *

Однажды коршунъ, пропадавшій гдѣ-то нѣсколько дней, стремглавъ принесся къ сосенкѣ, весь взъерошенный, усталый, съ дико сверкающими глазами, и впопыхахъ крикнулъ:

— Идетъ буря могучая, идутъ, низко-низко стелются темныя тучи... Я видѣлъ передовыхъ гонцовъ бури, быть ей неминуемо! Вотъ, удобный случай надѣть на голову рѣдкій, ха-ха... ха-ха, уборъ!!! Гой-гой!..

Онъ понесся дальше, разглашая тревожную вѣсть. И пошли испуганно шептаться деревья. Замолкли птицы. Попрятались звѣри. Только громче гнусавыми голосами заквакали лягушки, да выползли гады... Поползли, шипя и отравляя воздухъ и нѣжные стебли травъ и цвѣтовъ ядовитой слюной...

А слуха сосенки коснулся далекій рокотъ дуба:

— Крѣпись, родная, крѣпись! Гроза идетъ, великая гроза. Мужайся, гроза идетъ, а за ней—новый день... Слава имъ!

.

Настала страшная ночь. Ураганомъ пронеслась гроза.

Полчища чернорукихъ, лохматыхъ исполиновъ взошли на небо и вели тамъ безпорядочный, смертный бой. Сорвавшіеся съ узды вихри бѣсновались въ темномъ просторѣ, извлекая изъ огромныхъ роговъ хаосъ могучихъ звуковъ, цѣлое море стонущихъ, гудящихъ, ревущихъ звуковъ. Съ трескомъ вскрывались небесныя рѣки. Грохотали, разрушаясь и падая, невидимыя зданія, и сотни молотовъ ударяли въ сотни наковаленъ. Носились съ присвистомъ стаи бѣлыхъ призраковъ. Отъ страшной борьбы свѣта и тьмы колыхалась, казалось, и прыгала земля. Все небо, отъ одного края до другого, искажалось зловѣщими огненными улыбками, то красными, какъ кровь, разведенная водой, то синими, какъ лицо утопленника.

А въ лѣсу стоялъ гамъ, хохотъ лѣшихъ, громовые раскаты и гулъ, словно опускали въ холодную воду раскаленное желѣзо; стонущій скрипъ деревьевъ и отчаянно-жалобный трескъ ихъ перемѣшивались съ грохотомъ невидимыхъ телѣгъ и спѣшнымъ барабаннымъ боемъ миллионовъ дождевыхъ капель.

И въ эту страшную ночь былъ сожженъ молніеносной стрѣлой дубъ, невѣдомо куда пропалъ вѣщунъ-коршунъ, и молодая сосна, та, что была выше всѣхъ, и тоньше, и лучше, сломалась на-двое.

.
А потомъ въ мягкихъ, какъ кудри ребенка, розовыхъ туманахъ встало утро яркаго, смѣющагося дня.

И свѣтлое солнце озарило золотыми лучами и сожженный дубъ, и погибшую сосенку, и весь ярко-зеленый лѣсъ, и въ этомъ лѣсу — десятки друтихъ молодыхъ сосенъ, рвущихся къ высотамъ, гдѣ можно надѣть на буйну головунку пышную тучку, откуда виденъ далекій, счастливый край...

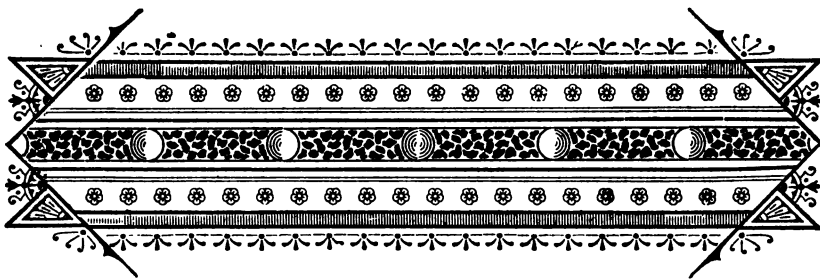
Птицы хлопотливо чирикали. У желтыхъ сотъ заботливо увивались мохнатыя пчелы. Дятель обдумывалъ новую систему міра, безстрастную и всеобъемлющую.

Не останавливаясь ни на одно мгновеніе, жизнь шла впередъ.

Николай Залѣтный.

Москва, 1903 г.





Къ вопросу о нравственномъ самовоспитаніи.

Въ настоящей статьѣ я предполагаю высказать нѣсколько мыслей по вопросу о нравственномъ самовоспитаніи, т.-е. другими словами, по вопросу о томъ, что можетъ и что должна сдѣлать отдѣльная индивидуальная личность для того, чтобы достигнуть высшихъ, возможныхъ для человѣка, ступеней нравственнаго совершенства. Я хочу попытаться освѣтить хотя бы въ слабой степени тѣ пути, которые намъ открываетъ наука, и слѣдуя по которымъ человѣкъ можетъ сдѣлаться совершеннымъ въ нравственномъ отношеніи, *если* только онъ хочетъ сдѣлаться таковымъ. Я не ставлю себѣ здѣсь широкой задачи собрать все то, что намъ даетъ научное знаніе относительно способовъ, какими можно достигнуть удовлетворенія желанія стать нравственнымъ человѣкомъ въ полномъ смыслѣ этого слова. Для этого надо было бы написать цѣлую книгу. Но я буду счастливъ, если мнѣ удастся выяснить хотя нѣкоторыя стороны этой проблемы.

Вопросъ о нравственномъ самовоспитаніи—одинъ изъ наиболее жизненныхъ вопросовъ: онъ имѣетъ значеніе для всѣхъ людей безъ исключенія: и для молодого подрастающаго поколѣнія и для тѣхъ родителей и воспитателей, которые заботятся о надлежащемъ воспитаніи этого молодого поколѣнія, и даже для тѣхъ лицъ, которыя не принадлежатъ ни къ той, ни къ другой изъ упомянутыхъ категорій.

Молодое поколѣніе, которое должно выступить въ скоромъ времени на арену жизни, должно приложить особенное стараніе къ тому, чтобы выступить на эту арену здоровымъ въ нравственномъ отношеніи, съ ясно сознанными высокими нравственными идеалами и способнымъ воплотить эти идеалы въ жизнь, способнымъ стойко и отважно бороться за нихъ, несмотря ни на какія препятствія. Но это возможно только при послѣдовательной и систематической работѣ надъ самими собою, при непрерывномъ рядѣ усилій, направленныхъ на выработку изъ себя нравственной личности. Юноша не долженъ никогда упускать изъ виду этой цѣли, если онъ хочетъ, чтобы его нравственная жизнь въ будущемъ, когда онъ станетъ вполнѣ взрослымъ человѣкомъ, была построена на прочномъ фундаментѣ, подъ который безсильны были бы подкопаться всевозможныя непредвидѣнныя случайности жизни. Кто не работалъ надъ собою въ молодости въ этомъ отношеніи, у того нѣтъ гарантіи, что грозныя испытанія жизни не сломятъ его энергіи и не увлекутъ его въ сторону, противоположную завѣтнымъ мечтаніямъ тѣхъ дней, когда сердце было открыто для любви и правды, когда душа переживала свѣтлую весну.

Вопросъ о нравственномъ самовоспитаніи не менѣе важенъ и для тѣхъ, на чьихъ рукахъ лежитъ воспитаніе подрастающаго поколѣнія. Чтобы воспитывать нравственно другихъ людей, необходимо прежде всего самому быть совершеннымъ въ нравственномъ отношеніи. Если воспитатель не заботится о своемъ собственномъ нравственномъ самосовершенствованіи, то всѣ его заботы о нравственномъ воспитаніи будущихъ поколѣній не принесутъ плодотворнаго результата, такъ какъ въ самомъ корнѣ онѣ будутъ поставлены неправильнымъ образомъ. Нравственное воспитаніе другихъ предполагаетъ, такимъ образомъ, нравственное самовоспитаніе со стороны самого воспитателя. Только тотъ, кто старается самъ быть справедливымъ, нравственнымъ человѣкомъ, можетъ быть учителемъ и воспитателемъ другихъ. Нельзя воспитывать нравственно другихъ, самому на каждомъ шагѣ, всею своею жизнью нарушая самыя основныя требованія нравственности. Нельзя воспитать въ мо-

лодомъ поколѣніи любви къ правдѣ, если всю свою жизнь стро-
ишь на лжи и лицемеріи, на обманѣ другихъ и самого себя.

Но, собственно говоря, даже и тѣ люди, которые, не будучи
родителями и воспитателями, и не задаются прямо цѣлью влі-
ять на воспитаніе молодого подрастающаго поколѣнія, тѣмъ не
менѣе вліяютъ на это воспитаніе косвеннымъ образомъ. Они
являются составными элементами той среды, которая окружаетъ
это поколѣніе, они являются частью той духовной обществен-
ной атмосферы, которой это послѣднее дышитъ. Если среда
нездорова и нравственно испорчена, если атмосфера заражена и
наполнена микробами нравственного разложенія, то свѣжія, мо-
лодая, неиспорченные силы могутъ въ ней легко задохнуться,
опуститься нравственно и навсегда погибнуть для дѣла нрав-
ственного возрожденія человѣчества. Вотъ почему каждый че-
ловѣкъ, кто бы онъ ни былъ, какое бы онъ общественное по-
ложеніе ни занималъ, долженъ стремиться къ тому, чтобы быть
здоровымъ въ нравственномъ отношеніи элементомъ обществен-
ной среды, чтобы быть тѣмъ озономъ и кислородомъ, который
оздоравливаетъ атмосферу и даетъ возможность легко и свободно
дышать въ ней молодой груди. И чѣмъ болѣе прилагаетъ каж-
дый человѣкъ стараній къ тому, чтобы стать совершеннымъ въ
нравственномъ отношеніи, тѣмъ болѣе благотворное вліяніе онъ
окажетъ и на всѣхъ окружающихъ его людей. Если, при этомъ,
его дѣятельность будетъ направлена на созданіе справедливыхъ
общественныхъ формъ, она будетъ тѣмъ болѣе успѣшна, чѣмъ
болѣе высокій типъ въ нравственномъ смыслѣ онъ самъ пред-
ставляетъ. Всѣ эти соображенія и побуждаютъ насъ считать
затрогиваемый вопросъ очень важнымъ и заставляютъ насъ
остановить на немъ свое вниманіе.

Прежде всего необходимо будетъ выяснить тѣ основныя пред-
положенія, которыя сами собой подразумѣваются уже въ самой
постановкѣ изслѣдуемаго нами вопроса. Мы собираемся говорить
о нравственномъ самовоспитаніи, этимъ самымъ мы уже пред-
полагаемъ возможность такого самовоспитанія. Если бы оно не
было возможно, то и всякій трактатъ о нравственномъ само-
воспитаніи былъ бы лишень всякаго смысла. Нравственное само-

воспитаніе можетъ быть только результатомъ сознательной, свободной воли человѣка. Кто отрицаетъ существованіе подобной сознательной и свободной воли, кто считаетъ ее за иллюзію, за плодъ фантазіи, для того и вопросъ о нравственномъ самовоспитаніи представляется лишеннымъ значенія. Если сознательная, свободная воля есть обманъ воображенія, то нравственно воспитывать себя это все равно, какъ если бы человѣкъ, завязнувшій въ болотѣ, хотѣлъ самого себя вытащить за волосы. Только человѣкъ, у котораго есть свободная воля, можетъ себя нравственно воспитывать, и предѣлами свободы человѣческой воли опредѣляются и тѣ предѣлы, до которыхъ можетъ простирается нравственное самовоспитаніе.

Такъ какъ обсужденіе вопроса о свободѣ человѣческой воли не входитъ въ наши непосредственные задачи, то мы отмѣтимъ только въ короткихъ словахъ, въ какомъ смыслѣ признаемъ существованіе свободной воли въ человѣкѣ. Воля свободная и воля сознательная,—это два равнозначительныя понятія, потому что сознаніе освобождаетъ человѣка, сознаніе дѣлаетъ волю способной вмѣшиваться въ ходъ событій, измѣнять его и направлять въ ту или другую сторону. Чѣмъ яснѣе, полнѣе и шире сознаніе, тѣмъ значительнѣе и свобода. Сознаніе вноситъ свѣтъ въ темноту жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ постепенно зажигается и разгорается этотъ свѣтъ, съ человѣка спадаютъ и ослабляются тѣ оковы, въ которыхъ онъ находился. Ясное и широкое сознаніе—вотъ сила, освобождающая человѣка. Человѣкъ, подобно всему остальному, составляетъ одно изъ звеньевъ всеобщаго механизма жизни, понимая это слово въ самомъ широкомъ значеніи. Этотъ слѣпой механизмъ жизни развертывается независимо отъ воли человѣка и послѣдній всецѣло подчиняется ему до той поры, пока сознаніе не освѣтитъ и не озаритъ его. Но по мѣрѣ того, какъ механизмъ жизни становится прозрачнымъ и яснымъ для сознанія, сознательная воля человѣка овладѣваетъ постепенно имъ и шагъ за шагомъ сбрасываетъ тѣ оковы, въ которыхъ она находилась. Она не отмѣняетъ и не уничтожаетъ механизма жизни, не устраняетъ законовъ природы, въ безусловномъ подчиненіи у которыхъ рань-

ше находилась несовершенная человѣческая воля, но она подчиняетъ этотъ механизмъ жизни себѣ, надъ законами природы она ставитъ высшій законъ, законъ сознательной и разумной воли, надъ механическимъ міромъ причинъ и слѣдствій—психическій міръ безконечно расширяющихся и приходящихъ все въ большую и большую гармонію между собою цѣлей человѣческой жизни. Царство природы такимъ образомъ все болѣе и болѣе становится царствомъ человѣка или, вѣрнѣе, солидарнаго, объединеннаго свободнаго человѣчества, а реальная дѣятельность—выраженіемъ и воплощеніемъ идеальнаго въ наивысшемъ размѣрѣ, какой только можетъ быть представленъ.

Итакъ, мы признаемъ существованіе свободной воли въ человѣкѣ, мы признаемъ, что человѣкъ путемъ сознанія законовъ естественной, психической и соціальной жизни, которыми опредѣляется его существованіе и развитіе, можетъ возвыситься надъ данною ему отъ рожденія и въ силу внѣшнихъ обстоятельствъ природой, чтобы стать совершеннымъ въ нравственномъ отношеніи, чтобы то, что было въ немъ только произведеніемъ природы, стало вмѣстѣ съ тѣмъ и произведеніемъ искусства, чтобы то, что было только естественнымъ, стало вмѣстѣ съ тѣмъ и нравственнымъ. Если жизнь отдѣльной личности съ этой точки зрѣнія представляетъ намъ исторію ея нравственнаго самовоспитанія, то жизнь всего человѣческаго рода можетъ быть охарактеризована съ этой стороны какъ нравственное самовоспитаніе человѣчества. Попробуемъ, насколько возможно, освѣтить этотъ процессъ, при чемъ мы свое главное вниманіе сосредоточимъ на явленіяхъ психическаго порядка, какъ тѣхъ, надъ которыми власть индивидуальной человѣческой личности является наиболѣе значительной.

Въ области нравственности, если разсматривать этотъ фактъ съ чисто психологической точки зрѣнія, мы можемъ различать три существенно различныя стороны. Параллельно дѣленію психическихъ явленій на умъ, чувство и волю, мы можемъ и явленія нравственной жизни раздѣлить на явленія интеллектуальнаго, эмоціональнаго и волевого характера. Задача нравственнаго самовоспитанія обнимаетъ, съ одной стороны, выработку въ

себѣ того, что можетъ быть названо нравственнымъ интеллектомъ, т.-е. извѣстнаго запаса нравственныхъ идей и понятій, объединенныхъ въ одно цѣлое, которое мы называемъ нравственнымъ идеаломъ. Съ другой — сюда включается забота о выработкѣ въ себѣ тѣхъ или другихъ нравственныхъ чувствованій и, наконецъ, и самое главное, развитіе въ себѣ нравственной воли. Всѣ эти три стороны могутъ быть охвачены въ понятіи личности. Задача нравственнаго самовоспитанія есть задача выработки изъ себя нравственной личности. Въ понятіи личности всѣ три упомянутыя выше стороны психической и нравственной жизни объединяются въ одно цѣлое. Нельзя быть развитой въ нравственномъ отношеніи личностью, не обладая сильной нравственной волей, не будучи одушевленнымъ самыми возвышенными нравственными чувствованіями и не имѣя яснаго и отчетливаго сознанія нравственнаго идеала въ его отношеніи къ реальной дѣйствительности. Вотъ почему, пожалуй, умѣстнѣе всего будетъ начать съ вопроса о выработкѣ въ себѣ нравственной личности, а затѣмъ уже перейти къ обсужденію того, какъ въ отдѣльности мы можемъ развитъ въ себѣ нравственный интеллектъ, нравственныя чувствованія и нравственную волю. Этимъ путемъ скорѣе всего избѣгнуть повтореній. Дѣло въ томъ, что ни одну изъ сторонъ нравственной жизни нельзя развивать, не развивая вмѣстѣ съ тѣмъ и двухъ другихъ, и средства, пригодныя для развитія каждой изъ нихъ, въ большинствѣ случаевъ оказываются пригодными и для остальныхъ. Такимъ образомъ удобнѣе всего разсмотрѣть первоначально выработку въ себѣ нравственной личности, т.-е. нравственное саморазвитіе въ его цѣломъ, удѣливъ затѣмъ каждой изъ сторонъ этого саморазвитія вниманіе въ той мѣрѣ, въ какой оно представляетъ своеобразныя черты, отдѣляющія его отъ другихъ сторонъ.

Итакъ, первый вопросъ, который требуетъ отъ насъ своего разрѣшенія, это—какимъ образомъ можно выработать въ себѣ нравственную личность. Личность вырабатывается всѣмъ складомъ и всѣмъ образомъ жизни. Слѣдовательно, надо вести такой образъ жизни, который содѣйствовалъ бы выработкѣ въ

насъ нравственной личности. Чтобы стать нравственною личностью, надо такъ дѣйствовать, какъ должна бы дѣйствовать нравственная личность, надо такъ думать и чувствовать, какъ думала бы и чувствовала она. Здѣсь могутъ отмѣтить противорѣчіе. Могутъ сказать, что мы въ качествѣ средства для достиженія цѣли предлагаемъ самую цѣль, т.-е. предполагаемъ достигнутымъ то, что еще должно быть достигнуто. Этимъ самымъ мы какъ бы закрываемъ и упраздняемъ вопросъ. Чтобы стать нравственною личностью, надо стать ею—вѣдь это, въ сущности, ничего не говоритъ и не указываетъ, какъ же именно стать ею. А между тѣмъ на вопросъ о томъ, какъ стать нравственною личностью, нельзя дать другого отвѣта и отвѣтъ этотъ, если глубже въ него вникнуть, вовсе не такъ страненъ, какъ кажется. Если человѣкъ хочетъ развить въ себѣ способность мышленія, что для этого онъ долженъ дѣлать? Онъ долженъ мыслить, мыслить и мыслить. Подобно этому, если человѣкъ хочетъ выработать въ себѣ нравственную личность, онъ долженъ жить и дѣйствовать, какъ нравственная личность. Противорѣчія тутъ никакого нѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, если отдѣльный человѣкъ задается цѣлью выработать въ себѣ способность мышленія, то это показываетъ, что онъ уже началъ мыслить; если человѣкъ задается цѣлью выработать изъ себя нравственную личность, то это показываетъ, что онъ уже до нѣкоторой степени сталъ нравственною личностью, что онъ уже началъ жить, думать и чувствовать, какъ живетъ, думаетъ и чувствуетъ нравственная личность. Чтобы могла быть рѣчь о самовоспитаніи, о воспитаніи въ самомъ себѣ чего бы то ни было, надо, чтобы то, что мы будемъ воспитывать, находилось въ насъ хотя бы въ зародышѣ. Только при этомъ условіи можетъ начаться самовоспитаніе. Чтобы выработать самому изъ себя нравственную личность, надо, чтобы хотя въ слабой, ничтожной степени я представлялъ изъ себя подобную личность. Этотъ зародышъ нравственной личности, дремлющій во мнѣ, послужить точкою опоры для выработки нравственной личности во всемъ ея блескѣ и совершенствѣ. Самовоспитаніе не можетъ изъ ничего создать что-либо, оно не можетъ оперировать

безъ всякихъ точекъ опоры, и если въ отдѣльномъ человѣкѣ такихъ точекъ опоры не оказывается, то онъ и не можетъ приняться за воспитаніе себя въ какомъ бы то ни было отношеніи.

Итакъ личность до нѣкоторой степени уже должна быть нравственною личностью, для того чтобы она имѣла возможность выработать изъ себя вполне совершенную нравственную личность. И уже тотъ самый фактъ, что возникло желаніе стать нравственною личностью,—а безъ такого желанія не можетъ начаться и работа самовоспитанія,—показываетъ, что данный человѣкъ уже отчасти, хотя бы и въ начальной степени, и сталъ нравственной личностью. Весь вопросъ о воспитаніи въ себѣ нравственной личности, такимъ образомъ, сведется къ вопросу о томъ, какимъ образомъ то, что въ насъ находится въ начальной стадіи, довести до конца, какимъ образомъ зародышу дать возможность стать зрѣлымъ плодомъ.

Въ каждомъ нормально-развитомъ человѣкѣ заключенъ зародышъ нравственной личности, поскольку дѣятельность человѣка носитъ характеръ сознательной, преднамѣренной дѣятельности, поскольку человѣкъ ставитъ себѣ тѣ или другія цѣли и стремится къ ихъ достиженію. Тамъ, гдѣ дѣйствуетъ сознательная воля, тамъ дана вмѣстѣ съ тѣмъ возможность и для возникновенія нравственной воли, потому что нравственная дѣятельность и есть не что иное, какъ дѣятельность наиболѣе согласная съ природою нашей воли. Между «я хочу» и «я долженъ» не существуетъ того противоположенія, которое обыкновенно предполагаютъ, такъ какъ «я хочу», когда оно вытекаетъ изъ яснаго сознанія природы нашей воли, нашего «я», необходимымъ образомъ превращается въ «я долженъ». Тамъ, гдѣ мы имѣемъ сознательное стремленіе къ какой бы то ни было цѣли, мы имѣемъ уже зародышъ, изъ котораго можетъ развиваться стремленіе къ осуществленію нравственнаго идеала, такъ какъ каждая даже самая простая цѣль, которую только человѣкъ себѣ ставитъ, есть идеаль въ его самой элементарной формѣ. Идеаль разнится отъ просто цѣли только тѣмъ, что это—совокупность многихъ цѣлей, соединенная въ одну стройную систему. Чѣмъ

болѣе усложняются цѣли и чѣмъ болѣе онѣ вступаютъ въ соотношеніе другъ съ другомъ, тѣмъ болѣе мы поднимаемся на пути къ творчеству идеаловъ.

Идеаль жизни—это система цѣлей, охватывающихъ всю жизнь, тогда какъ каждая цѣль въ отдѣльности охватываетъ только или опредѣленную сторону или опредѣленный моментъ жизни. Человѣкъ постепенно поднимается отъ такихъ цѣлей, которыя обнимаютъ небольшой промежутокъ времени, до такихъ, которыя распространяются на всю жизнь и которыя въ этомъ смыслѣ служатъ ему путеводною звѣздою въ теченіе всего его существованія.

Для возможности возникновенія идеала въ этомъ смыслѣ надо, чтобы человѣкъ имѣлъ возможность думать о своей жизни какъ о цѣломъ. До тѣхъ поръ, пока онъ мыслью можетъ охватывать только ограниченные, небольшіе промежутки времени, идеала въ указанномъ мною значеніи возникнуть не можетъ. Огромное множество людей не въ состояніи думать о своей жизни какъ о цѣломъ, они задумываются большею частью только надъ опредѣленнымъ моментомъ жизни внѣ его связи съ другими. Дѣятельность такихъ людей носитъ узко-практическій характеръ и не можетъ подняться до высоты идеала; она, если можно такъ выразиться, ползаетъ по землѣ и не можетъ возвыситься надъ землею настолько, чтобы схватить всѣ свои послѣдовательные шаги въ одномъ взорѣ. Только поднявшись хотя бы немного къ небу, человѣкъ можетъ понять свою жизнь какъ одно цѣлое и дать ей надлежащее направленіе и полетъ. Чтобы разумно и осмысленно ходить по долинамъ жизни, надо умѣть взлетать вверхъ въ свѣтлое, лазурное царство идеала, чтобы видѣть оттуда ясно, въ цѣломъ тотъ путь, который намъ предстоитъ пройти.

Творчество идеаловъ есть продолженіе, только въ широкомъ масштабѣ, той же самой работы, которую узкіе практики жизни дѣлаютъ въ маломъ масштабѣ. Такъ называемые практики и идеалисты—это не два противоположные и враждебные лагеря, представляющіе два разнородные вида дѣятельности человѣка. Мы имѣемъ здѣсь дѣятельность одного и того же рода, вся раз-

ница только въ широтѣ и степени. Каждый практикъ есть идеалистъ только въ уменьшенномъ размѣрѣ, да и не можетъ не быть идеалистомъ по существу дѣла, такъ какъ всякая цѣль, какой бы узкій и практическій характеръ она ни носила, всегда есть ни болѣе ни менѣе, какъ идеальное представленіе будущаго, всякая сознательная, преднамѣренная дѣятельность всегда покоится на тѣхъ или другихъ идеяхъ. Весь вопросъ только въ качествѣ и широтѣ этихъ идей. Если это такъ, если нѣтъ той пропасти, которую обыкновенно предполагаютъ, между узкими практиками и идеалистами, то здѣсь намъ вмѣстѣ съ тѣмъ дана возможность постепенной выработки изъ узкаго практика широкаго идеалиста, дана возможность убѣжденія людей въ высотѣ нравственнаго идеала и педагогическаго воздѣйствія на нихъ въ этомъ смыслѣ, дана, наконецъ, возможность воспитанія изъ самихъ себя, какой бы узкой практической дѣятельностью намъ ни приходилось заниматься, нравственной личности. При приведеніи ли другихъ людей на путь творческой работы надъ выработкой нравственныхъ идеаловъ и надъ осуществленіемъ ихъ въ жизни, при выработкѣ ли въ самомъ себѣ нравственной личности приходится, такимъ образомъ, опираться ни на какія либо чуждыя отдѣльнымъ индивидуумамъ силы, а на тѣ силы, которыя дѣйствуютъ внутри ихъ самихъ, которыя никогда не прекращаютъ свою работу,—надо только этой работѣ дать надлежащее направленіе и въ достаточной степени ее расширить, чтобы въ результатѣ получилось то, что мы называемъ нравственностью.

Первоначально отдѣльная личность ставитъ себѣ только частныя, конкретныя задачи. Если взять, напримѣръ, ту элементарную форму личности, которую мы находимъ у ребенка, то увидимъ, что дѣти, по крайней мѣрѣ въ періодѣ перваго дѣтства, не идутъ дальше задачъ, ограничивающихся даннымъ, единичнымъ мгновеніемъ жизни и имѣющихъ вполне конкретный характеръ. Сейчасъ у ребенка цѣль—поиграть съ братомъ или сестренкой въ лошадки, затѣмъ—посмотрѣть картинки въ какой-нибудь книжкѣ, выпить стаканъ молока, что-нибудь напроказить и т. д. Есть и взрослые, у которыхъ цѣли хотя и

имѣють болѣе сложный характеръ, но въобщемъ носятъ печать перваго дѣтства. Ихъ цѣли такъ же нейдуть дальше сегодняшняго дня: сегодня надо будетъ сходить на службу и переписать разныя дѣловыя бумаги, затѣмъ вкусно пообѣдать, прочесть интересный пикантный романъ, вечеромъ пойти послушать только что пріѣхавшаго знаменитаго артиста и т. д. Въ такомъ видѣ рисуются въ ихъ воображеніи цѣли всей жизни. Въ зависимости отъ степени духовнаго развитія людей эти задачи будутъ принимать все болѣе и болѣе общій характеръ, при чемъ степень общности, которой онѣ достигаютъ у разныхъ людей, бываетъ различна. Нѣкоторые люди уже не ограничиваются тѣмъ, что сегодня они перепишутъ такія-то служебныя бумаги, завтра подсчитаютъ такія-то столбцы цифръ,—они попробуютъ отдать себѣ отчетъ въ своей профессіи какъ въ цѣломъ, и общія задачи своей профессіи сдѣлаютъ сознательною цѣлью своей жизни, а иные изъ нихъ пойдутъ еще и дальше и попробуютъ взглянуть на самую свою профессію съ точки зрѣнія интересовъ всего общества или ея значенія для общечеловѣческаго прогресса. Подобнымъ же образомъ нѣкоторые люди уже не ограничиваются тѣмъ, что читаютъ случайно попавшія имъ подъ руку, возбудившія ихъ мимолетный интересъ, книги, они придаютъ своему чтенію болѣе систематическій, связанный характеръ и подчиняютъ его какой-либо болѣе общей задачѣ, изученію, напр., той или другой отрасли знанія, или еще болѣе общей цѣли всесторонняго духовнаго саморазвитія. Точно такъ же одни просто ищутъ всякаго рода эстетическихъ удовольствій, какія бы они ни были, другіе же это исканіе удовольствій подчиняютъ болѣе общей цѣли, напр., облагороженію своего характера, пробужденію въ себѣ тѣхъ или другихъ желательныхъ эмоцій. Но можно подняться и еще выше, и всѣ эти частныя задачи, хотя и принявшія болѣе общій характеръ, которыя охватываются, напр., въ понятіяхъ «исполненіе своихъ профессиональныхъ обязанностей», «выполненіе своего долга по отношенію къ семьѣ», «удовлетвореніе своихъ запросовъ въ чтеніи, въ развлеченіяхъ» и т. д. и т. д.,—все это подчинить одной общей задачѣ, объединить въ одно цѣлое. Но есть люди, которые такъ и не под-

нимаются никогда до такой степени, чтобы охватить всю свою жизнь какъ одно цѣлое и поставить себѣ такую широкую задачу, которая имѣла бы въ виду всю ихъ жизнь. Ихъ жизнь остается раздробленной и составленной изъ кусочковъ, связанныхъ между собою только чисто внѣшнимъ образомъ, они преслѣдуютъ иногда и много цѣлей, но среди этихъ цѣлей мало такихъ, которыя носили бы общій характеръ. Каждая общая цѣль служитъ какъ бы для объединенія цѣлей болѣе частныхъ и конкретныхъ, цѣлей менѣе общаго характера, при чемъ степень общности можетъ значительно колебаться по своимъ размѣрамъ. Чѣмъ выше нравственность, тѣмъ шире объединеніе цѣлей, тѣмъ болѣе цѣли жизни отдѣльной личности соединяются въ одну систему, въ одно цѣлое. Это объединеніе цѣлей въ одну систему, въ одно цѣлое, предполагаетъ существованіе одной цѣли самаго общаго характера, по отношенію къ которой всѣ остальные цѣли являлись бы какъ частныя и частичныя выраженія ея. Эта цѣль должна быть общей формулой задачи всей жизни личности, остальные цѣли—только выраженіями, болѣе или менѣе широкими, тѣхъ частныхъ задачъ, разрѣшеніе которыхъ требуется для разрѣшенія и осуществленія общей задачи, поставленной себѣ человѣкомъ.

Самая общая цѣль, которая можетъ служить для объединенія всей системы цѣлей въ одно цѣлое, это—само объединеніе всей этой системы, гармонія всѣхъ цѣлей. Эта цѣль включаетъ въ себя всѣ частичныя цѣли, она болѣе полно, чѣмъ какая-либо другая, выражаетъ общую задачу всей жизни человѣка, поскольку эта жизнь принимаетъ нравственный характеръ. Она выражаетъ требованіе, чтобы человѣкъ свою жизнь, поскольку она является сознательнымъ обнаруженіемъ его воли, разсматривалъ какъ одно цѣлое и стремился бы къ тому, чтобы и фактически жизнь его была бы подобнымъ цѣлымъ. И насколько онъ это дѣлаетъ, въ той мѣрѣ онъ все больше и больше становится тѣмъ, что можетъ быть названо нравственною личностью. Нравственная личность—это личность, старающаяся расширить, насколько допускаютъ ея силы, область преслѣдуемыхъ ею цѣлей и старающаяся внести въ эту область возможно

больше гармоніи. У различныхъ людей область ставимыхъ и достигаемыхъ цѣлей и полнота гармоніи между ними будутъ значительно различаться между собою, но нравственную личность всегда будетъ характеризовать стремленіе расширить эту область и сдѣлать гармонію въ ней болѣе полной.

Отсюда само собою становится понятнымъ, что первое, съ чего должна начаться работа нравственного самовоспитанія, это— съ попытки отдать себѣ ясный отчетъ въ тѣхъ цѣляхъ, которыя фактически преслѣдуются данною личностью. Обзоръ фактическихъ цѣлей жизни, который данная личность совершаетъ, имѣя въ виду задачу нравственного самовоспитанія, производится ею для того, чтобы получить отвѣты на слѣдующіе вопросы: 1) соотвѣтствуетъ ли общая сумма фактически ставимыхъ мною цѣлей тому запасу волевой энергіи, который находится въ моемъ распоряженіи? 2) Гармонируютъ ли цѣли жизни между собою? Составляютъ ли онѣ одно цѣлое? 3) Какимъ образомъ можно было бы между ними установить гармонію и не придется ли ради этого отказаться отъ преслѣдованія нѣкоторыхъ цѣлей жизни, какъ находящихся въ явномъ или скрытомъ противорѣчій со всѣми остальными цѣлями? 4) Не слѣдуетъ ли къ такимъ образомъ очищенной системѣ прежнихъ цѣлей жизни присоединить цѣлый рядъ другихъ цѣлей, такъ чтобы новая система цѣлей стояла на высотѣ моей волевой энергіи?—Постоянное періодическое разрѣшеніе этихъ вопросовъ составляетъ необходимое предположеніе при работѣ личности надъ своимъ нравственнымъ самовоспитаніемъ.

Попытка разрѣшить эти вопросы есть попытка осмыслить свою жизнь, отдать себѣ ясный отчетъ въ томъ, зачѣмъ и для чего живешь на бѣломъ свѣтѣ. Безъ этой попытки и безъ постоянного ея возобновленія личность не можетъ стать въ истинномъ смыслѣ этого слова нравственною личностью. Существуетъ великое множество людей, которые живутъ, даже и не задаваясь вопросомъ, зачѣмъ они живутъ. Они живутъ простою, непосредственною жизнью, и если вы спросите этихъ людей, какой смыслъ, какое значеніе имѣетъ ваша жизнь, то даже самый этотъ вопросъ имъ покажется страннымъ и непонятнымъ. «Зачѣмъ еще

искать какого-то особеннаго смысла въ жизни», скажутъ они вамъ, «каждый день, каждое мгновеніе имѣютъ свою злобу и дальше этихъ ежедневныхъ злобъ жизни человѣку некуда да и незачѣмъ идти. Зачѣмъ мудрствовать лукаво, это только мѣшаетъ нормальному, правильному теченію разъ заведеннаго порядка жизни. Это только будетъ мѣшать намъ въ надлежащей степени и должнымъ образомъ выполнять тѣ дѣла, которыя каждый день приносятъ намъ». Вотъ что отвѣтятъ вамъ эти люди, и имя этихъ людей легіонъ. Они интересуются всѣми вопросами, всевозможными мелочами жизни, за исключеніемъ самаго главнаго вопроса о томъ, какой же смыслъ имѣетъ вся ихъ жизнь и какъ всѣ ихъ мелкія, раздробленныя, маленькія цѣли жизни могли бы быть соединены въ одно стройное, гармоническое цѣлое, что сдѣлало бы всѣ эти ничтожныя цѣли осмысленнымъ выраженіемъ одного великаго, важнаго дѣла всей жизни. У многихъ это равнодушіе переходитъ даже въ какое-то боязливое отношеніе къ самымъ жизненнымъ вопросамъ человѣчества. Намъ невольно при этомъ вспоминаются глубоко продуманныя слова изъ сочиненія одного замѣчательнаго русскаго писателя, написанныя много лѣтъ тому назадъ: «Наша жизнь—постоянное бѣгство отъ себя, точно угрызенія совѣсти преслѣдуютъ, пугаютъ насъ. Какъ только человѣкъ становится на свои ноги, онъ начинаетъ кричать, чтобы не слышать рѣчей, раздающихся внутри; ему грустно—онъ бѣжитъ разсѣяться, ему нечего дѣлать—онъ выдумываетъ занятіе; отъ ненависти къ одиночеству—онъ дружится со всѣми, все читаетъ, интересуется чужими дѣлами, наконецъ женится на скорую руку. Тутъ гавань, семейный миръ и семейная война не дадутъ много мѣста мысли; семейному человѣку какъ-то неприлично много думать; онъ не долженъ быть настолько празденъ. Кому и эта жизнь не удалась, тотъ напиивается допьяна всѣмъ на свѣтѣ—виномъ, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, скупостью, благодѣяніями; ударяется въ мистицизмъ, идетъ въ іезуиты, налагаетъ на себя чудовищныя труды, и они ему все-таки легче кажутся нежели какая-то угрожающая истина, дремлющая внутри его. Въ этой боязни изслѣдовать, чтобы не увидать вздоръ изслѣдуемаго, въ этомъ

искусственномъ недосугѣ, въ этихъ поддѣльныхъ несчастіяхъ, усложняя каждый шагъ вымышленными путями, мы проходимъ по жизни спросонья и умираемъ въ чаду нелѣпости и пустяковъ, не пришедши путемъ въ себя». (А. Герценъ).

Какъ глубоко справедливы эти слова и какъ въ то же время грустно становится именно потому, что они справедливы. Современное человѣчество боится правды изслѣдованія въ области нравственной жизни, оно боится того фонаря, который освѣтилъ бы ему его дѣйствительную жизнь и который показалъ бы, какъ эта жизнь пуста, мелка, пошла, нелѣпа и полна самыхъ страшныхъ противорѣчій. Современный человѣкъ предпочитаетъ лучше ходить въ потемкахъ, чѣмъ при свѣтѣ безпристрастнаго этического изслѣдованія увидѣть въ зеркалѣ свое собственное изображеніе. Даже тѣ слабыя очертанія, которыя мелькаютъ передъ нимъ при разсѣянномъ кругомъ тускломъ свѣтѣ приводятъ его въ ужасъ, и у него не хватаетъ поэтому мужества взглянуть въ нихъ при болѣе яркомъ освѣщеніи. Но тотъ, кто дѣйствительно хочетъ стать нравственнымъ человѣкомъ, долженъ какъ можно ярче озарить міръ своей душевной жизни и безъ страха и боязни произвести то изслѣдованіе о дѣйствительныхъ цѣляхъ своей жизни, о которомъ мы выше говорили. Къ какимъ бы результатамъ ни привело это изслѣдованіе, личность должна искать только правды и одной правды, такъ какъ только безпристрастная правда дастъ ей возможность подняться вверхъ и изъ бессмысленной и противорѣчивой сдѣлать свою жизнь гармоничной и полной высокаго смысла.

Взглянемъ на эти задачи еще съ нѣсколько иной стороны, дополняющей наши предшествующія разсужденія и дающей имъ болѣе опредѣленный смыслъ. Выше мы опредѣлили нравственную личность какъ такую, которая старается расширить, насколько допускаютъ ея силы, область преслѣдуемыхъ ею цѣлей и вмѣстѣ съ тѣмъ внести въ эту область возможно больше гармоніи. Это общее опредѣленіе принимаетъ болѣе ясныя очертанія, если имѣть въ виду, что всѣ цѣли, преслѣдуемыя личностью, могутъ быть разбиты на два большіе класса, на цѣли индивидуальнаго и на цѣли социальнаго характера, на цѣли, центромъ тяжести кото-

рыхъ является сама дѣйствующая личность, и на цѣли, центръ тяжести которыхъ лежитъ внѣ послѣдней, въ большей или меньшей совокупности другихъ индивидуумовъ. Общая задача установленія гармоніи между цѣлями жизни сведется такимъ образомъ къ установленію гармоніи между цѣлями индивидуальнаго и цѣлями соціальнаго характера или, выражаясь иначе, къ установленію гармоніи между даннымъ индивидуумомъ и окружающимъ его обществомъ большаго или меньшаго размѣра. Расширеніе системы цѣлей при этомъ становится возможнымъ главнымъ образомъ благодаря расширенію сферы цѣлей соціальнаго характера, такъ какъ въ самой природѣ этихъ цѣлей лежитъ возможность безпредѣльнаго расширенія. Если первоначально предметомъ такихъ цѣлей являются отдѣльныя личности, окружающія насъ, то потомъ эти цѣли могутъ распространиться на постепенно все болѣе и болѣе расширяющіяся группы такихъ личностей, напр., на семью, опредѣленное сословіе или общественный классъ, народъ и, въ конечномъ предѣлѣ, на все человѣчество. Наша же индивидуальность сама по себѣ никогда не можетъ явиться такимъ неисчерпаемымъ источникомъ въ смыслѣ расширенія системы цѣлей, какимъ является окружающее насъ человѣчество. Расширеніе нашей личности совершается главнымъ образомъ не путемъ дѣятельности, направленной на самихъ себя, но путемъ дѣятельности, направленной на человѣчество. И чѣмъ болѣе широкій, соціальный, общечеловѣческій характеръ принимаетъ въ этомъ смыслѣ дѣятельность даннаго индивидуума, тѣмъ болѣе онъ становится нравственною личностью въ истинномъ смыслѣ этого слова. Нравственная личность въ ея наивысшемъ развитіи—это личность, сознавшая свое кровное родство со всѣмъ человѣчествомъ и отдающая на служеніе человѣчеству всѣ свои силы и способности. Здѣсь не существуетъ противопоставленія между моимъ «я» и тѣмъ цѣлымъ, въ составъ котораго я вхожу, но въ каждой своей мысли, въ каждомъ своемъ чувствованіи, въ каждомъ своемъ дѣйствіи я все крѣпче и неразрывнѣе утверждаю свою связь съ цѣлымъ, и все болѣе полной и совершенной становится моя гармонія съ нимъ.

Какую же форму приметъ съ точки зрѣнія того опредѣленія

нравственной личности, которое мы только что дали, та первая ступень въ работѣ нравственнаго самовоспитанія, о которой мы только что говорили. Она представится тогда въ слѣдующемъ видѣ. Личность прежде всего должна отдать себѣ ясный отчетъ въ томъ фактическомъ отношеніи, которое существуетъ между нею и окружающими ее людьми, и въ тѣхъ возможныхъ преобразованіяхъ, какимъ эти фактическія отношенія должны подвергнуться. Она должна постараться отвѣтить себѣ на рядъ слѣдующихъ вопросовъ: 1) Каковы фактическія отношенія между мною и другими людьми? 2) Служать ли эти фактическія отношенія выраженіемъ моей гармоніи или моего разлада и антагонизма съ другими людьми? 3) Какія изъ этихъ отношеній слѣдуетъ исключить для того, чтобы система моихъ отношеній къ другимъ людямъ являлась бы только выраженіемъ гармоніи между мной и другими людьми и чтобы она составляла одно гармоническое цѣлое; и, наконецъ, 4) какъ долженъ я расширить кругъ другихъ людей и свою систему отношеній къ нимъ, чтобы создать болѣе широкую и полную гармонію между собой и человѣчествомъ въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣмъ запасомъ волевой энергіи, который во мнѣ имѣется? Постоянное періодическое разрѣшеніе этихъ вопросовъ и измѣненіе, сообразно съ получающимися отвѣтами всего строя своей жизни составляютъ необходимое предварительное условіе для выработки изъ себя нравственной личности и для поднятія ея на все болѣе и болѣе высокія ступени развитія. Повторяемъ, для того чтобы стать нравственною личностью, надо вести, хотя бы и въ слабой степени, тотъ образъ жизни, какой должна бы вести нравственная личность; только тогда зародышъ личности, дремлющій въ насъ, приметъ вполне зрѣлыя и ясныя очертанія, только тогда онъ подниметъ голову, а не поникнетъ, развернется во всей красотѣ, а не заглухнетъ. Только нравственная жизнь, только неуклонное стремленіе къ расширенію цѣлей жизни и къ установленію между ними все болѣе полной и совершенной гармоніи, только безкорыстное служеніе человѣчеству, только неутомимый трудъ надъ сохраненіемъ жизни, надъ доставленіемъ счастья и возможности развитія возможно боль-

пему количеству людей и надъ объединеніемъ ихъ въ солидарное цѣлое, все болѣе расширяющееся по своимъ размѣрамъ,—могутъ выработать изъ насъ нравственную личность, могутъ содѣйствовать нашему нравственному самовоспитанію. Если поэтому спрашиваютъ, какъ воспитать въ себѣ нравственную личность, то на это можетъ быть только одинъ отвѣтъ: живи нравственною жизнью, отдай всѣ свои силы, весь свой трудъ на служеніе человѣчеству и расширяй постоянно свою нравственную задачу въ этомъ смыслѣ до предѣловъ возможнаго. Другого средства не существуетъ, всякое другое средство не дѣйствительно или если и дѣйствительно, то только въ тѣхъ размѣрахъ, въ какихъ оно въ концѣ-концовъ приводитъ къ этому послѣднему средству.

Мы разсматривали до сихъ поръ задачу нравственнаго самовоспитанія въ его цѣломъ, посмотримъ же теперь, хотя въ общихъ чертахъ, какъ ставится эта задача, если въ частности имѣть въ виду выработку въ себѣ нравственнаго интеллекта, нравственныхъ чувствованій и нравственной воли.

Развитіе въ самомъ себѣ нравственнаго интеллекта означаетъ выработку нравственныхъ представленій, понятій и идей, однимъ словомъ, того, что можетъ быть названо въ общей совокупности нравственнымъ идеаломъ. Чтобы выработать себѣ нравственный идеалъ, надо на созданіе его направить работу своей мысли. Безъ постоянной, непрерывной, систематической работы въ этомъ направленіи ничего не можетъ быть достигнуто. Надо, чтобы были поиски, исканіе, чтобы теченіе нашихъ мыслей направлялось силою сознательной воли по опредѣленному руслу, и только тогда нравственные идеи кристаллизуются въ насъ въ опредѣленную, законченную форму. Къ сожалѣнію, это исканіе идеала и сознательное направленіе мыслей въ эту сторону почти отсутствуютъ у большинства людей, и даже у меньшинства оно обнаруживается не въ достаточно интенсивной степени и не достаточно систематично. Шумъ внѣшней жизни съ ея пестрыми впечатлѣніями часто слишкомъ порабощаетъ наше сознаніе и увлекаетъ его въ сторону отъ того пути, на которомъ ткутся свѣтлыя радужныя одежды идеала. Только въ святомъ уедине-

ни, только въ сосредоточенной работѣ мысли нравственный идеаль можетъ получить въ нашемъ сознаниі плотъ и кровь, ясныя и отчетливыя очертанія. Но если выработка нравственного идеала *до нѣкоторой степени* и требуетъ уединенія и сосредоточенности, то осуществленіе его, конечно, связано съ самою интенсивною общественною жизнью. Мы говоримъ до нѣкоторой степени, потому что въ абсолютномъ, полномъ уединеніи человѣкъ никогда не въ состояніи будетъ создать себѣ нравственного идеала въ истинномъ смыслѣ этого слова. Для созданія нравственного идеала дѣйствительно надо уединиться отъ хаоса внѣшнихъ впечатлѣній и отрѣшиться на время отъ тѣхъ общественныхъ отношеній съ другими людьми, въ которыхъ являешься частью стадной толпы, автоматомъ, маленькой пружиной большого механизма. Но только отъ этой стороны общественныхъ отношеній и надо отрѣшиться. Зато съ тѣмъ большей силой требуется та высшая форма общенія съ другими людьми, которая можетъ помочь намъ довести личное сознание нравственного идеала до полной степени ясности и совершенства. Уединенная, сосредоточенная работа мысли должна быть восполнена сознательнымъ обмѣномъ мыслей многихъ людей, работающихъ въ томъ же направленіи. Творческая работа отдѣльныхъ личностей должна получить свое завершеніе въ сознательной коллективной работѣ многихъ, благодаря которой исправятся несовершенства и односторонности, связанные съ работой изолированного человѣка, и эта послѣдняя получить надлежащую широту и законченность. Святое уединеніе только тогда можетъ быть плодотворнымъ, когда оно восполняется святымъ общеніемъ, тѣмъ свободнымъ, искреннимъ, творческимъ обмѣномъ мыслей, который направленъ на уясненіе нравственного идеала какъ въ его цѣломъ, такъ и въ различныхъ его частностяхъ и подробностяхъ.

Спрашивается теперь, какимъ образомъ личность можетъ работать въ себѣ нравственныя чувствованія? Чувствованія не зависятъ прямо отъ нашей воли, мы ихъ переживаемъ въ себѣ, но непосредственно вложить въ себя не можемъ. Нельзя прямо заставить себя чувствовать радость, когда чувствуешь огорченіе,

нельзя заставить себя испытывать чувство любви, когда въ груди шевелится ненависть. Прямо надъ чувствованіями мы не имѣемъ никакой власти, скорѣе они имѣютъ власть надъ нами. Но если прямо наша власть надъ чувствованіями ничтожна, то зато мы можемъ приобрѣсти надъ ними громадное вліяніе косвеннымъ образомъ. Если мы не можемъ прямо заставить испытывать себя извѣстныя нравственныя чувствованія, разъ ихъ нѣтъ въ насъ на лицо, то мы можемъ достигнуть своей цѣли непрямымъ путемъ.

Всякое чувство можно возбудить въ себѣ, если сначала входишь въ положеніе, соотвѣтствующее чувствованію, если вызываете тѣ жесты и движенія, въ которыхъ выражается это чувство. «Дикари воспаляютъ себя къ борьбѣ быстрой пляской. Если принимать участіе во внѣшнихъ церемоніяхъ, то это, по мнѣнію Паскаля, можетъ послужить къ дѣйствительному обращенію въ вѣру. Несомнѣнно, что получается совершенно другое настроеніе, когда сжимаешь руки въ кулакъ, чѣмъ когда ихъ складываешь вмѣстѣ,—когда простираешь руки, чѣмъ когда ихъ прижимаешь къ груди *)». Вотъ путь, которымъ мы можемъ возбудить въ себѣ тѣ или другія нравственныя чувствованія, если ихъ не имѣется въ насъ въ дѣйствительности. Совершайте тѣ дѣйствія, въ которыхъ выражаются обыкновенно эти чувствованія, и вы въ концѣ-концовъ станете ихъ переживать. Такъ, напр., возьмемъ хотя бы чувство справедливости. Будьте справедливы сначала хотя бы чисто внѣшнимъ образомъ, и вы станете, наконецъ, справедливымъ изъ внутренняго побужденія, изъ чувства справедливости, которое неизбѣжно должно будетъ въ васъ развиваться. Дѣйствуйте нравственно, хотя бы вы не чувствовали къ этому сильнаго влеченія, и вы выработаете въ себѣ такимъ путемъ и сильное нравственное чувство. Другимъ условіемъ, несомнѣнно содѣйствующимъ къ выработкѣ нравственныхъ чувствованій, является общеніе съ людьми, стоящими выше насъ въ нравственномъ отношеніи. Испытываемыя ими

*) *Г. Гейдингъ*. Очерки психологій, основанной на опытѣ. Пер. съ нѣм. подъ ред. Я. Колубовскаго, 3-е изд., 1898 г., стр. 279.

чувствованія будутъ тогда переживаться по симпатіи и нами и въ концѣ-концовъ стануть для насъ второю натурою, т.-е. будутъ въ насъ возникать и самостоятельно.

Но, кромѣ всего этого, могучимъ толчкомъ въ развитіи чувствованій служить частое возвращеніе мыслью къ тѣмъ образамъ, съ которыми связаны эти чувствованія. Заставляя себя думать объ извѣстныхъ предметахъ или ставя себя мысленно въ опредѣленные положенія, мы тѣмъ самымъ создаемъ новыя направленія и для нашихъ чувствованій. И если они въ насъ первоначально и не возникаютъ въ сколько-нибудь сильной степени, то отъ этого еще не слѣдуетъ приходить въ отчаяніе и падать духомъ. Надо только продолжать постоянно искать поводовъ хотя бы мысленно возвращаться къ великимъ нравственнымъ идеямъ. И нѣтъ сомнѣнія, что если мы будемъ пользоваться всякимъ случаемъ, чтобы думать о нихъ, то онѣ перестанутъ быть мертвыми идеями, безжизненными и холодными, но будутъ согрѣты всею теплою чувства, доступнаго намъ, и будутъ вызывать въ насъ весь тотъ энтузіазмъ, на который мы только способны. И тогда у отвлеченныхъ идей вырастутъ крылья, которыя дадутъ намъ возможность «наши благіе порывы» претворить въ подвигъ братской любви. Мы должны и можемъ искать себѣ въ этомъ смыслѣ союзниковъ въ области литературы и искусства. Старайтесь по преимуществу читать тѣ литературныя произведенія, смотрѣть тѣ картины, слушать ту музыку, которыя пробуждаютъ въ васъ мысли о нравственно-прекрасномъ, вызываютъ восторгъ и восхищеніе передъ красотою нравственности, и избѣгайте въ этой области всего того, что будитъ низменные инстинкты и пошлыя мысли, и вы этимъ самымъ будете прокладывать для своей душевной жизни свѣтлую дорогу, ведущую ее на безпредѣльную высоту истинно-человѣческаго существованія, а не спускающую, наоборотъ, въ темныя пропасти, гдѣ все великое, свѣтлое и прекрасное гаснетъ и разлетается какъ дымъ. «Въ моральномъ воспитаніи,—говорить Лекки,—важно пріобрѣсти способность отгонять деморализующіе мысли и образы, столь неотвязчиво преслѣдующіе многихъ, а также бороться съ соблазнами посредствомъ обращенія

къ болѣе чистымъ, высокимъ и сдерживающимъ мыслямъ. Способность измѣнять и усиливать свои побужденія выдвиганіемъ на первый планъ однихъ мыслей, образовъ и предметовъ и отстраненіемъ отъ себя другихъ является однимъ изъ главныхъ средствъ нравственнаго усовершенствованія *)». И эту способность мы должны развивать въ себѣ, если желаемъ дать нашимъ чувствованіямъ и вообще всей нашей душевной жизни болѣе высокій полетъ, пользуясь для этого вмѣстѣ съ тѣмъ всѣмъ тѣмъ хорошимъ, что даютъ въ наше распоряженіе литература и такъ называемыя искусства, какъ-то: живопись, скульптура, музыка и т. д.

Воспитывая, такимъ образомъ въ себѣ нравственный интеллектъ и нравственные чувствованія, мы тѣмъ самымъ косвеннымъ образомъ воспитываемъ въ себѣ и нравственную волю, такъ какъ представленія и чувствованія являются опредѣляющими факторами въ развитіи воли. Но воля вмѣстѣ съ тѣмъ развивается и прямо, именно путемъ дѣйствія. Нравственное дѣйствіе приводитъ и къ выработкѣ все болѣе и болѣе совершенной нравственной воли. Съ каждымъ нравственнымъ дѣйствіемъ воля чловѣка все болѣе рѣшительнымъ образомъ направляется на тотъ путь, который ведетъ въ царство идеала. И ничто такъ не способствуетъ воспитанію нравственной воли, какъ соединенная сознательная дѣятельность многихъ, направленная на самыя высокія нравственные цѣли. Какъ составной элементъ общественной нравственной воли и индивидуальная воля отдѣльной личности получаетъ твердую точку опоры, растетъ, мужаетъ и крѣпнетъ и дѣлается способной выдержать самыя страшныя удары, устоять противъ самыхъ сильныхъ искушеній и не дрогнуть передъ самыми неожиданными опасностями. Въ священномъ союзѣ нравственности, въ святой общей работѣ, направленной на установленіе царства справедливости, любви и правды среди чловѣчества, личность даетъ себѣ самое дѣйствительное, самое полное, самое совершенное нравственное самовоспитаніе, которое ее подымаетъ до безпредѣльной высоты нравственной

*) В. Лекки. Планъ жизни. Характеръ и поведеніе. Пер. Л. Локіера. Стр. 256.

личности и окружаетъ свѣтлымъ ореоломъ истиннаго величія, героизма и благородства. Только здѣсь, только на этомъ пути личность все болѣе и болѣе обновляется, расширяя и углубляя содержаніе своей жизни до предѣловъ возможнаго и дѣлая это содержаніе все болѣе и болѣе цѣннымъ.

Все это такъ, скажутъ намъ, но все это доступно только немногимъ личностямъ, сильнымъ душой, вѣрящимъ въ жизнь, не отчаявшимся въ своихъ силахъ. А что дѣлать тѣмъ многимъ молодымъ, которые, подобно Татьянѣ въ «Мѣщанахъ» Горькаго, устали жить, которые говорятъ, что имъ «негдѣ, нечѣмъ, незачѣмъ жить», которые чувствуютъ себя слабыми и ничтожными, у которыхъ въ груди незамѣтно для нихъ «выросла пустота», которыхъ пошлость, мелочи, тѣснота, мѣщанская атмосфера жизни незамѣтно, потихоньку раздавили. Эти люди и хотѣли бы смотрѣть на жизнь весело и бодро, но не могутъ, у нихъ нѣтъ вѣры въ сердцѣ, они не способны жить мечтами. Всякія мысли о будущей идеальной жизни они, подобно Татьянѣ, назовутъ «сказками». По ихъ мнѣнію, жизнь «течетъ тихо, однообразно, какъ большая мутная рѣка» (стр. 5), она «всегда была такая, какъ и теперь... мутная, тѣсная... и всегда будетъ такая» (стр. 130)... Что дѣлать этимъ бѣднымъ, слабымъ, раздавленнымъ торжествующимъ «мѣщанствомъ?» Они сами спасти себя не могутъ и предоставленные самимъ себѣ они окончательно задохнутся въ атмосферѣ мѣщанской пошлости или кончатъ жизнь свою самоубійствомъ... Здѣсь бесполезно говорить о нравственномъ самовоспитаніи, потому что изсякли всякія силы для подобнаго самовоспитанія. Здѣсь нужно нравственное воспитаніе, и прежде всего необходимо этихъ людей исторгнуть изъ той среды, которая задушила всѣ ихъ лучшія силы, которая подорвала въ нихъ всякую вѣру въ будущее...

Татьяну и ей подобныхъ могутъ спасти люди, такіе, напр., какъ Нилъ, выведенный въ тѣхъ же «Мѣщанахъ». Этотъ не принадлежитъ къ категоріи тѣхъ людей, которые, «стоя на порогѣ жизни, уже полумертвы», которые «не живутъ, а такъ какъ-то слоняются около жизни и по неизвѣстной причинѣ стонутъ

да жалуются и не дѣлають никакихъ усилій, чтобы выйти изъ того положенія, въ которомъ находятся». Нилу нравится жить, онъ находитъ, «что жить на землѣ»—это большое удовольствіе. «Ѣздить на скверныхъ паровозахъ осенними ночами,—говорить онъ,—подъ дождемъ и вѣтромъ... или зимою... въ метель, когда вокругъ тебя нѣтъ пространства, все на землѣ закрыто тьмой, завалено снѣгомъ,—утомительно Ѣздить въ такую пору, трудно... опасно, если хочешь,—и все же въ этомъ есть своя прелесть! Все-таки есть! Въ одномъ не вижу ничего пріятнаго,—въ томъ, что мною и другими честными людьми командуютъ свиньи, дураки, воры... Но, жизнь не вся за ними! Они пройдутъ, исчезнутъ, какъ исчезаютъ нарывы на здоровомъ тѣлѣ. Нѣтъ такого расписанія движенія, которое бы не измѣнялось». На брошенные ему въ видѣ возраженія слова «посмотримъ, какъ тебѣ отвѣтитъ жизнь», онъ восклицаетъ: «я заставлю ее отвѣтить такъ, какъ захочу. Ты не стращай меня. Я ближе и лучше тебя знаю, что жизнь тяжела, что порою она омерзительно жестока, что разнузданная, грубая сила жметъ и давитъ человѣка, я знаю это—и это мнѣ не нравится, возмущаетъ меня. Я этого порядка не хочу. Я знаю, что жизнь—дѣло серьезное, но не устроенное... что она потребуетъ для своего устройства всѣ силы и способности мои. Я знаю и то, что я—не богатырь, а просто честный, здоровый человѣкъ, и все-таки говорю: ничего! Наша возьметъ! И на всѣ средства души моею удовлетворю мое желаніе вмѣшаться въ самую гущу жизни... мѣсить ее и такъ, и этакъ, тому—помѣшать, этому—помочь... вотъ въ чемъ радость жизни!» (стр. 144). Только среди людей, подобныхъ Нилу, и при болѣе внимательномъ и вдумчивомъ отношеніи къ себѣ съ ихъ стороны и личности, подобныя Татьянѣ, могли бы возродиться къ свѣтлой, новой жизни, полной кипучаго и бодрого труда надъ несовершенствами общественнаго быта и неутомимой работы надъ своимъ собственнымъ нравственнымъ самовоспитаніемъ. Но ихъ надо спасти, а не оттолкнуть, ихъ надо вытащить изъ болота, изъ котораго сами себя они вытащить не въ состояніи, имъ надо протянуть руку помощи и незамѣтно для нихъ втянуть въ общую широкую

работу нравственнаго обновленія человѣчества, которая кипитъ въ разныхъ уголкахъ и закоулкахъ жизни, которая происходитъ въ различныхъ поприщахъ и областяхъ ея и которая требуетъ такого большого количества силъ и такъ много работниковъ. И тогда они сдѣлаютъ еще болѣе могучею ту великую рать связанныхъ въ одно солидарное цѣлое мужественныхъ, стойкихъ борцовъ за свѣтлое будущее человѣчества. И только тогда соединенными усилями всего этого множества людей удастся наконецъ создать тотъ колоколъ, о которомъ мечталъ колокольный литейщикъ Гейнрихъ въ «Потонувшемъ колоколѣ» Г. Гауптмана, колоколъ, въ звукъ громовыхъ трубъ котораго потонутъ звоны всѣхъ колоколовъ

„И въ ликованьи гулкою возрастая,
Онъ міру возвѣститъ рожденье дня“.

И только тогда, когда отдѣльная личность будетъ стоять на твердомъ фундаментѣ солидарнаго союза съ другими людьми, все расширяющагося, становящагося все тѣснѣе и глубже и одушевленнаго самыми высокими нравственными задачами, только тогда она въ состояніи будетъ сказать и оправдать на дѣлѣ слова, сказанныя, но, къ сожалѣнію, не доказанныя Гейнрихомъ, и именно потому, что онъ былъ одинокъ въ своей борьбѣ, въ своей работѣ и жизни:

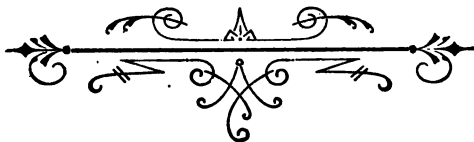
„И если тина, яростно вскипѣвши,
Всей силой тьмы, накинется свирѣпо,
Чтобъ загасить огонь моей души,—
Я знаю, что хочу и что могу я.
Я много колокольныхъ формъ разбилъ,
Еще однажды я взметну свой молотъ,
И колоколъ, который будетъ сдѣланъ
Искусствомъ низкой черни—изъ тщеславья,
Изъ желчи, злобы, изъ всего дурного,
Быть можетъ, чтобы глупость гѣла въ немъ,—
Тотъ колоколъ я мастерскимъ ударомъ
Разрушу, и исчезнетъ онъ, какъ пыль“ *).

*) Г. Гауптманъ. Драматическія сочиненія. „Потонувшій колоколъ“, стр. 402.

Прежде, чѣмъ окончить настоящую статью, мы считали бы полезнымъ остановиться еще хотя бы въ общихъ чертахъ на одномъ очень характерномъ явленіи современной жизни. Если семидесятые и восьмидесятые годы характеризовались тѣмъ, что было названо «болѣзнью совѣсти», то какъ отличительную черту нашего времени можно отмѣтить то, что лучше всего назвать «болѣзнью чести» (см. по этому поводу соч. Глѣба Успенскаго, изд. Павленкова, 1889 г., вступительную статью о немъ Н. Михайловскаго, стр. XXXIII и т. д.). Героями тогдашняго времени являлись «кающіеся дворяне», люди съ сознаниемъ своего долга и своей великой отвѣтственности передъ народомъ, на переднемъ планѣ стояло пробужденіе чувства своей грѣховности, своей виновности передъ народомъ и обществомъ, сознание того «свиного элемента», въ который большинство глубоко погрязло, и желаніе во что бы то ни стало освободиться отъ него, очиститься, отречься отъ всякихъ удобствъ жизни, наложить на себя жертвы, подвергнуть себя всевозможнымъ лишеніямъ. Теперь декораціи совершенно перемѣнились, на сцену жизни выступилъ новый типъ, представитель «оскорбленной чести», который смотритъ на самого себя, какъ на «вещественное доказательство совершеннаго обществомъ преступленія», котораго тоже тяготитъ и давить «свиной элементъ» и который требуетъ для себя во что бы то ни стало условій «истиннаго человѣческаго существованія». Униженное человѣческое достоинство, личность, оскорбленная въ своихъ лучшихъ стремленіяхъ,—вотъ главная тема современныхъ беллетристическихъ произведеній. Эта тема, напри- мѣръ, красною нитью проходитъ въ произведеніяхъ М. Горькаго, всѣ герои котораго являются, главнымъ образомъ представителями оскорбленной чести. Она сквозитъ и въ другихъ лучшихъ беллетристическихъ и иныхъ литературныхъ произведеніяхъ переживаемаго нами времени. Контрастъ особенно разительный, если сравнить героевъ Горькаго съ главными дѣйствующими лицами произведеній, напр., Глѣба Успенскаго, гдѣ «болѣзнь совѣсти» играетъ первенствующую роль. Но это обостреніе «чувства чести» съ тѣмъ большею настойчивостью выдвигаетъ на первый планъ вопросъ о нравствен-

номъ самовоспитаніи. Какъ бы внѣшній порядокъ вещей не унижалъ насъ, — стремясь измѣнить его, предъявляя къ нему, или, вѣрнѣе, къ его защитникамъ, тѣ или другія требованія и добиваясь ихъ удовлетворенія, — мы должны вмѣстѣ съ тѣмъ путемъ неутомимой работы надъ самими собою, не переставая, продолжать возвышаться духовно и нравственно, не покладая рукъ, воспитывать въ себѣ новую нравственную личность и мы должны содѣйствовать всѣми силами воспитанію подобной личности въ тѣхъ, кому условія жизни не позволяютъ приняться за самовоспитаніе.

К. Н. Вентцель.





Кн. Георгій Александрович Дадіани.

(По личнымъ воспоминаніямъ.)

Въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ я былъ студентомъ.

Окончивъ гимназію, мы не вѣрили ни во что. Предполагалось, что въ университетѣ мы выработаемъ свои убѣжденія, свои вѣрованія и во имя этихъ вѣрованій будемъ работать и жить.

Мнѣ посчастливилось: я имѣлъ возможность встрѣчаться съ нѣкоторыми выдающимися по своему уму людьми. Многіе изъ нихъ принимали самое дѣятельное участіе въ реформахъ шестидесятыхъ годовъ. Ихъ бесѣды были полны интереса, ума; онѣ

будили мысль, наталкивали на всевозможные вопросы, но одного я тутъ не находилъ—это вѣры во что-нибудь, во имя чего стоило бы жить. Казалось, что люди живутъ разумной жизнью только по инерціи. Но мы не начинали еще жить, а потому жить по инерціи мы не могли, а для чего жить—мы не знали. Слишкомъ мало давали намъ и писатели, и публицисты того времени *). Все это было или переливаніе изъ пустого въ порожнее, или самое безнадежное уныніе. Можетъ быть, на самомъ дѣлѣ было и не такъ, можетъ быть, у всѣхъ этихъ людей, пережившихъ шестидесятыя и семидесятыя годы, и была вѣра во что-нибудь и были убѣжденія, но только мы не видѣли ни этой вѣры, ни этихъ убѣжденій. Намъ надо было найти что-то свое, безъ чего жизнь казалась невозможной. Но найти мы не могли и съ отчаяніемъ въ душѣ видѣли, что нѣтъ никого, кто помогъ бы намъ. Намъ не на кого было надѣяться. Таково было *мое* настроеніе и *многихъ* изъ моихъ товарищей въ то время, когда наше вниманіе было привлечено новымъ теченіемъ мыслей Л. Н. Толстого. Онъ тоже не могъ жить безъ вѣры и, сознавшись себѣ, что не знаетъ во имя чего живетъ, онъ со всею свойственною ему страстностью сталъ искать истины и вѣры.

Ни положительная наука, ни метафизика не могли удовлетворить его, и потому онъ обратился къ тѣмъ, кто никогда не зналъ никакой науки,—къ народу. «Надо понять душу народа, надо сумѣть переселиться въ эту душу, чтобы понять, во имя чего этотъ народъ живетъ и страдаетъ»—такъ писалъ Толстой,—а чтобы понять народъ, надо отказаться отъ своей барской жизни, надо признать ничтожнымъ, ничего не значущимъ свой умъ со всѣми его знаніями и самое главное надо жить жизнью народа и вмѣстѣ съ нимъ нести его тяготы. Это былъ тяжелый, тернистый путь; но на этомъ пути мы надѣялись найти истину и вѣру, во имя которыхъ стоило бы и хотѣлось бы жить. И мы вступили на этотъ путь.

*) Обращаемъ вниманіе читателя на то, что авторъ говоритъ здѣсь лишь о настроеніи кружка, къ которому онъ принадлежалъ, и редакція не видитъ нужнымъ, такъ сказать, ни обобщать этого настроенія, ни выдавать мнѣнія автора за господствующее въ обществѣ 80-хъ годовъ. Редакція.

Много хорошаго я пережилъ и много встрѣчалъ я на этомъ пути хорошихъ, сильныхъ людей. Большинство изъ нихъ живы и сейчасъ. Многие тамъ и остались и такъ сроднились съ тяжелой жизнью народа, что другой жизни не могутъ себѣ и представить. Про этихъ людей нельзя было бы сказать, что у нихъ нѣтъ вѣры. Только очень сильная вѣра могла дать имъ силу идти по ихъ тернистой дорогѣ.

Думая объ этихъ людяхъ, я съ чувствомъ особеннаго уваженія вспоминаю всегда о Георгіѣ Александровичѣ Дадіани.

Дѣдъ Г. А. былъ владѣтельнымъ княземъ Мингреліи. Раннее дѣтство Г. А. провелъ, согласно существовавшимъ тогда обычаямъ его страны, въ семьѣ своей кормилицы. Я не разъ слышалъ отъ Г. А., что его молочные братья и сестры гораздо ему дороже и ближе, чѣмъ его родные братья. Дома ему пришлось пожить недолго; вскорѣ его отдали въ кадетскій корпусъ. Изъ этого корпуса онъ вынесъ, повидимому, мало хорошаго. «Что я знаю,—часто говаривалъ онъ,—ничего, рѣшительно ничего;—вотъ развѣ, что въ лошадяхъ толкъ понимаю». Я никогда не слыхалъ, чтобы Г. А. помянулъ добромъ этотъ корпусъ.

Вотъ каковъ былъ багажъ, съ которымъ кадеты выходили въ жизнь. И эта жизнь была такова, что Г. А. не могъ оглянуться на нее безъ ужаса. Онъ пережилъ и мирное, и военное время, участвовалъ въ двухъ кампаніяхъ. «Вздоръ говорятъ,—такъ нерѣдко рассказывалъ онъ,—будто бы во время сраженія не страшно. Нѣтъ, страшно, очень страшно».

Вообще же о своей прошлой жизни Г. А. рассказывать не любилъ. «Нечего рассказывать,—обыкновенно говорилъ онъ,—развратъ и пьянство, и больше ничего». Онъ занималъ видный постъ въ Тифлисѣ, имѣлъ чинъ подполковника, большія связи, знатную и богатую родню,—однимъ словомъ, блестящая карьера, которой всякій позавидовалъ бы, дѣлалась сама собою. Такъ прожилъ онъ почти до сорока лѣтъ. Ничто не мѣшало легкой, пріятной жизни, которую велъ Дадіани. Быть можетъ, онъ былъ бы теперь уже генераломъ или гдѣ-нибудь губернаторомъ, если бы не встрѣтилъ на Кавказѣ одного ссыльнаго, своего стараго товарища и сослуживца.

Исторія этого человѣка очень любопытна и поучительна. Принадлежа къ высшему, знатному кругу общества, онъ былъ военнымъ и, имѣя огромныя связи при дворѣ, быстро дѣлалъ карьеру. Но вотъ на войнѣ ему случилось какъ-то особенно удачно убить одного изъ непріятелей. Я не помню подробностей, какъ именно это случилось, но знаю, что всѣ его за это очень хвалили и превозносили. А онъ самъ, между тѣмъ, былъ въ глубокомъ раздуміи: «Онъ убилъ человѣка — и всѣ его хвалятъ, какъ будто бы онъ сдѣлалъ что-то хорошее». И тогда въ душу его закралось сомнѣніе въ истинности общепринятыхъ убѣжденій и вѣрованій. Онъ былъ изъ тѣхъ людей, убѣжденія которыхъ никогда не расходятся съ ихъ жизнью. Начавшійся въ немъ душевный процессъ заставилъ его бросить службу и старую жизнь. Сначала онъ поселился въ родной деревнѣ, гдѣ, продавъ почти даромъ всю свою землю крестьянамъ, сталъ самъ жить крестьянской трудовой жизнью. Но онъ не умѣлъ и не хотѣлъ ни отъ кого скрывать своихъ мыслей и, въ результатѣ, очутился въ Закавказьѣ, гдѣ и встрѣтился съ Г. А., и вотъ эта-то встрѣча открыла Г. А. глаза. Вся его жизнь, вся его карьера вдругъ представились ему чѣмъ-то нелѣпымъ, ужаснымъ, ненужнымъ. «Бѣжать, бѣжать отъ этой жизни, если не для себя, то хоть для дѣтей, вырвать ихъ изъ этого омута». Ушелъ онъ не сразу. Нѣкоторое время онъ еще продолжалъ служить. Но прежняя свѣтская жизнь съ выѣздами и пріемами уже прекратилась. Г. А. сдѣлался вдругъ какъ бы ходатаемъ передъ высшимъ начальствомъ за угнетенныхъ, слабыхъ и обиженныхъ.

Онъ обладалъ въ большой степени способностью держаться просто и ласково, какъ съ людьми, стоявшими много ниже его по общественному положенію, такъ и съ людьми, стоявшими выше его въ этомъ отношеніи. Среди людей, за которыхъ онъ ходатайствовалъ, напр., среди сектантовъ, Г. А. пріобрѣлъ много друзей, которые всегда относились къ нему съ самой глубокой благодарностью, выражавшейся наивно и просто. Такъ, напримеръ, уже нѣсколько лѣтъ спустя, эти сектанты прислали ему для посѣва какую-то особенную пшеницу, и это — несмотря на то что сами находились въ очень бѣдственномъ положеніи.

Быть может, роль ходатая примирила бы его съ своимъ положеніемъ, но мысль о дѣтяхъ не давала ему покоя. Во что бы то ни стало рѣшилъ онъ измѣнить свою жизнь. Въ своей женѣ, воспитанной и выросшей въ томъ же высшемъ кругу общества, онъ нашелъ полную поддержку.

Высшее начальство сначала просто не хотѣло вѣрить, что Г. А. выходитъ въ отставку. «Какъ, бросить службу? Отказаться отъ столь блестящей карьеры? И ради чего же?—ради какихъ-то «туманныхъ разсужденій», ради какой-то «философіи»,—это казалось начальству просто безуміемъ и временнымъ умопомраченіемъ, которое, навѣрное, скоро пройдетъ. Но Г. А. рѣшенія своего не измѣнялъ; ни просьбы, ни уговоры, ничто не помогало; наконецъ на него махнули рукою и дали отставку. «Подайте хоть просьбу о пенсіи», говорили ему. Но онъ и этого не сдѣлалъ.

«Если я заслужилъ пенсію,—отвѣчалъ онъ,—то мнѣ сами ее должны дать, а просить я не буду».

А, между тѣмъ, его матеріальное положеніе было очень тяжелое. Совмѣстно съ братьями, Дадіани былъ обладателемъ многихъ тысячъ десятинъ земли въ Мингреліи, но раздѣла совершить почему-то было нельзя, продать этой земли тоже было нельзя, а доходовъ братья съ земли ему никакихъ не высылали, быть можетъ, потому, что Г. А. не умѣлъ на этомъ настаивать. Итакъ, когда онъ вышелъ въ отставку, у него была семья на рукахъ и всего двѣ тысячи руб., принадлежавшихъ женѣ.

На эти деньги Дадіани рѣшили купить небольшой клочокъ земли и устроить хозяйство. Сначала онъ поселился вмѣстѣ съ своимъ старымъ другомъ, тѣмъ самымъ, встрѣча съ которымъ такъ повліяла на всю его дальнѣйшую жизнь. Но вскорѣ этотъ послѣдній былъ переведенъ съ Кавказа въ Прибалтійскій край. За короткое время, проведенное въ совмѣстной жизни съ товарищемъ, Г. А. успѣлъ научиться работать и смотрѣлъ въ будущее смѣло и увѣренно.

Осенью 1895 года Г. А. пріѣхалъ въ Нальчикъ *). Тутъ въ

*) Мѣстечко на Сѣв Кавказѣ.

Нальчикъ я съ нимъ и познакомился. Г. А. производилъ впечатлѣніе очень простаго, скромнаго, спокойнаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, очень твердаго человѣка; таковымъ онъ былъ и на самомъ дѣлѣ, какъ убѣдился я въ послѣдствіи, сойдясь съ нимъ ближе. Но кромѣ того, это былъ необыкновенно правдивый и очень добрый человѣкъ. Впрочемъ объ этомъ послѣ.

Въ Нальчикѣ въ то время жила семья С—выхъ. С—въ еще юношей работалъ у Энгельгардта и съ тѣхъ поръ никогда не переставалъ жить жизнью простаго крестьянина. С—вы хотѣли купить землю гдѣ-нибудь на сѣверномъ Кавказѣ и въ Нальчикѣ жили только временно, пока не найдутъ чего-либо подходящаго.

Было рѣшено, что Дадіани купятъ землю вмѣстѣ съ С—выми, но, во избѣжаніе лишнѣхъ трудностей, каждая семья будетъ жить въ отдѣльномъ домѣ своимъ отдѣльнымъ хозяйствомъ.

Къ этой компаніи присоединился я и еще кое кто изъ знакомыхъ. Я въ это время шелъ уже *другими путями* и въ покупкѣ земли участвовалъ «такъ себѣ», на всякій случай.

Найти подходящую землю было очень трудно. Хотѣли, чтобы была хорошая, плодородная земля, чтобы былъ лѣсъ для дровъ, чтобы была хорошая вода и чтобы мѣстность была не лихорадочная. Послѣ долгихъ поисковъ, наконецъ, нашли участокъ земли, удовлетворяющій всѣмъ этимъ требованіямъ. Онъ былъ расположенъ въ долинѣ въ горахъ, покрытыхъ чудными лѣсами. По немъ протекала быстрая, горная рѣка, около береговъ которой выходило множество ключей съ прекрасной водой. Въ ясные дни открывался чудный видъ на снѣговыя вершины. Мѣстность была абсолютно не лихорадочная. Земля была хорошая, — песчаный черноземъ. Единственно, что могло огорчать компанію—это нѣкоторая суровость климата, благодаря которой не могъ, напримѣръ, вырѣвать виноградъ. Но красота мѣстности, отсутствіе лихорадокъ, обиліе лѣса и воды — такъ всѣхъ восхищали, что на это неудобство мало обращали вниманія. Были еще и другія неудобства, но первое время и ихъ совершенно игнорировали. Мѣсто было очень глухое: ближайшее осетинское селеніе было въ 4-хъ верстахъ, а ближайшее русское — въ 30-ти. Базаръ находился за 60 верстъ, а желѣзнодорожная

станція и почта почти въ 50-ти верстахъ. Къ этимъ неудобствамъ надо прибавить очень дождливое лѣто и массу камней на поляхъ; и то, и другое, осложняя и затрудняя полевые работы, отнимало массу лишняго времени и труда, такъ что условія работы казались очень тяжелыми.

Участокъ купили зимою, а весною на немъ уже поселились семьи Дадіани и С—выхъ. Все лѣто, пока не было отстроено домовъ, жили въ наскоро построенныхъ сараяхъ. Только къ осени перебрались во вновь отстроенные дома.

Небольшія деньги Дадіани ушли на покупку земли и устройство хозяйства. Началась трудная жизнь. Надо было быть и около дома: накормить и напоить скотъ, убрать навозъ, навозить и наколоть дровъ, наносить воды; надо было и работать въ полѣ. Работника принанять было не на что. И вотъ Г. А. работаетъ цѣлый день, съ ранняго утра и до поздней ночи. И, при такой работѣ, онъ не можетъ даже позволить себѣ хорошо питаться. За недостаткомъ средствъ, хлѣбъ ѣли не чистый пшеничный, а наполовину пшеничный, наполовину изъ кукурузной (маисной) муки, которая на Кавказѣ очень дешева; такой хлѣбъ сначала кажется очень вкуснымъ, но скоро пріѣдается, къ тому же онъ гораздо труднѣе переваривается, чѣмъ пшеничный; а, между тѣмъ, при отсутствіи мяса и при недостаткѣ молока (зимою случилось, что молока не было по цѣлымъ мѣсяцамъ), хлѣбъ являлся главною основою питанія, такъ что при самой напряженной работѣ Г. А. еще и не доѣдалъ, и не досыпалъ. Онъ не признавалъ къ тому же никакихъ праздниковъ, отдыхая только въ случаѣ болѣзни. И, несмотря на все это, я никогда не слыхалъ, чтобы Г. А. жаловался на свою жизнь или пожалѣлъ о прежней, оставленной имъ жизни. По большей части, онъ былъ бодръ, веселъ, добродушенъ и находилъ свою жизнь прекрасной.

Никогда Г. А. не гордился своею жизнью подвижника, ему никогда и въ голову не приходила мысль, что его можно считать подвижникомъ. «Какая же заслуга въ томъ, чтобы выбрать себѣ жизнь наиболѣе простую, здоровую, естественную и счастливую,—и жить этой жизнью»,—такъ не разъ говаривалъ онъ.

Напротивъ, своихъ прежнихъ сослуживцевъ и знакомыхъ онъ считалъ добровольными жертвами ихъ собственнаго безумія и искренно о томъ жалѣлъ.

Одѣвался Дадіани очень просто, почти по-нищенски, на голову лѣтомъ, вмѣсто башлыка, онъ наворачивалъ простое полотенце, находя это очень удобнымъ, и не обращалъ никакого вниманія на насмѣшки прохожихъ. Конечно, никому изъ нихъ и въ голову не приходило при видѣ этого болѣе, чѣмъ скромно одѣтаго человѣка, что это родовитый князь и бывшій полковникъ. На этой почвѣ происходили иногда довольно любопытные эпизоды. Ёдемъ, наприм., мы съ Г. А. на возу, навстрѣчу ѣдетъ налегкѣ кабардинецъ. «Ну, сворачивай что ли!»—кричитъ Г. А. — «А ты, князь что ли, что я буду сворачивать», грубо отвѣчаетъ кабардинецъ и нехотя, лѣниво уступаетъ дорогу. «Конечно, князь», кидаетъ ему, смѣясь Г. А. Кабардинецъ тоже хохочетъ. Или вступаетъ на базарѣ Г. А. въ споръ съ торговцемъ, который хочетъ его надуть. Въ это время подходитъ кто-то изъ толпы и, обращаясь къ Г. А., говоритъ: «Да что ты съ нимъ споришь? развѣ ты не знаешь, кто онъ? Вѣдь, онъ отставной капралъ!»—«Что мнѣ капралъ,—отвѣчаетъ Г. А.,—я самъ полковникъ».—Въ толпѣ хохотъ.

Г. А. конечно зналъ, что никто не повѣритъ этимъ заявленіямъ и потому только и называлъ себя то княземъ, то полковникомъ. Впрочемъ, иногда приходилось вѣрить ему поневолѣ, и тогда получался неожиданный эффектъ.

Однажды на станціи желѣзной дороги около кассы Г. А. замѣтилъ, что жандармскій унтеръ-офицеръ толкнулъ пассажира. «Послушай,—обращается къ нему Г. А.,—ты поставленъ здѣсь для порядка, а, между тѣмъ, самъ же толкаешься». Конечно, жандармъ вознегодовалъ.—«Да ты кто такой? да какъ ты смѣешь мнѣ выговаривать? Я тебя арестую; давай твой пачпортъ». Г. А. улыбается и спокойно отвѣчаетъ: «Лучше не проси пачпорта: стыдно тебѣ будетъ». Жандармъ приходитъ въ бѣшенство и кричитъ: «давай пачпортъ, сейчасъ давай!» Г. А., не слѣша, достаетъ паспортъ и подаетъ его жандарму. Жандармъ читаетъ, блѣднѣетъ, вытягивается во фронтъ, дѣлаетъ подъ козырекъ

и, заикаясь, лепечетъ извиненія. «Вотъ, видишь, я говорилъ, что стыдно тебѣ будетъ»,—замѣчаетъ Г. А.

Вообще же Г. А. считалъ чѣмъ-то вродѣ оскорбленія, когда его называли княземъ.

Однажды мы пріѣхали съ нимъ на почтовую станцію и, сидя на постояломъ дворѣ, пили чай и благодушно бесѣдовали. Въ нашей бесѣдѣ принималъ участіе и хозяйскій рабочій, который держалъ себя вполнѣ просто и свободно. Въ это время подошелъ хозяинъ постоялаго двора. Миѣ очень хотѣлось теперь же, вечеромъ получить почту, но я боялся, что начальникъ почтоваго отдѣленія не захочетъ отдать почту до утра, и потому обратился къ хозяину со словами: «не можете ли вы сходить въ почтовую контору и спросить начальника, нельзя ли придти сейчасъ получить почту?»—и, боясь получить отказъ, тутъ же прибавилъ: «скажите, что пріѣхалъ полковникъ Дадіани». Услыхавъ эти слова, работникъ вскочилъ и почтительно сталъ въ отдаленіи. Г. А. очень огорчился и закачалъ укоризненно головой: «ну, зачѣмъ вы это сказали? Видите, какъ это портитъ отношенія между людьми...»—и онъ указалъ на стоявшаго поодаль работника.

На словахъ Г. А. никогда не былъ особенно добръ, но на дѣлѣ чрезвычайно добръ. Самъ работая черезъ силу, самъ не доѣдая, онъ все-таки никогда не отказывался помочь сосѣду. Рядомъ съ нимъ жилъ человѣкъ, у котораго не было лошадей, который и работать хорошо не умѣлъ. Г. А. не разъ бросалъ свою работу и помогалъ въ работѣ сосѣду, не разъ онъ пахалъ ему поле; если у сосѣда не было молока, то онъ дѣлился съ нимъ послѣднимъ. Однажды, когда у сосѣда не было ни денегъ, ни хлѣба, онъ повезъ съ нимъ на своихъ лошадяхъ продавать на базаръ картофель, бросивъ всѣ свои дѣла.

Нельзя отрицать, что эта доброта стоила ему гораздо больше, чѣмъ доброта богачей, жертвующихъ отъ своихъ избытковъ на бѣдныхъ. Г. А. буквально отдавалъ свою жизнь.

Доброта его простиралась и на животныхъ. За своими лошадьми онъ ухаживалъ съ замѣчательной заботливостью. Ему даже было какъ бы совѣстно передъ ними, что онъ заставляетъ ихъ работать, и онъ требовалъ отъ нихъ только самую необходимую

работу. Никогда не позволялъ онъ себѣ безъ надобности быстро ѣхать. Я уже упоминалъ, что отъ насъ, до почты было около 50 верстъ. С—въ нерѣдко проѣзжалъ это разстояніе въ 5 часовъ. Г. А. ѣздилъ всегда почти шагомъ, даже и тогда, когда былъ налегкѣ. Надо было запастись громаднымъ терпѣніемъ, отправляясь съ нимъ въ дорогу; на сѣтованья нетерпѣливаго попутчика Г. А. только добродушно посмѣивался.

Недавно одна его знакомая рассказывала мнѣ слѣдующій случай, очень хорошо характеризующій отношеніе Г. А. къ животнымъ:

Бросивъ службу, онъ пѣшкомъ отправился изъ Тифлиса къ своему пріятелю, тому ссыльному, о которомъ я упоминалъ. По дорогѣ ему встрѣчается крестьянинъ верхомъ на ослѣ. Оселъ, вѣроятно, усталъ, выбился изъ силъ и потому дальше идти не хотѣлъ, а крестьянинъ билъ его немилосердно. «Какъ тебѣ не стыдно? какъ тебѣ не жаль бѣднаго осла?»—обращается Г. А. къ крестьянину.—«А чего я буду его жалѣть?»—отвѣчаетъ тотъ,—развѣ онъ мой братъ?»—«Конечно, братъ»—говоритъ Г. А., желая этимъ дать понять, что и осла надо жалѣть, какъ брата.—«Можетъ быть, ты его братъ, а не я братъ осла...», говоритъ уже нѣсколько обиженный крестьянинъ. Видя, что никакіе уговоры не помогаютъ, Г. А. покупаетъ у крестьянина осла, беретъ его за поводъ и ведетъ за собой. Идти было жарко, и вотъ онъ снимаетъ мундиръ и надѣваетъ его на осла. Встрѣчавшіеся люди, видя, что оселъ идетъ въ мундирѣ, а Г. А. въ одной рубашкѣ, изумлялись, а нѣкоторые даже выражали сомнѣніе, въ своемъ ли онъ умѣ.

Въ то время, когда пріобрѣтали участокъ и устраивались на немъ, я жилъ далеко въ центрѣ Россіи. Однако, разстроенное здоровье дѣтей и мое собственное побудили меня, бросивъ все, поселиться тоже на этомъ участкѣ. Я выстроилъ небольшой домикъ недалеко отъ Дадіани и сталъ понемногу работать; стараясь, между прочимъ, развести фруктовый садъ. Фруктовый садъ разводилъ и Г. А. и оказывалъ ему особенное вниманіе и заботы; на садъ онъ возлагалъ большія надежды. «Когда я умру,—какъ-то сказалъ онъ полшутя,—заройте меня подъ ябло-

ней въ саду». Никто изъ насъ и не думалъ, что это будетъ скоро, слишкомъ скоро.

Но перехожу къ воспоминаніямъ. Итакъ, я поселился не далеко отъ Дадіани и прожилъ тутъ около двухъ лѣтъ. Я уже упоминалъ, что моя жизнь въ то время шла *другими путями*. На участкѣ я жилъ въ силу сложившихся обстоятельствъ, а не по убѣжденію. С—вымъ это было непріятно. Они хотѣли бы, чтобы на участкѣ жили только люди твердо убѣжденные въ томъ, что земельный трудъ есть единственно нравственный и честный трудъ. На этой почвѣ возникло много споровъ. Г. А. какъ человѣку, только что вступившему на этотъ новый путь жизни, повидимому,—свойственно было бы быть наиболѣе нетерпимымъ, а, между тѣмъ, онъ, какъ разъ наоборотъ, оказывался наиболѣе терпимымъ. Онъ очень просто, бывало, говорилъ: «Посудите сами, чтобы другое могъ я дѣлать; я уже почти старикъ, ничего не знаю и не умѣю. Я допускаю, что будь я врачъ, я могъ бы жить своимъ врачебнымъ дѣломъ. Можетъ быть, можно найти и другія столь же нужныя для людей занятія, напр., трудъ учителя; но для меня нѣтъ другого выбора, кромѣ труда земледѣльца».

Съ глубокой благодарностью вспоминаю я эту широкую терпимость Г. А. Если бы и онъ относился ко мнѣ такъ же, какъ С—вы, то жизнь моя на этомъ глухомъ участкѣ была бы прямо невыносима.

Однимъ изъ самыхъ трудныхъ вопросовъ на участкѣ былъ вопросъ объ умственномъ развитіи дѣтей.

Я настаивалъ на томъ, что руководить умственными занятіями дѣтей долженъ человѣкъ, во-первыхъ, специально къ этому подготовленный, а, во-вторыхъ, человѣкъ матеріально обеспеченный и совершенно свободный отъ всякаго другого труда. Не разъ поднимался и обсуждался вопросъ о томъ, нужны ли вообще спеціальныя умственныя занятія и, если нужны, то въ какой мѣрѣ. С—вы относились къ этому вопросу довольно беззаботно и больше склонялись къ тому, что если и есть потребность сообщить дѣтямъ какія-либо знанія, то этой потребности они свободно могутъ удовлетворить своими силами, между дѣломъ. Этотъ

вопросъ возбуждалъ еще больше разговоръ, чѣмъ вопросъ о земельномъ трудѣ. Я настаивалъ на томъ, что дѣти свободно сами должны выбрать свою дорогу въ жизни, а для того, чтобы они могли сдѣлать сознательный выборъ они должны получить наивозможно болѣе широкое умственное развитіе; они должны прежде всего научиться думать; а научить человѣка думать—это такая трудная задача, которой нельзя заниматься между дѣломъ.

Г. А. въ этомъ вопросѣ не имѣлъ повидимому никакого твердо установившагося взгляда. Однако этотъ вопросъ его очень мучилъ. У него не разъ вырывалась фраза: «Если бы у меня были средства, я пригласилъ бы къ дѣтямъ хорошаго учителя».

Но средствъ не было не только на учителя, но и для покупки самаго необходимаго. И вотъ Г. А. вмѣстѣ съ другими берется за доставку брусевъ на спичечную фабрику. Послѣ обѣда, почти всѣ живущіе на участкѣ мужчины отправлялись въ лѣсъ за восемь верстъ и тутъ накладывали на сани брусъ, вѣсившіе—каждый пудовъ 25 и болѣе. Съ этими брусъями возвращались домой, перекладывали ихъ на колеса и въ ту же ночь, часа въ два, т.-е., почти не спавши, трогались въ путь. А путь предстоялъ не легкій. Брусъя надо было везти за 30 верстъ, по дорогѣ, покрытой тонкимъ слоемъ льда; по пути приходилось переѣзжать въ бродѣ рѣку. Рѣка была всего въ верстѣ отъ дому, такъ что ее переѣзжали еще ночью. Пара лошадей не могла вывезти брусевъ изъ рѣки (ихъ накладывали два на каждую пару), и вотъ приходилось припрягать еще пару и такъ поочередно переправлять всѣ подводы. Иногда лошади становились среди рѣки, и тогда приходилось слѣзать въ воду, чтобы заставить ихъ двинуться. Далѣе, приходилось переѣзжать по узкимъ мостамъ. Однажды Г. А. полетѣлъ вмѣстѣ съ брусъями съ одного изъ этихъ мостовъ; только, благодаря какой-то счастливой случайности, онъ остался живъ.

Къ ночи возвращались домой. День отдыхали, а потомъ опять то же.

Впрочемъ, этотъ ужасный заработокъ продолжался недолго: хозяинъ фабрики обанкротился, и требованіе на брусъя прекратилось.

Эта работа, которая подъ силу только самому выносливому крестьянину и за которую взялся Г. А., показывала, во-первыхъ, всю необыкновенную силу его воли, а во-вторыхъ, то, что онъ уже сильно втянулся въ трудовую жизнь. Послѣ этой работы, никакая работа въ полѣ не могла бы показаться тяжелой или трудной.

Л. Н. Толстой не разъ высказывалъ вполне справедливую мысль, что человѣкъ не можетъ держаться на одномъ уровнѣ, живя нравственной жизнью. Онъ идетъ впередъ по пути все большаго совершенства или наоборотъ дѣлаетъ шагъ назадъ. Г. А., промѣнявъ прежнюю легкую, внѣшне блестящую, но пустую жизнь на жизнь тяжелаго труда и многихъ лишеній, конечно, сдѣлалъ громадный шагъ впередъ по пути нравственнаго совершенствованія. Но какъ ни былъ великъ этотъ шагъ, поступательное движеніе впередъ все-таки не могло продолжаться все время, безостановочно: для этого на нашемъ участкѣ не было одного существенно важнаго условія, именно: *широкаго общенія* съ людьми. Въ самомъ дѣлѣ, борьба и нравственное усиліе были необходимы лишь до тѣхъ поръ, пока организмъ не приспособился къ новымъ условіямъ существованія. Въ тѣ годы (40 лѣтъ), когда Г. А. вступилъ на этотъ новый путь, это приспособленіе должно было совершиться рано или поздно; долженъ былъ наступить тотъ моментъ, когда ручной трудъ сдѣлается потребностью организма легкимъ и пріятнымъ, сонъ становится настолько крѣпкимъ, что и шесть часовъ сна достаточно освѣжаютъ, и простая и грубая пища начинаетъ казаться очень вкусной. Тогда жизнь подобная уже не требуетъ нравственныхъ усилій, она становится легкой и пріятной, и, чтобы не идти назадъ, человѣкъ долженъ найти новые источники приложенія своихъ нравственныхъ силъ для того, чтобы эти силы росли, а не слабѣли.

Не будетъ такихъ источниковъ, и этотъ человѣкъ неминуемо почувствуетъ громадную неудовлетворенность и не успокоится до тѣхъ поръ, пока не найдетъ всѣмъ своимъ нравственнымъ силамъ приложенія. Именно такое душевное состояніе переживалъ Г. А. дѣтомъ 1900 г. Онъ уже привыкъ къ новой жизни. Если

бы не подорванный непосильными трудами и многими лишениями организмъ, то эта жизнь шла бы сама собою, какъ бы по инерціи, не требуя уже никакихъ особыхъ усилій. Для приложенія освободившихся нравственныхъ силъ недоставало, какъ я уже сказалъ, болѣе широкаго общенія съ людьми участія въ общественной жизни ихъ. А, между тѣмъ, на нашемъ глухомъ участкѣ это было невыполнимо. И Дадіани глубоко чувствовалъ неудовлетворенность. Онъ не разъ заговаривалъ съ женою о томъ, не переселиться ли имъ въ свою родную Мингрелію.

Но какъ ему самому, такъ и всѣмъ его домашнимъ было жалко покинуть это мѣсто, эту землю, на которую положено такъ много труда. Кромѣ того, переселившись въ Мингрелію, они боялись оказаться черезчуръ нравственно одинокими.

Впрочемъ, спѣшныя лѣтнія работы не оставляли много времени для размышленія. Но для меня несомнѣнно, что рано или поздно Г. А. выступилъ бы на арену болѣе широкой общественной жизни, и я даже не могу себѣ представить, до какой нравственной высоты онъ поднялся бы и какъ много внесъ бы онъ добра и свѣта въ жизнь, принимая во вниманіе его нравственную мощь и его страстное стремленіе къ истинѣ и правдѣ. Но суждено было иначе.

Въ октябрѣ *) 1900 года Г. А. вмѣстѣ съ С—вымъ поѣхалъ на базаръ. Когда онъ уѣзжалъ, никто изъ остающихся конечно и не думалъ, что видитъ его въ послѣдній разъ. Всю дорогу и на базарѣ Г. А. чувствовалъ себя вполне хорошо. Но, пріѣхавъ съ базара на постоянный дворъ, онъ вдругъ почувствовалъ внутри страшную рѣзъ. Привезли фельдшера, но этотъ бывший ротный фельдшеръ сдѣлалъ только хуже; послали за докторомъ; но докторъ пріѣхать не счелъ возможнымъ; а, между тѣмъ, мученія Г. А. становились прямо ужасными; онъ только повторялъ: «Господи, скорѣе бы конецъ». Послать за семьей онъ не позволялъ; ему, вѣроятно, не хотѣлось увеличить ея горе, сдѣлавъ ее очевидцами такихъ огромныхъ страданій. Промучившись 27 часовъ, онъ вдругъ затихъ на нѣсколько минутъ, потомъ

*) Числа я къ сожалѣнію не помню.

открылъ глаза, попрощался съ С—вымъ и тихо умеръ. Въ то время, какъ онъ затихъ, С—въ подумалъ про себя: «прощается съ семьей». Это было въ 11 часовъ ночи.

На другой день рано, утромъ С—въ, уложивъ на фургонъ тѣло Г. А., помчался домой.

Въ тотъ день сынъ Г. А., проснувшись, спросилъ мать: «пріѣхалъ ли папа?» Та отвѣтила, что пріѣхалъ, потому что она ясно слышала въ 11 часовъ ночи, какъ подъѣхалъ фургонъ и какъ Г. А. взошелъ на крыльцо, но, постоявъ около двери, не вошелъ въ домъ, а пошелъ прочь; навѣрное, онъ не захотѣлъ ее будить, и пошелъ ночевать къ С—вымъ. Она сильно изумилась, когда оказалось, что ни С—въ, ни Г. А. еще не пріѣзжали. Излишне говорить о томъ, какъ велико было горе семьи, когда С—въ примчался съ тѣломъ Г. А.

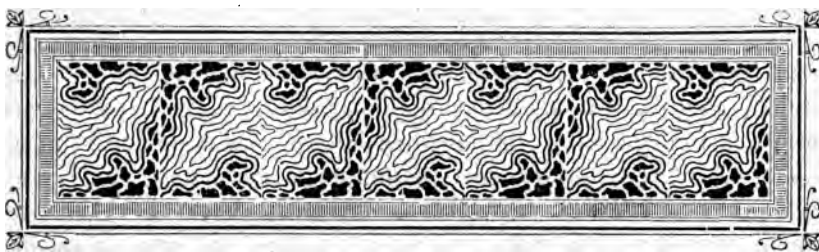
Судебно-медицинское вскрытіе обнаружило непроходимость кишекъ. Во время оказанная разумная медицинская помощь могла бы его спасти.

Смерть Г. А. была подобна жизни въ послѣдніе годы. Онъ жилъ, какъ живетъ всякій бѣдный крестьянинъ, и умеръ, какъ зачастую умираетъ крестьянинъ и рабочій, только потому, что не оказана медицинская помощь: одинокій, вдали отъ своей семьи.

Его тѣло похоронили въ саду, подъ яблоней. Миръ праху твоему большое сердце!

В. Р—въ.





Соборный колоколъ.

(ПОВѢСТВОВАНИЕ).

„Тогда говорить ему Иисусъ: возврати мечъ твой въ его мѣсто; ибо всѣ, взявшіе мечъ, отъ меча погибнутъ“.

Ев. отъ Матѳ., гл. XXVI, 52.

I.

Когда, наконецъ, холмы и курганы Стеньки Разина раскроютъ свои зеленые объятія и пароходъ, на которомъ ѣдете вы, быстрѣе, словно добрый конь, почувшій залитый солнцемъ просторъ, побѣжитъ съ характернымъ тяжелымъ топотомъ внизъ по рѣкѣ; когда Волга покажется вамъ исполинскимъ сверкающимъ мечомъ, вонзившимся въ палевую даль; когда потянутся мимо васъ желтые скаты пологого берега и песчаныхъ отмелей, засинѣютъ дуга, зазеленѣтъ высокій кустарникъ,—вглядитесь: къ вамъ слѣва приближается—растетъ прозрачное облако, съ свинцовымъ налетомъ на немъ. Это—городъ.

Все ближе оно. Таетъ пепельная пыльная дымка. То тамъ, то сямъ сверкнетъ что-то въ ней, зарозовѣтъ, заголубѣтъ; выступятъ бѣлыя пятна, разобьются на кучки; разбѣгаются, размѣщаясь по мѣстамъ, разноцвѣтныя точки и фигуры; лягутъ полосы, свѣтлыя и темныя, лиловато-сѣрыя и зеленыя, узкія и раздавшіяся въ ширь; выпуклѣе обозначатся очертанія. Вотъ, до конца развернулась передъ взорами путниковъ огром-

ная скатерть,—и городъ виденъ весь какъ на ладони, со своими домами, улицами, церквями и садами, и глухой грохочущій шумъ идетъ на васъ. Взгляните... Тѣсно, душно и тяжело должно житья этому множеству приникшихъ къ землѣ домовъ, домиковъ и домишекъ, не даромъ они такъ малы и такъ сбились одинъ къ другому, скучились: вѣдь на міру и смерть красна! И, право, давятъ картину и какъ бы слишкомъ много мѣста занимаютъ кирпичные заводы, длинныя, сѣрые амбары, неуклюжая масса торговыхъ рядовъ, вонъ тѣ вычурныя, но, несмотря на это, безвкусныя, грубыя постройки... А посмотрите, какимъ бариномъ кажется тотъ въ центрѣ города большой домъ изъ желтаго камня, какой-то пузатый, съ огромными окнами и съ топорными башенками по угламъ... И какъ красивъ, отдѣленный отъ этого дома озеромъ зелени и царящій надъ всѣмъ городомъ, храмъ, смѣсь византики и готики, гордо выкинувшій къ самому синему небу высокую стройную колокольню! А эта колокольня не подобна ли одинокой человѣческой мысли, настойчиво стремящейся повыше, подальше отъ земли?!

Прислушайтесь... Купецъ въ сапогахъ «гармоніей», въ бѣломъ картузѣ, съ окладистой бородой и масляными глазками, говоритъ кому-то внушительнымъ басомъ, указывая на домъ съ башенками:

— Извольте спрашивать про этого, что лѣвѣе, подъ соборомъ?.. Обитель, чай, слышали, Евграфа Ликсѣича Косищева, миллионщика, коммерціи совѣтника и кавалера-съ... Крупный человѣкъ въ городѣ, съ умомъ и силой большой: все Поволжье знаетъ его... Коли ужъ пиръ у него, такъ столъ накрываютъ по меньшей мѣрѣ на сто на пятьдесятъ персонъ... Да-съ... Благотворитель, сила-человѣкъ и дѣлами великій мастеръ ворочать, даромъ, что изъ приказчиковъ у подрядчика на чугунокъ произошелъ...

И купецъ самодовольно поглаживаетъ окладистую бороду и чуть презрительно оглядываетъ окружающихъ, какъ бы съ невольнымъ, нѣмымъ вопросомъ: вы де откуда, вы что за птицы, какого чину и племени?!

II.

— Но, милѣйшій Евграфъ Алексѣевичъ, почему же вамъ и не принять участія въ нашемъ—возникающемъ на благо страждущаго человѣчества—обществѣ, вамъ, столь извѣстному своею щедростью?! — говоритъ тихимъ голосомъ сѣдая дама, вся въ траурѣ, съ кроткими, какъ у овечки, глазами.

Косищевъ отрицательно разводитъ руками, съ двумя перстнями на нихъ, и чуть-чуть при этомъ наклоняется. На немъ сѣрый костюмъ изъ тонкаго англійскаго сукна, прекрасно спитый и, вмѣстѣ съ тѣмъ, по причинѣ несообразной и грубо срубленной фигуры Косищева, странно какъ-то лежащій на немъ. Лицо у него одутловатое, покрытое жидкою рыжеватою растительностью, зеленоватые глаза — узки и пронизательны, лобъ крутой и упрямый, въ остриженныхъ бобромъ волосахъ мелькаетъ рѣдкая сѣдина.

— Никакъ, сударыня, не могу. Сами изволите знать, у дѣлового человѣка времени совсѣмъ нѣту-съ! Посудите сами: свои дѣла—торговля, опека, въ одномъ банкѣ, въ кредиткѣ-съ, у ея превосходительства — въ комитетѣ, пріютъ... Куда мнѣ?!... Увольте...

— Жаль, очень жаль... А мы на васъ такъ надѣялись...

— О, mon cher, неужели вы будете столь жестоки?! Намъ съ *ma tante*, моей дорогой тетей, такъ хотѣлось устроить, организовать все это до нашего *voyage*, вы понимаете—путешествія за-границу... И вдругъ... Что скажете городъ?..

Вторая дама, въ шелковомъ, отливающимъ чернью и желтизной платьѣ и въ диковинной кружевной шляпкѣ, нетерпѣливо лорнируетъ Косищева, щуря лукавые, синіе глазки.

— Для васъ, Анна Константиновна, радъ все сдѣлать. Но на сей разъ увольте. Дѣятельнаго участія принять не могу-съ... Вотъ развѣ такъ... поддержать, то-есть, начинаніе...

Косищевъ не хочетъ наотрѣзъ отказать дамамъ: у этихъ постепенно бѣднѣющихъ аристократокъ-помѣщицъ есть чудный лѣсъ, который можно будетъ пріобрѣсть у нихъ, вѣроятно, по дешевой цѣнѣ. Евграфъ Алексѣевичъ роется въ столѣ, отсчи-

тываетъ нѣсколько сотенъ, одновременно — убавляя мысленно на такую же сумму цѣну, которую онъ дастъ за лѣсъ, и съ любезной улыбкой, уложивъ деньги въ конвертъ изъ желтаго бристоля, протягиваетъ ихъ дамамъ.

— Примите посильную... хе-хе... лепту-съ... Прошу прощенія.

Конвертъ мгновенно исчезаетъ въ ридикюль молодой дамы, и сѣдая дама, протянувшая было руку къ деньгамъ, быстро отдергиваетъ ее, съ нервной и недовольной гримаской.

— *Merci beaucoup, mon cher* Евграфъ Алексѣвичъ... Очень благодарны... Мы въ васъ не сомнѣвались... До свиданія, боимся васъ задержать... *Merci*.

Посѣтительницы, оживленно тараторя, прощаются, и Косищевъ считаетъ долгомъ проводить ихъ черезъ амфиладу мрачныхъ комнатъ, полныхъ бархата, матовой бронзы, ковровъ и массивной, безвкусной мебели, которой что-то ужъ слишкомъ много, до самой передней. На порогъ ея старая дама останавливается и манерно говорить:

— А прогор, дорогой... Я слыхала, что вашъ колоколь прибыль сюда? Да? Это пріятно... Говорятъ, самъ владыка обѣдно отслужить въ воскресенье, послѣ поднятія колокола... Очень интересно... До свиданія!

Какъ бы шелуха сошла съ лица Евграфа Алексѣвича, любезность и снисходительная веселость смѣнились на этомъ лицѣ озабоченнымъ и непріятнымъ выраженіемъ. Онъ круто повернулся, на ходу отмѣтилъ что-то въ записной книжкѣ и, пройдя въ кабинетъ, заставленный турецкими диванами изъ малиновой кожи, мягкими полукреслами и большимъ, на львиныхъ лапахъ, орѣховымъ столомъ, заперъ на ключъ средній ящикъ, взялъ пачку писемъ и, поднявъ тяжелую портьеру, скрывавшую дверь въ стѣнѣ, вошелъ въ узкую, длинную комнату.

Убранство ея было чрезвычайно просто и бѣдно. У окна стоялъ большой деревянный столъ, прикрытый черной клеенкой, съ старомодной чернильницей и грудой конторскихъ книгъ на немъ, и стулъ съ истертымъ кожанымъ сидѣньемъ; въ правомъ углу подъ образомъ былъ вдѣланъ въ стѣну желѣзный на болтахъ шкафъ; по стѣнамъ, до самаго потолка громоздились пол-

ки со множествомъ отдѣленій, изъ которыхъ выглядывали кулечки съ пробамъ зерна и почвы, куски деревъ разныхъ породъ, стклянки съ минеральными маслами. Косищевъ нажалъ кнопку электрическаго звонка, бросилъ письма на столъ, усѣлся на стулъ и, нетерпѣливо поглядывая на вторую дверь, наискось отъ первой, сталъ кого-то поджидать.

Минуты черезъ три дверь осторожно скрипнула, и въ комнату неслышною, крадущеюся поступью вступилъ невысокій, худой старичокъ въ мѣщанскомъ, лоснящемся по пивамъ, сюртучкѣ. Ястребиный, загнутый книзу, носъ, бѣгающіе и большіе рысьи глаза, маленькія уши, бородка клиномъ — придавали лицу его хищное и лукавое выраженіе. Старичокъ кашлянулъ въ ладонь, отвѣсилъ поклонъ и замеръ у двери. Косищевъ чуть кивнулъ въ отвѣтъ головой и пристально уставился на вошедшаго.

— Здравствуй, Кириакычъ!.. Ну, что, управа приняла? Безъ препятствій?..

— Приняли-съ, Евграфъ Алексѣичъ, приняли-съ...

— Хорошо. Сколько негодящаго?

— Три осмыхъ, Евграфъ Алексѣичъ, не больше-съ. Скушаютъ, чай, голодненькіе, и благодарить будутъ. Хорошъ хлѣбокъ.

— Такъ. Сколько тебѣ перепало? Ну?!

Рысьи глаза Кириакыча забѣгали по комнатѣ. Худошавая рука его стала теревить бородку.

— Вашею щедростью-съ три сотенки...

— Ничего. Гляди, лишь бы не больше. А что Артюхинскіе?

— Мужички-то? Какъ изволили приказать, поставилъ міру три ведра водки, старшинѣ да писарю подарочекъ... Ничего, ссорились сначала, а потомъ рожицу и лужокъ порѣшили какъ бы за нами. Хороши, Евграфъ Алексѣичъ, луга-то!

— Знаю и безъ тебя. Рабочіе на судахъ у мельницы не унижаются, такъ передай управляющему, чтобъ еще три копейки каждому въ день скостилъ. Слышишь?! Не уступать шаромыжникамъ! То-то...

— Слушаю-съ. Вотъ пароходчикъ Кожинъ тоже не сдастся да пуще прежняго ругается...

— Потолкуй съ нимъ въ послѣдній разъ. Отъ меня передай ему: ежели дальше будетъ идти противъ меня, Косищева, такъ... по міру пуцу я его. Въ ноги тогда поклонится мнѣ, да поздно будетъ. Это мое послѣднее слово. А... тамъ... былъ? Говори!

Косищевъ отвернулся къ окну и забарабанилъ пальцами правой руки по корешку книги. Злая и хитрая улыбка мигнула по лицу Кириакыча, губы ядовито сжались, блеснувшіе глаза впились взглядомъ въ затылокъ хозяина.

— Два раза былъ-съ и все разузналъ. Живутъ они впятеромъ на одной общей квартирѣ: наша барышня, двѣ дѣвицы изъ акушеровъ, кажись, студентъ, да еще какой-то. Бѣдно-съ у нихъ только изрядно, Евграфъ Алексѣичъ... Я вотъ и говорю милой барышнѣ-то: такъ и такъ, папенька вашъ, а мой благодѣтель, приказали передать вамъ. А онѣ-съ мнѣ: — «скажите, Кириакычъ, отцу, что я очень благодарна ему за его заботы обо мнѣ, но вернуться къ нему-съ не могу и не хочу, ибо разныя у насъ съ нимъ дороги... И денегъ мнѣ его не надо-съ, отдайте ему ихъ обратно, а то будутъ жечь онѣ руки мнѣ»...

— Молчи, болванъ! Лжешь ты...—загремѣлъ Косищевъ, всакивая и подходя къ старику.

— Виноватъ, много виноватъ-съ! Только не я это выдумалъ: барышня такъ и сказала.

Косищевъ, тяжело сопя, судорожно двигая бровями и что-то бормоча, грузно зашагалъ изъ угла въ уголъ. Лицо Кириакыча еще разъ вспыхнуло на мигъ ядовитой улыбкой и потомъ застыло.

— Что стоишь попусту? Иди! — вдругъ набросился на него Косищевъ.

— Имѣю еще доложить вашей милости... Преосвященный владыка разрѣшилъ перетянуть всенародно, по образу, значить, крестнаго хода, колоколъ съ вокзала къ собору-съ. Лошади бы не выдержали... Людъ во множествѣ собирается...

— Хорошо. Ступай!

Кириакычъ низко поклонился и попятился къ двери. На порогѣ ея съ нимъ столкнулся подростокъ въ синемъ казакинѣ и, вытянувшись, доложилъ:

— Молодая барыня извоили прибыть. Сидятъ на половинѣ старой барыни-съ...—и, произнеши это, онъ распахнулъ дверь и попридержалъ ее одной рукой.

Косищевъ постоялъ съ секунду въ раздумьи, потеръ лобъ, будто разгоняя сердитыя морщины и, строго взглянувъ на казачка, пошелъ мимо него и Кириакыча.

III.

— Здравствуй, дочка! — внушительно-громко вымолвилъ Евграфъ Алексѣвичъ, входя въ спальню жены, огромную, свѣтлую комнату, всю уставленную коваными желтою мѣдью сундуками и сундучками, пузатыми шкафчиками и полумягкими съ обивкой изъ шерстяной, съ голубыми цвѣточками, матеріи стульями; изразцовая голубая печь и рѣзной кіотъ съ образами, предъ которымъ горѣла массивная серебряная лампада, дополняли какъ нельзя больше картину.

— Здравствуй, отецъ!—такъ же громко отвѣтила ему дѣвушка лѣтъ двадцати двухъ, съ худощавымъ смуглымъ лицомъ, съ парой яркихъ черныхъ глазъ на немъ и съ такимъ же крутымъ, упрямымъ, какъ у отца, лбомъ.

Косищевъ прикоснулся губами ко лбу дочери и скосилъ глаза на ея очень простое, гладкое и темное платье, стянутое у талии истертымъ кожанымъ кушакомъ.

— Радъ видѣть въ собственномъ домѣ родную дочь... Спасибо и на томъ, что ежели отца посѣтить не желаешь, такъ хоть не забываешь родной матери...

Дѣвушка не сказала ни слова, только брови у нея передернулись. Сидѣвшая возлѣ нея пухлая старушка, съ какимъ-то безжизненнымъ, хотя все еще красивымъ лицомъ, беспокойно заморгала вѣками и тихо проговорила:

— Присѣлъ бы ты, Евграфъ Алексѣичъ, на часокъ сюда, на стульчикъ...

— Спасибо, Ирина, когда захочу, тогда и сяду. Пока еще

ноги носятъ... Гм... Скажи, пожалуйста, Лена... это ты, что же... опростилась, или какъ тамъ, по вашему?!

— Ты о платьѣ? Скорѣе, просто стараюсь жить по средствамъ.

— Гм... по средствамъ?! Тогда ты могла бы въ лучшей одеждѣ хаживать: этихъ самыхъ средствъ, слава Богу, у насъ не мало...

— Ты знаешь, что я не нахожу возможнымъ для себя пользоваться этими средствами...

— Знаю, знаю... Въ письмѣ писала... Кириакычъ докладывалъ... Слуга докладывалъ...

Настала минута молчанія. Пухлая старушка вся сжалась какъ-то и испуганно глядѣла на мужа. Косищевъ упорно разсматривалъ дочь. Та нервно теребила бахромѣ скатерти у столика, не спуская глазъ съ отца.

— А гдѣ же почитаніе родителя и послушаніе? Какъ?!—очень тихо спросилъ онъ, слегка отгибаясь назадъ.

— Я тебя не понимаю...

— Поймешь сейчасъ. Перво-наперво: какое-такое имѣешь ты право, не спрашивая отца, покидать одно ученіе, куда я тебя опредѣлилъ, и уходить въ другое, а?!

— На коммерческихъ курсахъ не нашла я ни простора, ни настоящей науки, потому и ушла. Я тебѣ писала о томъ..

— Читалъ, читалъ! Простора... такъ... Второе: почему ты не вернулась, какъ надлежало, въ родительскій домъ, а живешь съ какими-то тамъ оборванками, да шаромыжниками... и на общей квартирѣ, безстыдница?!

— Отецъ! не называй ихъ такъ... Они—мои друзья, и я ихъ уважаю, люблю!..

— Все равно. А подумала ты, какой изъ всего этого срамъ произойдетъ, и все на мою голову?! Въ городѣ, рады случаю, смѣяться будутъ надъ Евграфомъ Касищевымъ, понимаешь, надъ силой-то! Дочь отъ отца-матери отказывается, въ повитухи готовится, идетъ противъ родителя! Понимаешь, противъ меня... самого...—съ удареніемъ закончилъ онъ.

— Я не вижу безчестія въ томъ для тебя, что дочь твоя хо-

четь жить честнымъ, собственнымъ трудомъ... съ хорошими людьми...

— Лена! молчи, молчи... И деньги мои жгутъ тебѣ руки?!

Косищевъ громко засопѣлъ и, какъ во время разговора съ Кириакычемъ, грузно зашагалъ по комнатѣ. Щеки его постепенно стали вбирать въ себя бурый оттѣнокъ, а жилы на лбу пухнуть. Когда онъ поворачивался спиной къ женщинамъ, старушка округливала блѣдныя губы свои и что-то тревожно и почти беззвучно шептала ими дочери, а та отрицательно кивала головой..

— Позоръ, срамъ всему дому нашему, всему дѣлу моему, да-а! Изволь объяснить мнѣ... сію минуту... какъ на ладони, чтобъ видно было, почему ты уходишь отъ меня и моими деньгами брезгаешь?!

— Ты этого настоятельно требуешь?

— Безпремѣнно. Говори!

— Хорошо. Я скажу. Пожалуй, это лучше будетъ.

Молодая дѣвушка поднялась со стула и, облокотившись на комодъ, подперевъ голову руками, стала говорить спокойно и увѣренно, такъ, какъ человѣкъ, много думавшій надъ тѣмъ, о чемъ онъ говоритъ, и не сомнѣвающійся въ правотѣ и искренности своей. Она объяснила, что такое капиталъ, что такое цѣнность и каковы составныя части ея; потомъ перешла къ тому, какъ составилось огромное богатство отца и какими путями вообще составляются подобныя богатства. Постепенно она теряла ровный тонъ, все болѣе увлекаясь, и наконецъ звонкимъ и тонкимъ, какъ туго натянутая струна, голосомъ закончила:

— Вотъ почему, отецъ, я считаю себя не въ правѣ воспитываться и жить на твои средства, которыми я и такъ уже пользовалась двадцать лѣтъ! Эти деньги принадлежать не намъ съ тобою, нѣтъ... Прости меня, но такъ жить дальше... я не могу и... не хочу.

Пока она говорила, на лицѣ Косищева то мелькала злая насмѣшка, то расплывалось изумленіе, то выползалъ глухой гнѣвъ и морщилъ все лицо. Жилы на лбу набухали донельзя, глаза прищурились, голова какъ-то ушла въ плечи.

— Такъ, такъ... вотъ, что колобродитъ въ головѣ-то у тебя?!

Я, значить, по-твоему... такой... да, да...—вырвалось у него из груди, полной уязвленной гордости, вскормленной золотомъ и успѣхомъ, и оскорбленного, возвращеннаго годами, сознанія достоинства и силы.—Однако ты... ты смѣлая... Тонко разобрала все... Противъ меня пошла, свою силишку противу моей поставила.. Ахъ, ты, негодная дѣвчонка! Наслѣдства лишу, слышишь?! Вонъ... отсюда!—Косищевъ весь вытянулся, выросъ, будто поднятый порывомъ невидимаго вихря, и потрясъ угрожающе рукой.—Вонъ, говори?..

— Ты не имѣешь права, слышишь! Я у матери, а не у тебя...

— Молчать! Вонъ...

Косищевъ дохнулъ, какъ кузнечный мѣхъ, и шагнулъ къ дочери, сжимая кулаки. Пухлая старушка всплеснула руками, еще безпокойнѣе заморгала глазами и, съѣхавъ какъ-то со стула на полъ, на колѣни, закричала дребезжащимъ, осѣкающимся отъ слезъ голосомъ:

— Батюшка, Евграфъ Алексѣичъ, не сердись ты на нее глупую: мала еще... Ужъ... коли... хочешь душу-то... у...блажить, такъ меня... бей... Только ея, родимый, не тронь!..

И въ ту же минуту дверь изъ передней отворилась, и въ комнату скользнула, крестясь, низенькая и сторбленная монашенка, съ черными, шмыгающими по угламъ изъ темныхъ орбитъ, глазами и восковымъ, сморщеннымъ лицомъ.

— Почтеннымъ милостивцамъ нашимъ, батюшкѣ Евграфу Ликсѣичу и матушкѣ Иринѣ... — начала она съ оника, скандируя слова, не докончила и съ нескрываемымъ изумленіемъ осмотрѣла поочередно каждого. Косищевъ, въ свою очередь, бѣшено взглянулъ на монашенку, потомъ на дочь, очень блѣдную и рѣшительно поднявшую голову, на жену, простершую къ нему маленькія, унизанныя кольцами, пухлыя руки, яростно плюнулъ въ сторону монашенки и быстро вышелъ изъ комнаты.

Когда онъ шагаль по широкому коридору, съ рядомъ дверей по сторонамъ, покрашенныхъ въ бѣлую краску, изъ одной двери высунулась высокая, худощавая фигура старика, бритого до сиза, съ серебряными очками на мясистомъ носу, въ кофейномъ изношенномъ сюртукѣ. Это былъ Іоаннъ Карловичъ Фейфель,

баварецъ, органистъ. Косищевъ попалъ какъ-то на богослуженіе въ лютеранскую кирку и былъ очарованъ мощными, величавыми звуками органа. «Вотъ это я понимаю, эта музыка по мнѣ!» сказалъ онъ кому-то тогда же, а вскорѣ уже выписалъ себѣ изъ-за границы большой органъ, отвелъ ему двухсвѣтную залу и переманилъ къ себѣ органиста. И часто, съ тѣхъ поръ, Евраграфъ Алексѣевичъ угощалъ себя и гостей своихъ торжественной музыкой.

— Простите, Негг Косищевъ...—произнесъ Фейфель, почтительно заступая ему дорогу.—Покорнѣйше прошу фась дать намъ немножко денегъ впередъ... Въ фатерляндъ посылать нужно.

— Я тебѣ такихъ денегъ дамъ, что ты свой фатерляндъ въ мигъ забудешь! Присталъ!..

— О-о, простите пожалуйста, я не зналъ, что ви въ разстройствѣ духа... Мы не знали, та-а... та-а!..—говорилъ ему вслѣдъ обиженный нѣмецъ, снявъ даже очки отъ удивленія.

А Косищевъ, вбѣжавъ въ кабинетъ, такъ со всего размаху сѣлъ въ глубокое, мягкое кресло, что только охнули пружины.

IV.

Лазурь неба до того невозможно ясна и чиста, такъ задорно безпеченъ и звонокъ птичій гомонъ, пронизывающій воздухъ, и такъ обильно, во всю свою майскую щедрость, разсыпаетъ солнце золотыя стрѣлы окрестъ, что молодежь невольно радостно чему-то смѣется и возбужденно говорить и движется, а старость съ довольной, полусонной улыбкой грѣетъ на самомъ припекѣ старыя косточки свои...

Косищевъ съ одной изъ угловыхъ башенокъ своего дома, откуда открывается видъ на одеревенѣлое море крышъ, съ высокочившими тамъ и сямъ верхушками деревьевъ и лучеобразными впадинами улицъ, наблюдаетъ въ бинокль даль одной изъ нихъ, гдѣ шевелить множествомъ членовъ и медленно-медленно ползетъ громадный змѣй, поднявшій кверху остроконечную, отдающую

ярко-желтыми бликами голову. И Косищевъ въ тактъ чуть замѣтнымъ колебаніямъ головы этой одобрительно помахиваетъ своей головой и слегка улыбается въ усы, да и не мудрено: вѣдь, это, при великомъ стеченіи сермяжнаго крестьянства и черно-кафтаннаго городского люда, перетаскиваютъ пожертвованный имъ, Косищевымъ, теперь самый большой и дорогой въ Поволжьѣ колоколь, и въ громадѣ этой заключается какъ бы часть души и силы Евграфа Алексѣевича.

Рядомъ съ Косищевымъ стоитъ, заложивъ руки за спину и покачиваясь на высокихъ каблукахъ желтыхъ ботинокъ, мужчина лѣтъ тридцати пяти, одѣтый въ щегольской весенній костюмъ, бѣлый, съ синими полосками. Изъ-подъ распущенныхъ на французскій манеръ русыхъ усовъ его глядитъ окурокъ сигары; на носу граціозно колышется щипнось въ золотой оправѣ; на щекахъ—блѣдный румянецъ; на лбу—ни единой морщинки; на лицѣ—не то тоска, не то какое-то безразличное выраженіе. Это чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ или, скорѣе, губернаторшѣ, секретарь двухъ благотворительныхъ обществъ и душа общества, Аладьинъ. У него съ Косищевымъ какія-то не совсѣмъ ясныя отношенія, сути которыхъ настойчиво доискивается жадная городская молва.

Господинъ Аладьинъ тоже скользитъ скучающимъ взоромъ голубыхъ холодныхъ глазъ по ползущей вдали толпѣ. Но такъ какъ Аладьинъ положительно не въ состояніи долго молчать и такъ какъ ему необходимо сказать нѣчто важное миллионщику, то онъ нарочно полутромя зѣваетъ и затѣмъ роняетъ фразу:

— Чудесная погода, Евграфъ Алексѣевичъ... соответствующая важности момента, не правда ли?!

Косищевъ утвердительно киваетъ головой и продолжаетъ созерцать даль.

— «Этотъ неуклюжій денежный кулъ думаетъ, однако, что я ему даромъ все утро говорю комплименты... *Tranquillisez-vous!* Во всякомъ случаѣ, *diable m'emporte*, прескверно будетъ, если онъ откажетъ... И такъ не мало перебралъ у него!»

Аладьину донельзя нужны деньги. Онъ затѣялъ великосвѣтскій пикникъ съ прогулкой на пароходѣ по Волгѣ, съ музыкой,

танцами, съ цвѣтами и ужиномъ, и если его проектъ не сбывается, то будетъ schocking.

— Да...—говоритъ онъ равнодушнѣйшимъ въ свѣтѣ тономъ.— Этимъ колоколомъ вы, такъ сказать, побѣждаете волжское купечество... Прекраснѣйшій колоколъ во всемъ Поволжьѣ, да... Говоря словами поэта: «къ нему не зарастетъ народная тропа...» Ахъ, кстати, Евграфъ Алексѣевичъ, чуть было не позабылъ: вы не могли бы меня ссудить на короткій срокъ тремя сотенками, а? Вѣдь, мы съ вами сочтемся!

Аладьинъ усиленно сосетъ потухшую сигару и глядитъ въ самую глубь синяго неба, а потому не замѣчаетъ, что по лицу Косищева мелькаетъ хитрая улыбка, а съ ней и какая-то, нечаянно прорвавшаяся, мысль.

— Отчего же не услужить, можно-съ... — погода отвѣчаетъ онъ.—Только... гм... съ условіемъ...

— Что такое?—поспѣшно отзывается Аладьинъ.

— Такъ, ничего... услугу маленькую... Ежели бъ могли сдѣлать, хорошо бы было! Перво-наперво, почтенный Николай Апполинарычъ, какъ бы эти самые слухи про меня да продочь, о чемъ вы мнѣ давеча толковали, спутать-то и повернуть въ сторону этакъ другую? Крѣпка я на васъ надѣюсь... А второе...—тутъ онъ изъ-за бинокля взглянулъ на Аладьина—шепнули бы... хе-хе... кому слѣдуетъ, чтобы, если возможно, эту ихъ общую квартиру подъ ревизію... хе-хе... постращали бы и отдѣлили плевели отъ настоящаго хлѣба... Вѣдь, молодежь храбрится до поры до времени, а тамъ, смотришь, послѣ острастки и опомнится! Вѣдь, дочь или сынъ—передъ всѣмъ прочимъ—принадлежить, думается, родительскому дому и не смѣетъ противъ отца идти! Такъ, вотъ это-съ...

— Comment? Mais... но...—почти взволнованно и недовольно откликается Аладьинъ.—Н-не знаю...

Косищевъ молчитъ. Аладьинъ нервно мнетъ пальцы и кусаетъ губы. Какъ ни крѣпка связь между нимъ и купцомъ, какъ ни привыкъ онъ, отпрыскъ благородной фамиліи, къ различнаго рода услугамъ, но на этотъ разъ предложеніе милліонщика непріятно и противно, и обидно ему... А, вмѣстѣ съ тѣмъ, вѣдь,

это позоръ—обѣщать и не устроить пикника, не сдержать честнаго слова! Рядъ насмѣшекъ... да-а... И потомъ на пароходъ обѣщала прибыть эта пріѣзжая барынька... чудный бюстъ и цыганскіе глаза которой мерещатся ему и во снѣ, и наяву... Наконецъ, можно будетъ отъ себя смягчить щекотливое порученіе! Но пусть и купецъ попляшетъ, хотъ твердъ онъ и настойчивъ...

— Будь по вашему! Только на будущее время избавьте отъ такихъ... ха-ха... условій!—замѣтно покраснѣвъ, говоритъ Аладьинъ.—Но... это пахнетъ ужъ не тремьятами, конечно!

— Расчудесно! Сушіе пустыки... Согласенъ. А теперь пожалуйста внизъ...

Оба спускаются съ башенки по винтовой ажурной лѣстничкѣ въ огромную столовую русскаго стиля, проходятъ оттуда въ переднюю, устланную коврами, одѣваются при помощи слуги пальто и шляпы и по мраморнымъ ступенямъ лѣстницы съ антресолями сходятъ внизъ къ подъѣзду. Тамъ уже ихъ поджидаетъ щегольской экипажъ, обитый внутри малиновымъ сукномъ, и пара статныхъ сѣрыхъ, въ яблокахъ, рысаковъ нетерпѣливо позвякиваетъ посеребренною упряжью. Косищевъ пропускаетъ впередъ Николая Аполлинарыча и заноситъ ужъ ногу на подножку экипажа.

Въ это время изъ-за угла выливается потокъ людскихъ тѣлъ, и разбѣжавшаяся волна шума и говора заполняетъ всю улицу. На фонѣ моря головъ будто плыветъ, слегка покачиваясь, издавая важный тихо-звонкій гулъ и сверкая на солнцѣ гранями тонкой рѣзбы, огромный колоколъ, канатами, словно змѣями, обвитый. Сотни рукъ крѣпко ухватились за концы канатовъ, другія сотни то быстро выхватываютъ изъ-подъ него круглыя бревна-валы, то поспѣшно подкатываютъ ихъ подъ него, и шествуетъ-катится колоколъ; а земля гудитъ-дрожитъ подъ нимъ.

Зоркій глазъ Косищева различаетъ въ толпѣ знакомыя лица мелкихъ торговцевъ, и собственныхъ приказчиковъ, и Кириакыча, и другихъ своихъ слугъ, и странную фигуру сѣдого, лохматаго нищаго, извѣстнаго въ народѣ подъ названіемъ Ивана Странника, съ посохомъ въ рукѣ, съ переметными сумами на спинѣ и груди, въ одежѣ изъ яркихъ заплатъ. Замѣтилъ и

Иванъ Странникъ Косищева, снимаетъ шапку и кричитъ пронзительно-заунывнымъ голосомъ:

— Здравствуй, отецъ-благодѣтель, Евграфъ Ликсѣичъ! Исполать тебѣ! Эй, гой, золото, золото льется... Давить, давить, гой, золото... Не пускаетъ золото-тяжело! А скажу-прокричу я: кто чѣмъ воюетъ, отъ той ли, гой, силушки погибнетъ! Сила силу силушкой ломить! Ёзжай счастливо, отецъ-благодѣтель...

Косищевъ недовольно, брезгливо поморщился и грузно усѣлся на сидѣніе. Рысаки рванули съ мѣста и понесли мягко подскакивающій на пинахъ экипажъ съ Евграфомъ Косищевымъ и Аладьинымъ къ собору, а за ними плыть, тихо и важно гудя, огромный колоколь.

V.

Великолѣпіе одно и торжественность сегодня въ новомъ соборѣ: самъ владыка служить соборне обѣдню. Архіерейскій хоръ въ синихъ съ золотыми позументами кафтанахъ наполняетъ жаркій воздухъ церкви громогласно трепещущими и мягко льющимися ручьями и потоками звуковъ, подъ томно-восторженные вздохи молящейся толпы. Сизый кадильный дымъ облаками уносится къ куполамъ, важно обходить стрѣльчатые окна, стелется полосами надъ молящимся, облекая фигуры ихъ волнистой дымкой. Яркимъ длиннымъ пламенемъ горятъ свѣчи, сотни огоньковъ переливаются въ ризахъ иконъ, межъ разноцвѣтныхъ пятенъ отъ лампадъ. И все кругомъ какъ бы радуется, горитъ, сверкаетъ въ острыхъ, заглядывающихъ въ окна, лучахъ солнца, въ огняхъ свѣчей, среди пѣснопѣній.

Евграфъ Алексѣевичъ стоитъ, по временамъ чуть перегибаясь и осѣняя себя широко и медленно крестнымъ знаменіемъ, вблизи алтаря, за перегородкой, гдѣ отведено мѣсто для городской «знати». Изрѣдка легко вздохнетъ онъ, скроетъ невольную, довольную улыбку, обѣжитъ глазами толпящихся вокругъ него людей и снова степенно, съ достоинствомъ крестится...

Да и какъ же быть ему иначе,—ему, Косищеву, виновнику,

можно сказать, и причинѣ сегодняшняго торжества и благолѣпія, ему, на чьи средства достроенъ храмъ, ему, милліонщику и жертвователю цѣннаго колокола?! Несомнѣнно, вся эта толпа знаетъ его, Евграфа Алексѣевича, завидуетъ ему и сознаетъ все его значеніе въ данную минуту; несомнѣнно, главнымъ образомъ его касаются эти молитвенныя пѣснопѣнія, а остальныхъ только мимоходомъ. И вся фигура Косищева и даже каждая складочка платья его полны самодовольнаго, гордаго достоинства.

Собственно говоря, не одинъ Косищевъ стоитъ въ церкви, а какъ бы два или даже... три.

Первый машинально, степенно крестится; по привычкѣ улавливаетъ ухомъ звуки службы и вторитъ шопотомъ имъ; ясно чувствуетъ, что лики святыхъ дружелюбно поглядываютъ не на кого другого, а именно на него. Другой внимательно слѣдитъ за всѣмъ, происходящимъ вокругъ. Этотъ давно ужъ замѣтилъ,—кто присутствуетъ на богослуженіи, а кто и не прибылъ къ нему; что злѣйшій врагъ Косищева, коммерціи совѣтникъ Кузьма Арцыбашевъ, съ рыжими, на англійскій манеръ, баками, веснушчатый господинъ силится изобразить на своемъ лицѣ благодушіе и благородство, вмѣсто чего получается злое и безпокойное выраженіе; что Аладьинъ игриво шепчется у колонны съ дамой въ шелковомъ желтомъ платьѣ, обладающей обольстительнымъ станомъ; что толстѣйшая, съ краснымъ, какъ у варенаго рака, лицомъ, купчиха Мамочкина завистливо косятся на крупный алмазъ на кольцѣ у Ирины Сергѣевны Косищевой; а богачъ Михайловъ сильно недоволенъ, такъ какъ Косищевъ стоитъ впереди его. Есть и самъ губернаторъ съ супругой. А вотъ предсѣдатель земской управы не пріѣхалъ, не уважилъ, значить, Косищева... Ну, что жъ, пожалѣть, право, пожалѣть онъ, за нимъ вѣдь должокъ, и нужно будетъ поприжать строптиваго дворянина... Есть и пароходчикъ Кожинъ: сдался, значить, и съ нимъ можно обойтись на завтракъ великодушно, милостиво...

А третій Косищевъ, какъ бы стоящій между первымъ и вторымъ, какъ бы кусочекъ одного и кусочекъ другого, чутко при-

слушивается, съ сладкимъ замираніемъ сердца, къ чему-то, ждетъ чего-то, связаннаго со всѣмъ этимъ торжествомъ, ждетъ условленной минуты, когда заговорить «его» колоколь, самый большой и цѣнный въ краѣ, и прибьетъ громовыми звуками всѣ эти косые и завистливые взгляды и привлечетъ всѣ взоры къ фигурѣ Евграфа Косищева! И минута эта близка...

Вотъ среди духовенства произошло какое-то движеніе; на клиросахъ послышался многозначительный кашель; громче раздался протяжный возгласъ преосвященнаго; зазвѣли оиміамъ; зазвѣли серебристые дисканты, за ними грянули басы. И одновременно, въ раскрытыя настежь двери собора вкатился чистой, могучей волной спокойный и сильный ударъ, первый ударъ новаго колокола... Докатилась волна благородныхъ звуковъ, смутивъ огни люстръ и лампадъ, до золотыхъ вратъ, будто звонко всплеснула тамъ и разошлась перекатами по всему храму.

Грудь Косищева полна гордости и щемящихъ замираній духа и удовлетворенія... Онъ наслаждается, и почти чувствуетъ уже на себѣ острія взоровъ толпы, и старается быть выше, рослѣе... Его превосходительство благосклонно улыбается ему; преосвященный, видимо, довольно прислушивается ко второму, еще болѣе важному и густо-звонкому удару колокола... Косищевъ съ достоинствомъ потупляетъ взглядъ и творить широкое крестное знаменіе...

И раздался третій ударъ, самый могучій изъ всѣхъ, но... глухой! Волна звуковъ переломилась на-двое, расплылась немощно у самыхъ ногъ Косищева ноющими, дребезжащими переливами... Больше не было ударовъ.

Злорадство и небрежныя улыбки змѣются на лицахъ Михайлова и коммерціи совѣтника Арцыбашева. Мамочкина наклонилась къ Иринѣ и что-то говоритъ той съ явнымъ ехидствомъ. За спиной растетъ тревожный шопотъ толпы. Въ душѣ растерянность и огромное удивленіе. И Косищевъ, не отдавая себѣ отчета въ томъ, что дѣлаетъ, круто поворачивается на каблукахъ, и быстро проталкивается сквозь толпу, которая ѣстъ его глазами, къ выходу. Въ коридорѣ, окружающемъ внутренній

храмъ, съ Евграфомъ Алексѣвичемъ сталкивается Кириакычъ: хищное лицо его ужасно смущено, онъ наклоняется къ хозяину и конфиденціально шепчетъ:

— Непріятность, Евграфъ Алексѣичъ, какая случилось... Колоколъ, батюшка, далъ трещину снизу доверху! Во всю то-есть...

Косищевъ отстраняетъ Кириакыча рукой и направляется къ двери, ведущей на колокольню, поглаживая дрожащей рукой волосы.

VI.

Разметался Евграфъ Алексѣвичъ на пуховой жаркой постели, съ трудомъ дышитъ, судорожно ощупывая руками кровать: не уходитъ ли она изъ-подъ него и все-ли лежитъ онъ на ней... А на лицо его то и дѣло выбѣгаетъ непріятное удивленіе вперемежку съ нѣкоторымъ даже страхомъ. И радъ бы, быть можетъ, Косищевъ проснуться, да сильна тяжесть сна и крѣпко обхватываютъ свою жертву мягкія лапы сновидѣнія.

Ночной сумракъ, царящій въ комнатѣ, разбавленъ голубоватымъ полусвѣтомъ, переходящимъ кверху въ зелень, а затѣмъ въ легкую желтизну и льющимъ отъ лампы предъ мрачнымъ дубовымъ кіотомъ, пламя которой колеблется подъ напоромъ неслышнаго притока воздуха. Внѣшніе звуки почти не доходятъ до этой уединенной, громадной спальни, а если какой и доберется, то старается какъ можно тише и незамѣтно проскользнуть по мягкимъ коврамъ и спрятаться въ складкахъ тяжелыхъ портьеръ у оконъ или дверей. Вся постель Евграфа Алексѣвича окружена дрожащими, холодными, голубоватыми тѣнями: онъ легли рядомъ съ нимъ на пуховики, притаились у подушки...

И снится Евграфу Косищеву странный сонъ.

... Будто стоитъ онъ, Косищевъ, на пышащей невыносимымъ солнечнымъ жаромъ равнинѣ, у подножія крутого холма... А на вершинѣ холма привѣшенъ межъ четырехъ столбовъ огромный

золотой колоколь, почти касающійся краями земли, точь въ точь колоколь Косищева, только побольше. Молчитъ колоколь и будто поглядываетъ по сторонамъ холма на выжженную солнцемъ необозримую долину. И Косищевъ, самъ не зная почему, удивляется упорному молчанію того колокола.

Странно: словно, одинъ Косищевъ на равнинѣ и не одинъ... Вездѣ пусто, но, куда ни взглянетъ онъ, вырастетъ тамъ какъ изъ-подъ земли человекъ и пойдетъ къ холму, оставляя за собой на раскаленной почвѣ вдавленные, глубокіе слѣды ступней, и станетъ карабкаться по крутымъ склонамъ: одинъ быстрее, другой медленнѣе, срываясь, взбираясь все выше и исчезая въ концѣ-концовъ подъ краями колокола, который точно впитываетъ въ себя, какъ губка воду, всѣ эти движущіяся черныя точки, увеличиваясь въ объемѣ. Глядитъ изумленно по сторонамъ Косищевъ, и во множествѣ появляются, подъ его взглядомъ, изъ земли все новые люди въ разнообразныхъ одеждахъ, сельскихъ и городскихъ, нищенскихъ и достатныхъ, съ лицами, знакомыми ему гдѣ-то и когда-то видѣнными имъ, и никогда не виданными, и все ползуть и ползутъ къ колоколу. А солнце палитъ все болѣе жгуче...

Видитъ наконецъ онъ, что и дочь его появилась на равнинѣ, идетъ къ холму, оставляя за собой глубокіе слѣды ступней, устремивъ взоръ на колоколь, и, какъ всѣ остальные, исчезаетъ подъ нимъ. И вся долина ужъ испещрена слѣдами многихъ сотенъ ногъ...

Вонъ тщетно старается взойти на гору Кириакичъ... А вотъ тяжело шагаетъ къ Косищеву сѣдой нищій Иванъ Странникъ и, ухмыляясь загадочной улыбкой, кричитъ Евграфу Алексѣвичу:

— А нут-ка, нут-ка, Евграша, полѣзай и ты! Вѣдь, не влѣзешь, ей-Богу же, не влѣзешь: побоишься... Потому ужъ больно громадный стоитъ «онъ» тамъ! Попробуй, осиль-ка... Чего ужъ тамъ?!

— Молчи, дуракъ. Нечего мнѣ бояться, лжешь ты!.. Колоколь, вѣдь, мой, дѣло рукъ моихъ, мой трудъ, плоть отъ плоти моей... Захочу и влѣзу... Гляди!—отвѣчаетъ Косищевъ.

Трогается Косищевъ съ мѣста и идетъ туда, куда и всѣ. Но идти ему трудно, ужасно трудно, потому что ступни его ногъ будто вросли въ выжженную почву равнины.

И вотъ, уже надъ Косищевымъ крутой отвѣсъ холма. Начинаетъ взбираться на него Евграфъ Алексѣевичъ, помогая себѣ руками и ногами, цѣпляясь за рѣдкій кустарникъ и за глыбы камня. Утомится, приляжетъ на камни, и оглянется назадъ: тамъ за нимъ все та же раскаленная долина, а по ней, отъ того мѣста, гдѣ онъ стоялъ, до того, гдѣ онъ сейчасъ лежитъ, ровно плугъ прошелъ. Опять лѣзетъ, ползетъ вверхъ Косищевъ, обливаясь потомъ и уставши донельзя. Руки у него въ крови, въ глазахъ рябитъ, по спинѣ бѣгутъ холодные мурашки, ибо по сторонамъ пропасти и готовы обрушиться скалы. Все круче подъемъ, но Косищевъ знаетъ, что онъ долженъ во что бы то ни стало добраться до своего колокола, а тутъ еще бокъ о бокъ съ нимъ ползетъ Иванъ Странникъ, ползетъ, бормочетъ, подсмѣивается...

Но близокъ конецъ подъему. Колоколъ почти нависъ надъ Косищевымъ, и Косищевъ замѣчаетъ, что подъ колоколомъ клубится мгла, приливая и отливая отъ стѣнокъ его. И тихій, грустный звонъ еле колышетъ воздухъ, и скорѣе чувствуется этотъ звонъ, чѣмъ слышится. Косищевъ ухватился одной рукой за послѣдній кряжистый выступъ, за которымъ виднѣется уже площадка съ четырьмя столбами, ухватился другой и потянулся всѣмъ тѣломъ впередъ...

Вдругъ... дрогнулъ воздухъ окрестъ, заколебалась громада колокола, и волна могучихъ, колышавшихся звуковъ ударила въ Косищева и оглушила его, за ней другая, третья... Разсыпался прахомъ каменный выступъ, и какъ порывомъ вѣтра смахнуло Косищева съ того мѣста, гдѣ былъ онъ... Хочетъ крикнуть онъ и не можетъ... Летитъ-катится внизъ съ неимовѣрнымъ страхомъ въ душѣ...

Удары колокола все ближе, громче, все съ большей силой обрушиваются на землю, на скалы, на Косищева, а самъ колоколъ отъ этихъ громовыхъ звуковъ будто расплавляется, топится... Закапали сначала многочисленные золотыя слезы,

потекли затѣмъ сверкающіе ручьи, за ними тяжелые, съ отливомъ серебра, безпѣнные потоки... И глухо звенящія волны разжиженного металла подхватываютъ Косищева, несутъ его, давятъ и заливаютъ, а онъ не можетъ рукой двинуть...

Дрожить отъ оглушающаго звона печальное свинцовое небо. Все кругомъ залито тяжелыми волнами металла. Колоколь превратился въ сверкающую нестерпимымъ блескомъ точку, и эта точка быстро движется на Косищева. Откуда-то слышатся пронзительные, заунывные выкрики Ивана Странника:

— Золото-серебро лется! Сила силу силушкой ломить, ровно соломинку! Эй, гой, батюшка-колоколь! Твой, твой, твой колоколь!.. Тяжело золото!

Темнѣютъ волны, вздымаются все выше и...

Проснулся Косищевъ. Поднялся, сѣлъ на кровать, опершись руками на перину и недоумѣло, испуганно оглядываясь вокругъ себя. Пламя лампы безпокойно билось. Сумракъ былъ полонъ неслышной борьбы дрожащихъ тѣней съ голубоватымъ, холоднымъ полусвѣтомъ, попрежнему вливавшимся въ воздухъ. Тишина жужжала въ ушахъ.

Посидѣвъ съ минуту въ такомъ положеніи, Косищевъ спустилъ ноги на коверъ, машинально отыскавъ ими туфли и всталъ во весь ростъ, все еще инстинктивно оглядываясь. Но тутъ онъ сразу почувствовалъ, что ему какъ-то очень не по себѣ въ этой мрачной, огромной спальнѣ и что онъ озябъ, и поспѣшилъ надѣть на себя теплый халатъ. Взглядъ его остановился на темномъ ликѣ Богоматери, выглядывающемъ изъ золотыхъ ризъ и движущемся въ свѣтѣ лампы, и мгновенно недовольство и гнѣвъ наполнили его сердце, а во взорѣ зажглась укоризна: и неугасимая лампа, и освященные драгоценные образа не могли избавить его, Косищева, отъ непріятнаго, страшнаго сна...

Косищевъ покачалъ головой, быстро перекрестился и зашлепалъ туфлями, направляясь въ свой кабинетъ. На порогѣ его, Евграфа Алексѣевича, привѣтствовалъ изъ темноты серебристымъ ударомъ часъ ночи. Но и здѣсь, въ кабинетѣ было такъ

же мрачно и неуютно, какъ и въ спальнѣ. Косищеву захотѣлось вдругъ яркаго, сильнаго свѣта и того, чтобы всѣ въ домѣ знали, что онъ, хозяинъ дома, не спитъ. Онъ ощупью отыскалъ на стѣнѣ у двери небольшой выступъ, повернулъ маленькую металлическую ручку, щелкнулъ чѣмъ-то...

VII.

Сверкнули въ разныхъ мѣстахъ въ темнотѣ красныя змѣйки, и въ одно мгновеніе мертвый, какой-то безжизненный, но яркій свѣтъ залилъ амфіладу купеческихъ хоромъ.

Косищевъ облегченно вздохнулъ, плотнѣе запахнулся въ халатъ и сталъ ходить—туда и обратно—тяжелыми шагами изъ кабинета въ смежный двусвѣтный залъ. Тамъ холоднымъ блескомъ сіяли высеребренные трубы большого органа, а гладко отполированные, красноватыя доски его отражали причудливые зигзаги паркета и два ряда стульевъ у бѣлыхъ стѣнъ.

Евграфъ Алексѣевичъ былъ основательно встревоженъ диковиннымъ сномъ. Но теперь, когда Косищевъ почти ужъ овладѣлъ собой и пересталъ испытывать внутренній холодъ, теперь главное чувство, копошившееся въ немъ, было злобное неудовольствіе не только сномъ, но и самою возможностью подобнаго кошмара, имѣвшаго неувимую связь съ тѣмъ, что произошло съ Косищевымъ въ церкви третьяго дня.

Косищевъ тогда былъ и ошеломленъ, и страшно обиженъ случившимся. Какой удобный случай почесать насчетъ Евграфа Алексѣевича языки, уронить его въ глазахъ всего города! Какой стыдъ, какой позоръ! Ударъ въ самое чувствительное мѣсто... Самый большой, самый дорогой въ Поволжьѣ колоколь, могучій звонъ котораго долженъ былъ возвѣщать горожанамъ: «это я звоню, я—колоколь Евграфа Косищева, слушайте и благоговѣйте»,—этотъ колоколь далъ трещину и принужденъ хранить утрюмое молчаніе...

Но развѣ онъ, Евграфъ Алексѣевичъ, не строилъ пріютовъ и богадѣленъ, часовенъ и церквей, не соблюдалъ постовъ, не

принималъ достойно духовенства у себя на дому, не раздавалъ ли обѣдовъ на Пасху нищимъ, не пожертвовалъ, наконецъ, драгоценнаго колокола?! Такъ, за что же такая странная непріятность и униженіе?.. И обида сжимала сердце, росла въ душѣ, и вставало глухое возмущеніе противъ Того, въ честь Кого льются пѣснопѣнія, Кто даетъ богатство и силу однимъ, а другихъ заставляеть подчиняться и богатству, и силѣ.

У Косищева съ женой произошелъ даже по этому поводу крупный разговоръ въ то же воскресенье, послѣ завтрака, предложеннаго миллионщикомъ лицамъ, присутствовавшимъ въ соборѣ, конечно—въ чертѣ перегородки.

— Ты что же... — съ бѣшенствомъ почти укорялъ Евграфъ Алексѣвичъ Ирину Сергѣевну.— Плохо, вѣрно, матушка, молилась, да-а... Ударъ, ударъ-то какой нашему дому, а?! Срамъ какой мнѣ, дѣлу моему!..

— Да какъ же не молиться мнѣ?! Молилась, Евграфъ Алексѣичъ, молилась, что есть мочи!—слезливо бормотала она.

— Молилась, молилась... Прорва денегъ даромъ ушла!.. Безъ вниманія оставляють наши молитвы... Разъ—да, а разъ—нѣтъ! Не порядокъ это!

Жена печально разводила руками и мигала красными вѣками такъ виновато, какъ будто она была причиной несчастья.

— Да-съ, не порядокъ!.. Нѣтъ, ты мнѣ скажи, какъ вы, бабы-то, дочь воспитали, каково за ней присматривали?! Что я теперь стану дѣлать?!

Дѣйствительно, съ дочерью произошла прескверная исторія. Косищевъ направилъ ударъ вѣрно и мѣтко—чужими руками, но не рассчиталъ всѣхъ возможныхъ послѣдствій удара. «Общую» квартиру подвергли обыску, и... дочь Косищева оказалась болѣе остальныхъ причастной къ «дѣлу». Объ этомъ онъ узналъ въ то же злополучное воскресенье, въ концѣ завтрака, и нужно было быть Евграфомъ Алексѣвичемъ для того, чтобы скрыть тогда душевное состояніе свое отъ любопытныхъ глазъ. Но Косищевъ не былъ изъ тѣхъ людей, что любятъ медлить. Онъ быстро добился свиданія съ дочерью и, воспользовавшись шаткостью и неожиданностью положенія, категорически предложилъ

ей—или покориться, и вернуться домой, а тогда она увидитъ, что Евграфъ Косищевъ «все можетъ», или отказаться даже отъ той мысли, что она—Елена Косищева... И получилъ въ отвѣтъ короткое и сильное, какъ ударъ молота: «нѣтъ, никогда!» Косищевъ слегка поблѣднѣлъ, по особому пристально, холодно-сурово взглянулъ на дочь, криво усмѣхнулся и вымолвилъ: — «такъ помни... никогда!» Потомъ онъ будто взялъ, да и вынулъ изъ сердца что-то хрупкое и теплое, бросилъ его наземь и... уѣхалъ. Но это была борьба человѣка съ человѣкомъ, одной воли съ другой, двухъ желаній... А въ происшествіи съ колоколомъ крылось нѣчто загадочное, не обычное и не совсѣмъ понятное, будившее невольное сомнѣніе и невольный вопросъ. Обо что спотыкнулся Евграфъ Косищевъ, почему, на какой дороге?!

Теперь, когда въ полуночной тишинѣ вторично коснулось Косищева властное дыханіе трудной, таинственной загадки,—чувство неизвѣстности и необъяснимый страхъ снова, выше прежняго, подняли было головы свои и глянули на него изъ темной глубины жуткими глазами, и кто-то, кого нельзя было видѣть, ходилъ за нимъ по пятамъ. Но чѣмъ больше Евграфъ Алексѣевичъ становился самимъ собой, освобождаясь отъ сонной усталости, чѣмъ дальше ходилъ, при рѣзко-яркомъ, холодномъ и безжизненномъ свѣтѣ, по пустымъ и еще болѣе отъ того огромнымъ заламъ, тѣмъ сильнѣе набухали въ груди у него гордость, обида и гнѣвъ... Набухли, слились въ одинъ горячій и тяжелый комъ и загнали страхъ и какіе-то тихіе, неясные вопросы въ узкій и далекій уголышекъ внутренняго «я» Евграфа Алексѣевича. И кровь сильнѣе билась въ жилахъ...

Но союзники не удовольствовались этимъ. Тяжелый и горячій комъ росъ и ширился, вылился, какъ потоки воды изъ переполненнаго водоема, и сталъ облекать недвижные предметы, наполнять пустоту комнатъ, заставляя ихъ словно чувствовать и жить одинаковою съ нимъ жизнью и чувствованіями. Но, видно, и въ этихъ слишкомъ свѣтлыхъ, полныхъ одинокаго молчанія, тишины и неподвижности залахъ стало ему тѣсно, душно и не по-себѣ какъ-то, потому что Косищевъ подошелъ вскорѣ къ

нипѣ окна, отдернулъ портьеру, распахнулъ сразу оконную раму и высунулся до пояса въ окно.

На Евграфа Алексѣевича пахнуло душистою свѣжестью ночи, недавно омытой лѣтнимъ дождемъ. Взоръ Косищева сначала скользнулъ внизъ, туда, гдѣ еще отсвѣчивали мелкими черными алмазами влажные камни мостовой и панели, гдѣ краснѣли точки рѣдкихъ фонарей и приникли къ землѣ—по спуску—сбившимся въ кучу стадомъ уснувшіе дома и домики; потомъ поднялся кверху, къ изголуба-сѣрому небу, гдѣ лохматая туча быстро уползала на западъ, влача за собой послѣдніе щупальцы, и откуда пытливо глядѣли на молчавшую землю и на Косищева безчисленные, сіяющіе бѣлымъ, синеватымъ и желтоватымъ свѣтомъ, глаза; наконецъ, голова Косищева какъ-то сама собой повернулась, и взоръ его инстинктивно потянулся влѣво... Тамъ темнѣло черно-зеленое пятно сквера, а надъ нимъ изогнула хребетъ мрачная масса собора и высилась колокольня... И въ ночномъ полусумракѣ казалось, что это всталъ съ чернаго ложа огромный, угрюмый стражъ и, застывъ на мѣстѣ, глядѣлъ сверху внизъ съ суровымъ, нѣмымъ вопросомъ.

Сразу образы послѣднихъ трехъ дней вспыхнули и потухли въ памяти Косищева... Чувство неизвѣстности и страхъ сильнѣе забились въ томъ узкомъ уголышкѣ, куда были загнаны они, шевельнулся неясный вопросъ въ мозгу, но обида и упрямство, гнѣвъ и гордость тоже заговорили и оттиснули противниковъ своихъ. Въ насторожившемся молчаніи мрачной колокольни почувся Евграфу Алексѣевичу вызовъ, и Косищевъ гнѣвно, выше поднялъ въ отвѣтъ голову... И ему внезапно захотѣлось оживить весь домъ, наполнить его необыкновеннымъ шумомъ, говоромъ, людьми...

Онъ отошелъ къ письменному столу и собирался уже нажать кнопку электрическаго звонка, какъ за дверью послышалось легкое покашливанье, за нимъ осторожный стукъ въ дверь.

— Кто тамъ? Входи...—крикнулъ Косищевъ.

Въ кабинетъ неслышно вступилъ Киріакычъ. Лицо его еще носило на себѣ слѣды недавняго сна. Рысьи глаза съ осторожнымъ удивленіемъ оглядѣли перспективу ярко-освѣщен-

ныхъ комнатъ, потомъ не совѣмъ изысканный костюмъ хозяина.

— Что не изволите почивать? Ужъ не занедужилось ли?! Жена проснулась, видитъ въ окнахъ свѣтъ и разбудила, спасибо ей, меня... Вотъ и рѣшилъ я пойти, провѣдать... Ужъ не случилось ли чего, не дай Господи, думаю, не нуженъ ли часомъ я?! Только вездѣ тихо...

— Всему дому слѣдовало бы всполошиться, ежели хозяинъ не спитъ, а они и не чуютъ! Эхъ! Слава Богу, хоть ты вздумалъ явиться, старина... Пойди-ка сюда, живѣе...— ужъ строже добавилъ Косищевъ.

Кириакычъ приблизился. Косищевъ взялъ его за плечо, подвелъ къ раскрытому окну и указалъ на колокольню собора.

— Гляди лѣвѣе... Видишь, ну?!

— Такъ точно... — съ осторожнымъ недоумѣніемъ отвѣчалъ Кириакычъ.—Соборъ-съ.

— Да, колокольня. Слушай. Ъзжай завтра же и закажи новый, второй колоколъ, и чтобъ былъ онъ мнѣ готовъ, какъ можно, скорѣй и висѣлъ тамъ!.. А старый—вонъ! Денегъ не жалѣй, понялъ? И тебя награжу. Слышишь?!

— Слышу-съ. Все исполню.

Ни недоумѣнія, ни удивленія больше не было на лицѣ Кириакыча, только въ глазахъ свѣтился хищный огонекъ.

— Хорошо. Теперь ступай, вели дѣвкамъ разбудить Ирину Сергѣевну и тетку и сказать, что я не сплю, а Ивану—ставить самоваръ... Погоди... Пришли ко мнѣ Ивана Карлыча,—сейчасъ только! Ступай, да самъ возвращайся...

Косищевъ махнулъ рукой и грузно опустился на обитое кожей кресло.

VIII.

Часы звонко пробили два. Попрежнему лился сверху яркій, холодный свѣтъ. Евграфъ Алексѣевичъ почти успокоился и, все сидя, прислушивался къ тому, какъ просыпался домъ: то про-

бѣжить гдѣ-то глухой говоръ, то стукнетъ дверь, то скрипнуть чьи-то шаги и что-то зашелеститъ вдоль стѣнъ. И Косищеву приятно было, что всѣ эти звуки рождаются по мановенію его руки среди ночного молчанія.

Вотъ громче раздались шаги, зѣвнуль кто-то, пронеслась струя воздуха... Въ двусвѣтный залъ вошелъ Іоганнъ Карлычъ Фейфель, морщась отъ свѣта и недовольно, удивленно оглядываясь по сторонамъ. На немъ былъ обычный кофейный сюртукъ его, а на ногахъ надѣтыя, видимо, въ спѣшкѣ сѣрыя, теплыя туфли. Лицо у него было сонное, утомленное, почти синее, съ большими подглазницами и впавшими, вспотѣвшими висками. На ходу онъ протиралъ клѣтчатымъ платкомъ серебряныя очки.

— Какъ поздно, Негг Косищевъ, какъ поздно... У Маргаритъ Ивановны сегодня голова болитъ, и онѣ очень перепутались...—сказалъ съ тихимъ укоромъ въ тонѣ Фейфель, останавливаясь въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Косищева. — Что фамъ угодно?

— Поздно, говоришь? Ничего, выспаться всегда успѣешь! Ты мнѣ нуженъ...

— Оно, конечно, выспаться всегда можно-съ...—вставилъ свое слово Кириакычъ, появившійся неслышно откуда-то и примостившійся въ уголкѣ.

— Послушай-ка, Иванъ Карлычъ, сыграй что-нибудь на трубахъ-то?! Этакъ, чтобъ по сердцу било и чтобъ душа въ колебаніе пришла! Понялъ?

Нѣмецъ посмотрѣлъ на Косищева, посмотрѣлъ на Кириакыча, пожалъ плечами и, сердито насупивъ брови, направился къ органу. Взошелъ на ступеньки, постоялъ съ минуту въ раздумьи передъ сіяющими трубами и, взглянувъ еще разъ черезъ плечо на Евграфа Алексѣевича, усѣлся на стулъ съ высокой рѣзной спинкой. Онъ зналъ, что съ этимъ человѣкомъ шутить опасно.

— Что жъ ви хотите, чтобъ сыгралъ Іоганнъ Карлычъ?.. Ви не знаете... Іоганнъ Карлычъ теперь будетъ играть только Requiem Моцарта!—нервно и ворчливо заявилъ онъ, чувствуя, что у него по сердцу бѣгутъ острия, жгучія струйки.

Косищевъ нетерпѣливо топнулъ ногой.

— Тебѣ и книги въ руки. Не тани только, Играй...

Старикъ откинулъ назадъ голову и открылъ крышку органа. Въ это время дверь въ кабинетъ тихо отворилась и пропустила Ирину Сергѣевну и тетку Евграфа Алексѣевича, заспанныхъ, встревоженныхъ. Косищевъ строго осмотрѣлъ съ ногъ до головы женщинъ и молча указалъ имъ пальцемъ на диванъ.

Торжественно грянулъ хоръ величавыхъ, полныхъ неземной скорби голосовъ, и волны мощныхъ звуковъ, переливаясь и нарастая, поплыли по комнатамъ, перекатываясь одна черезъ другую, глухо замирая въ высотѣ и съ новой силой требуя свободы и простора, обрушиваясь на стѣны. Обняли эти голоса Косищева трепещущими, но сильными объятіями, входили въ него смѣло и неудержно и заставляли дрожать каждую частицу его тѣла и души. Странное наслажденіе наполнило Евграфа Алексѣевича, и онъ властно смотрѣлъ вокругъ себя и съ вызовомъ на все больше свѣтлѣющую соборную колокольню.

Голоса на мгновеніе стали стихать. Звуки, проникнутые тихою грустью,плыли, ритмично вздыхая. Потомъ, словно кто ударилъ по нимъ звонкимъ жезломъ, и вспорхнули они, какъ стая птицъ, и загремѣли. Густой могучій басъ задалъ нѣсколько грозныхъ вопросовъ, ему громко и тревожно отвѣтилъ хоръ звонкихъ голосовъ. Грянулъ потокъ звуковъ... Одни изъ нихъ будто разбѣгались во всѣ стороны, падали ницъ, становились на колѣни, смиренно вознося къ небу глухія молитвы; другіе, постепенно расплавляясь въ огнѣ страсти и уменьшаясь въ числѣ, грохотали надъ первыми и перекатывались съ важными аккордами. Выдѣлился наконецъ межъ ними скорбный и мощный голосъ и сталъ звучать—отрывисто, мѣрно, глухо...

Да, несомнѣнно, такъ долженъ гудѣть большой колоколъ въ «страшные» дни... И Косищеву явственно померещилось, что колокольня, все рѣзче очерчивающаяся на фонѣ яснѣющаго неба, совсѣмъ точно подступила къ окну, гдѣ сидѣлъ онъ, прислушиваясь къ могучему хоралу.

И въ ту минуту, когда снова ладья тихой грусти должна была поплыть по волнамъ безмѣрнаго, величаваго покоя и сми-

ренія, грубый, гнѣвный окрикъ ворвался въ хоръ молящихся голосовъ и заставилъ стараго органиста, забывшаго и бессонную ночь, и Косищева, и то, гдѣ онъ, увлекшійся музыкантъ, находится, вздрогнуть и оборвать звуки.

— Что вы говорить?..

— Я говорю: перестань! Душу разбередилъ только, слышишь? То-то... Сыграй что-нибудь другое... этакъ пораскатистѣе, да повеселѣе...

— Раскатисто... весело... О-о, Негг Косищевъ! На органъ?! Requiem... о-о!.. Нэ-эть...

Иоганнъ Карлычъ всталъ, снялъ дрожащими руками очки и съ глубокимъ, горестнымъ удивленіемъ человѣка, разбуженнаго отъ чуднаго, свѣтлаго сна, началъ всматриваться грустнымъ взглядомъ въ то мѣсто, откуда выползъ окрикъ. Косищевъ побагровѣлъ весь, сверкнулъ глазами и тоже всталъ. Женщины, присѣвшія на диванъ, сдѣлались какъ бы ниже, замерли, не будучи въ состояніи оторвать глазъ своихъ отъ фигуры Евграфа Алексѣевича. Кириакычъ, казалось, вросъ въ стѣну, въ ожиданіи страшной вспышки гнѣва хозяина.

— Слушай, ты...—шли къ органисту твердыя, произносимыя слишкомъ ровнымъ и спокойнымъ голосомъ, слова,—ты со мной не шути! Ты не перечь мнѣ, Евграфу Косищеву. Сію минуту играй, что велѣлъ я тебѣ. А не то ночью прикажу выбросить тебя съ твоей Маргаритой Ивановной и съ пожитками всѣми на улицу. Играй!

Будто эти слова падали сверху на убѣленную сѣдиной, старую голову Иоганна Карлыча, какъ тяжелые камни, и давили его внизъ. Онъ горбился, горбился... опустилъ безпомощно руки... и сѣлъ на стулъ, поникши головой... Точно звонкій рокоть далекаго, очень далекаго ручья коснулся слуха Косищева, потомъ бульканье... хриплый стонъ и громкій, рыдающій вздохъ... Фейфель плакалъ...

Косищевъ хотѣлъ что-то сказать, но дрогнувъ, судорожно схватился за шею и сипло крикнулъ: «во-ды... с-с-с... а-а-а!»

На дворѣ просыпалась заря. Розовые тона уже тихо алѣли на зелени деревьевъ и теплились кресты собора. Небо синѣло.

IX.

Душный день близился къ невеселому, безъ единого дуновения вѣтерка, вечеру. Ключочки истомленной, блѣдной лазури еле проглядывали въ рѣдкіе промежутки межъ кудластыхъ тучъ, покрывшихъ темными буграми все небо. На западѣ, надъ рѣкой, текущей свинцомъ, и надъ линіей лѣса дремала густо-лиловая облачная громада, окаймленная желтой полоской. Изрѣдка дымилась по улицамъ пыль, мелкая, вялая, сѣрая...

Косищевъ, одѣтый въ костюмъ изъ китайской чесучи и съ широкополой соломенной шляпой на головѣ, подѣхалъ только что въ собственномъ экипажѣ къ соборному саду. Выбралъ боковую, уединенную аллею, окаймленную двумя тѣсными рядами скучныхъ, чахлыхъ, точно мукой осыпанныхъ березокъ, и сталъ прогуливаться, хрѣстя пескомъ, по ней, нетерпѣливо поглядывая на ушедшую въ тучи колокольню собора. Вчера только подняли туда новый—второй—колоколь; завтра, въ воскресенье, снова будетъ служить обѣдню владыка, соборне, при стеченіи народа; но Косищеву не терпѣлось, и онъ рѣшилъ днемъ раньше услышать съ высоты «его» колоколь, сзывая впервые вѣрующихъ ко всеобщей.

Со дня принятія Косищевымъ рѣшенія пожертвовать второй колоколь Евграфу Алексѣвичу везло невозможно, и зерна успѣха пригоршнями сыпались на него. Онъ получилъ орденъ, былъ избранъ старшиной купеческаго сословія, перебилъ у коммерціи совѣтника Арцыбашева покупку богатѣйшаго имѣнія промотавшагося князька, чѣмъ и наказалъ своего врага за его ехидную усмѣшку въ церкви. И хотя странный проклятый сонъ все еще не выходилъ изъ памяти Косищева, но чувство обиды значительно ослабло, и ранка на самолюбіи заживала. Только на горизонтѣ виднѣлись два хмурыхъ облачка. Во-первыхъ, домашній врачъ, основываясь на двухъ, отдѣленныхъ короткимъ промежуткомъ времени, сильныхъ припадкахъ у своего паціента, предписалъ ему полное ничего-недѣланіе и выѣздъ на воды безотлагательно. Во-вторыхъ, въ самомъ затаенномъ уголышкѣ души

Косищева загнѣздилося что-то неуловимое, въ одно и то же время и маленькое, и большое, живущее своею собственною, самостоятельную жизнью, и пугливое, и дерзкое, и способное сразу и сильно выпрямляться, какъ крѣпкая стальная пружина. Оно смущало самымъ неожиданнымъ образомъ покой Евграфа Алексѣевича, каждый день съѣдало по кусочку, по самому маленькому кусочку душевнаго «я» и питалось его кровью, незамѣтно увеличиваясь въ объемѣ. Косищевъ чувствовалъ, что «это» нельзя стереть съ лица души, какъ пыль тряпкой, что оно вошло въ душу, покинувъ трещину его перваго колокола, и ждалъ чего-то, что заставитъ «это» смолкнуть. И потому онъ долженъ былъ какъ можно скорѣе услышать этотъ звонъ, такъ какъ Косищевъ не привыкъ и не хотѣлъ сомнѣваться въ самомъ себѣ, а между тѣмъ сомнѣніе уже было...

Косищевъ ходилъ по аллеѣ ужъ минутъ десять, какъ вдругъ его окликнулъ старческій голосъ. Евграфъ Алексѣевичъ взглянулъ на площадь и увидѣлъ тамъ, надъ желѣзной рѣшеткой, въ рамкѣ изъ сѣро-зеленой листвы розовое лицо, съ добрыми синими глазами и длинной бѣлой бородой. Это былъ уважаемый въ городѣ торговецъ, благоговѣвшій передъ Косищевымъ.

— Милостивому государю нашему Евграфу Алексѣевичу— почтеніе...

— Здравствуйте, здравствуйте, Иванъ Петровичъ...

— Какъ изволите поживать, какъ дѣла ваши? Хороши? Ну, и славу Богу...

— Спасибо, Иванъ Петровичъ... Вы какъ?

— Мы что! извѣстно—старость?—А васъ, вотъ, Евграфъ Алексѣичъ, поздравить нужно съ колоколомъ новымъ! Слыхалъ, слыхалъ... Цѣнный, большущій... Ужъ этотъ, батюшка, не треснетъ, нѣтъ... И чего это съ первымъ приключилось, не знаю!.. Отъ мастера, что ли?!

Косищевъ почти съ гнѣвомъ взглянулъ на старика и почувствовалъ, что «то» зашевелилось и будто приподнялось.

— Не знаю. Прощайте, Иванъ Петровичъ... Охъ! Что... это? Заблаговѣстили?

— Ударили? Н-нѣтъ, не слышно... Гдѣ заблаговѣстили? Въ соборѣ? Нѣтъ.

— Нѣтъ, почудилось вѣрно... Прощайте!

Косищевъ перевелъ духъ и, кивнувъ небрежно головой, пошелъ на другой конецъ аллеи. Тутъ онъ остановился и вынулъ золотые часы. Стрѣлка медленно, нехотя ползла къ шести, и Евграфу Алексѣевичу показалось, что она цѣпляется остриемъ за знаки циферблата, но кто-то ее тащитъ все вправо и вправо... Косищевъ оставилъ часы у себя въ ладони и, закинувъ назадъ голову, притая дыханіе, сталъ глядѣть на верхній ярусъ колокольни.

Но въ это время у него за спиной слышались чьи-то шуршащія шаги, потомъ знакомое покашливанье. Косищевъ невольно оглянулся: это подошелъ Кириакычъ, котораго Евграфъ Алексѣевичъ не видалъ ужъ дня четыре. Кириакычъ переминался съ ноги на ногу, на лицѣ его было какое-то особое выраженіе, трудное для разгадки, на картузѣ густой слой пыли.

— Что тебѣ? Здравствуй... Гдѣ былъ?

— Такъ... въ разныхъ мѣстахъ... Намеднишь только пріѣхалъ... Все вашу милость искалъ... Только по лошадямъ и узналъ, гдѣ вы...

— Не тяни. Вижу,—спѣшное дѣло... Скорѣе. Ну?

— У Артюхинскихъ мужичковъ дѣло что-то неладно...—негромко сталъ докладывать Кириакычъ.—Не знаю, какъ и сказать... Приговоръ—тотъ, первый—рѣшили обжаловать, я и бумагу ужъ читалъ: на обманъ, т.-е., напираютъ и на все другое... Ловко-съ, больно ловко-съ составлено... Можно сказать, ничего-съ не упущено.

— Такъ что жъ изъ того слѣдуетъ? Эка важность! Говорю: не тяни...

— Да-а, мудро составлено. Писарь въ Артюхинѣ теперича новый, изъ образованныхъ... Онъ ихъ и надоумилъ за себя-съ постоять... А жалобу-то онъ не одинъ составлялъ, а вмѣстѣ съ супругой-съ ихней...

— Ты что турусы на колесахъ разводишь?

— Такъ точно-съ... съ супругой вмѣстѣ... — Кириакычъ весь съежился и зашепталъ: — Глазамъ своимъ не хотѣлъ вѣрить...

А только-съ такъ и есть...! Ей-Богу-съ... Не извольте гнѣваться... Только супруга ихняя...—барышня наша! Право-съ!

— Сію минуту... бѣги... тово...—закричалъ Косищевъ глухимъ и сдавленнымъ крикомъ.—Сію минуту... Вели...

Но онъ не закончилъ фразы и взглянулъ на часы. Они показывали ровно шесть. Евграфъ Алексѣвичъ сразу поднялъ взоръ на колокольню. Внезапно въ вышинѣ дрогнули самыя нѣдра воздуха, громыхнуло мягко, обрушилось что-то,—и потемнѣло въ глазахъ Косищева... Упалъ ударъ, величавый и звонкій, сказалъ то, что долженъ былъ сказать, коротко и ясно,—и понялъ все умъ Евграфа Алексѣвича.

И былъ этотъ ударъ такой мощный, такой чистый и пронизывающій, сначала черный весь, а потомъ рѣзко-красный, что все внутри у Косищева всколыхнулось, всплеснула тревога тамъ и сразу выпрямилось стальной пружиной то «нѣчто». Сердце упало, вся кровь вошла въ мозгъ... Брызнулъ яркій свѣтъ, потомъ обрушилась тьма, и это была—смерть.

Евграфъ Косищевъ открылъ широко ротъ и безъ единого звука грузно свалился на песокъ аллеи.

К. А. Ковальскій.

Москва, 1903 г.





Этическіе идеалы Нитцше.

Если бы мы захотѣли однимъ словомъ опредѣлить міровой законъ, царящій надъ всей природой и надъ всѣми социальными отношеніями, мы бы не могли подыскать лучшаго слова, чѣмъ: «движеніе».

Все, что мы видимъ, осязаемъ, чувствуемъ, мы сами, наконецъ,—все находится въ непрерывномъ движеніи, вѣчно измѣняетъ свои формы. Этотъ принципъ выраженъ еще извѣстной формулой Гераклита: «никто не входитъ и не выходитъ изъ одной и той же рѣки». Пока человѣкъ находится въ рѣкѣ, она уже обновила свои воды. Гегель развилъ положеніе Гераклита въ стройную діалектическую формулу, въ которую онъ вложилъ все свое міросозерцаніе. Марксъ, перевернувъ всю идеологию Гегеля вверхъ ногами, не только не отказался отъ его діалектики, но положилъ ее въ базисъ своихъ социальныхъ изысканій.

Въ противорѣчій съ стремленіемъ всего реальнаго міра къ движенію, измѣненію, человѣческая мысль стремится закрѣпить его въ устойчивыя, разъ навсегда высѣченныя изъ гранита, формы. «Ничто не есть, все пребываетъ»,—говоритъ философія,—«ничто не пребываетъ—все есть», отвѣчаетъ ему такъъ называемый практическій смыслъ.

Вся исторія мысли полна трагедій, разыгрывающихся на почвѣ борьбы между философіей, съ ея принципомъ движенія, и предъ-

разсудкомъ, съ его принципомъ постоянства; между діалектическимъ и метафизическимъ методомъ мышленія, какъ своеобразно (хотя и неправильно) выразился бы Марксъ. Римлянинъ Брутъ, бросившійся на собственный мечъ, Гуссъ на костръ, Галлилей, кинувшій сонму кардиналовъ свое громовое: «а все-таки она вертится»,—вотъ великіе герои этой всемірно-исторической трагедіи, кровью запечатлѣвшіе свое страстное исканіе истины, неразрывно связанной съ движеніемъ. Но лишь только ихъ идеи становятся господствующими, — какъ эпигоны, «ученики», готовы, во славу своихъ учителей, предать казни новыхъ героевъ новаго движенія.

Стремленіе жизни къ движенію и обновленію формъ нигдѣ не сказывается такъ поразительно, какъ въ сферѣ общественныхъ отношеній, а между тѣмъ нигдѣ, какъ здѣсь, дѣйствительность не проявляетъ столько устойчивости и консерватизма. Господствующіе классы, всегда заинтересованные въ сохраненіи *status quo*, прекрасно усвоивъ себѣ извѣстный афоризмъ: «со штыками можно сдѣлать все, кромѣ какъ усѣсться на нихъ...», дѣлаютъ все возможное, чтобы отношенія силы и сознанія были таковы же, какъ отношенія морали и права.

И когда то или другое положеніе морали становится особенно важнымъ для этихъ классовъ и потому стремится къ господству надъ вѣками и народами,—оно заковывается въ непроницаемую броню и объявляется вѣчнымъ учрежденіемъ, становится недосягаемымъ для ударовъ критики, нечувствительнымъ къ вѣянію времени. Нужно, чтобы въ реальныхъ отношеніяхъ общества наступило значительное видоизмѣненіе для того, чтобы его моральная философія вылилась въ новую стройную систему. А до тѣхъ поръ въ переходныя эпохи, когда старое старится, а молодое не растетъ, или, вѣрнѣе, не даетъ еще вполне опредѣленныхъ ростковъ,—общество не принимаетъ ни одной авторитетной системы, а его философы-моралисты дѣйствуютъ каждый на свой страхъ и рискъ, подчиняясь не школѣ, а собственному генію и настроенію.

Къ числу подобныхъ переходныхъ эпохъ принадлежитъ наше время. Идеалы свободы, равенства и братства, какъ ихъ про-

повѣдывали энциклопедисты и какъ ихъ осуществила французская революція для западной Европы въ прошломъ, дали многое, но не все. Выдвинулись новыя задачи, поютъ новыя пѣсни, и одной изъ такихъ яркихъ пѣсенъ нашего времени является моральная система Нитцше, «разрушителя цѣнностей старыхъ и создателя новыхъ цѣнностей». Какъ все крупное, яркое, выражающее не себя, не эпизодъ, а эпоху, Нитцше имѣетъ и страстныхъ противниковъ, и горячихъ поклонниковъ. «Исторія философіи не знаетъ, кажется, другого примѣра, когда бы такія глупыя шутки и такую дикость выдавали за философію, больше того, за глубокую философію»,—такъ отзывается о Нитцше Максъ Нордау. Влад. Соловьевъ находитъ, что «вся нитцшеанская проповѣдь сводится къ однимъ словеснымъ упражненіямъ, прекраснымъ по литературной формѣ, но лишеннымъ всякаго дѣйствительнаго содержанія».

Проф. Штейнъ думаетъ, что «мысли Нитцше, право, оригинально-скотскія, и онъ превосходитъ своимъ распутнымъ радикализмомъ все, что до сихъ поръ создали образованные люди». Многіе критики идутъ дальше и безъ всякихъ обиняковъ объявляютъ Нитцше сумасшедшимъ, а его произведенія—подлежащими критикѣ психіатровъ; несмотря на все это, несмотря на то, что во всѣхъ подобныхъ отзывахъ есть крупница истины, Нитцше продолжаетъ быть популярнымъ, его переводятъ на всѣ европейскіе языки. Такіе писатели, какъ Зиммель, утверждаютъ, что «величественная серьезность мыслей Нитцше покоится глубоко подъ влекущей къ себѣ прелестью играющей, искрящейся, чарующей манеры изложенія», а безпристрастный и объективный Риль говоритъ: «Нитцше—мыслитель съ очень сильно выраженной индивидуальностью... Книги его поэтому—незаурядныя книги».

Но еще удивительнѣе, на первый взглядъ, то обстоятельство, что о Нитцше болѣе или менѣе благосклонно отзываются писатели демократическаго лагеря, между тѣмъ, какъ врядъ ли у кого-нибудь изъ современныхъ философовъ мы найдемъ столько желчныхъ, подчасъ отвратительно циничныхъ нападокъ на социаль-демократію, какъ у Нитцше. «Вы проповѣдники равен-

ства,—воскликаетъ онъ съ пафосомъ,—безсильное безуміе тирана кричитъ въ васъ о равенствѣ!» И далѣе: «по моему мнѣнію люди не равны и они не должны быть равны... Соціальный вопросъ это созданіе глупости и вырожденія инстинктовъ».

Но, какъ мы уже сказали, многіе представители демократической мысли, напримѣръ, наши публицисты, Михайловскій и Струве, часто очень сочувственно цитируютъ страстнаго врага демократіи, а въ европейской литературѣ нерѣдко сопоставляется ученіе Нитцше съ ученіемъ демократіи (Марксъ и Нитцше). Очевидно, несмотря на весь свой аристократизмъ, Нитцше нѣкоторыми сторонами своего ученія идетъ нога въ ногу съ лучшими стремленіями вѣка; очевидно, его «переоцѣнка всѣхъ цѣнностей», какъ разорвавшаяся цѣпь, ударяя однимъ концомъ «по мужику, другимъ бьетъ по барину».

Въ своей статьѣ мы задались цѣлью рассмотреть оба звена разорвавшейся цѣпи, отдѣлить десницу Нитцше отъ его шуйцы и постараемся выяснитъ тѣ стороны ученія нашего философа, которыя соотвѣтствуютъ духу времени, и дать имъ историческую оцѣнку. Самые недостатки Нитцше могутъ быть разсматриваемы, какъ реакція противъ міросозерцанія, на борьбу съ которымъ онъ выступилъ, какъ послѣдствія тѣхъ формъ общежитія, которыми онъ былъ окруженъ; сильныя и слабыя стороны его ученія могутъ быть объяснены не нервными припадками сумасшедшаго философа, а потребностями эпохи, въ которой онъ жилъ и писалъ. И тогда, въ отвѣтъ на упреки Нитцше въ безуміи, мы отвѣтимъ словами Полонія: «въ его безуміи есть система».

II.

Современный кодексъ морали, въ значительной степени, сложился въ эпоху расцвѣта римскаго могущества, когда организованной силѣ цезаріанства и гражданскаго общества противостояла безправная, разрозненная и безсильная масса: чернь. При такихъ условіяхъ жизнь огромнаго большинства должна была протекать среди непрерывныхъ лишеній и страданій. Тяжелое

настоящее и никакого просвѣта въ будущемъ. Борьба и гибель— были понятіями равнозначущими.

Но человѣкъ неисправимый идеалистъ,—чѣмъ хуже ему живется, чѣмъ болѣе свинцовый гнетъ давить его общественную жизнь, тѣмъ необходимѣе и реальнѣе становится для него утопія, несбыточная мечта. Само собой понятно, что униженная и оскорбленная римская чернь должна была съ энтузіазмомъ воспринять всякую морально-философскую систему, которая хотя бы въ отдаленномъ будущемъ показала ей краешекъ неба, лучъ солнца. Съ другой стороны, всякій призывъ къ активной борьбѣ съ желѣзной необходимостью велъ бы къ безплоднымъ жертвамъ, которыя можетъ перенести фанатически настроенная секта въ моменты религіознаго экстаза, но которыя никогда не нашли бы себѣ отзыва въ широкихъ кругахъ населенія.—Единственно возможная при подобныхъ условіяхъ мораль:—«созерцаніе гармоній будущаго и терпѣливое перенесеніе бѣдствій настоящаго», должна была соединить въ себѣ три противоположныя черты.

Она должна была, во-первыхъ, въ мечтахъ нарисовать тѣмъ болѣе свѣтлый идеаль, чѣмъ мрачнѣе была дѣйствительность; во-вторыхъ, примирить человѣчество съ его дѣйствительными страданіями; наконецъ, въ-третьихъ, не только не призывать къ гибельной борьбѣ за свѣтлый идеаль, а, напротивъ, избѣгать борьбы силой.

И съ высоты Голгофы раздалось великое слово, отвѣчающее всѣмъ этимъ требованіямъ.

Будущая жизнь рисовалась, какъ недостижимый идеаль равенства, гдѣ нѣтъ ни богатыхъ, ни знатныхъ, гдѣ первые стануть послѣдними. Самые крайніе идеалы равенства проповѣдывались въ мечтахъ. И мечты были такъ осязательны, что становились дѣйствительностью, и мечты выдавались за дѣйствительность, а дѣйствительность была объявлена мечтой, проходящей суетой, которую можно претерпѣть для истинной жизни. Отсутствие борьбы, непротивленіе злу насиліемъ было возведено въ догматъ.

Этика для безсильной, изнемогающей массы была дана, были даны догматы, тѣмъ историчнѣе, чѣмъ суровѣе былъ деспотизмъ Рима, чѣмъ безправнѣе—жизнь и судьба низшихъ классовъ.

Привилегированные классы, сначала враждебно встрѣтившіе новое ученіе, быстро съ нимъ освоились и создали для себя изъ него прекрасный буферъ, смягчающій толчки между низшими и высшими слоями, взяли себѣ существующій міръ, предоставивъ рабамъ «тотъ свѣтъ»,—и такимъ образомъ соціальный вопросъ былъ разрѣшенъ. Исторія, съ своей стороны, поработала надъ очищеніемъ новаго кодекса морали, и въ результатѣ, получилась моральная философія утопическаго социализма, крайняя въ мечтѣ и скромная въ жизни.

Цѣлые вѣка философы и теологи спорили о своемъ кодексѣ, то возвращаясь къ его чистымъ источникамъ, то выдвигая на первый планъ его искаженія и историческія наслоенія, но споры не могли, конечно, остановить жизни. Пало рабство, прошла эпоха крѣпостничества. Организовался сначала капиталъ и запечатлѣлъ свою организацію новыми принципами. Начало организоваться и четвертое сословіе. И западно-европейская демократія теперь уже не напоминаетъ намъ римской черни или римскаго раба. Она образована и сплочена. Она имѣетъ свою литературу, свои конгрессы, своихъ вождей въ парламентахъ. Она завоевываетъ даже министерскіе портфели (Мильеранъ). Очевидно, что подобная демократія не будетъ избѣгать борьбы. Она не прочь помечтать о счастьѣ за облаками; отчего нѣтъ. Но она предъявитъ свой чекъ на землю. Прѣжняя философія смиренія, непротивленія злу насиліемъ сыграла свою важную историческую роль, и вотъ въ области философіи начинается новое броженіе, исканіе новыхъ путей.

Нитцше одинъ изъ тѣхъ мыслителей, которые отправились на поиски. Ему приходится расчищать себѣ дорогу, спотыкаться и падать, но, истерзанный и окровавленный, онъ вновь подымается и съ новой энергіей прокладываетъ себѣ путь. Часто онъ теряетъ дорогу, блуждаетъ, попадаетъ изъ одной крайности въ другую. Что за бѣда? Такова судьба всѣхъ первыхъ піонеровъ, «это многихъ славныхъ путь».

III.

Нитцше начинаетъ съ возстановленія тѣла въ его правахъ. Современная идеалистическая философія презираетъ человѣческое тѣло: она знаетъ только духъ. Для Нитцше душа есть функція тѣла. «Я тѣло и душа»,—говоритъ ребенокъ. И почему нельзя говорить какъ дѣти?.. Но пробудившійся, знающій говорить: «Я только тѣло и ничего кромѣ того, а душа есть выраженіе чего-то въ тѣлѣ». Не иду вашей дорогой, вы ненавистники тѣла *).

Возстановливая тѣло въ правахъ гражданства, Нитцше беретъ изъ античной, языческой культуры все, что въ ней было истиннаго и привлекательнаго. Если тѣло, его наслажденія и страданія первенствуютъ, то, несомнѣнно, земная жизнь не можетъ уже быть объявлена ничтожной, суетной. Она пріобрѣтаетъ самостоятельное значеніе и изъ этапнаго пункта превращается въ конечную цѣль. И Нитцше любитъ, больше—онъ обожаетъ жизнь и землю. Эта привязанность и любовь къ жизни тѣмъ трогательнѣе, чѣмъ печальнѣе была личная судьба нашего философа. Но онъ, по справедливому замѣчанію Рилы, ставитъ выше всего—силу жизни, избытокъ жизни, въ чемъ бы онъ ни проявлялся.

«Больше жизни, требуетъ онъ,—жизни приподнятой, самодовлѣющей, властной, вѣрующей въ себя...» и далѣе: «изъ желанія выздоровѣть, жить—я создалъ себѣ философію. Въ самомъ дѣлѣ, надо на это обратить вниманіе: именно въ тѣ годы, когда жизненныя силы мои понизились до минимума, я пересталъ быть пессимистомъ—говорившій во мнѣ инстинктъ самовозстановленія отвергъ философію скудности и отчаянія».

Заратустра-Нитцше страстно призываетъ къ землѣ и жизни «Оставайтесь вѣрны землѣ, братья мои, съ силой добродѣтели вашей. Пусть ваша дарящая любовь и ваше знаніе служатъ смыслу земли... «Жизнь на землѣ должна протекать въ радости,

*) Замѣчательно, что одинъ изъ первыхъ проповѣдниковъ утопическаго социализма, Сень-Симонъ, такъ же реабилитируетъ тѣло и чувственность.

самое страданіе должно быть источником наслажденія. Жизнь есть источникъ радости: но въ комъ говорить испорченный желудокъ—источникъ печали—для того отравлены всѣ источники». Заратустра хочетъ видѣть «мужчину и женщину, способныхъ къ пляскѣ отъ головы до ногъ. И да будетъ для насъ потерянъ тотъ день, когда мы не плясали». Для Нитцше современное нравственное міросозерцаніе: клевета на міръ. «Человѣчно-хорошимъ былъ для меня сегодня міръ оклеветанный зломъ». Нитцше не находитъ достаточно сильныхъ выраженій, чтобы заклеить клеветниковъ жизни. Проповѣдь о суетности міра—это «великая болтовня», отъ которой «смердно пахнетъ». Уже изъ приведенныхъ цитатъ мы видимъ, что для Нитцше міръ здѣсь на землѣ, онъ полонъ радостей, изъ-за которыхъ слѣдуетъ и стоитъ жить.

Здѣсь кроется базисъ философіи Нитцше. Тѣло, земля, жизнь—вотъ тріада, священная для нашего философа. Во имя ея онъ разбиваетъ: «скрижали никогда не радующихся, скрижали клеветниковъ на міръ», но тутъ же, видя, что его тріада приближается къ ученію демократіи, что на воздвигнутомъ имъ фундаментѣ можетъ быть построено чуждое для него зданіе, начинаетъ бояться захвата и устами Заратустры спѣшить предостеречь своихъ друзей отъ самой возможности смѣшенія: «Есть такіе, что проповѣдуютъ мое ученіе о жизни и въ то же время являются проповѣдниками равенства. Друзья мои, не хочу, чтобы меня смѣшивали или отождествляли съ ними».

Противникъ равенства, врагъ демократіи, Нитцше тѣмъ не менѣе въ основу своей философіи кладетъ тотъ же матеріалъ, изъ котораго строится зданіе современной демократіи. Земная жизнь, ея радости—для него цѣль «сама въ себѣ», за которую должно бороться со всей силой, находящейся въ распоряженіи человѣка. И здѣсь ученіе Нитцше какъ нельзя болѣе примыкаетъ къ положенію европейской демократіи. Она уже не настолько безсильна, чтобы отказываться отъ активной борьбы, чтобы прятаться за непротивленіе злу насиліемъ: въ унисонъ съ этимъ философія Нитцше является сплошнымъ побѣднымъ гимномъ борьбѣ и силѣ. Онъ призываетъ и воодушевляетъ въ

одно и то же время. Смысль его рѣчи, какъ и самый стиль ея: музыка борьбы. Это оркестровка воинственной оперы. Либретто можно изорвать и написать новое; настроеніе самой музыки нисколько не измѣнится отъ словъ, которымъ она будетъ аккомпанировать. Нитцше, ведя свои войска въ атаку, дѣлаетъ смотръ всѣмъ добродѣтелямъ и порокамъ человѣчества. Онъ переоцѣниваетъ ихъ съ точки зрѣнія своей военной цѣли. Онъ выбираетъ за бортъ всѣхъ добродѣтели, которыя мѣшаютъ борьбѣ, и для него онѣ уже не добродѣтели, а величайшіе пороки. Онъ вѣнчаетъ лаврами все, что только содѣйствуетъ выработкѣ типа неукротимаго бойца. Здѣсь происходитъ такая же переоцѣнка всѣхъ цѣнностей, какъ и въ вопросѣ о жизни и тѣлѣ.

Человѣкъ, преданный идеѣ и борьбѣ за нее, почти постоянно приходитъ въ драматическую коллизію со всѣми устоями современной морали. Прежде всего борцу приходится считаться съ привязанностями къ тому муравейнику, который его окружаетъ. Муравейникъ можетъ быть обширнымъ или крохотнымъ, онъ можетъ обнимать собой націю, современность или замыкаться въ тѣсный кругъ семьи; все равно, для Нитцше, въ сравненіи съ конечной цѣлью человѣчества, съ его идеаломъ (о которомъ мы будемъ говорить позже), всякій замкнутый кругъ представляется чѣмъ-то отрицательнымъ, чѣмъ-то такимъ, что слѣдуетъ преодолѣть. «Такъ гласитъ моя великая любовь къ далекимъ: не щади своего ближняго». Ближній для Нитцше частичка своего «я», которое нужно преодолѣть. «Ближніе» всегда тянутъ къ прежнимъ формамъ, къ установившейся морали. Нитцше ненавидитъ любовь къ ближнему еще и потому, что она представляется ему синонимомъ слабости. «Совѣтую ли я вамъ любовь къ ближнему,—я преимущественно совѣтую вамъ любить далекихъ. Братъ мой, вѣдь, призракъ, витающій предъ тобой, прекраснѣе тебя; почему же ты не отдаешь ему свое тѣло и кровь?!. Пусть будущее и отдаленное будетъ для тебя причиной твоего сегодня».

Развѣ въ этихъ тирадахъ не слышится этика всякаго работающаго для будущаго?!. Всякій процессъ творчества есть въ то же время процессъ разрушенія и творецъ долженъ отказаться,

во имя отдаленнаго идеала, отъ любви къ разрушаемому. «Всякій послѣдующій моментъ пожираетъ предыдущій, всякое рожденіе есть смерть безчисленныхъ существъ: рождать, жить, умерщвлять—одно и то же. И потому мы можемъ сравнить торжествующую культуру съ побѣдителемъ во время триумфальнаго шествія, который весь въ крови своихъ жертвъ влечетъ въ рабство за своей колесницей толпу привязанныхъ къ ней побѣжденныхъ». Но старыя формы воплощены въ людяхъ. Разрушающій и созидаящій не можетъ не причинять имъ боли. А тѣ, кому больно, плачутъ и жалуются. Съ своей точки зрѣнія они правы, и для реформатора бываетъ большей частью необходимо преодолѣть свою доброту и состраданіе. Послѣдовательный въ выработкѣ идеала борца, Нитцше переоцѣниваетъ и эти два устоя современной морали: доброту и состраданіе. Страстный, парадоксальный философъ-памфлетистъ, онъ и здѣсь, какъ вездѣ, хватается черезъ край, но все же и въ этихъ парадоксахъ есть доля правды. Состраданіе Нитцше ненавидитъ еще и потому, что въ немъ онъ подозрѣваетъ причину измельчанія челоѡѣчества. Онъ разбиваетъ «скрижали состраданія», какъ выраженіе слабости, безсилія. То, что должно рушиться, не можетъ быть поддержано и спасено. Но Заратустра велитъ толкать падающее. «Все, что принадлежитъ нашему времени, все падаетъ, рушится, но Заратустра хочетъ еще толкать все это».

Состраданіе вредно отражается какъ на субъектѣ, такъ и на объектѣ его. Оно вредно для сострадающаго, потому что связываетъ его, лишаетъ возможности служить единому Богу своего идеала: «Не должно быть въ зависимости отъ состраданія, если бы дѣло шло даже о близкихъ людяхъ, если бы намъ случайно пришлось видѣть ихъ мученія и безпомощность». Но состраданіе вредно и въ объективномъ отношеніи. Для доказательства своего положенія Нитцше обращается къ Дарвину и въ естественномъ подборѣ ищетъ могучаго противника состраданію. Это послѣднее, извращая естественный подборъ, даетъ перевѣсъ слабости надъ силой, болѣзни надъ здоровьемъ и такимъ образомъ ведетъ не къ улучшенію вида, не къ прогрессу, а къ пониженію, къ вырожденію.

Выбросивши изъ кодекса морали состраданіе, Нитцше нападаетъ на доброту и на добрыхъ. «О, мои братья,—воскликаетъ Заратустра, — отъ кого же грозитъ опасность будущему всего человѣчества? Не отъ добрыхъ ли и праведныхъ?!» Добрые страшны для всякаго прогресса уже тѣмъ, что они обрѣли начала вѣчной морали и не только не хотятъ съ ними разстаться, но и тормозятъ всякое движеніе. «Мы знаемъ, что хорошо и что праведно,—говорятъ они,—мы достигли этого; горе тѣмъ, кто еще идетъ... добрые должны распять того, кто находитъ для себя свою собственную добродѣтель».

Нитцше съ особенной силой подчеркиваетъ эту консервативную сторону современной морали. Поднявши бунтъ противъ ея установившихся цѣнностей, Заратустра понимаетъ, что «добрые и праведные» ненавидятъ его и зовутъ «своимъ врагомъ и ненавистникомъ». Кого больше всего ненавидятъ они, — спрашиваетъ Заратустра, — и самъ отвѣчаетъ: «того, кто разбиваетъ доски ихъ цѣнностей, разрушителя и преступника. Но это и есть созидающій».

Доброта и милосердіе... Въ нихъ Нитцше видитъ основу всѣхъ современныхъ бѣдствій. Они должны привести человѣчество къ неподвижности и вырожденію. Умѣренность и аккуратность — вотъ идеаль жизни современнаго вырождающагося человѣчества. Благополучіе—его конечная цѣль. Ничто такъ не содѣйствуетъ хорошему пищеваренію, какъ немного доброты и немного милосердія. Нитцше возстаетъ и противъ благополучія, и противъ умѣренности, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, противъ доброты и милосердія. «Сколько доброты, столько слабости вижу я. Сколько милосердія, столько и слабости вижу я».

Вырожденіемъ считаетъ Нитцше весь современный прогрессъ; смягченіе нравовъ—упадкомъ, моралью старыхъ бабъ. Этой мысли онъ придаетъ особенное значеніе, называя ее своимъ открытіемъ. «Наблюдаемое теперь смягченіе нравовъ является результатомъ упадка, такова моя мысль, если хотите, мое открытіе, и, наоборотъ, суровость и жестокость нравовъ можетъ быть результатомъ избытка жизни!» Но безсиліе приводитъ къ потребности во взаимопомощи, всѣ нуждаются въ помощи всѣхъ

и каждый является и больнымъ, и сидѣлкой у постели больного. Миръ превращается въ лазаретъ, а человѣчество въ больныхъ и сидѣлокъ. Изъ боязни испортить себѣ кровь человѣкъ отучается отъ злобы и ненависти. Онѣ мѣшаютъ покойному, безмятежному житію.

Общее вырожденіе рисуется Нитцше въ картинѣ послѣдняго человѣка, наслаждающагося равенствомъ и благополучіемъ. Картина набросана такими смѣлыми штрихами, что мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести ее цѣликомъ: «Смотрите, я показываю вамъ послѣдняго человѣка.

Что такое любовь? Что такое творчество? Что такое желаніе? Что такое звѣзда?—вопрошаетъ послѣдній человѣкъ и безсмысленно моргаетъ.—Земля стала крошечной, и по ней прыгаетъ послѣдній человѣкъ, дѣлающій все малымъ. Его родъ неистребимъ, какъ у послѣдней блохи. Послѣдній человѣкъ живетъ дольше всѣхъ. «Мы нашли счастье,—говорятъ послѣдніе люди и безсмысленно моргаютъ. Они покинули страны, гдѣ было холодно жить: они нуждаются въ теплѣ. Они все еще любятъ со-сѣда и трутся около него, ибо они нуждаются въ теплѣ. Они еще трудятся, ибо трудъ есть развлеченіе. Но они заботятся, чтобы развлеченіе не переутомляло. Не будетъ ни бѣдныхъ, ни богатыхъ. И то, и другое слишкомъ утомительно. Кто еще желаетъ властвовать и кто повиноваться? То и другое слишкомъ утомительно. Нѣтъ пастыря, одно лишь стадо. Каждый желаетъ равенства, и всѣ равны. Кто чувствуетъ иначе, добровольно отправляется въ сумасшедшій домъ... Они еще ссорятся, но скоро мирятся,—иначе это разстроило бы желудокъ... «Мы нашли счастье»...—говорятъ послѣдніе люди и безсмысленно моргаютъ».

Выбросимъ изъ этой картины вырожденія и благополучія вопросъ о равенствѣ: о немъ мы будемъ говорить въ другомъ мѣстѣ. Въ общемъ тонѣ еще слышится мучительная горечь за слабость и безсиліе, за довольство благополучіемъ, отсутствіе воли, энергіи, желаній. И Нитцше съ остервенѣніемъ разбиваетъ скрижали той морали, которая влечетъ человѣчество въ декаденство. Типъ добраго и милосерднаго онъ замѣняетъ прямо

противоположнымъ типомъ: «существо, исполненное гнѣвнаго величія, съ гордымъ взглядомъ, отважной волей, боецъ, поэтъ и въ то же время философъ, шагающій такъ, какъ будто бы ему предстояло переступить черезъ змѣй и чудовищъ».

Нитцше ищетъ въ природѣ руководителя человѣка, а тамъ онъ находитъ захватъ и эксплуатацію. По его мнѣнію, жизнь заключается «въ подавленіи, въ порабощеніи или, въ лучшемъ случаѣ, въ эксплуатаціи другихъ», а самая эксплуатація для него есть не признакъ испорченности, а составляетъ сущность жизни съ ея стремленіемъ къ власти». Человѣкъ не только не долженъ составлять исключенія изъ этого всеобщаго закона жизни, напротивъ, онъ долженъ сознательно стремиться къ тому, къ чему природа стремится безсознательно. Въ самую борьбу за жизнь, какою ее знаетъ Дарвинъ, Нитцше вноситъ поправку. Въ природѣ онъ видитъ не бѣдность и недостатокъ, а роскошь и изобиліе, потому борьбы за жизнь среди избытка быть не можетъ. Ее замѣняетъ борьба за власть, за желаніе творить, созидать, накладывать на формы жизни отпечатокъ своей воли. «Вы должны испытывать блаженство, накладывая на тысячеклѣтія словно на воскъ свою печать,—блаженство, вѣдь, писать на волѣ тысячеклѣтій, какъ на мѣди».

Для Нитцше воля есть также жажда власти. Онъ не признаетъ ее безъ желанія повелѣвать или господствовать. Свободной или несвободной воли нѣтъ, есть только слабая или сильная воля, и все бѣдствіе современнаго человѣчества заключается въ слабости воли. Человѣкъ съ разслабленной волей—калѣка, старающійся спрятать свое убожество за всевозможными разряженными покрывалами. Тутъ и «объективность», и «научное отношеніе», и «искусство для искусства», и «чистое, свободное познаніе». Но все это, по мнѣнію Нитцше, есть только «разряженный скептицизмъ и разслабленіе воли». Современный человѣкъ не умѣетъ даже желать — въ этомъ его несчастье. «Поступайте по вашимъ желаніямъ, — поучаетъ Заратустра, — но только умѣйте желать».

Для того, чтобы вылѣчить человѣчество отъ столь ужасной болѣзни, Нитцше готовъ видѣть идеаль въ бѣлокуромъ варварѣ,

съ его грубой жестокостью, въ «хищномъ человѣкѣ, въ этомъ самомъ здоровомъ образчикѣ тропическихъ чудовищъ и растительныхъ продуктовъ». Съ той же дерзостью, съ которой онъ разбилъ старыя скрижали добрыхъ: «милосердіе», онъ создаетъ новыя скрижали благородныхъ: «жестокость». «Созидающіе жестоки», — говоритъ онъ, и въ другомъ мѣстѣ: — «почти все, что мы называемъ высшей культурой, исходитъ изъ одухотворенія и углубленія жестокости».

Доброму человѣку противопоставляется человѣкъ благородный. Онъ рисуется взору философа: сильнымъ, отважнымъ, хищнымъ и жестокимъ. Онъ знаетъ иногда милосердіе, но это милосердіе въ грозномъ хищникѣ еще болѣе отбѣняетъ его силу, а не составляетъ признака слабости. Ясно, что подобный идеалъ есть идеалъ борца. Насильникъ и по природѣ, и сознательный, онъ не склонить голову ни передъ чѣмъ. На насиліе онъ отвѣтитъ насиліемъ, зло онъ отразитъ силой. Современное ученіе о смиреніи, по Нитцше, есть мораль рабовъ. Для слабаго, угнетеннаго, не имѣющаго ни воли, чтобы искать борьбы, ни силы, чтобы вести ее, что остается, кромѣ лицемѣрнаго утѣшенія въ томъ, что кротость, смиреніе, терпѣніе—есть лучшія добродѣтели? И вотъ «слабость какимъ-то живымъ образомъ возводится въ добродѣтель... Безсиліе, неспособность реагировать—это доброта; трусость или низость—это смиреніе; подчиненіе тѣмъ, кого ненавидимъ,—это покорность. Нечувствительность къ обидѣ, даже трусость слабыхъ — все это получаетъ здѣсь благородное наименованіе добродѣтели. Неимѣніе силы отомстить превращается въ нежеланіе мстить, а то и въ прощеніе; заговариваютъ даже о любви къ врагамъ»... Но все это безкорыстіе только лишь лицемѣрная маска, ибо эти люди убѣждены, что будутъ вознаграждены за свою добродѣтель.

Нитцше всѣми силами души ненавидитъ всю эту «фабрику лжи». Онъ обрушивается на нее всей тяжестью своего сверкающаго сарказма. «И когда проклинаятъ васъ—мнѣ не нравится, что вы благословляете проклинаящихъ. Лучше уже въ свою очередь проклясть». Истинно, я часто смѣялся надъ слабыми, которые считали себя добрыми—только потому, что у нихъ слабыя руки».

Вырожденіе и лицемѣріе доходитъ до того, что люди безпомощно складываютъ руки даже передъ зломъ и насиліемъ, а ихъ этика возводитъ въ догматъ непротивленіе злу насиліемъ, Заратустра не знаетъ ничего болѣе злого и лживаго, чѣмъ ученіе, въ которомъ, повидимому, нѣтъ совѣмъ злобы и хитрости. «Предоставь міру быть міромъ,—такъ характеризуетъ ихъ ученіе Заратустра, — не поднимай противъ него даже пальца. Пусть желающій давить, колетъ, скоблитъ людей и сдираетъ съ нихъ кожу: не подымай противъ зла даже пальца. Путемъ этого научаются они отречься отъ міра. А свой собственный разумъ—ты долженъ самъ задушить его; это разумъ міра сего, благодаря чему самъ ты научишься отречься отъ міра».

Непротивленіе злу насиліемъ есть вѣнецъ морали смиренія и малодушія. Нитцше не только негодуетъ на него, не только отмѣчаетъ, что въ его кажущейся незлобности таится величайшая злоба двухъ тысячелѣтій, но, что еще важнѣе, онъ совершенно вѣрно указываетъ на ея происхожденіе, на историческую зависимость подобной морали отъ общественныхъ формъ, породившихъ ее.

«Положимъ,—говоритъ Нитцше,—что нравственность начнутъ проповѣдывать люди обезсиленные, угнетенные, страдающіе, несвободные: на что можетъ быть похожа ихъ оцѣнка?.. У рабовъ выставляются и ярко освѣщаются свойства, способствующія тому, чтобы облегчить страдальцу его земное бытіе. Сюда относятся состраданіе, умѣніе помогать охотно и скоро, горячее сердце, терпѣніе, прилежаніе, смиреніе».

Однако, довольно,—ибо мы не задались цѣлью методически изложить ученіе Нитцше, да это и невозможно. Нитцше—философъ парадоксовъ и противорѣчій, онъ нѣсколько разъ отбрасываетъ одно міросозерцаніе, чтобы удариться въ другое, прямо ему противоположное. Мы беремъ его взгляды въ послѣдній періодъ, тщательно отдѣляя все то, что не составляетъ сущности ученія философа, а является результатомъ мимолетнаго настроенія или полемическаго пафоса его. Съ другой стороны, многія части ученія Нитцше для насъ не имѣютъ значенія. Мы поставили себѣ опредѣленную задачу: выяснить историчность

ученія Нитцше, показать, что вопреки распространенному взгляду, проповѣдуемая имъ мораль какъ нельзя больше соотвѣтствуетъ тому положенію, которое на историческихъ подмосткахъ заняла современная демократія. Потому мы отбрасываемъ всѣ индифферентныя части доктрины Нитцше и оглянемся на пройденное пространство. Мы видѣли, что господствующая мораль явилась не вѣчной и абсолютной. Въ исторіи она сдѣлала свое дѣло, она облегчала безсильнымъ и слабымъ людямъ ихъ земную жизнь, она давала возможность самое униженіе превращать въ гордость; она щадила людей, всѣ активные протесты которыхъ противъ силы и власти заранѣе были обречены на гибель; она наконецъ напѣвала людямъ, гнушимся подъ бременемъ жизни, чудныя пѣсни, убаюкивала ихъ дивными сказками. Но времена измѣнились. Громадное большинство человечества увидѣло возможность устроить свое счастье на землѣ. Чтобы оцѣнить по достоинству значеніе для него морали Нитцше, допустимъ на минуту, что демократія искренне и глубоко прониклась бы современной догмой, ни одной буквы которой она не пожелала бы измѣнить. Дебаты любого европейскаго парламента, напр. германскаго рейхстага, свелись бы приблизительно къ такому діалогу. Бебель заговорилъ бы о жаждѣ счастья и жизни, а центръ отвѣтилъ бы ему проповѣдью о загробной жизни: Бебель потребовалъ бы для своей партіи счастья здѣсь на землѣ, на что получилъ бы отповѣдь о суетности всего земного; на отчаянный крикъ объ удовлетвореніи потребностей большинства, онъ услышалъ бы проповѣдь объ умерщвленіи плоти. А если бы онъ все-таки дерзнулъ добиваться своего счастья, ему бы отвѣтили: «убѣждай, увѣщевай, но пусть кротость, смиреніе, терпѣніе будутъ твоимъ единственнымъ орудіемъ... Пусть твоимъ утѣшеніемъ будетъ сознаніе, что на томъ свѣтѣ въ загробной жизни первые стануть послѣдними и тамъ ты, унижаемый, ничтожный, станешь возвеличеннымъ и счастливымъ... Не противься злу».

Не ясно ли, что если бы Бебель согласился съ центромъ, онъ бы связалъ свою партію по рукамъ и ногамъ, обрекъ бы ее на самоубійство. Нитцше разсѣкаетъ всѣ эти путы. Онъ

всей силой своего сарказма, всѣмъ паѳосомъ своей выкованной изъ стали полемики обрушивается на этотъ міръ фикцій. Его послѣдователь не согласится ждать эфемернаго счастья, онъ ничего не захочетъ слышать объ умерщвленіи плоти, о спасительности воздержанія. Нѣтъ, онъ будетъ искать такихъ общественныхъ формъ, которыя удовлетворили бы всѣ его законныя потребности, которыя бы дали ему возможность легко и свободно наслаждаться жизнью. И Нитцше мало того, что показываетъ своимъ ученикамъ обѣтованный рай, онъ ихъ вооружаетъ и благословляетъ на борьбу.

Эти части ученія Нитцше, конечно, не изобрѣтены нашимъ философомъ. Онъ разбросаны вездѣ. Нитцше только далъ имъ, благодаря своему таланту, наиболѣе яркое и острое выраженіе. Но для насъ очевидно, что на нихъ покоится мораль будущаго. Забудутся книги Нитцше, какъ забудется самъ философъ, но эти догматы сдѣлаются категорическимъ закономъ будущаго, какъ мораль невольно и по необходимости «отрицающая чудно прекрасный міръ» стала закономъ прошедшаго. Конечно, подобно всему земному и эти положенія когда-нибудь обветшаютъ. Наступитъ время, будемъ твердо вѣрить въ это, когда исчезнетъ зло въ общественныхъ отношеніяхъ, когда не сила будетъ правомъ, а право силой; тогда діалектическое развитіе жизни отброситъ надвигающійся на насъ кодексъ морали. До того свѣтлаго времени человѣчество должно будетъ бороться за свои человѣческія права. И, вмѣстѣ съ тѣмъ, мы думаемъ, что ни одна общественная партія не согласится подписаться подъ той парадоксальной формой, въ которой выражены основы изложенной морали.

Любовь къ дальнему для cadaго борца должна быть дороже любви къ ближнему; «завтра» должно быть дороже «сегодня». Но постоянное подавленіе въ себѣ непосредственнаго альтруистическаго чувства — въ концѣ-концовъ, можетъ повести къ его атрофіи. Замѣчено, что альтруизмъ большинства великихъ реформаторовъ носить скорѣе головной, чѣмъ сердечный характеръ. Самую проповѣдь Нитцше о жестокости и безсердечіи можно принять только, какъ парадоксальное выраженіе его стрем-

лений къ бурѣ и борьбѣ. Какъ и вездѣ, Нитцше здѣсь бьетъ дальше своей цѣли. Такъ «Разбойниковъ» Шиллера нельзя понимать въ смыслѣ прямого призыва къ убійствамъ и грабежу. И здѣсь, какъ у Нитцше, настроеніе идетъ значительно дальше конкретныхъ фактовъ, его вызывающихъ.

Далѣе, нельзя не указать на скользкость доктрины у Нитцше, на ея соблазнительность для людей эгоистичныхъ, бездарныхъ и самоувѣренныхъ, для которыхъ жестокость изъ средства превращается въ цѣль.

И нужно сказать правду. Самъ Нитцше разнузданностью своихъ построений какъ бы благопріятствуетъ подобному извращенію. Вѣнчая Цезаря Борджіа, Нитцше выпускаетъ на свободу звѣря въ человѣкѣ. Но самъ онъ все-таки сознаетъ опасность того, что каждый будетъ считать себя созидающимъ и, отбросивъ внѣшнюю узду современной морали, не создастъ внутри себя строгаго судьи самому себѣ. «Ты хочешь идти дорогой своей скорби,— говоритъ Заратустра,— покажи мнѣ твое право и твою силу для этого. Есть ли у тебя новое право и новая сила? Есть ли первое движеніе? Есть ли ты произвольно катящееся колесо? Развѣ ты можешь заставить звѣзды вращаться вокругъ тебя? Ахъ, сколько устремлено похотливыхъ желаній къ высотѣ! Ахъ, какъ много судорогъ честолюбцевъ! Покажи мнѣ, что ты не одинъ изъ этихъ похотливо-желающихъ и честолюбивыхъ. Можешь ли ты дать себѣ и свое зло, и свое добро, и повѣсить на себя волю свою, какъ законъ? Можешь ли ты быть для самого себя судьей и мстителемъ за законъ свой?!»

Величайшій историческій типъ жестокаго, но слабого человека—былъ Іоаннъ Грозный, разрушавшій, не созидая, жестокой безъ милосердія. Въ литературѣ «эготисты» со своимъ извращеніемъ ученія Нитцше нашли себѣ выраженіе въ Боборыкинской «Накипи». Іоаннъ Грозный и Петръ Великій — вотъ двѣ историческія фигуры, стоящія на противоположныхъ полюсахъ, одинъ, извращая, а другой, служа вѣрнымъ воплощеніемъ идеала мощи, борьбы и силы Нитцше. Герои «Накипи», съ одной стороны, и Генрихъ «Потонувшего колокола», съ другой,—

представляются такими же полярностями въ области художественнаго воплощенія. Но какъ бы разныя пошлыя посредственности ни извращали ученія Нитцше, въ немъ все-равно будетъ скрываться родникъ, чистый, какъ кристаллъ. Этика въ противоположность праву, при выработкѣ своихъ нормъ, должна игнорировать возможность искаженія и злоупотребленія. Для нея важны принципъ, идеи...

IV.

Какъ мы уже говорили, Нитцше писатель переходнаго времени, и вся его система носить отпечатокъ эпохи, когда старыя формы разлагаются, а новыя еще не обозначились достаточно ярко. Почти всѣ ученія подобныхъ историческихъ моментовъ отмѣчены общимъ свойствомъ: критическія ихъ стороны развиты гораздо сильнѣе положительныхъ. То же самое мы находимъ и у Нитцше. Онъ разочарованъ въ существующихъ людяхъ, его поражаетъ ихъ безсиліе, вялость. Онъ видитъ, что современное общество принижаетъ личность, не даетъ ей возможности развернуться и вотъ, вмѣсто того, чтобы искать другой формы общественности, онъ впадаетъ въ противоположную крайность: видитъ спасеніе только въ крайнемъ индивидуализмѣ. Здѣсь шуйца его доктрины и здѣсь, какъ нельзя болѣе, онъ расходится съ самой общественной и государственной партіей, которую только можно себѣ представить, съ партіей социаль-демократіи. По какой-то ироніи судьбы, Нитцше въ этой части своей доктрины приближается къ прямому антиподу социаль-демократа—анархисту, такъ рѣзко имъ порицаемому. Тарле въ своей интересной статьѣ: «Нитцшеанство и его отношеніе къ политическимъ и социальнымъ теоріямъ европейскаго общества» (съ выводами которой однако я рѣзко расхожусь), Тарле совершенно не правъ, иронически отзываясь о тяготѣнніи анархистовъ къ Нитцше. Несмотря на нелестный отзывъ объ «анархистической собакѣ, оскаливающей свои зубы», послѣдователь-

ное развитіе идеала Нитцше несомнѣнно приведетъ къ анархіи. Анархистъ—это Заратустра, давшій волю своимъ инстинктамъ, рѣшившій, что онъ долженъ быть безпощаднымъ и носить свой законъ внутри себя. Анархистъ—ученикъ Заратустры, нашедшій собственный путь, къ чему призываетъ самъ Нитцше, когда говоритъ, что «слѣпо слѣдующій за нимъ, противенъ ему». Онъ отдѣлился отъ своего учителя тогда, когда Заратустра повелъ свое войско въ крестовый походъ за сверхчеловѣческимъ.

Развивая идеи крайняго индивидуализма, Нитцше естественно долженъ былъ встать въ оппозицію какъ къ утопическому, ни къ чему не обязывающему равенству всѣхъ передъ однимъ, такъ въ еще большей мѣрѣ къ реальному равенству, котораго добивается демократія.

Нитцше, вмѣстѣ со многими другими противниками равенства, выдвигаетъ противъ него аргументъ, что гдѣ начинается равенство, тамъ кончается прогрессъ съ его могучимъ двигателемъ—борьбой за существованіе. Но въ корнѣ подобныхъ возраженій кроется полное непониманіе соціального равенства. Это послѣднее не только не отрицаетъ индивидуальности, напротивъ, освобождая ее, дѣлая для всѣхъ равными условія борьбы и жизни, соціальное равенство служитъ могучимъ факторомъ выработки высшаго типа. Такъ, на всякой правильной дуэли мы ставимъ противниковъ въ совершенно равныя внѣшнія условія, и внутреннее неравенство лучше всего сказывается при помощи внѣшняго равенства. Наоборотъ, мы бы устранили всякое значеніе силы, ловкости и храбрости, вооруживъ одного противника дальнобойнымъ револьверомъ и давъ въ руки другого ничтожный хлыстикъ. Но, именно, такъ и бываетъ въ нашемъ обществѣ, при современныхъ соціальныхъ отношеніяхъ. Борьба за существованіе зависитъ не столько отъ естественнаго, сколько отъ соціального подбора; выживаетъ не тотъ, кто сильнѣе, умнѣе, храбрѣе, а тотъ, кто поставленъ въ болѣе благоприятныя условія. Тысячи здоровыхъ и сильныхъ рабочихъ гибнутъ въ напрасной борьбѣ, тогда какъ даже глухонѣмые и идіоты, обезпеченные матеріально, не только выживаютъ сами, но и про-

должаютъ свой родъ. Смѣшно и странно при подобныхъ условіяхъ даже заикаться о прогрессивномъ значеніи борьбы за существованіе въ современномъ культурномъ обществѣ. Мы уже не говоримъ о тѣхъ ударахъ, которые въ свое время нанесли противникамъ соціальнаго равенства такой рѣшительный индивидуалистъ, какъ Михайловскій. Въ своихъ статьяхъ нашъ социологъ, многія стороны ученія котораго до сихъ поръ недостаточно оцѣнены, прекрасно доказалъ, что даже въ космическомъ мірѣ борьба за существованіе вырабатываетъ практическій, а не идеальный типъ, и что практическій прогрессъ (у кротовъ—слѣпота) очень часто ведетъ къ пониженію идеальнаго типа.

Какъ бы то ни было, ясно, что только поставивши всѣхъ въ одинаковыя условія борьбы за существованіе, мы доставимъ полное торжество индивидуальности, и что, даже оставаясь на почвѣ существующей морали индивидуализма, нельзя ничего возразить противъ общественнаго равенства. Но само собой понятно, что съ измѣненіемъ всѣхъ соціальныхъ условій борьбы за существованіе, когда человѣку придется бороться не съ человекомъ, а съ природой, должны измѣниться и психологическіе стимулы его дѣятельности: вмѣсто индивидуалистическихъ выдвинутся другіе, альтруистическіе. Но даже, если принять во вниманіе ту поправку, которую вноситъ Нитцше въ теорію Дарвина, замѣняя борьбу за существованіе борьбой за власть, то и при такомъ толкованіи борьба за первенство выдвинетъ яркія индивидуальности въ томъ обществѣ, гдѣ она не будетъ искажаться соціальнымъ подборомъ. Мы рѣшительно думаемъ, что общественное равенство не ослабляетъ выработки индивидуальной силы, а способствуетъ ей, что оно ведетъ не къ слабости и вырожденію, а къ силѣ и прогрессу. Ошибка Нитцше заключается въ смѣшеніи двухъ совершенно разнородныхъ понятій: соціальнаго равенства и равенства индивидуальностей. Чѣмъ, какъ не указаннымъ недоразумѣніемъ, можно объяснить подобную, напр., тираду:

«Ибо, по моему мнѣнію, справедливость говорить: люди не равны. И они не должны быть равны».

Люди могутъ быть неравны, они могутъ осуществлять по-

желаніе Нитцше, «тысячами мостовъ и тропинокъ стремиться къ будущему», между ними даже можетъ при этомъ «все больше расти неравенство», но, при всемъ томъ, въ общественныхъ отношеніяхъ можетъ быть осуществлено самое идеальное равноправіе. Такъ, на гладкой, какъ полотно, равнинѣ растеть и столѣтній дубъ, и кустарникъ, а съ другой стороны, горы и овраги часто бываютъ покрыты вытянутой въ струнку хвоей. «Жизнь хочетъ строиться вверхъ и выдумываетъ столбы и ступени. Подниматься хочетъ жизнь и поднимаясь преодолевать себя»,—говоритъ Заратустра, и мы съ нимъ вполне согласны. «Борьба и неравенство есть даже въ самой красотѣ»,—поучаетъ насъ философъ сверхчеловѣчности, и опять мы съ нимъ согласны. Но философъ человѣческаго станетъ утверждать, что всего этого можно добиться при полномъ социальномъ равенствѣ, что потребность жизни въ борьбѣ можетъ быть съ избыткомъ насыщена борьбой съ природой и что борьба человѣка съ человѣкомъ такъ ничтожна въ сравненіи съ его борьбой среди природы, что исчезновеніе первой не отразится на общихъ законахъ жизни. Не нужны и излишни станутъ ненависть, хищность, жестокость и т. п. свойства, возводимыя Нитцше на степень необходимыхъ элементовъ культуры. Человѣкъ еще долго, а, можетъ быть, и навсегда—останется хищнымъ животнымъ, въ болѣе широкомъ смыслѣ этого слова. Еще долго, можетъ быть, очень долго въ область морали будутъ входить только междучеловѣческія отношенія, а, по отношенію къ остальному животному царству, человѣкъ будетъ хищникомъ. Но для прогресса вовсе не необходимо, чтобы хищность, жестокость и проч. сказывались въ социальныхъ отношеніяхъ.

Съ устраненіемъ этого базиса всей «шуйцы» философіи Нитцше, съ признаніемъ, что социальное равенство не противорѣчитъ прогрессу, что насиліе необходимо только въ обществѣ, построенномъ на началахъ неравенства, что мораль «добрыхъ», съ ея любовью къ ближнему и непротивленіемъ злу насиліемъ, нуждается только въ относительномъ пересмотрѣ, съ признаніемъ всѣхъ этихъ началъ — становится уже легко опрокинуть ту часть философеми Нитцше, которая на нихъ построена.

Если социальное равенство не означает еще равенства индивидуумовъ, то, съ другой стороны, классъ, поставленный на вершинѣ социальной лѣстницы, аристократія, далеко не означает еще дѣйствительно самый здоровый и могучій классъ. Говоря иначе, аристократія социальная и внутренняя—далеко не совпадаютъ.

Надо отдать справедливость Нитцше: онъ своими вѣчными противорѣчіями далъ пищу недоразумѣнію, выросшему на почвѣ его ученія. То онъ говоритъ о существующей исторической аристократіи, то объ идеальной, только рисуемой въ его представленіи. Это смѣшеніе понятій, въ корнѣ котораго кроется болѣе глубокое смѣшеніе социального и индивидуального неравенства, дало возможность считать Нитцше опорой аристократической философіи. Но мы позволяемъ себѣ думать, что, несмотря на всю брань противъ анархизма, Нитцше, со своимъ антисоциальнымъ ученіемъ и крайней разнузданностью индивидуализма, стоитъ гораздо ближе къ анархизму, чѣмъ къ аристократіи, несмотря на все восхваленіе послѣдней.

Впрочемъ, противорѣчій въ ученіи Нитцше не оберешься. То онъ упрекаетъ аристократію въ отсутствіи сознанія, что она сама въ себѣ несетъ оправданіе своего существованія, что она не является функціей общаго строя, а его цѣлью и оправданіемъ, то, перечисляя признаки аристократизма, онъ какъ бы опровергаетъ самого себя. Вотъ эти признаки: «никогда не низводитъ нашихъ собственныхъ обязанностей до общихъ обязанностей; не отказываться отъ собственной отвѣтственности и не желать дѣлить ее, считать свои права и пользованіе ими за свои обязанности». Еще опредѣленнѣе высказывается Нитцше, когда въ лицѣ Заратустры приглашаетъ своихъ учениковъ не въ прошедшемъ, а въ будущемъ искать идеалъ аристократа. «О мои братья, вашъ аристократизмъ долженъ глядѣть не назадъ, а впередъ». Изгнанными вы должны быть изъ страны вашихъ отцовъ и праотцевъ вашихъ.

Въ общей системѣ Нитцше—аристократъ—не цѣль въ себѣ, а только лѣстница къ сверхчеловѣку. Они составляютъ «ту партію, которая беретъ въ свои руки высшую изъ всѣхъ за-

дачь: подъемъ челоѣчества. Они въ будущемъ выработаютъ сверхчелоѣка.

Но что такое сверхчелоѣкъ?

Нитцше разсматриваетъ челоѣка, какъ одну изъ стадій общаго измѣненія видовъ и стадію неокончательную. Всѣ существа, бывшія до сихъ поръ, создавали нѣчто высшее себя, «и челоѣкъ есть только нить, протянутая между звѣремъ и сверхчелоѣкомъ». Челоѣкъ—канатъ, по которому должно пройти, существо, которое должно «преодолѣть».

Нитцше подъ сверхчелоѣкомъ сначала понималъ нѣчто біологически отличное отъ челоѣка, какъ этотъ послѣдній отличается отъ обезьяны. Но впослѣдствіи онъ уже отказался отъ своего взгляда и въ «Антихристѣ» уже признаетъ, что «челоѣкъ есть нѣчто окончательное». вмѣстѣ съ тѣмъ, и сверхчелоѣкъ только по отношенію къ челоѣку является чѣмъ-то высшимъ. «Счастливые, особенно удачные экземпляры челоѣческаго рода были всегда возможны», говоритъ Нитцше въ «Антихристѣ», расходясь съ тѣмъ, что онъ говорилъ раньше въ «Заратустрѣ». Но до сихъ поръ они являлись дѣломъ случая, а теперь надо научиться производить ихъ. Все челоѣчество не имѣетъ самостоятельнаго значенія и живетъ только для своихъ сверхчелоѣческихъ «вершинъ».

Какое бы изъ этихъ двухъ толкованій сверхчелоѣка ни принять, несомнѣнно, что невозможно бросить челоѣчество ему подъ ноги. Каждый выработанный типъ имѣетъ право бороться за свою индивидуальность, а челоѣчество впервые способно осмыслить эту борьбу. Прогрессъ (въ противоположность развитію) есть понятіе чисто субъективное. Челоѣчество въ правѣ считать прогрессомъ только то, что способствуетъ его счастью, и никогда не откажется отъ антропоцентрическаго взгляда. Оно никогда не согласится закладывать себя у алтаря сверхчелоѣка или какого-либо другого изъ алтарей, въ изобиліи воздвигаемыхъ фетишистами всѣхъ оттѣнковъ. Люди идеи приносили и будутъ приносить въ жертву себя и свою любовь къ ближнимъ во имя блага болѣе обширнаго и далекаго круга, наконецъ, во имя любви къ тому великому цѣлому, которое мы называемъ челоѣ-

чествомъ, но за этимъ человѣчествомъ нѣтъ нравственнаго горизонта, за нимъ — ничто. Самый горизонтъ человѣчества не неподвижная линія; онъ находится въ непрерывномъ процессѣ, такъ сказать, «раздвиганія», поглощая въ себя все новыя понятія. По мѣрѣ этой ассимиляціи, расширяются потребности человѣка, онъ прогрессируетъ, прогрессируетъ и его понятіе о счастіи. Этому движенію нельзя предвидѣть конца, а вмѣстѣ съ нимъ бесконечно подвиженъ и идеалъ человѣка.

Нитцше, возведя неравенство и общественную дифференціацію въ культъ, приноситъ въ жертву ему громадное большинство не только современнаго, но и будущаго человѣчества. Въ этомъ его ошибка.

Въ остальномъ философія Нитцше не только не расходится съ моралью демократіи, но, какъ этого опасался и самъ философъ, можетъ быть положена въ основаніе ея философской системы. Онъ учитъ перенести рай съ неба на землю, признать зависимость духа отъ тѣла, возстановить тѣло въ его правахъ; мощно бороться за свой земной рай. Онъ создаетъ этику, разрѣшающую силѣ противопоставить силу. Онъ рисуетъ типъ человѣка, способнаго къ дѣятельной борьбѣ, развѣнчиваетъ смиреніе, доброту, мѣшающую созиданію, основанному на разрушеніи; любовь къ ближнему, заслоняющую болѣе далекое, но зато и болѣе великое; состраданіе, извращающее перспективу бѣдствій въ пользу ближайшаго, часто наиболѣе слабаго.

Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Нитцше ведетъ на вербованныя войска въ страну крайняго индивидуализма и неравенства, въ погонѣ за невѣдомымъ и чуждымъ идеаломъ сверхчеловѣка. Но развѣ всегда на вербованныя полководцемъ войска идутъ покорно туда, куда хочетъ ихъ увлечь вождь? Нужно думать, что такъ не будетъ!

Современное общество переживаетъ тѣ же чувства, которыя отразились въ ученіи Нитцше. Какъ и онъ, современное (европейское) общество не довольствуется уже тѣми формами общестственности, которыя завѣщаны концомъ XVIII вѣка. Какъ и Нитцше, современное общество не выработало себѣ еще опредѣленнаго идеала и бросается въ самыя противоположныя край-

ности. Наконецъ, какъ и Нитцше, оно ужасается собственной дряблости и измельчанія. Та творческая, групповая работа, которая происходитъ въ его нѣдрахъ, еще не достаточно оцѣнена на поверхности; и, подобно своему философу, общество склонно въ разнузданности крайняго индивидуализма искать лѣкарства противъ истощающаго его безсилія.

Съ другой стороны, въ этомъ же обществѣ незамѣтно, но неустанно идетъ организованная, групповая работа. Другая часть общества такъ же, какъ и Нитцше, нуждается въ новой морали и, можетъ быть, ищетъ ее въ ученіи больного философа. Оно беретъ свою философію тамъ, гдѣ ее находитъ, и отбрасываетъ остальное въ сторону.

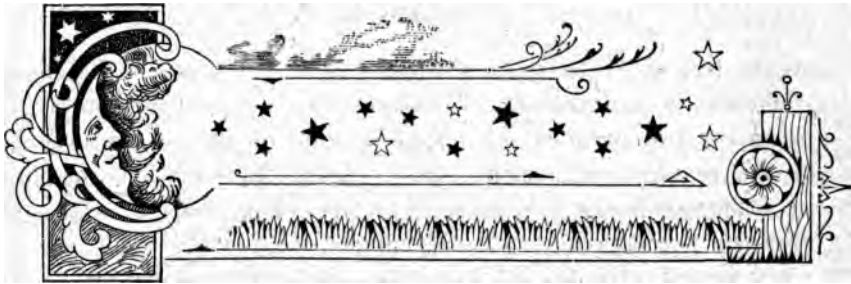
Въ самой двойственности ученія Нитцше заключается тайна его популярности. Тамъ, гдѣ нѣтъ цѣльности въ жизни, не можетъ быть популярна—цѣльная и законченная философія. Нитцше, какъ большинство моралистовъ переходныхъ эпохъ, не систематикъ и, оставаясь вѣрнымъ своему времени, не можетъ быть систематикомъ. Онъ больше декламируетъ, чѣмъ спорить; больше спорить, чѣмъ излагаетъ; и больше излагаетъ, чѣмъ доказываетъ. Его сверкающій стиль выкованъ для разрушенія, больше, чѣмъ для созиданія, и, по своей литературной формѣ, онъ опять и опять является характернымъ бойцомъ переходной критической эпохи.

Онъ не создалъ стройной системы. Онъ вспахалъ только почву для нея. Пройдутъ года, десятки, можетъ быть, сотни лѣтъ, прежде чѣмъ жизнь выдвинетъ въ стройныхъ, законченныхъ формахъ тѣ устои, которые зрѣютъ теперь. По мѣрѣ ихъ созиданія, ярче и опредѣленнѣе будетъ вырисовываться и новая система морали, пока, наконецъ, міръ новыхъ идей не увѣнчаетъ міра новыхъ вещей.

Тогда разроютъ могилу неоцѣненнаго при жизни, прославляемаго врагами и бранимаго друзьями созидателя новыхъ и разрушителя старыхъ цѣнностей; и исторія приметъ его въ свой пантеонъ, отвѣдя ему мѣсто рядомъ съ Руссо.

Казань.

М. Мандельштамъ.



Все въ себѣ.

(РАЗСКАЗЪ.)

Въ окна подслѣповато глядѣла рѣдкая для Москвы, чисто петербургская оттепель; съ улицы глухо доносились шуршанія взбудораживаемаго экипажами снѣга, какіе-то подмоченные звонки конокъ, трескотня пролетокъ, скрежетаніе саней о камень, злобныя понуканія ломовыхъ.

Въ меблированной комнатѣ еще молодого, но уже, какъ говорится, небезызвѣстнаго беллетриста Степана Михайловича Демьянова было тускло, промозгло-кисло и крайне безпорядочно.

Самъ онъ, растрепанный, полуодѣтый, въ калошахъ вмѣсто туфель, сидѣлъ за столомъ, заваленнымъ обрывками рукописей, почесывался, хмурился, брался то за перо, то за карандашъ, грызъ ихъ кончики и курилъ и курилъ.

Опять ему не писалось, — опять, какъ и наканунѣ, какъ и весь этотъ мѣсяцъ.

Матеріала, сюжетовъ у него было много, но въ головѣ, въ душѣ его, казалось, стоялъ такой же туманъ, какъ и на улицѣ, который такъ и поѣдалъ, такъ и растворялъ въ себѣ всѣ вызываемыя имъ мысли и чувства, всѣ проблески его творчества.

Онъ перебѣгалъ съ сюжета на сюжетъ, съ образа на образъ, рылся въ своихъ записныхъ книжкахъ, напрягалъ память и

воображеніе какъ только могъ, разжигалъ себя всячески, и все оказывалось тщетнымъ: душа, а съ нею и творчество не пробуждались, и только досада, только озлобленіе на свое безсиліе охватывали его все сильнѣе и сильнѣе.

А написать хоть что-нибудь, хоть небольшой рассказецъ было нужно, вполне необходимо.

Сидѣлъ онъ за этой будто бы работой съ самого утра и, боря въ себѣ злобствующее нетерпѣніе, все заставлялъ себя вѣрить, что вотъ-вотъ и работа, наконецъ, начнется, но затѣмъ мало-по-малу сталъ чувствовать, что взамѣнъ ожидаемаго къ нему все только ближе и ближе подходитъ усталость; та особенная, жалостно-дрянная усталость, то общее расслабленіе, которое бываетъ только послѣ трудовъ напрасно потраченныхъ и такъ и говорить человѣку про всю его дряблость, про всю его непригодность къ истинному труду. Скверно, болѣзненно-раздражительно ощущается такая усталость, такое сознаніе беспомощности.

— Такъ-съ, такъ-съ,—сталъ самъ надъ собою иронизировать Демьяновъ, — стало быть, опять не въ настроеніи!.. А? Господинъ Демьяновъ, нашъ небезызвѣстный, такъ опять ни полстранички не выжмете изъ себя?

И кривя свое изжелта-блѣдное, небогатое растительностью, но въ общемъ довольно благообразное лицо, онъ, весь подергиваясь, прошелся по комнатѣ, брезгливо поводя глазами то по грязнымъ и теперь точно даже заплеваннымъ окнамъ, то по своей неприбранной, закиданной окурками комнатѣ.

Оправданіе себѣ въ своей неспособности работать ему было необходимо найти, и онъ нашелъ его очень скоро.

— Да и немудрено,—говорилъ онъ себѣ,—что не работается среди такой обстановки, — казенщина, соръ, копотъ; за стѣной вѣчный шумъ, голоса... Тутъ хоть кто отупѣетъ.

И его мысль, невольно перенеслась на его товарищей, которые писали, работали и которымъ теперь онъ не могъ не завидовать.

«Хорошо имъ,—думалось ему:—одинъ вонъ въ Каиръ укатилъ для освѣженія, другой—въ деревнѣ, на чистомъ воздухѣ,

посиживаетъ; третій—чуть не во дворцѣ живетъ; всѣ прочіе—каждый при своемъ гнѣздышкѣ, съ женой, съ ребятами, со всѣми удобствами... Такъ можно работать, такъ всякій бы...

И тутъ же завистливое чувство къ товарищамъ стало у него переламываться какъ бы на презрительность къ нимъ.

— Да—ублажалъ онъ себя; что же, и исполать имъ!.. Только, братцы, бѣда, что какъ сами вы изнѣжены, такъ и произведенія ваши все только нѣга, да красота, да и только... Настроеніе, смакованіе всякихъ ощущеньицъ, квинтэсенціи разныя, экстракты... А на что это все нужно?.. Кому?.. Только потѣха одна... Настроеніе, вдохновеніе!.. Эхъ вы, барчуки... Нѣтъ, коли ты уважающій себя писатель, такъ дѣло говори, пиши нужное, здоровое, важное...

И ему опять страстно захотѣлось сейчасъ же вотъ создать что-нибудь именно такое—нужное, важное и здоровое,—въ примѣръ всѣмъ тѣмъ барчукамъ.

И опять невольно онъ пробѣжался мысленно по запасу своихъ сюжетовъ.

— Да,—говорилъ онъ себѣ дальше,—всѣ какъ на подборъ: мысль, идея, проникновеніе; взять любой,—разработать, облечь въ достойную форму и прямо хоть Достоевскому впору... только въ суть, въ суть-то самую вникнуть поглубже...

Но теперь онъ уже и не пытался вникать въ эту суть, такъ какъ чувствовалъ, что слишкомъ утомленъ и отвлеченъ отъ такой работы.

— Нѣтъ,—оправдывался онъ передъ собой,—слишкомъ я попридохся въ этой гнилой атмосферѣ, сперлось все какъ-то въ душѣ... Воздуху надо свѣжаго!.. О, Господи!..

И ему стало такъ жалко-жалко себя.

„Братья писатели! Въ нашей судьбѣ
Что-то лежитъ роковое!“

прошепталъ онъ извѣстный стихъ поэта и, грустно кивая головой, сталъ думать:

«Да, роковое!.. И у каждого свое!.. Свободный трудъ, свободное слово, а какое тутъ къ чорту свободное, когда необхо-

димось заставляетъ говорить, творить, прежде всего, не ради самаго слова, а ради денегъ, ради требованія своего желудка!.. Развѣ это не возмутительно?.. И не въ этомъ ли кроется причина всѣхъ этихъ безплодныхъ мукъ творчества: побужденія писать нѣтъ, значить что-то не назрѣло еще,—готовится, набирается для будущаго, быть можетъ, дѣйствительно, значительнаго; но желудокъ кричить: «кушать хочу». И вотъ писатель поневолѣ выжимаетъ изъ себя это свое недозрѣлое, невыношенное слово. Рветъ онъ его какъ бы силою своего желудка, тѣла, — духъ же не можетъ не возмущаться, не протестовать противъ такого кощунственнаго насилія. И вотъ отсюда-то и всѣ эти муки мученическія: и безплодныя терзанія мысли и разувѣренія въ собственныхъ силахъ, и горькое презрѣніе къ себѣ».

И Демьяновъ сталъ думать на ту тему, что ради сохраненія свободы своего литературскаго труда ему необходимо снова приобрести какой-нибудь посторонній, обеспечивающій его существованіе, заработокъ.

— Да, да,—вздыхая говорилъ онъ себѣ,—надо, братъ, снова подыскивать себѣ какую-нибудь лямку... Снова!.. Хотя и не такую, которою ты пренебрегъ ради того, чтобы всецѣло предаться дѣлу литературы, — такой-то не скоро найдешь, а хоть какую-нибудь, братъ!..

— Хотя какую-нибудь, горько кипѣло въ немъ дальше, и за такую-то хоть какую-нибудь лямку долженъ хвататься «нашъ небезызвѣстный, безспорно даровитый»...

„Братъя писатели! Въ нашей судьбѣ
Что-то лежитъ роковое!..“

Пришлепывая своими резиновыми калошами, онъ нѣсколько походилъ по паркету и опять остановился въ раздумьѣ:

— Однако соловья, братъ, баснями не кормятъ: слово хоть и недоношенное не выжимается, а господинъ желудокъ не дремлетъ. Черезъ пять дней срокъ платежа за второй мѣсяцъ. Очевидно, предъявлять требованіе, и если нѣтъ, то выселять прямо на улицу. Да, несомнѣнно!.. Не даромъ же всѣ эти хамы

такъ презрительны ко мнѣ, не даромъ вотъ и комнату почти не убираютъ и обѣдъ подаютъ только послѣ многихъ и долгихъ сомнѣній на счетъ того, разрѣшить ли отпустить управляющій... Да, вотъ оно «роковое-то» гдѣ... А денегъ нѣтъ и нѣтъ... Сколько тамъ въ кошелькѣ: вчера свѣчи бралъ, хлѣба,—рублиа четыре съ чѣмъ-то...

И онъ опять запищалъ калошами, теребя свою бородку и тамъ и здѣсь почесываясь.

Мутный день между тѣмъ уже начиналъ сгущаться въ болѣзненные сумерки. Улица продолжала глухо роптать и плакать. О подоконникъ упорно, точно выдалбливая что-то, все била и била какая-то злобствующая капля. Отъ нависшаго дыма въ комнатѣ было душно; не подметенный полъ съ тамъ и сямъ разбросанными окурками, съ крошками хлѣба и обрывкомъ изсохшей колбасной кожицы подъ овальнымъ, покрытымъ грязной салфеткой, столикомъ, кое-какъ разбросанное по стульямъ платье, тазъ и ведро съ не вынесенными помоями, сбитое въ комъ грязное бѣлье подъ кроватью—все это такъ и гнало отсюда Демьянова; и вмѣстѣ съ тѣмъ вся «убого-нарядная» обстановка этого номера, всѣ эти захватанные и замасленные диванчики и креслица, полные пыли гардинчики, зеркальца, кривящія фізіономію, картиночки въ багетныхъ рамкахъ—какъ бы ехидно подсмѣивались надъ своимъ временнымъ хозяиномъ: хоть и не по вкусу, молъ, вашей милости, а и то не по карману-съ!..

«Нѣтъ, нѣтъ, — думалъ Демьяновъ, — на работу нечего рассчитывать, а просто занять надо денегъ. Но откуда, у кого?.. На авансъ изъ редакціи рассчитывать трудно. Гдѣ можно было,—ужъ и такъ взято. Въ «толстомъ» ужъ пробовалъ,—напрямикъ отрѣзали: а вотъ вы прежде рукопись принесите, мы прочтемъ ее, да тогда, въ случаѣ ея одобренія, и подумаемъ. Да, «толстые» вѣдь не церемонятся: и не къ такимъ извѣстностямъ привыкли. Еженедѣльный и душой бы радъ, да у самого зубы на полкѣ лежать. То же и въ Еропинской газетѣ. Ну, а Симвовъ хоть и разжился на нашемъ братѣ, да больно аккуратень: для вашей же пользы, скажетъ, не дамъ: — нужда — это

вамъ подгонялочка: а то очень ужъ вы лѣнивы... Нѣтъ, по редакціямъ лучше и не таскаться, только насмѣшекъ дождешься: «опять ни съ чѣмъ; да чѣмъ же вы, господинъ писатель, занимаетесь-то?..»

И Демьяновъ съ тою же цѣлью сталъ перебирать своихъ знакомыхъ.

Прежде всего, конечно, Барсуковъ: собрать по перу, человекъ прямо богатый, отецъ фабрикантъ, — едва ли не миллионеръ. Что ему какая-нибудь хоть и сотня. Да, только тѣмъ болѣе непріятно къ нему обращаться: сытый, говорятъ, голоднаго не разумѣетъ,—еще зачванится, пожалуй. Ну, а дальше кто? Докторъ, конечно: товарищъ по гимназіи, теперь практика громадная, въ модѣ: тоже деньжищъ прямо не проворотишь. Но и опять какъ-то унизительно: помоги дескать старому товарищу. Очень, очень не хорошо. Затѣмъ кто?..

Но кого не припоминалъ Демьяновъ, у всѣхъ оказывалось просить стыднымъ до полной новозможности.

А сознаніе необходимости достать денегъ между тѣмъ ощущалась имъ все больнѣе и тревожнѣе. Отсутствие ихъ прямо какъ бы физически начинало чувствоваться: точно сквознякомъ какимъ-то стало его пронизывать; точно онъ вдругъ очутился среди какой-то пустоты, одинъ—въ сторонѣ отъ другихъ и у всѣхъ на виду. Страхъ напалъ на него, страхъ до дрожи, до стѣсненія дыханія. Такъ ему и видѣлось, что вотъ, вотъ вѣжливенько постучать къ нему въ дверь, и въ комнату затѣмъ войдетъ этотъ толстенькій, съ блестящей лысиной, «управляющій» съ пачкой счетовъ въ рукѣ и съ предупреждающе строго-вѣжливой улыбкой на сложенныхъ по-генеральски губахъ. Что онъ ему скажетъ? Вчера бы еще онъ ему сказалъ: вотъ только работу окончу. А сегодня,—разъ онъ созналъ, наконецъ, что не можетъ, не въ силахъ работать, предварительно не освѣжившись,—что сказать ему? Идти и прямой обманъ, врать? Да тотъ и не повѣритъ, и развѣ-развѣ что на пять дней помилуетъ, а тамъ ультиматумъ: или все сполна, или вонъ!

— Что же тутъ дѣлать? Откуда добыть ихъ, проклятыхъ?

И Демьяновъ такъ и бѣгалъ, взламывая руки и до боли подкручивая свои тощіе усики.

— Однако,—сообразилъ онъ затѣмъ,—такъ все равно ни до чего хорошаго не добѣгаешься. Надо дѣйствовать: надо теперь же идти и просить.

— Но у кого же?—снова затосковало въ немъ.

— А, на дорогѣ соображу,—тутъ же рѣшилъ онъ и, быстро одѣвшись, вышелъ въ коридоръ и, къ собственному омерзению стараясь ступать по половику, какъ можно легче съ тѣмъ, что бы не привлечь къ себѣ вниманія прислуги или тѣмъ болѣе управляющаго, сталъ пробираться къ выходу.

Важный, толстый швейцаръ въ своихъ блестящихъ позументахъ, завидя его, неспѣшно отошелъ отъ двери и, ставъ передъ зеркаломъ, началъ расчесывать гребешкомъ свои бакенбарды. У Демьянова дрогнули губы отъ обиды, ему страстно захотѣлось нарочно подозвать къ себѣ этого нахала и дать ему какое-нибудь порученіе, но рядомъ съ сѣнями находилась контора, двери которой бывали обыкновенно открыты, а въ ней такъ же обыкновенно за своей конторкой возсѣдалъ управляющій,—и онъ, удержавъ свой порывъ, прошелъ къ двери. Очутаясь на скользкой, мокрой, пропитанной туманомъ, улицѣ, въ первыя минуты забывъ все, онъ только ощущалъ радостное чувство свободы, отдыхалъ отъ только что пережитыхъ чувствъ страха и оскорбленности, но затѣмъ послѣднее чувство стало сказываться тѣмъ сильнѣе.

— Вотъ ужъ дѣйствительно хамы-то!—мысленно бранился онъ,—такъ и ждутъ на комъ бы сорвать свое злорадство: униженъ человѣкъ, беззащитенъ благодаря обстоятельствамъ,—такъ и нажаривай его какъ и чѣмъ придется. А дай ему завтра полтинникъ, опять во фронтъ будетъ становиться. Впрочемъ, что съ нихъ, мужиковъ, и спрашивать: и всѣ таковы! Старыя истины: оробѣй, загорюй—курица обидитъ... Ахъ вы скоты, скоты безмысленно-злые!

И, чтобы подбодрить себя, онъ сталъ внушать себѣ, что въ сущности все это вздоръ, что надо, сознавая въ себѣ человеческое достоинство, быть выше того, чтобы страдать отъ такихъ

обидѣ: самую обиду презирать, а наносящихъ ее людей жалѣть за ихъ тупоуміе.

— Именно такъ,—говорилъ онъ себѣ,—а то много чести имъ будетъ, какъ говорится.

Вопросъ о томъ, куда же ему собственно направляться, конечно, стоялъ передъ нимъ независимо отъ всѣхъ этихъ размышленій.

— Да куда же?—сталъ онъ отвѣчать себѣ на него,—понятно, что къ Барсукову. Начать-то надо ужъ во всякомъ случаѣ съ него.

— Начать!—кольнуло его,—такъ неужели же откажетъ, неужели посмѣетъ?.. Нѣтъ, не можетъ быть: скажу ему этакъ по-серьезнѣе,—небось, пойметъ положеніе... Переть-то къ нему по этому киселю на его заставу ужъ больно трудно. Ну, да ничего, лишь бы дома застать!.. Эхъ, и погодка!..

Борода, усы, барашковый воротникъ его пальто уже подмокли. Ноги такъ и разѣзжались.

— Дома-то онъ, конечно, дома,—думалось ему дальше,—что ему за нужда въ такую пору выходить? Приду къ нему часамъ къ четыремъ. Онъ, навѣрное, только-что вернется со своего завода, слегка усталый, но радостный, довольный какъ отъ превкусенія сытнаго, вкуснаго обѣда, такъ и отъ общаго сознанія своего благополучія... Раскинется себѣ этакъ на качалкѣ; красавица-жена принесетъ ему красавца-сынишку... Тамъ появятся и папаша съ мамашей... Каминъ знай себѣ потрескиваетъ, тишина, уютъ, тепло... А вотъ и «кушать пожалуйте». Вскочить онъ, потирая руки. Громадный, блестящій бѣлизною скатерти и серебромъ приборовъ столъ заставленъ всевозможными—чего душа просить—закусками, графинами, бутылками... Сядутъ всѣ, перекрестясь на образа, сверкающіе золотомъ своихъ ризъ изъ глубины великолѣпнаго, по рисунку Васнецова, кіота и приступать... Онъ прежде всего за икру со свѣжимъ, горячимъ калачомъ. Безъ этого ему и ѣда не въ ѣду: такая ужъ привычка!

И Демьянову поразительно ясно сталъ рисоваться этотъ, кушающій свою возлюбленную икру, его будто бы и товарищъ: какъ онъ слегка шевеля ноздрями, какъ лошадь на овесъ, сна-

чала поприглядывается къ пышному, сочащемуся икрой куску; какъ затѣмъ, обнаруживая бѣлые какъ кипень зубы, открываются его полныя, съ подправленными преварительно усами, губы; какъ весь этотъ ротъ, слегка почмокивая, жуеть-пережевываетъ, приводя въ движеніе всю нижнюю, поросшую подстриженной въ клинъ бородкой, часть лица; какъ отмѣчаются глотки движеніями кадыка; какъ, наконецъ, бѣлой туго-накрахмаленной салфеткой утираются эти влажныя, яркія губы и опять затѣмъ открываются и опять чмокаютъ и чмокаютъ.

— Да,—думалось Демьянову,—смачно кушаетъ, мастеръ сихъ дѣлъ. Да и что ему не кушать?

И мало-по-малу и у него самого стали подтекать слюнки, вслѣдъ за чѣмъ имъ стало ощущаться какое-то общее, сначала только физическое, а затѣмъ и моральное раздраженіе.

— Калача съ икрой захотѣлось,—сталъ онъ поддразнивать себя,—что же, это-то ужъ вполне достижимо: на хлѣбъ-то еще то ли дать, то ли нѣтъ, а накормить-то всякою благодатью ужъ навѣрное накормить,—исконные хлѣбосолы, на томъ стоять.

И вдругъ ему стало опять нестерпимо обидно идти къ этому богачу-товарищу и просить у него вѣдь дѣйствительно прямо-таки на хлѣбъ себѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ!—какимъ-то стономъ зазвучало у него въ душѣ,—къ кому угодно, но только не къ этому.

И онъ даже остановился. Тянулась одна изъ безконечныхъ Садовыхъ. Дома точно сторонились отъ прохожихъ, отгородясь отъ улицы обнесенными рѣшетками садиками съ ихъ унылыми, большею частію сильно изуродованными неумѣлою подрѣзкою остовами деревьевъ и поглядывали своими тамъ и сямъ все вспыхивающими окнами какъ-то подозрительно-тоскливо. Было пусто. Фонари сквозь нагущающуюся мглу свѣтили тускло, точно нехотя и недоброжелательно.

— Такъ,—думалъ Демьяновъ,—но если не къ этому, то къ кому же? Если къ доктору, то идти нужно было совсѣмъ въ другую часть города. Да и у него просить будетъ не менѣе тяжело, къ тому же и дома его никогда нѣтъ. Нѣтъ, видно, ужъ съ Барсукова пробовать.

И онъ опять потащился, стараясь не думать о предстоящемъ дѣлѣ и тѣмъ не менѣе прямо какъ бы переживая тѣ чувства, которыя должны были наполнить его какъ при отказѣ, такъ и при удовлетвореніи его будущей просьбы.

Улицы и переулки, черезъ которые онъ проходилъ, становились все глуше и темнѣе. Народъ попадался все хмурый, одѣтый не по-господски.

Открылась и послѣдняя передъ заставой площадь. Засіялъ залитый электрическими огнями Смоленскій вокзалъ. Изнутри его трескуче задрезжалъ колокольчикъ. Сани, дрожки, кареты съ клубами пара надъ лошадьми такъ и катили къ вокзалному подъѣзду, съ котораго сбѣгали носильщики и точно грабили подъѣзжавшихъ.

Демьяновъ пересѣкъ площадь. Что тамъ впереди за толпа,—извозчики, пѣшеходы? Дѣло въ томъ, что шлагбаумъ при заставѣ опущенъ, путь пресѣченъ, надо дожидаться, пока пройдетъ поѣздъ.

— Вотъ еще удовольствіе!.. И чорта ему жить за заставой?! Скоро ли заблагоразсудится пройти этому дурацкому поѣзду?..

Красно-зеленый фонарь молчалъ, а спрашивать другихъ Демьянову не хотѣлось. Извозчики, весь накопившійся народъ тоже молчалъ, сжась и повѣся головы. Сталъ падать мокрый снѣгъ.

— Ну, да, конечно!.. Все ужъ одно къ одному!..

Подошла компанія подвыпившихъ мастеровыхъ.

„Рас-про-кля-а-тая машина.
Зачѣмъ друга уташ-шила“,

И такъ и рѣзнула площадная ругань.

Публика глухо зароптала. Кто-то крикнулъ «городовой!..».

Мимо опущеннаго шлагбаума, поблескивая фонарями и захватски присвистывая «ах-ах-а-а-ахъ! ах-ахъ-а-а-а-ахъ!» задомъ, точно балуясь, прокатилъ локомотивъ.

— Что же, этого-то только и ждали?—подумалъ Демьяновъ.

Но нѣтъ. Сторожъ въ своемъ башлыкѣ и съ бляхой на груди и не смотритъ на шлагбаумъ.

Звеня бубенчиками, подкатила, вся въ облакъ пара, ямская тройка. Публика въ громадныхъ расписанныхъ саняхъ, мужчины и дамы, очевидно уже сильно подъ шофе: болтають что-то въ перебой, радуются, хохочуть.

— Скачка съ препятствіями!..

Къ Яру, очевидно, голубчики направляются: раненъ же зарядились!

Но вотъ зазвонили, засвистали. Пыхтя, нескорѣ прошелъ, выпуча огненные глаза, паровозъ, за нимъ, погромыхивая, покатились красные, съ бѣлыми надписями, товарные вагоны...

И долго, долго, все замѣняясь и замѣняясь одинъ другимъ, катили эти вагоны, такъ долго, что Демьяновъ началъ даже какое-то раздражительное смущеніе испытывать, какое бываетъ вообще при наблюденіи всего чрезмѣрнаго. И наконецъ-то этотъ поѣздъ оборвался...

Всѣ вздохнули. Рычагъ шлагбаума отцѣпился и медленно поднялся. Звякнули бубенцы тройки, зачмокали извозчики.

Прошагалъ черезъ рельсы и Демьяновъ. Справа затемнѣлъ бульваръ, слѣва потянулись заборы, дома то темные, необитаемые, то блестящіе цѣлою сѣтью оконъ. Подъ ногами была земля оттаивающая, мокрая, съ ручьями, съ цѣлыми озерами... Снѣжные хлопья все падали, вяло, грузно, растворяясь едва ли еще не на лету.

Демьяновъ добрелъ, наконецъ, до подѣзда Барсукова и, уже нажавъ пуговку звонка, только тутъ спохватился, что въ сущности онъ совсѣмъ не подготовленъ къ предпринимавшему дѣлу: какъ, когда, въ какихъ выраженіяхъ начать свою просьбу? Но молодецъ въ поддевкѣ и съ волосами, остриженными въ скобку, уже отворилъ защищенную мѣдными прутьями полустеклянную дверь и на вопросъ Демьянова, дома ли молодой хозяинъ, произнесъ какъ-то удивленно-укоризненно:

— Какъ-съ?.. Да вѣдь нынче, святцы говорятъ, мученика Тимофея память: окончательно всѣ рѣшительно у дяденьки Тимофея Антипыча. Нешто вамъ неизвѣстно-съ?!

— Ахъ, да, да!—смущенно подхватилъ почти въ его же тонъ Демьяновъ,—а вѣдь я и забылъ совсѣмъ... Да, да, такъ ска-

жите пожалуйста, что я заходилъ: Демьяновъ... Демьяновъ, скажите... и кланяйтесь...

— Слушаю-съ, сказалъ молодецъ, какъ-то выжидательно, приглядываясь къ рукамъ этого Демьянова.

Но тотъ быстро и неловко повернулся и пошелъ обратно.

Дверь ему вслѣдъ пристукнула что-то ужъ слишкомъ внушительно. Демьяновъ между тѣмъ шелъ и такъ все что-то и сбрасывалъ съ себя движеніемъ плечей.

— Ерунда, ерундища все какая, опять бранился онъ мысленно,—мученика Тимофея память, дяденька Антипычъ именинникъ!.. И это тезоименитство чуть ли не всей Москвой должно торжествоваться... И вѣдь это, очевидно, общее ихъ убѣжденіе, всего дома. Дяденька Антипычъ, самъ дяденька!.. А туда же—писатели, приверженцы либеральной прессы... Фу ты, свинство-то все какое!..

Злился онъ и на себя за свой собственный тонъ передъ этимъ молодцомъ, а въ главномъ же, конечно, на то, что не пришлось увидѣться съ Барсуковымъ.

И вотъ роковой вопросъ снова сталъ передъ нимъ: куда же, къ кому?.. Доктора, онъ зналъ, теперь и подавно не могло быть дома: ловить его нужно было или рано утромъ, или уже совсѣмъ къ вечеру; да и до квартиры его на Мясницкой было отсюда едва ли не верстъ за десять.

А между тѣмъ чувствовалась усталость и легкая ознобъ; хотѣлось тепла, свѣта, а частью и голодъ уже сталъ сказываться.

И Демьяновъ невольно сталъ припоминать, кто изъ знакомыхъ живетъ поближе къ этой мѣстности.

— Кто? Ближко-то, положимъ, никого не найдется, а поближе... Да вотъ хоть этотъ актеръ на Каретной въ собственномъ домикѣ. Только, нѣтъ, къ нему уже поздно: навѣрное уже откушалъ и теперь спитъ себѣ, по обыкновенію, въ ожиданіи часа, когда за нимъ пріѣдетъ театральная карета.

И Демьянову невольно стало думать: а что если у него попробовать занять? Деньгами прямо сорить: въ карты по тысячамъ проигрываетъ. Десятки же рублей для него то же, что для нашего брата десятки копеекъ. Да и что ему: семь тысячъ

жалованья, да бенефисы, да лѣтніе поборы съ провинціи, а тамъ цѣнныя подношенія отъ признательной публики... Тутъ не до расчетовъ, тутъ поневолѣ, какъ навязывающихся женщинъ, будешь прямо презирать деньги...

И тайная зависть уже возстановляла Демьянова противъ этого его счастливица-пріятеля, къ которому въ былое время онъ относился вполне дружелюбно.

— Толстый,—сталъ рисовать онъ его себѣ,—сытый, здоровенный, нервы, надо полагать, какъ у вола. Кутежи, женщины, картежъ по цѣлымъ ночамъ,—и ничего не беретъ: только знай добрѣть. Слава, общее поклоненіе, должно быть, молодятъ. Да, хорошо живетъ этимъ корифеямъ-актеромъ. Вызубрилъ себѣ въ годъ пять-шесть ролей, и достаточно, больше и головы ни на чемъ не приходится утруждать: знай только самопоклоняйся да раздувайся во всѣ стороны отъ снѣси.

— Нѣтъ,—тутъ же рѣшилъ онъ,—не нашему брату-труженику передъ вами унижаться!.. Нѣтъ, пропади вы пропадомъ и со всѣмъ театромъ-то вашимъ!..

И снова, уже то и дѣло вздрагивая отъ пронизывающей его сырости, онъ сталъ думать, у кого бы ему погрѣться поблизости.

И погрѣться, въ сущности, ему хотѣлось не только физически, но и душевно: чтобы приласкали, посочувствовали, помогли хоть чѣмъ-нибудь и какъ-нибудь.

Кто же тутъ изъ такихъ? Пожалуй, ужъ сравнительно недалеко и до Запавина. Малый онъ добрый, сердечный, но самъ, горемыка, вѣчно въ полномъ разстройствѣ по случаю своихъ финансовъ... Семьища, дѣтей полдюжины!.. Характера ни на грошъ, а претензій все-таки пропасть: барченоекъ, помѣстийце до сихъ поръ какое-то есть... Работаетъ по-дилетански, урывками, а талантливъ хоть и кому изъ самыхъ прославленныхъ въ пору... Жалкій въ общемъ человѣкъ.

И не тянуло Демьянова къ этому Запавину.

Дальше оказывались на очереди преподаватель исторіи Фортунскій, поэтъ Никитенко, беллетристы Разумовъ и Алтайскій, публицистъ Минервинъ.

Проходя мимо ярко освѣщеннаго фруктоваго магазина, Демьяновъ заглянулъ въ него и, посмотрѣвъ часы, узналъ, что уже свыше пяти.

— Фортунскій,—сталъ онъ снова перебирать,—уже пообѣдалъ, Никитенко—и подавно, Минервина и никогда съ собаками не отыщешь, Разумовъ живетъ въ номерахъ, и, спросивъ у него обѣдъ, неловко будетъ не расплатиться за него, а Алтайскій прежде всего всякой своей декаденщиной до тошноты накормить.

И поневолѣ приходилось останавливаться на Запавинѣ: этотъ и дома, навѣрное, по своей обычной неподвижности, и обѣдъ у него, въ силу общей домашней неурядицы, вѣчно запаздываетъ.

Проходилъ онъ уже по Большой Тверской Ямской; къ Запавину на Петровку нужно было сворачивать въ ближайшій переулокъ налѣво. Онъ сталъ перебираться черезъ улицу, тихо, осторожно, стараясь не попасть въ слишкомъ глубокую лужу.

Вдругъ изъ-за угла переулка понеслась коляска. По отсутствію стука ея колесъ и особеннымъ шлепающимъ звукамъ раскидывавшейся грязи онъ сразу понялъ, что коляска эта «на шинахъ», которыя онъ ненавидѣлъ всей душой.

Онъ отскочилъ, сталъ отворачиваться, но та уже настигала.

— Не смѣть, не смѣть!.. хотѣлось ему крикнуть.

Коляска промчалась, и грязь съ ея шинъ такъ и хлестнула въ самое его лицо.

— Ахъ, ахъ, ахъ!..—затрясся онъ съ такимъ чувствомъ, будто бы получилъ пощечину и, замѣтя стоявшаго на перекресткѣ городского, крикнулъ:

— Держите!.. Нельзя же!..

Тотъ глянулъ изъ-подъ своего копышона и отвѣтилъ:

— Что же теперь дѣлать? Утрите себѣ для благопристойности,—и только-съ.

Демьяновъ и самъ это понималъ, но утираться было какъ-то тѣмъ болѣе гнусно. Да и чѣмъ, какъ, не платкомъ же?..

Но дѣлать нечего, то и дѣло сплевывая, онъ сталъ-таки кое-какъ, сначала при помощи рукава, а затѣмъ и своей вяза-

ной перчатки счищать съ лица этотъ зловонный и ядовитый плевокъ столичной улицы.

— Такъ, такъ,—говорилъ онъ себѣ,—вотъ и прекрасно, вотъ и концы въ воду: утрись, значить,—и утерся; и преотлично, и превеликолѣпно: утрись, и утерлись!..

И, мысленно все повторяя и повторяя это «утрись», онъ пошелъ дальше. Чувство обиженности такъ и кипѣло въ немъ.

Улица съ ея промозглою сыростью и какой-то удушливой суею стала надоѣдать ему до тошноты и казаться какъ бы кошмаромъ.

Всѣ эти громады глазѣющихъ своими окнами и вывѣсками домовъ, темныя пропасти воротъ, всевозможные безстыдно заманивающіе въ себя своими ярко освѣщенными выставками на окнахъ магазины, лавки, лавочки и лавчонки; чайныя, портерныя; подавляющія зданія церквей, куполы которыхъ были недоступны для взора; театры и клубы; нахально блистающія электрическія солнца, освѣщающія больше все грязь и грязь; побѣдоносно со звономъ и трескомъ мчащіяся въ горы на четверкахъ, съ фореяторами, конки; всѣ эти уличные звуки: звонки, свистки, шлепанье и стукотня экипажей, скрежетъ дворницкихъ скребковъ, лошадиныя хрипѣнія, людскіе понуканія, жалобы, стоны, угрозы, заигрыванія, извиненія и ругательства; всѣ эти толпы снующихъ взадъ и впередъ людей пѣшихъ и въ экипажахъ: полицейскіе, дворники, мужики, солдаты, барыни и барыньки, купчихи, торговцы, мальчишки, монашенки и попы, проститутки, гимназистки, бѣлошвейки, господа статскіе, господа военные, почталіоны, телеграфисты, студенты и жандармы, генералы и босяки,—весь этотъ городъ, вся эта Москва бѣлокаменная, весь этотъ живой, расползающій и снова сползающійся винигреть—все, все это было ему совсѣмъ не нужно, противно, постыло; все это гнело и давило его.

Утомленіе стало имъ чувствоваться уже довольно основательно. Тѣло начинало подмачиваться той липкой, противно-холодноватой испариной, которая часто является у людей нервныхъ при моральномъ и физическомъ утомленіи. И ощущеніе этой внутренней своей личной прѣли вмѣстѣ съ осѣдающею на

него какъ бы уличной сыростью и прѣлью давало впечатлѣніе запаха и ощущенія такъ называемой псины.

Быть въ теплѣ, обсушиться, отогрѣться стало для Демьянова прямо какою-то необходимою потребностью. А до Запавина было еще недалеко.

— Взять развѣ извозчика,—думалъ онъ,—но нѣтъ, это было бы черезчуръ глупо: каждый гривенникъ капиталъ. А конка, какъ водится, туда-то именно и не проведена, куда нужно.

Близъ одного изъ перекрестковъ, передъ подъѣздомъ ресторана, не покидая своей изысканно-лѣнивой позы, его окликнулъ, выглядывая изъ-подъ спущеннаго верха пролетки, жирный, туго затянутый въ свой щегольской полушубокъ, лихачъ:

— Баринъ не съѣздите?..

Демьянову ясно почувствовалось въ этомъ вопросѣ вызывающее глумленіе.

— Съѣздить? — мысленно скаламбурилъ онъ,—если по харѣ твоей нахальной, то съ удовольствіемъ бы!..

И тотчасъ устыдясь передъ самимъ собою за эту извозничью острогу, онъ почувствовалъ себя еще сквернѣе.

Раздражало его и то обстоятельство, что ему приходится идти къ Запавину въ такомъ плачевномъ настроеніи.

— Онъ самъ нуждается въ помощи. Къ нему бы надо придти бодрымъ, покойнымъ, съ тѣмъ чтобы основательно поговорить съ нимъ о немъ же самомъ: указать ему причины этой его вѣчной сумятицы и научить, какъ отъ нея избавиться. Вотъ бы что слѣдовало; а тутъ самъ хуже всякой мокрой курицы.

Наконецъ, онъ добрался до дома, гдѣ жилъ Запавинъ.

Швейцаръ на вопросъ, дома ли онъ, протянулъ даже чуть-чуть насмѣшливо:

— До-о-ма-съ, рѣдко они у насъ отлучаются.

Поднявшись на третій этажъ, Демьяновъ хотѣлъ уже позвонить у двери съ дощечкой «И. П. Запавинъ», но, замѣтивъ, что та едва только притворена, толкнулъ ее и вошелъ въ прихожую. Вѣшалка въ ней была заполнена преимущественно разнаго рода дѣтскимъ платьемъ; столикъ передъ зеркальцемъ заваливали башлыки, шапочки, перчаточки; кое-что изъ подобнаго

же лежало вмѣстѣ съ кадошами и валенками на полу. Пахло щами. Изъ-за пріоткрытой двери слѣва неслись громкіе голоса дѣтей, спорившихъ, кому именно принадлежитъ какой-то столъ.

«Ишь», подумалъ Демьяновъ, «что значить помѣщикъ-собственникъ: и дѣти уже желаютъ себя чувствовать собственниками. Чудачки!»

Онъ покашлялъ, оправляясь передъ зеркальцемъ, но за все усиливавшимся дѣтскимъ споромъ, его не могли слышать. Рядомъ же съ прихожей находилась и комната, служившая, какъ гостиной, такъ и кабинетомъ хозяина. Демьяновъ толкнулъ опять-таки только притворенную дверь и остановился на порогѣ.

Запавинъ, въ своемъ неизмѣнномъ лѣтнемъ сѣренькомъ пиджачкѣ, упершись колѣнями въ сидѣнье кресла и съ локтями на столѣ, что-то быстро писалъ карандашомъ, улыбаясь и слегка потряхивая своей черной, кудрявой, взлохмаченной головой.

— Тихе, тихе, ребята!—закричалъ онъ внезапно,—что тамъ опять за дѣлежи!.. Мѣшасте!..

И, расправивъ изящною рукою свою густую, растущую по полному произволу бороду, онъ вдругъ фыркнулъ и сталъ весь дергаться отъ какого-то неумѣлаго, всегда какъ бы давящаго его смѣха.

«Ну, не блаженный ли?..» — пожалъ плечами Демьяновъ и окликнулъ его.

— А?—произнесъ тотъ, повернувъ въ его сторону свое блѣдное, красивое лицо и присматриваясь изъ-подъ шапки кудрей.—Ты, дружище? Вотъ и отлично... А я тутъ... а я тутъ...— И онъ опять сталъ давиться.

— Въ чемъ же дѣло?—спросилъ, пожимая ему руку, Демьяновъ.

— Да рассказецъ тутъ одинъ началъ... По-моему, уморительно...

И онъ быстро, комкая фразы, сталъ передавать сюжетъ своего разсказа, подробности котораго дѣйствительно были очень комичны. Глаза его блестѣли дѣтски-простодушно; было видно, что онъ радуется на свою выдумку, какъ на нѣчто совершен-

но новое для него, какъ ребенокъ на только что полученную игрушку.

Демьяновъ и смотрѣлъ, и не смотрѣлъ на него. Ему было какъ будто и стыдно за этого бородатаго ребенка, и въ то же время какъ бы и завидно ему за эту способность такъ живо чувствовать вызванную своей фантазіей жизнь, такъ всей душой передаваться ей.

— А?—весело спросилъ онъ, кончивъ рассказъ,—развѣ это не вѣрно въ сущности и ужъ во всякомъ случаѣ не препотѣшно?..

За дверью дѣти опять шумѣли, что называется, во всю.

Демьяновъ попросилъ прежде всего унять ихъ и, только послѣ того какъ это было исполнено, строгимъ тономъ сказалъ, что, можетъ быть, все это и очень забавно, но онъ удивляется, зачѣмъ нужно Запавину братья за такія смѣхотворства:

— На это и безъ тебя найдутся. Тебѣ нужно писать большія, серьезныя вещи: благо ты это можешь, что отчасти уже и доказалъ.

Нервное красивое лицо Запавина сразу какъ бы тѣнью подернулось.

— погоди, — сказалъ онъ, качая кудрями, — вотъ, Богъ дастъ, вздохнемъ маленько и до нихъ доберемся, а пока хоть и за это спасибо,—лишь бы сложа руки не сидѣть... Да, братъ, вамъ, холостымъ, хорошо разсуждать, а тутъ... Вотъ она, оравато!.. Съ серьезною-то вещью подождать надо, пока напишется, да отдѣлается, да прочтется кому надлежитъ, да одобрится ли еще сразу, — а эти галчата несогласны ждать: каждый день пить-ѣсть любить. Нѣтъ, братъ, лишь бы совѣсть была покойна, что отъ души пишешь, ни чѣмъ не поступаясь, не подличая, не торгуя своимъ словомъ, а тамъ...

И, махнувъ рукой, онъ заходилъ и сталъ продолжать:

— А вѣдь у меня и кризисъ опять... И такой-то, понимаешь, кризисъ!.. Столбовые вѣдь, особая повинность у насъ, банкъ дворянскій: вотъ и вынь да положь къ двадцать третьему чetyреста тридцать рубликовъ! ... А тутъ еще за квартиру за два мѣсяца требуютъ, да и у жены на все-про все что-то никакъ два цѣлковыхъ остается... Бѣда!..

— Какъ же ты думаешь вывернуться? — спросилъ Демьяновъ.

— Да какъ? — отвѣчалъ Запавинъ. — Вотъ этотъ сюжетецъ раздѣлаю; Богъ дастъ, получу за него сотни полторы... Тамъ другой разсказецъ у меня набросанъ, и его спихнемъ куда-нибудь на скорую руку, въ какую-нибудь газетину... Авансикомъ что-нибудь подъ будущій урожай повыклянчу... Ну, а на пополненіе сотняжки тамъ съ полторы, видно, ужъ у Барсукова нужно будетъ просить.

— Да? — невольно насторожился Демьяновъ, — и, думаешь дастъ?

— Авось!.. Малый онъ душевный. Я ужъ и бралъ у него какъ-то. Да, братъ, надо же какъ-нибудь вертѣться. А сюжетецъ этотъ я прямо, что называется, подъ орѣхъ раздѣлаю... такъ-то прошпигую!..

И онъ опять уже улыбался, потирая руки и какъ бы къ чему-то прицѣливаясь.

Сложныя чувства испытывалъ Демьяновъ по отношенію къ этому «чудаку». Въ главномъ, онъ все какъ-то невольно раздражался противъ него: на то, что прежде всего никакъ онъ не можетъ понять своего истиннаго значенія какъ рабочей силы и показать се, какъ слѣдуетъ, и обществу; на то, что не можетъ, не умѣетъ обставить себя матеріальнымъ обезпеченіемъ, несмотря на наличность всѣхъ данныхъ для этого; на то, что все это является единственно въ силу его дряблости, разгильдяйства, барственности; на то, наконецъ, что вмѣстѣ со всѣмъ этимъ, теперь, въ данное время, онъ оказывается куда бодрѣе, чѣмъ самъ онъ, Демьяновъ. Ему требовалось смотрѣть на него сверху внизъ, а на дѣлѣ, дѣйствительно, приходилось смотрѣть все-таки снизу вверхъ. И это ему досаждало, и хотѣлось сказать, пояснить, что въ сущности это совсѣмъ не такъ, что онъ только взобрался на ходули, съ которыхъ при первой же случайности долженъ свергнуться и расшибиться въ пухъ и прахъ. Несимпатична была ему и легкомысленность Запавина, это его общее простодушіе, между прочимъ проявляющееся и въ столь легкомъ, унижительно-легкомъ отношеніи къ

займамъ, въ сущности, къ попрошайству: выклянчу авансикъ, перехвачу у Барсукова,—и ни малѣйшихъ колебаній!..

Обижать, наносить боль этому «младенцу», ему сознательно не желалось, но въ то же время его такъ и подмывало дать ему этакого какого-нибудь отрезвляющаго и приводящаго въ надлежащее самѳчувствіе лѣкарства.

И все-то ему хотѣлось сказать пріятелю нѣчто очень простое, нѣчто краткое и ясное какъ молнія, чтобы сразу все и вся ему освѣтить, но мысли не слушались, расплзались, вязли, и на душѣ только все болѣе и болѣе ощущалось глухое, ноющее раздраженіе.

А тотъ между тѣмъ и самъ къ нему обратился:

— Ну, а ты какъ? Давно мы съ тобой не видались. Поди не только написалъ, но ужъ и сдалъ, — и что-нибудь значительное?..

Демьяновъ почувствовалъ себя звѣркомъ, который, выслѣживая добычу, вдругъ самъ дѣлается жертвой нападенія.

Окрыситься, вскрикнуть ему захотѣлось, но, конечно, онъ сдержался и отвѣтилъ съ полнымъ достоинствомъ:

— Нѣтъ, написать, собственно, я еще не написалъ, но такъ сказать, приготовился къ работѣ... понимаешь: распланировалъ, продумалъ, прочувствовалъ?.. Экспромтомъ писать, какъ знаешь, вѣдь я не умѣю.

— Такъ, такъ,—поддакнулъ ему Запавинъ и вдругъ, какъ-то безпокойно оглядѣвши, порывисто всталъ и, подойдя къ двери, за которой находились дѣти, громко спросилъ, скоро ли подадутъ обѣдъ.

— Скоро, сейчасъ!—крикнули въ перебой дѣти,—вотъ только мама переодѣнется!

— Переодѣнется?—съ недоумѣніемъ повторилъ Демьяновъ,—это ужъ не для меня ли такой парадъ?

— Нѣтъ, — пояснилъ Запавинъ, — не то, чтобы для тебя, а вообще для благопристойности. Кухарка у насъ опять ушла, такъ жена сама все время у плиты,—ну, и конечно ужъ слишкомъ не въ парадѣ. Бѣда, братъ, это, когда кухарки уходятъ,—весь домъ верхъ дномъ.

— Гм, — сказалъ Демьяновъ, — а онѣ у васъ, по моимъ наблюденіямъ, частенько уходятъ.

— Да, братъ, есть тотъ грѣхъ... колготно у насъ, должно быть, отъ обилія ребятъ...

— Т.-е. безпорядочно? — приглядываясь къ нему, сказалъ Демьяновъ, — да, это вѣрно...

Но здѣсь шумно отворилась дверь, вошла жена Запавина, а за ней и цѣлая стая дѣтвора.

Поздоровавшись, хозяйка не безъ смущенія извинилась за поздній часъ обѣда и попросила идти въ столовую.

Садясь за столъ, Запавинъ спросилъ у жены, нѣтъ ли у нихъ водки; жена съ нѣкоторымъ раздраженіемъ отвѣтила отрицательно и попеняла, что онъ не напомнилъ ей объ этомъ раньше.

Огорчило это обстоятельство и Демьянова: назябшись и наголодавшись, онъ съ наслажденіемъ бы пропустилъ передъ пищей рюмочку, другую.

«Во всемъ у нихъ безтолочь», подумалъ онъ, припадая лицомъ къ поднимавшемуся изъ его тарелки со щами пару.

Дѣтей за столомъ сидѣло четверо: двое — мальчикъ и дѣвочка — учащагося возраста и такая же парочка неучащагося. И сразу же эти дѣти начали сердить Демьянова.

— Щи? — сказала, морщась, дѣвочка, — терпѣть не могу!..

— Булки! — потребовалъ младшій мальчикъ.

— А я касы хочу, — заявила и едва выглядывавшая изъ-за стола дѣвчурка.

«Ишь ты привередники-барчата», подумалъ Демьяновъ, заставляя себя ѣсть менѣе быстро, чѣмъ ему желалось этого, и, будто бы не совсѣмъ удовлетворяясь вкусомъ пищи, прося то соли, то перца, то горчицы.

Первое время всѣ больше молчали, только дѣти все что-то пореталкивались и сердито шептались между собой, будто бы и тайкомъ. Родители тоже будто тайкомъ то и дѣло останавливали ихъ взглядами, киваніями головы или даже и короткимъ замѣчаніемъ.

Мало-по-малу затѣмъ стали говорить и взрослые.

Хозяйка, очевидно, въ извиненіе не вполнѣ, по ея оцѣнкѣ,

хорошо приготовленного обѣда, свернула разговоръ на жалобы на прислугу.

Было ясно, что это ея больное мѣсто: говорила она ужъ слишкомъ горячо, и временами даже слезы сказывались въ ея голосѣ. Мужъ старался отвлечь ее отъ этой темы, пробовалъ шутить; она, видимо, понимая его, спохватывалась, что всѣ эти ея изліянія совершенно неумѣстны, и невольно желая оправдать въ нихъ себя какъ въ глазахъ гостя, такъ и въ своихъ собственныхъ, тѣмъ только все болѣе и болѣе горячилась и зарывалась.

Демьяновъ слушалъ ея звенящій голосъ, пристально присматривался къ ея еще довольно молодому, безусловно красивому лицу и думалъ:

«Гурманка, аристократочка,—тебѣ бы по твоимъ вкусамъ тысячь сто надо бы имѣть въ годовомъ бюджетѣ; ты-то, матушка, своимъ аристократическимъ мѣщанствомъ и губишь въ лицѣ своего благовѣрнаго важнаго общественнаго работника. Ишь вы его съ ребятами—какъ цѣпью оковали».

Полегоньку онъ сталъ болѣе или менѣе деликатно осаживать и вразумлять ее. Но она, почти и не выслушивая, веда все свое и свое. Это стало его уже прямо сердить.

«Нѣтъ», думалъ онъ, злобно обгладывая кость уже уничтоженной имъ котлеты, «подобныя нѣжныя созданія хлыстика не чувствуютъ: имъ дубина, орясина нужна!..»

И онъ дѣлалъ свои доклады все рѣзче, все настойчивѣе, будто бы обнажая суть вопросовъ все болѣе и болѣе.

— Позвольте,—наконецъ заговорилъ онъ,—вы вотъ оба все жалуетесь, все плачетесь, на все,—на людей, на обстоятельства, на свое безсиліе... Но, вѣдь, вы вникните, — эти жалобы по сути, по существу-то своему не что иное, какъ самоублаженіе, какъ любованіе на самихъ себя: ахъ бѣдные, какъ мы несчастны... охъ несчастненькіе, какъ мы бѣдны!.. А причина этому? Да не въ томъ ли, что проводить время въ подобныхъ упражненіяхъ легче, привычнѣе, «способнѣе», чѣмъ въ трудѣ, въ работѣ, которые, разъ бы вы имъ дѣйствительно предались, сразу же бы освободили васъ отъ всѣхъ этихъ вашихъ злополучій.

И какъ бы торжествуя свою всестороннюю побѣду, онъ рѣзко и крикливо добавилъ:

— Барство васъ обоихъ заѣдаетъ. Барство, барственничество, барчуество!

— Слышишь ты это?—горько кивнула головой мужу хозяйка.— Барчата мы съ тобой?.. И я даже, я, которую ты все бранишь за то, что я всѣхъ вожу на помочахъ и никому и ничего не довѣряю. Я — мать шестерыхъ дѣтей, которыхъ и кормлю, и лѣчу, и учу, и репетирую... Нѣтъ, мало же, должно быть, вы, Степанъ Михайловичъ, знакомы съ семейною жизнью. И еще писатель, психологъ!..

Демьяновъ чувствовалъ, что перехватилъ, что поторопился со своимъ итогомъ, которымъ въ сущности совершенно ни за что, ни про что обидѣлъ эту нервную, измученную женщину, но только тѣмъ пуще закусилъ удила.

— И все-таки барство! И все-таки барство,—кричалъ онъ.— Въ самой сути, въ традиціяхъ, во вкусахъ!.. И это-то и вяжетъ, это-то и точитъ. Опроститься вамъ нужно, проще и жить, и чувствовать, и обставлять себя...

— Да въ чемъ же вы видите это наше барство?—вскрикнула хозяйка,—ужъ не въ этой ли нашей пресловутой квартирѣ не по средствамъ? Такъ вѣдь это только кажущаяся роскошь: плохое помѣщеніе вредно прежде всего для дѣтей: на докторовъ въ немъ, не говоря уже о всемъ остальномъ, больше переплатишь!.. Вѣдь во всемъ остальномъ мы ужъ прямо донельзя сокращаемъ расходы: никакихъ пріемовъ, никакихъ выѣздовъ, въ театръ по три года все только собираемся...

— А между тѣмъ все это необходимо, — подхватилъ Демьяновъ, — необходимо поддерживать сообщеніе съ людьми, съ внѣшнимъ міромъ, чтобы не закорузнуть, не заплѣсневѣть среди только и только своей семьи... Необходимо, какъ кислородъ, безъ свѣжаго притока котораго все неминуемо должно отмирать... Да, а вы имъ жертвуете ради пустяковъ, ради будто бы необходимаго вамъ комфорта, ради всей этой обстановочки...

— Ахъ, ахъ, какъ это старо, какъ это скучно,—вся презрительно морщась и тѣмъ еще болѣе распаляя Демьянова, возра-

зила хозяйка,—обстановочка!.. Это опять-таки наша злополучная мебель, доставшаяся мнѣ, какъ говорится, въ приданое... Да посмотрите вы на нее повнимательнѣе: она вся расшатана; поломана, и даже починить-то ее мы все не можемъ собраться... Обстановка!.. Стульевъ вонъ нѣтъ: какъ обѣдать, такъ и сносимъ ихъ сюда изъ всѣхъ комнатъ...

— Ага, ага!..—снова какъ будто торжествовалъ Демьяновъ,—да, да, у васъ во всемъ безалаберщина, и все по той же причинѣ... Такъ почти и у всѣхъ современныхъ помѣщиковъ: строенія расшатаны, крыши текутъ, скотъ, лошади едва ноги таскаютъ, рабочія орудія такъ и разваливаются,—анъ глядишь, новую коляску на рессорахъ приобрѣли... Такъ и у васъ: нужного, необходимаго нѣтъ, сидѣть не на чемъ, а вдругъ на стѣнѣ появляется вотъ этакій, напимѣръ, заяцъ!..

И, внезапно вскочивъ, Демьяновъ подбѣжалъ къ висящему на стѣнѣ овалу съ вырѣзанной на немъ, раскрашенной фигурой опущеннаго внизъ головою зайца и злобно сталъ въ него тыкать:

— А? Зачѣмъ, зачѣмъ вамъ этотъ заяцъ?.. А вѣдь его прежде не было!.. Онъ ужъ не приданный, а вновь, недавно приобретенный. И что же, нуженъ, необходимъ онъ вамъ?.. Чѣмъ же такимъ: какъ эстетика, красота?.. Ишь ты, скажите на милость!..

Дѣти сидѣли до сихъ поръ молча, и старшія изъ нихъ все такъ неодобрительно посматривали на обижавшаго ихъ маму гостя; тутъ же, при этомъ его нападеніи на зайца, переглянулись, затѣмъ надулись, наливаясь кровью, и вдругъ какъ фыркнули одинъ за другимъ.

Демьяновъ быстро обернулся къ нимъ, выпуча глаза.

Тѣ вспрыгнули и, пригинаясь отъ рвущаго ихъ хохота, ринулись изъ комнаты.

— Что, что такое, чѣмъ я ихъ такъ распотѣшилъ? — растерянно спросилъ Демьяновъ.

Оба супруга тоже, очевидно, едва сдерживались, чтобы не расхохотаться.

Демьяновъ посмотрѣлъ на нихъ, покосился на зайца и вдругъ

крайне отчетливо почувствовалъ самого себя именно вотъ такимъ же болтающимся въ воздухѣ вверхъ тормашками зайчишкой.

— Позвольте,—тѣмъ не менѣе желая возстановить свой престижъ, какъ можно внушительнѣе сказалъ онъ,—предметъ нашего разговора, кажется, не шуточный...

Но Запавинъ его перебилъ:

— Прости, милый другъ... Очень ужъ ты неудачно попалъ на этого зайца. Дѣти его приобрѣли. Что ужъ онъ имъ понравился, не знаю. Бываетъ это у ребятъ, остановится на чемъ-нибудь ихъ вниманіе,—и вынь да положь. Такъ и съ этимъ зайцемъ: увидѣли они подобную штуку у знакомыхъ и рѣшили, надо и мамѣ такого къ именинамъ подарить. Вотъ и стали въ теченіе чуть что не полугода накапливать по гривенникамъ и пятачкамъ... И набрали-таки всего что-то рубля полтора, кажется... И если бъ ты видѣлъ ихъ радость, ихъ торжество, когда, наконецъ, эта исторія была повѣшена въ столовой. Чуть вошла мать поутру въ столовую:—«мама, что здѣсь вверхъ ногами находится?» Она, понятно, и не замѣчаетъ сразу подарка... Да, братъ, а ты предметъ эстетики, красота... Нѣтъ, чужая семья, что чужая душа,—потемки...

Демьяновъ чувствовалъ сильную пристыженность, но и тутъ не хотѣлъ сдаваться какъ лично передъ собою, такъ и передъ собесѣдниками.

— Все это очень трогательно,—заговорилъ онъ,—но въ сущности только доказываетъ, что вы уже успѣли и дѣтямъ привить тѣ же вкусы: небось, вѣдь не книжку какую-нибудь, не дѣйствительно, что-нибудь нужное, а вонъ, предметъ украшенія облюбовали.

Хозяйка встала, хотѣла было что-то сказать, но только вздохнула и вышла въ смежную комнату, гдѣ, очевидно просыпаясь, начиналъ пока еще слабо вскрикивать грудной ребенокъ.

— Я-то тебя понимаю,—грустно сказалъ Запавинъ,—и самъ все это сознаю, да и она чувствуетъ... Но трудно, ахъ какъ трудно завести истинно разумную жизнь при такой семьѣ: главное, все эти совершенныя неожиданности: то болѣзнь какая-

нибудь, то вотъ такой будто бы и ничтожный фактъ, какъ ухоть прислуги, который на самомъ дѣлѣ окончательно сбиваетъ съ ногъ хозяйку, а за нею переворачиваетъ и весь порядокъ въ домѣ. Бѣда!..

Грудной въ сосѣдней комнатѣ выправился въ своемъ голосѣ и такъ и отхватывалъ — громко, садко, властно-нетерпѣливо: а-га, а-га, а-га-а-а!..

Скоро тамъ же, очевидно, тоже спросонья, закричалъ и другой, судя по силѣ голоса, болѣе старшій ребенокъ.

— Манюша, Колюша... Манюша, Колюша, — стала унимать ихъ мать, но тѣ только все надавали и надавали.

— Однако и Шаляпины! — сказалъ морщась Демьяновъ.

— Есть-таки, — улыбнулся Запавинъ, — пойдемъ-ка ко мнѣ, что ли.

Его комната оказалась также во власти дѣтей: бѣгали, кричали, метали бумажныя стрѣлы, стучали опрокинутыми стульями. При ихъ входѣ, впрочемъ, всѣ сразу же разбѣжались.

— Бѣда! — покачавъ кудрями, сказалъ свое любимое словечко Запавинъ и наскоро сталъ прибирать комнату.

Демьяновъ неодобрительно скользнулъ глазами по наполнявшей ее смѣшанной кабинетной и чисто-гостинной мебели, дѣйствительно довольно роскошной по матеріалу и работѣ, по золоченымъ рамамъ картинъ и, подойдя къ дивану съ прекрасной рѣзбой на спинкѣ, но почему-то укрытому пледомъ, опустился на него и, тутъ же почувствовавъ подъ собой нѣчто твердое, сталъ подбираться къ болѣе гостепріимному мѣстечку; найдя же его, раскинулся и невольно призакрылъ глаза.

Удобство сидѣнія, тепло, сытость на желудкѣ какъ-то нѣжили и пьянили его физически. И ему страстно захотѣлось ощутить и въ душѣ подобные же отдыхъ и покой; страстно захотѣлось, чтобы все - то въ немъ стало по доброму, хорошему и разумному. За свои нападки на хозяевъ ему уже было стыдно, больно; тянуло, такъ вотъ не поднимаясь съ этого, быть можетъ, излишне роскошнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ и убогаго благодаря хозяйской распущенности дивана, сказать этому Запавину:

«Прости, братъ,—пойми, самъ я ищу помощи... самъ жалокъ, самъ сбился и заблудился въ самомъ себѣ до совершенной растерянности».

Запавинъ поприглядѣлся къ нему и тихо спросилъ:

— Ты усталъ? Не хочешь ли соснуть?

И эта предупредительность уже снова забредила наболѣвшее отъ всяческихъ раздраженій сердце Демьянова. Кольнуло какимъ-то неопредѣленнымъ подозрѣнiемъ; въ словѣ «усталъ» въ примѣненіи къ себѣ невольно чувствовалось насмѣшливость или даже и презрительность: усталъ, но отъ чего? отъ ощущенія своего безсилія, отъ безтолковаго шлянья по улицамъ?..

И, отдѣлившись отъ спинки дивана, Демьяновъ процѣдилъ, кривя губы:

— Нѣтъ, милый другъ, я не помѣщикъ, чтобы спать послѣ обѣда.

Запавинъ взглянулъ на него, хотѣлъ что-то сказать, но только вздохнулъ и, присѣвъ къ столу, сталъ нервно набрасывать на краю своей рукописи какія-то цвѣты. Нѣсколько минутъ оба помолчали. Изъ-за стѣны было слышно, какъ гимназистъ сначала все выпроваживалъ отъ себя младшихъ дѣтей, а затѣмъ сталъ долбить:

«Всякое отрицательное количество меньше нуля... Всякое отрицательное количество меньше нуля...»

Демьянова невольно стала раздражать и эта зубрежка, но въ то же время онъ чувствовалъ, что злиться здѣсь вообще уже слишкомъ довольно, да и пора уходить, такъ какъ хозяинъ, очевидно, снова начинаетъ весь переноситься въ эту свою какую-то юмористическую штучку.

— Ну,—сказалъ онъ какъ можно мягче,— не буду мѣшать тебѣ, до свиданья!

Въ прихожей грянулъ звонокъ, затѣмъ зазвучалъ сильный, веселый голосъ, и въ кабинетъ влетѣлъ знакомый и Демьянову красивый, молодой и небрежно-щегольски одѣтый композиторъ Раздольскій, человекъ тоже уже не безъ имени.

И сразу же онъ такъ и заполнилъ собой не только всю, комнату, но какъ бы и весь домъ: заходилъ, заговорилъ, засмѣялся, сталъ изливать свои восторги и негодованія.

Имена музыкантовъ, пѣвцовъ, дирижеровъ, названія оперъ, разные музыкальные термины мчались и перевивались между собой, какъ тучи въ Пушкинскихъ «Бѣсахъ». И такъ и вѣяло, такъ и шибало отъ этого молодого, полного артистическаго свѣта и огня человѣка избыткомъ всевозможныхъ силъ, энергій и жизнерадостности.

Запавинъ и самъ какъ бы сразу же поюиѣлъ, разспрашивалъ, вникалъ и, широко улыбаясь, видимо, прямо поѣдалъ глазами этого богатыря-красавца.

Демьяновъ же опять весь съежился.

Контрастъ между ними былъ черезчуръ силенъ, и Демьяновъ невольно, противъ всякаго своего желанія, сталъ ощущать себя какимъ-то будто бы «лѣтошнимъ», уже отжившимъ листикомъ, мирно дотлѣвавшимъ до сихъ поръ гдѣ-нибудь въ тѣни и вдругъ выхваченнымъ порывомъ вѣтра и заметавшимся по весеннему воздуху, среди яркой зелени, ослѣпительнаго солнца и опьяняющихъ ароматовъ. И онъ невольно весь сжимался, какъ бы упираясь и протестуя.

«Ужъ очень шумно, ужъ больно что-то напористо», говорилъ онъ себѣ, все какъ-то отряхиваясь, «и что такое по существу эта его музыка?.. Да и какая музыка?! Истинная музыка—это Бетховень, о которомъ онъ ни слова, а эта его все какая-то музыка, вѣроятно, только что одна трескучка и шумиха, какъ и самъ онъ во всемъ своемъ сногшибательствѣ, прекраснотѣли и всевозможной сытости».

Онъ сталъ поглядывать то на увлекательнаго Раздольскаго, то на увлекаемаго имъ Запавина и криво улыбаться, подергивая губами, а тамъ и слегка осаживать обоихъ, и все болѣе и болѣе ядовито.

Но Раздольскій или совсѣмъ не замѣчалъ этихъ его подкалываний, или только весело, широко раскрывая свой блестящій зубами ротъ, смѣялся на нихъ, принимая ихъ за безобидныя остроты.

— Неуживимъ,—злился Демьяновъ,—вотъ ужъ подлинно Павлушка, мѣдный лобъ!..

А тотъ, эгоистъ, — какъ мигомъ же это отмѣтилъ себя Демьяновъ, поосвободившись въ достаточной мѣрѣ отъ тѣснившихъ

его праздную душу въ сущности такихъ же праздныхъ ощущеній, приступилъ, наконецъ и, очевидно, къ самой сути своего посѣщенія.

— Ну, впрочемъ, все это вздоръ!.. А къ тебѣ я, собственно, опять-таки по поводу либретто для оперы... Горю, понимаешь, такъ и киплю весь...

— Да вѣдь душой я радъ,—весь вострепнулся Запавинъ.— Самъ все не можешь остановиться на сюжетѣ.

И между пріятелями прямо какимъ-то фейерверкомъ заблестѣло, заискрилось и затрещало крайне горячее и крайне же сбивчивое обсужденіе будущаго либретто будущей оперы.

Демьяновъ слушалъ и точно въ какой-то калейдоскопъ смотрѣлъ:

— Чортъ знаетъ что, прямо какъ бѣшеные скачутъ, черезъ всю-то всемірную исторію, черезъ библію, черезъ созданіе поэтовъ, легенды и сказки всевозможныхъ народовъ. Дѣйственность сюжета, картинность, красивость, декоративность и чуть что не костюмность,—прямо сбѣсились люди!..

— И такъ возникаетъ, т.-е. будто бы можетъ возникнуть, дѣйствительно, художественное произведеніе: «опера!..» Нѣтъ, Запавинъ-то, безстыдникъ, какъ пускается въ этотъ канканъ какой-то!..

И выйдя на середину комнаты, Демьяновъ принялся обличать. И въ результатъ вышло такъ, что молодому композитору было прямо грѣшно отвлекать Запавина отъ его дѣйствительно нужной и полезной работы къ такимъ пустякамъ, какъ опера.

— Пустяки?..—возмущился Запавинъ.—Ну, Степанъ Михайловичъ, это ужъ, знаешь, немного слишкомъ.

Демьяновъ и самъ опять уже чувствовалъ, что перехватилъ, но тѣмъ не менѣе не хотѣлъ сдаваться: каждое искусство, являя изъ себя какъ бы самостоятельную стихію, должно существовать само по себѣ, безъ всякихъ субсидій со стороны своихъ собратій; опера же, по самому существу своему, представляетъ изъ себя винигретъ изъ всѣхъ искусствъ и потому, какъ и всякое попури, не можетъ быть истинно-серьезнымъ произведеніемъ искусства.

— Бетховенъ,—сказалъ онъ въ заключеніе,—операми не занимался, онъ добивался своего только звуками и звуками.

Запавинъ молчалъ. Его красивое, блѣдное лицо запечатлѣвало какъ бы тайный стыдъ къ непрошенному обличителю и мольбу къ нему: да успокойся ты, полно же!..

Раздольскій же, сначала, съ видомъ обиженного ребенка, сталъ было готовиться къ опроверженію доводовъ Демьянова, но затѣмъ вдругъ прыснулъ и, махнувъ рукой, только весело и звонко разсмѣялся.

Демьянову почувствовалось въ этомъ смѣхѣ самое обиднѣйшее презрѣніе къ себѣ со стороны этого молодого и во всѣхъ отношеніяхъ блестящаго человѣка. На бѣду, метнувъ глазами, онъ еще попалъ ими въ зеркало. Собственная фигура показалась ему крайне мизерной въ сравненіи съ тѣмъ, что представлялъ изъ себя музыкантъ.

— Смѣхъ, издѣвательство—не опроверженіе,—сказалъ онъ какъ можно тверже и спокойнѣе и, добавивъ затѣмъ, что Запавинъ и въ данное время долженъ заниматься дѣломъ и что онъ, по крайней мѣрѣ, не считаетъ себя въ правѣ ему мѣшать, наскоро попрощался и пошелъ въ прихожую.

Музыкантъ послалъ ему вслѣдъ свои извиненія, приглашалъ выслушать его. Но Демьяновъ не оборачивался. Запавинъ проводилъ его, хотѣлъ было помочь ему одѣться въ его отяжелѣвшее отъ сырости пальто, но тотъ отстранился и, говоря: «работать, писать нашему брату надо, а не пустозвонами заниматься», скрылся за дверью.

На улицѣ было все то же: въ воздухѣ туманъ, осѣдавшій влагою на платьѣ и волосахъ, подъ ногами растворъ снѣга съ грязью, вокругъ, среди проходящихъ и проѣзжающихъ — озлобленіе, спѣшка, болѣзненное уныніе.

— Опять, опять все это!—невольно весь задрожалъ Демьяновъ,—и зачѣмъ было сидѣть у этого балоболки, только время зря потрачено, только еще больше душа заплесневѣла.

И опять онъ сталъ засматривать въ окна магазиновъ, ища часовъ, чтобы ориентироваться во времени.

Скоро онъ убѣдился, что уже восьмой часъ.

— Такъ, стало быть, день уже почти прошелъ... Но что же теперь дѣлать?.. Возвращаться домой все такъ же невозможно.

И опять ему стало яснымъ, что на очереди долженъ быть докторъ. И онъ, какъ живой, предсталъ передъ нимъ, бодрый, хлопотливый, дѣловитый и въ общемъ теперь крайне противный ему.

— Ну, денегъ-то, можетъ быть, я и не попрошу у него,— сталъ онъ говорить себѣ,—а такъ только зайду, такъ только, для бесѣды себѣ.

И онъ шелъ и шелъ.

Образъ музыканта не оставлялъ его.

Вспомнилось ему, какъ тотъ выразился какъ-то про деньги: ахъ, онѣ, какъ женщины, чѣмъ меньше о нихъ думаешь, тѣмъ назойливѣе лѣзутъ: «двѣ придутъ сами, третью приведутъ...»

— Пошлякъ!..—бранилъ онъ его мысленно,—и дѣйствительно такимъ-то и везетъ... И оперу эту напишетъ, и славу пріобрѣтетъ... А въ сущности только пошлякъ и пошлякъ!.. Да и всѣ-то они, эти удачники, таковы... И докторъ этотъ, съ его золотыми очками на горбатомъ носу, и пресловутой всеотзывчивостью... Ахъ, голодающіе, ахъ, такіе, такіе-то и такіе-то нуждающіеся, а у самого, знай, брюшко все округляется, а вмѣстѣ съ тѣмъ и карманъ все какъ будто бы оттапыривается... Нѣтъ, ну его къ чорту!.. Не пойду къ нему, все равно не рѣшусь просить у него!..

Вспомнилъ онъ про своего знакомаго, банковскаго чиновника: гладенькій, чистенькій, говоритъ обо всемъ такъ деликатно, у него, литератора, все поучиться тому и сему хочеть. Слизнакъ вообще, улитка!.. А насчетъ денегъ такъ-таки и предупреждаетъ: а что, поди, и деньжата у васъ не какъ у нашего брата водятся.

Вспомнился и ювелиръ Степановъ, тоже собрать по перу. Но у этого уже слишкомъ все ясно и просто: всѣхъ любить, обо всѣхъ печалится. Приди къ нему, сейчасъ же за столъ засадить, жену позоветъ: «Танечка, Степанъ Михайловичъ пришелъ!..» И станеть спрашивать обо всемъ такъ покойно и участливо. «Да, да, деньги очень трудно достаются, большихъ трудовъ

требуютъ... А, что, развѣ вы опять нуждаетесь?.. Что же, ежели рублика три вамъ могутъ помочь, я съ удовольствіемъ, тогда какъ-нибудь ужъ все сразу отдадите».

— Да, тогда все сразу... А я и такъ у него этакъ по трех-рублевочкамъ рублей что-то ужъ за двадцать потаскалъ. А онъ и самъ нуждается: семья, дѣти. Свинство, гадость!.. Нѣтъ, чортъ побери, лучше ужъ все-таки къ доктору съ его очками и всеотзывчивостью.

Улица уже прямо какъ бы обижала Демьянова и все больше, и больше. Эти ручьи, бѣгущіе по скатамъ вдоль тротуаровъ; эти моря въ углубленіяхъ передъ воротами; эти дворники и дворники, то обдающіе ноги прохожихъ грязью при помощи метель, то такъ и подбирающіеся къ нимъ же своими желѣзными, злюще-скрежещущими скребками; эти предательскія скользкость и слизь; эти толкающіеся и то и дѣло падающіе прохожіе... Эти окрики извозчиковъ... Эти задыхающіеся, въ полномъ изнеможеніи останавливающіеся лошади... Бррр!.. И тащисъ тутъ въ гости среди всего этого... Въ гости?! О, чтобъ ихъ всѣхъ, сытыхъ и самодовольныхъ!..

Достигъ онъ, наконецъ, весь опять изрядно вспотѣвши, и квартиры доктора.

— Дома?

— У себя-съ!..

Ну, и это хлѣбъ, пока-что!..

Докторъ встрѣтилъ его въ столовой, протянулъ ему обѣ руки.

— Батенька!.. Васъ-то мнѣ и надо, давно жажду побесѣдовать! Пожалуйте-ка къ самоварчику. Дуняша, стаканъ скорѣе, коньячку!..

Пузатый, никелированный самоваръ, тоже такъ и привѣтствовалъ. Да и все здѣсь привѣтствовало: и ярко горящая лампа надъ столомъ, и узорная салфетка на немъ, и хорошія картины на стѣнахъ, и книги, и брошюры, тамъ и сямъ въ безпорядкѣ раскиданныя по все какимъ-то крайне изящнымъ и оригинальнымъ столикамъ и полочкамъ.

Уютъ, тепло, интеллигентность!..

— Да вы, докторъ, дѣйствительно дома?

Тотъ блаженно засмѣялся, сморща свой горбатый носъ подъ золотыми очками, и указаль на воротникъ своей мягкой рубашки:

— Видите, даже и не въ крахмалѣ. Весь вечеръ прокейфствуемъ. Ну, берите же вашъ стаканъ и слушайте,—навѣрное, вамъ и какъ сюжетецъ пригодится.

Въ сосѣдней комнатѣ затрещала дробь телефоннаго звонка.

— Ну, что тамъ?—и весь нахмурившись, докторъ вышелъ.

— Кто говорить?.. А? Что? Да неужели?.. Сейчасъ?.. Ну, хорошо!..

Демьяновъ уже все понялъ. И, дѣйствительно, спустя минуту, докторъ возвратился въ столовую и, взглянувъ на него какимъ-то, какъ бы недоумѣвающимъ взоромъ, сказалъ:

— Не выходить, голубчикъ... Надо драть во всѣ лопатки... Такое, знаете, неожиданное осложненіе...

И крикнувъ горничной: «лошадь поскорѣ давать», прошелъ въ смежную комнату и на ходу, очевидно, одѣваясь, сталъ продолжать:

— А сюжетецъ преинтересный... Вы все-таки побывайте на дняхъ же, какъ-нибудь... А теперь, если хотите, я подвезу васъ. Вамъ куда?

— Куда?—но Демьяновъ зналъ это не лучше его.

Вышли они, сѣли въ узенькую пролетку и покатали себѣ, уже сами расхлестывая своими шинами грязь, куда и какъ пришлось.

Доктору было нужно къ Крымскому мосту. Газетный переулочъ Демьянова былъ отчасти по дорогѣ. Но возвращаться теперь же къ себѣ не хотѣлось.

И онъ чувствовалъ себя крайне глупо, мчася, улетаая и самъ не будучи въ состояніи сообразить, куда именно онъ такъ устремляется.

Докторъ молчалъ и только изрѣдка чертыхался, очевидно, безпокоясь за положеніе своего больного. Заговорить съ нимъ о деньгахъ было рѣшительно невозможно. Наконецъ, этотъ комфортъ передвиженія сталъ какъ-то оскорблять Демьянова своей точно прямо глумящейся надъ нимъ бессмысленностью.

Вскорѣ ему стало чувствоваться, что докторъ разсѣлся въ пролеткѣ что-то ужъ слишкомъ по-хозяйски и едва ли не спихиваетъ его постепенно. И опять этотъ докторъ былъ ему уже противенъ, и тѣмъ болѣе захотѣлось все-таки отвести, наконецъ, съ кѣмъ-нибудь душу.

Перспектива возвращенія теперь же въ свои номера прямо пугала его.

— Кто же? Къ кому же?—въ тоскѣ сталъ онъ думать, и вдругъ точно солнцемъ его озарило.—Какъ къ кому? Да, конечно, къ Архангельскому! Этотъ ужъ, во всякомъ случаѣ, полонъ сочувствія къ нему, старый, испытанный товарищъ. И переулочъ его близъ Остоженки, какъ разъ на пути доктора.

Онъ сильно подбодрился, даже рассказывать что-то сталъ доктору. А затѣмъ, достигнувъ Остоженки, распрощился съ нимъ и снова приударилъ.

Приземистый, рыжеватый и голубоглазый Архангельскій отворилъ ему дверь лично.

— Здравствуй, братъ,—сказалъ онъ,—откуда ты это такъ?

Вопросъ этотъ сразу же смутилъ Демьянова.

— Откуда? Но развѣ ужъ такъ поздно? Или ты занятъ очень?

— Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста... Тутъ у насъ маленькое совѣщаніе...

— Народъ, значить?..

— Нѣтъ, всего только одинъ товарищъ. Ты, кажется, знаешь, Турыбинъ.

И онъ ввелъ его въ свой незатѣшливый кабинетикъ, почти весь сплошь уставленный по стѣнкамъ полками съ книгами.

Черный, длиннородый Турыбинъ присмотрѣлся къ нему своими близорукими глазами и, пожавъ его руку, снова опустился на свое кресло подлѣ письменнаго стола.

Хозяинъ указалъ Демьянову на длинный кожаный диванъ:

— Садись-ка... что новаго?..

— Новаго? Да ничего особенно. Давно не видались мы: что жена, дѣтишки?

И Демьяновъ уже чувствовалъ, что и здѣсь совсѣмъ не то, что ему было нужно. У хозяина дѣло съ Турыбинымъ, съ его

товарищемъ, а бнѣ, непричастный къ этому дѣлу, какъ бы и лишній. И ему такъ это и докладываютъ: «садись-ка», т.-е. какъ бы на минуточку.

Перебросились они еще двумя-тремя незначительными фразами, коснулись даже погоды. Турыбинъ посмотрѣлъ на часы и сказавъ, что ему уже время уходить, возобновилъ ихъ прерванную дѣловую бесѣду, сначала о литературномъ вечерѣ съ благотворительною цѣлью, который имѣлъ быть въ провинціи и куда оба они приглашались въ качествѣ лекторовъ, затѣмъ о принятіи на себя Архангельскимъ редактированія новаго изданія сочиненій Жуковского.

Турыбинъ настаивалъ, что и отъ того, и отъ другого Архангельскому отказываться нельзя. Тотъ все какъ-то не рѣшался: нужно бы, хорошо бы... да и некогда, и финансы плохи.

— Вотъ на Жуковскомъ и поправишь ихъ. Кушъ, самъ видишь, предлагаютъ весьма изрядный.

— Да, да, я и говорю, что заманчиво,—подхватилъ Архангельскій и разсмѣялся, запрокидывая свою золотистую голову.— Ну, а того, не надуютъ?..

Демьяновъ любопытствовалъ узнать какъ цифру куша, такъ и издательскую фирму и, подумавъ: «да, подваливаетъ же людямъ», тѣмъ не менѣе отнесся къ дѣлу тоже скептически:

— Да, это бы хорошо! Но, къ несчастію, все, что заманчиво—рискованно.

Турыбинъ поставилъ на видъ, что солидность фирмы внѣ всякихъ сомнѣній.

— Такъ-то оно такъ,—опять закинувъ голову, разсмѣялся Архангельскій,—а только, кто ихъ тамъ знаетъ. Главное вѣдь ужъ учены. Вонъ тогда Пушкина предложили. Отказался въ двухъ заведеніяхъ отъ уроковъ, проработалъ мѣсяца три, а они, голубчики, взяли да и лопнули.

Турыбинъ еще разъ повторилъ свое мнѣніе и, простившись, вышелъ въ сопровожденіи хозяина въ прихожую.

— Ну, авось хоть теперь,—подумалъ Демьяновъ и сталъ что-то ужъ черезчуръ внимательно присматриваться къ стоявшему на этажеркѣ бюсту Бѣлинскаго.

Вернувшись, Архангельскій съ заложёнными за затылокъ руками остановился среди кабинета и задумчиво заговорилъ:

— Да, очень бы интересно... Но страшно... Вѣдь сколько работы-то будетъ опять... Опять, прежде всего отъ уроковъ надо отказываться, а мальчишекъ жаль... Но, несмотря на все это, чрезвычайно заманчиво...

И, потирая руки, Архангельскій сталъ прохаживаться. Демьяновъ видѣлъ, что ему совсѣмъ не до него, и это опять невольно стало вызывать въ немъ горечь.

А тотъ все ходилъ и прямо какъ бы думалъ вслухъ, бросая отдѣльныя слова и фразы:

— Одинъ біографическій очеркъ можетъ имѣть большое, воспитательное значеніе... Какъ только цензура... Письма эти его чудныя... воспитываемый имъ Освободитель...

Демьяновъ все посматривалъ на это милое ему лицо, въ которомъ привыкъ видѣть всегда живѣйшее участіе къ себѣ, теперь же почти не оборачивающееся въ его сторону, и на сердцѣ у него становилось все горче и горче.

«Понимаю, — говорилъ онъ себѣ, — вопросъ крайне важный для него, но могъ бы и онъ понять, что я тоже не совсѣмъ зря пришелъ къ нему въ такое неурочное время. Нѣтъ, видно и лучшимъ людямъ, прежде всего, только и только до себя».

И опять его началъ точить червячокъ, опять какъ-то само собой являлось желаніе говорить о себѣ, о томъ, что ему скверно.

Архангельскій, наконецъ, какъ бы вспомнилъ о немъ и спросилъ его совѣта:

— Какъ, рѣшаться, что ли?

И онъ опять-таки, какъ будто бы совсѣмъ и непроизвольно, но съехидничалъ, подчеркнувъ, что матеріальная выгодность дѣла, дѣйствительно, очень соблазнительна.

Но тотъ, не замѣтивъ шпильки, только подтвердилъ:

— Да, да, конечно, и деньги очень важны.

Тогда Демьяновъ сказалъ, что лично онъ не можетъ придавать большого значенія произведеніямъ Жуковского: онъ уже весь въ прошломъ, достояніе только исторіи литературы.

Архангельскій улыбнулся и поддразнилъ его: «ну тамъ, весь въ прошломъ, вы нынѣшніе, нутка!..»

И затѣмъ, весь встряхнувшись, онъ подсѣлъ къ письменному столу, щелкнулъ по лежавшей на немъ грудѣ ученическихъ тетрадей и, сморщившись, протянулъ:

— Вотъ они, Жуковскіе-то, гдѣ!..

Демьяновъ хотѣлъ освѣдомиться, не сегодня ли ему нужно будетъ прочесть и поправить всѣхъ этихъ Жуковскихъ, но промолчалъ.

— Ну, ты что и какъ?—спросилъ Архангельскій.—Написать что-нибудь?..

— Нѣтъ,—значительно отвѣтилъ тотъ,—нѣтъ, совсѣмъ плохо.

— Что же такъ?—и Архангельскій судорожно зѣвнулъ.— Нервничаешь по обыкновенію?

«По обыкновенію» укололо Демьянова, и онъ промолчалъ.

Архангельскій пристально посмотрѣлъ на него.

— Бодриться, братъ, надо. Никому не легко. У тебя что, по какой, собственно, части?

И, говоря это, онъ мелькомъ взглянулъ на стоявшіе на столѣ часики и, придвинувъ къ себѣ грудѣ тетрадей, сталъ разбирать ее.

Демьяновъ тоже посмотрѣлъ на часы, которые показывали уже двѣнадцатый, и, сказавъ: «да нѣтъ, что же, тебѣ, очевидно, некогда», тѣмъ не менѣе сталъ продолжать:

— Впрочемъ, разъ ужъ ты спрашиваешь, то я всего въ нѣсколькихъ словахъ...

И слово за словомъ, фраза за фразой полились цѣлыя изліянія, цѣлыя разсужденія на тему вообще людской черствости, отсутствія способности понимать другъ друга и помогать другъ другу, и т. д., и т. п.

Все это, по общему положенію, были старыя истины, «alte Geschichten», но настрадавшись отъ нихъ лично, онъ невольно видѣлъ въ нихъ, въ этихъ старыхъ истинахъ, черезъ свое личное соприкосновеніе къ нимъ, какъ бы и нѣчто новое, еще неизвѣстное людямъ, и ему мучительно-страстно хотѣлось показать это будто бы старое въ новомъ освѣщеніи, во всей его глубинѣ и сути.

— Все это,—говорилъ онъ,—какъ будто и извѣстно, и даже до тошноты извѣстно, но нѣтъ, нѣтъ, въ томъ-то и бѣда, что люди, свыкаясь съ существованіемъ такихъ-то и такихъ отрицательныхъ явленій жизни, не хотятъ вникнуть въ нихъ поглубже, добраться до ихъ сути, до истинныхъ ихъ причинъ и послѣдствій, и это не то изъ лѣни, не то изъ боязни какой-то подлой...

И онъ все рылся и рылся въ своихъ личныхъ ощущеніяхъ и старался каждое изъ нихъ какъ бы отдѣлить, оторвать отъ себя, показать какъ нѣчто вполне независимое отъ его личнаго «я», и это все не давалось, чувствовалось, что говорится все-таки только и только о себѣ; и все это, вмѣстѣ взятое, только все больше и больше злило, раздражало, совѣстило.

То и дѣло онъ все оправдывался: «я не о себѣ толкую, я общія положенія ставлю», и знай все будто бы такъ и припечатываль, то и дѣло сбиваясь, не удовлетворяясь употребляемыми выраженіями, подыскивая все новые примѣры и образы, все подправляясь и надсаживаясь.

Архангельскій сначала кое-что вставлялъ въ эти рѣчи, но затѣмъ замолчалъ.

Впечатлѣніе отъ нихъ у него было неизмѣнно одно: мучить его и себя человѣкъ, неизвѣстно зачѣмъ, именно, все глубже и глубже вкапываясь въ какую-то, очевидно, неисчерпаемую яму, изъ которой выкидывается все одно и то же: его личная безпомощность и озлобленность.

Помочь онъ ему рѣшительно ничѣмъ не могъ; и при всемъ своемъ добродушіи невольно стыдился за него и досадовалъ на него. Къ тому же и дѣло ему нужно было дѣлать, и ко сну уже клонило.

И Демьяновъ все это чувствовалъ и, то и дѣло поглядывая на часы, говорилъ: «тебѣ надо работать, я сейчасъ испарюсь», и тѣмъ не менѣе опять и опять все что-то доказываль, выясняль и обличаль, въ сущности уже давно каясь за свою ненужную болтовню и желая только загладить ея впечатлѣніе.

Архангельскій призакрылъ глаза и застылъ.

— Ты спишь?—спросилъ его Демьяновъ.

— Нѣтъ, голубчикъ,—сказалъ тотъ, потягиваясь и заглядывая ему въ глаза,—но, ради Бога, не обидься: какъ видишь, уже около часа... а мнѣ еще предстоитъ проработать надъ этими Жуковскими часа два-три; завтра же въ семь надо быть на ногахъ...

— Да, да,—быстро перебилъ его Демьяновъ,—я самъ знаю, что давно пора убираться... И давно бы ты... И спасибо тебѣ!..

— Не сердись, надѣюсь?..

— Помилуй, наоборотъ, очень благодаренъ тебѣ... это только доказываетъ твою искренность, дружбу...

Это говорило его сознаніе, но тѣмъ не менѣе душа вся трепетала отъ обиды...

Спѣша изъ всѣхъ силъ, поспѣваясь и все благодаря, онъ одѣлся въ прихожей и вышелъ.

Погода окончательно размокла. Шелъ мелкій, но упорный дождь... Мокреть ныла на всевозможные лады: урчала, стекая изъ водосточныхъ трубъ и переливаясь въ лужахъ; шлепала отдѣльными каплями; хлопала, булькала, пузырясь и тутъ же лопаясь. Глухой переулочъ давалъ впечатлѣніе чего-то безнадежно унылаго въ своей заброшенности. Фонари, казалось, напрягали всѣ усилія, чтобы все-таки продолжать освѣщать всю эту муть и пустоту, совершенно неизвѣстно, зачѣмъ именно...

— Выгнали!—говорилъ себѣ, какъ-то злобно смакуя, Демьяновъ,—какъ ни верти, а въ концѣ-концовъ все-таки добился только того, что чуть не по шеѣ огрѣли... Да, искалъ, искалъ да и доискался!.. Что же—и по-дѣломъ: не лѣзь, не приставай. Сочувствія захотѣлъ, помощи людской да еще всяческой: и денежками, и душевнымъ успокоеніемъ, утѣвомъ... Вотъ и утѣли!..

Озера подворотныя то и дѣло пресѣкали ему путь. Приходилось останавливаться и соображать, гдѣ и какъ именно ихъ обойти. Скоро рядомъ съ нимъ, скатываясь подъ горку, побѣжалъ цѣлый потокъ. И тутъ оставалось только «подкошаты панталонки» и шлепать уже прямо по водѣ.

— Да, таки погулялъ, поосвѣжился,—думалъ Демьяновъ,—погулялъ, да и довольно, да и опять въ свое привѣтливое гнѣздышко!..

Кругленькій управляющій, важный швейцаръ и вся прочая прислуга уже глянули на него.

— Да, положеньице!.. И осмѣлится довести себя до него!.. Да, прямо-таки осмѣлиться... Не пишется, не работается. Да что за чепуха такая: что-нибудь всегда можно написать, даже вотъ сейчасъ, если взяться за письмо...

И какъ бы провѣряя себя, Демьяновъ тутъ же попробовалъ сосредоточиться на какомъ нибудь сюжетѣ. Но дѣло и теперь не пошло. И ему стало еще тошнѣе, еще какъ-то унизительнѣе.

Затѣмъ его все сильнѣе и сильнѣе стало охватывать озлобленіе противъ самого себя. Какъ-то и жалѣлось, и хотѣлось наказывать. А тамъ пошли уже только саморазоблаченія и самобичеванія.

«Не искалъ бы въ селѣ, а искалъ бы въ себѣ», упрекалъ онъ себя, «самъ только всѣхъ мучилъ цѣлый день... всѣхъ обижалъ... будто бы все поучая... Да по какому праву? И какъ все это глупо и пошло... И какое во всемъ этомъ только и только самоуниженіе!.. О-о, проклятый, злополучный!..»

И онъ весь содрогался отъ омерзенія къ самому себѣ, и его такъ и повлекло всматриваться все глубже и глубже въ себя и во всемъ находить только все ту же омерзительность. И такой самоанализъ, такое самоопредѣленіе, стали давать ему какое-то злобное наслажденіе, острое и жгучее наподобіе сладострастія.

«Нѣтъ, нѣтъ», какъ бы по косточкамъ разбиралъ онъ собственную особу, «и это, и это тоже поддѣльно, и здѣсь въ дѣйствительности совсѣмъ не то, чѣмъ кажется снаружи. Во всемъ обманъ и фальшь!.. Да, братъ, къ приснымъ своимъ самъ Богъ велитъ относиться снисходительно, а къ самому себѣ надо быть вполне безпощаднымъ».

И сознаніе этой своей самобезпощадности едва ли не въ главномъ и тѣшило его.

Злоба сама по себѣ красива, завлекательна; онъ злобствовалъ, распускалъ себя въ злобѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы сладострастничалъ. Онъ разобралъ всю свою жизнь, припомнилъ свою юность, дѣтство и во всемъ осуждалъ себя безъ всякаго снисхожденія.

Всегда онъ бывалъ такимъ, какъ сегодня: всегда, съ самаго дѣтства, только всѣхъ мучилъ, терзалъ будто бы и невольно; всегда былъ дряннымъ кисляемъ, въ сущности ни на какое истинное дѣло совершенно и неспособнымъ. Всегда онъ будто и желалъ дѣлать нѣчто, но только непремѣнно не то, что ему дѣйствительно нужно было дѣлать въ данное время: когда, мальчишкой, ему нужно было учиться, онъ зачитывался книгами; когда студентомъ слѣдовало читать для саморазвитія, онъ баловался искусствами; когда вступилъ на службу, сталъ предаваться всецѣло литературѣ; когда же сталъ литераторомъ, то вотъ чуть не до умоизступленія себя доводитъ, но дѣла своего не дѣлаетъ.

«Тутъ», говорилъ онъ себѣ, «нѣчто органическое, прирожденное и, очевидно, неизлѣчимое».

И снова, и снова онъ всего себя разбалтывалъ и снова убѣждался, что все-то въ немъ гнило, мерзко и достойно только одного презрѣнія.

И теперь онъ былъ дѣйствительно вполне чуждъ самому себѣ, видя себя какъ бы въ прошломъ, какъ бы существомъ, совершенно внѣ его лежащимъ.

«Такъ», сталъ онъ невольно выводить и заключеніе, — но разъ человѣкъ позналъ себя, наконецъ, и такую всестороннюю дрянью, то что же ему слѣдуетъ дѣлать?.. Исправляться?.. Пустяки,—это было бы только новымъ самоублаженіемъ».

И приговоръ подписывался какъ бы самъ собою: да, тѣмъ болѣе, что и матеріальное положеніе безвыходно.

Вдругъ точно сама собою вся кровь запротестовала въ немъ: «Безвыходность — что за вздоръ!.. И почему же знать, что именно теперь-то я и позналъ себя воистину?.. Нѣтъ, нѣтъ, не то это все!..»

Онъ съ тоскою оглядѣлся вокругъ. Та же муть и мокреть, тѣ же ряды подмоченныхъ домовъ съ темными, точно слѣпыми, окнами и плотно затворенными дверями. А тамъ, за этими стѣнами, тепло, уютъ, сладко спящіе люди.

Тоска одиночества сдавила Демьянова до ужаса больно. За-

хотѣлось броситься къ первымъ дверямъ, къ первымъ воротамъ, удариться о нихъ грудью и закричать:

— Братцы, спасите... Спасите меня отъ самого себя!..

Онъ остановился, самъ не замѣчая этого, поникнувъ головой.

Дождь и оттепель шумѣли все такъ же безнадежно-уныло.

Онъ постоялъ, почувствовалъ, что начинается какъ бы и самъ весь насквозь промокать, и снова потащился по лужамъ. Душа въ немъ какъ-то сразу упала.

Позади его стали слышаться какіе-то негромкіе жалобно-отрывистые звуки. Онъ слышалъ ихъ, запечатлѣлъ ихъ своимъ слухомъ, но не перенесъ ихъ впечатлѣніе въ свое сознаніе: было совсѣмъ не до нихъ, какъ и ни до чего другого. Звуки прозвучали и смолкли.

«Умереть?» опять тоскливо заметалась его мысль, «но неужели же больше нѣтъ никакого исхода? Вѣдь это не что-нибудь, — вѣдь это умереть... Смерть!.. Смерти отдаться!..»

И какимъ-то холоднымъ и бездоннымъ мракомъ пахнуло на него.

— Смерть! — повторилъ онъ вслухъ не своимъ голосомъ... — Смерть!..

И ему вполнѣ ясно и опредѣленно почувствовалось, что она идетъ, крадется, настигаетъ его.

Ея ходъ былъ совершенно беззвученъ, но онъ слышалъ, чувствовалъ его вполнѣ ясно, и вскорѣ она и видомъ ему показалась: нѣчто въ родѣ самой обыкновенной кошки, выслѣживающей его среди уличной мути своими злобно-блестящими глазами; и то, что смерть эта являлась передъ нимъ въ такомъ обыденномъ и даже пошло-обыденномъ образѣ особенно какъ-то и возмущало, и страшило его.

«Да, да, бессмысленная, отвратительная, а между тѣмъ она идетъ и идетъ... Крадется!..»

Онъ обернулся.

И теперь уже воочию увидѣлъ смерть. Она кралась изъ потемокъ именно такую, какой и раньше имъ чувствовалась, — припадающей къ землѣ, со свѣтящимися глазами, кошкой...

Внѣ себя отъ ужаса, онъ ринулся на эту смерть.

Кошка метнулась вправо, влево и, вспрыгнувъ на заборъ, пропала.

Демьяновъ протеръ глаза, откашлялся и почувствовалъ себя какъ бы очнувшимся отъ ночного кошмара.

Затѣмъ опять ему стало страшно, но уже не такъ, какъ раньше, какъ-то стыдно-страшно, отъ признанія, что онъ и дѣйствительно, какъ бы до умоиступленія себя доводитъ: дѣйствительность принимаетъ за галлюцинацію.

Теперь онъ уже вспомнилъ, что онъ прямо зналъ то, что за нимъ идетъ кошка, такъ какъ слышалъ ея мяуканье.

«Нѣтъ», говорилъ онъ себѣ, «довольно всего этого... Завтра же за работу, и баста!..»

И, прибодрившись, онъ прибавилъ шага.

Вскорѣ же, впрочемъ, шагъ его снова сталъ менѣе рѣшительнъ, такъ какъ ему сталъ представляться швейцаръ, котораго съ помощью звонка ему придется поднимать съ постели и который, поощряясь полутьмою сѣней и ихъ уединеніемъ, можетъ прямо какъ-нибудь оскорбить его.

«Да», поддразнилъ онъ себя, «все-то страшно: и своя необезпеченность, и смерть въ видѣ кошки, и швейцаръ въ позументахъ. Эхъ ты, мразь, мразь всероссійская!»

«Нѣтъ», рѣшилъ онъ все-таки вслѣдъ за тѣмъ, «такъ ужъ и быть, откуплюсь отъ него двугривеннымъ, — ну, его къ чорту!..»

И походка его опять стала бодрѣе.

Швейцаръ, замѣтивъ предупредительно протягивающуюся къ нему руку Демьянова, дѣйствительно смиростивился и ограничился только тѣмъ, что молча, не благодаря, принялъ этотъ даръ.

Въ номерѣ своемъ Демьяновъ почувствовалъ себя прямо превосходно. Быстро освободился онъ отъ своего верхняго намокашаго платья, затѣмъ и отъ частью тоже подмоченнаго нижняго и, съ наслажденіемъ растянувшись на постели, вскорѣ же заснулъ, какъ убитый.

Но къ утру сонъ его сталъ уже тревоженъ: все что-то путало, точно крыломъ какимъ-то внезапно взмахивая надъ нимъ.

Окончательно очнулся онъ часамъ къ десяти и, по своему обыкновенію, тотчасъ же взялся за папиросу.

Въ окна смотрѣли тѣ же хмурья и заплаканныя полусумерки. Комната была такъ же неприбрана и такъ же пошло убого-нарядна. И такъ же привычно, наболѣло-тоскливо ощутилъ себя и Демьяновъ. Такъ же не хотѣлось ему вставать и звонить слугу для просьбы о самоварѣ; такъ же невольно подплывала и эта постылая боязнь, что и работа опять не пойдетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ,—заволновался онъ,—это ужъ вздоръ. Кажется, достаточно сильная была встряска!.. Нѣтъ, какъ сяду, такъ и воткнусь въ работу.

Но въ то же время онъ не могъ не чувствовать, что обновленія въ его душѣ нѣтъ.

«И что бы стоило Архангельскому», стало ему думать, «оставить меня заночевать у себя на этомъ аппетитномъ диванѣ. Проснулся бы я въ новой обстановкѣ, внѣ этого опасенія, что вотъ-вотъ и постучится управляющій, и, навѣрное, такъ бы и протрещалъ перомъ за его столомъ вплоть до его возвращенія со службы. Да, хорошо бы было... А онъ вотъ не догадался да взамѣнъ этого еще выгнать... Нѣтъ, не хорошо это...»

Въ дверь постучали тихонько.

— Пришелъ, настало,—весь задрожавъ и вскакивая, сказалъ себѣ Демьяновъ и какъ можно покойнѣе произнесъ вслухъ:

— Кто тамъ? Я еще не одѣтъ, только встаю...

— Извините, я подожду...

И было слышно, какъ кто-то отошелъ отъ двери.

Голосъ былъ какъ будто и не управляющаго. Тѣмъ не менѣе, не переставая тревожиться, Демьяновъ сейчасъ же соскочилъ съ постели, наскоро одѣлся, наскоро кое-что поприбралъ въ комнатѣ и, щелкнувъ ключомъ, распахнулъ дверь.

— Кому меня нужно? Пожалуйста!..

Въ комнату вошелъ высокій и поразительно блѣдный и исхудалый молодой человѣкъ въ добѣла истертomъ по швамъ пальто и съ очень помятымъ, хотя и тщательнo расправленнымъ котелкомъ въ рукѣ.

— Господинъ Демьяновъ?—слегка задыхаясь и дрожа губами,

заговорилъ онъ,—Я... я... моя фа... фамилія Улыбкинъ... она.. она, конечно, ничего вамъ не говорить... но если бы вы, господинъ Демьяновъ, позволили мнѣ...

Онъ оборвался и какъ-то стыдливо и дѣтски-умоляюще метнулъ своими черными, прекрасными, полными тоски глазами по бывшей въ комнатѣ мебели.

Демьяновъ понялъ его и предложилъ ему сѣсть, сѣвъ и самъ.

— Благодарю васъ,—сказалъ онъ своимъ мягкимъ голосомъ,—я, видите ли ли... тутъ цѣлая исторія... Однимъ словомъ, положеніе мое самое безвыходное...

Демьяновъ вздохнулъ.

Тотъ пугливо взглянулъ на него и, сказавъ:—«Только выслушайте, ради Бога, и вѣрьте»,—сталъ рассказывать цѣлую повесть, говоря спѣшно, съ перерывами, заикаясь отъ волненія и стараясь, очевидно, быть какъ можно кратче и въ то же время точнѣе.

Ему теперь двадцать семь лѣтъ. Онъ—недоучившійся технологъ. Девятнадцати лѣтъ ему пришлось покинуть институтъ благодаря тому, что за смертью отца явилась необходимость поддерживать существованіе матери и сестры съ братомъ, которые были тогда еще совѣмъ дѣтьми. Ему подыскали мѣсто въ одномъ желѣзнодорожномъ правленіи. Было трудно, но кое-какъ перебивались. Съ годами положеніе его на службѣ все улучшалось. Братъ и сестра, подрастая, также стали зарабатывать кое-какія крохи урочками, перепиской. А тамъ кончила гимназію сестра и также поступила на службу въ то же желѣзнодорожное правленіе. И тутъ-то и началось. Одинъ изъ ихъ ближайшихъ начальниковъ былъ большимъ волокитой. Сталъ онъ оказывать любезности и своей молоденькой подчиненной. Та, юная и чистая, замирая отъ стыда и негодованія, Богомъ заклинала его оставить свои шутки, но селадонъ не унимался. Она невольно жаловалась матери, брату. Между тѣмъ по этому же поводу стали и пересуды ходить по правленію, иные дѣлали намеки самому Улыбкину. Онъ наконецъ вполне откровенно объяснился съ начальникомъ. Тотъ завѣрилъ, что ничего по-

добнаго и въ помыслахъ не имѣлъ. Но тѣмъ не менѣе на другой же день поднесъ въ стѣнахъ самого правленія роскошнѣйшій букетъ дѣвушкѣ. Та оскорбилась до глубины души; онъ же, Улыбкинъ, схватилъ этотъ роскошнѣйшій букетъ и ударилъ имъ по фізіономіи начальника. Скандалъ произошелъ невѣроятный, и слѣдствіемъ его получилось то, что черезъ нѣсколько дней въ правленіи было сдѣлано открытіе пропажи одной очень важной бумаги, которая находилась въ рукахъ Улыбкина. Его объявили виновнымъ въ кражѣ документа. Допросы, слѣдствіе, тюрьма, семимѣсячное одиночное заключеніе. И наконецъ-то, наконецъ—судъ. Оправданіе послѣдовало, конечно, полное. Измученный, изболѣвший онъ снова вышелъ на свободу. Исключенный изъ гимназіи за невзносъ платы за ученіе братъ изнемогалъ надъ бѣганьемъ по урокамъ и перепиской. Мать и сестра также бились изъ всѣхъ силъ. Но, благо, онъ снова съ ними!.. И судьба какъ бы снова улыбалась. Трое-четверо изъ очень и очень вліятельныхъ въ обществѣ людей, знавшіе все его дѣло и глубоко возмущенные имъ, навѣрняка обѣщали ему доставить вполнѣ обезпечивающее существованіе его семьи мѣсто. Навѣрняка, только чуть-чуть подождите!.. Но время шло, и мѣсто не получалось. Онъ ждалъ, ходилъ, просилъ. Вліятельные люди, наконецъ, утомились и обѣщать, стали отворачиваться, не принимать. И вотъ уже болѣе года, какъ ни у кого изъ нихъ четырехъ ничего опредѣленнаго. Нужда все обострялась. Всякій трудъ, всякое дѣло точно прямо прятались отъ нихъ. Мало-по-малу стало необходимымъ не брезговать и грубымъ физическимъ трудомъ: женщины даже стирали подчасъ, они съ братомъ тоже были рады и всякой поденщинѣ. Теперь же положеніе таково. Братъ, простудившись при сколкѣ льда на мосту, лежитъ въ больницѣ. Мать также больна. Изъ угловъ ихъ гонятъ. Ёсть нечего буквально. Сестра ожесточается.

— А всѣ мы,—закончилъ онъ,—и честны, и трудолюбивы, и не безъ образованія относительнаго. Я три языка знаю, бухгалтерію, могу и переводы дѣлать. Да и сестра... да и братъ, и даже мать старуха!.. И когда подумаешь, что все это изъ-за букета, изъ-за этого роскошнѣйшаго букета!..

Демьяновъ былъ потрясенъ очень сильно.

— Да, — сказалъ онъ, — ваша исторія поистинѣ ужасна. Но скажите, что васъ привело именно ко мнѣ?

— Что привело? — повторилъ тотъ, пожимая плечами и съ жалостно-наивной улыбкой. — Да ваши же литературныя произведенія привели... Знаю я васъ уже довольно давно. Всегда вы все такъ тепло, душевно и вдумчиво... Да!.. А тутъ недавно мнѣ пришлось натолкнуться на вашъ рассказъ «Взаимная помощь».

— Ага! — какъ-то смущенно-стыдливо произнесъ Демьяновъ.

— Да. Понимаете? Въ сюжетѣ есть нѣчто общее съ моей исторіей, родное что-то почувствовалось, — по самой сути-то дѣла... Вотъ и подумалось: что, если взять и толкнуться къ нему? Этотъ хоть пойметъ, хоть не оскорбитъ, по крайней мѣрѣ... И... и вѣдь я не ошибся?..

И онъ опять умоляюще-кротко и ласково, какъ-то совѣмъ по-собачьи, заглянулъ въ самые глаза Демьянова.

— Помилуйте, — прошепталъ тотъ еще болѣе весь застыдившись. — Сочувствовать я вамъ вполне сочувствую, тѣмъ болѣе... тѣмъ болѣе...

Онъ хотѣлъ было сказать: «тѣмъ болѣе, что самъ въ настоящее время нахожусь въ положеніи близкомъ къ вашему», но тутъ же понялъ, какая бы эта была безстыдная ложь.

И, такъ и не договоривъ, онъ даже привскочилъ отъ охватившаго его стыда и досады на себя и, затѣмъ какъ-то инстинктивно желая скрыть это свое волненіе, поднялся, досталъ съ этажерки коробочку съ папиросами и, закуривая самъ, предложилъ и гостю курить.

Тотъ отрицательно покачалъ головой, посмотрѣлъ на него исподлбья и, не поднимая головы, снова заговорилъ, подавляя вздохъ и тономъ унылой покорности:

— Простите, я уже предвижу... Но что я собственно имѣлъ въ виду?.. Прежде всего я предполагалъ, что матеріально вы обставлены гораздо лучше, чѣмъ оно, по видимости, есть на самомъ дѣлѣ... Я совѣмъ не знакомъ съ положеніемъ литераторовъ... Мнѣ думалось: имя, извѣстность, навѣрное и заработокъ — не какъ у простого смертнаго...

— Я очень не продуктивенъ, — какъ бы оправдываясь, сказалъ Демьяновъ, — пишу мало, трудно и «горестно», какъ говорили про Гаршина...

— Ну, да, да!.. — торопливо подхватилъ Улыбкинъ, — я и вижу, что ошибся въ этомъ, но... но..

И оборвавшись онъ нервно, дрожащей рукой, прямо точно изъ желанія сдѣлать себѣ больно, сталъ крутить и дергать свою бородку.

— Вѣдь, оно, какъ сказать? — заговорилъ онъ снова, — конечно, просить помощи, вспоможенія, при способности работать какъ будто и позорно, непозволительно, но, съ другой стороны, что же наконецъ дѣлать?.. Тѣмъ болѣе, что вѣдь въ сущности я, напимѣръ, и не себя лично имѣю въ виду: мать, сестра эта, братъ больной... И... вы вникните, зачѣмъ это я теперь продолжаю... Мнѣ какъ-то оправдаться въ вашихъ глазахъ хочется, тѣмъ болѣе если я вамъ доставилъ только напрасное огорченіе... Съ отчаянія чего не сдѣлаешь?.. Вдругъ замечталось: человѣкъ понимающій, съ душой, извѣстность — навѣрное, всякихъ знакомствъ масса — лишь бы участіе принять, а тамъ и дѣло, навѣрное, какое-нибудь найдетъ... Да, а пока, можетъ быть, хоть нѣсколько рублишекъ ссудить, займообразно...

При послѣдней фразѣ голосъ его упалъ до совершеннаго шопота. Демьяновъ понималъ, что въ сущности онъ и теперь все еще просить, все еще надѣется на его помощь.

— Голубчикъ, — сказалъ онъ, — страшно мнѣ больно васъ разочаровывать, но поймите, совсѣмъ-таки я не то, что вамъ представлялось. Я не умѣлый, я самъ вполнѣ безпомощный человѣкъ... Талантишко вонъ признають, и даже не талантишко, что зря самоунижаться, а талантъ, но въ практической жизни я сущая дрянь. Вѣрьте, что самъ такъ и жду, что и изъ номера погонять... Плохо, значитъ, у меня и насчетъ знакомства... Самъ вчера весь день протаскался, ища помощи...

И опять внезапно его кольнуло стыдомъ прямо до дрожи, и опять онъ оборвался и заходилъ, потирая руки.

Улыбкинъ поднялся и, послѣдя за нимъ своими большими, тоскующими глазами, сталъ извиняться:

— Простите въ такомъ случаѣ мое вторженіе... Я вижу, что только еще болѣе разстроилъ васъ... вижу, что вы и рады бы помочь, но сами... Забудьте же обо мнѣ!..

Демьяновъ между тѣмъ все ходилъ и думалъ:

«Господи, да что же это, наконецъ,—я же плачусь на свою судьбу передъ этимъ воистину уже сверхъ всякаго вѣроятія униженнымъ и оскорбленнымъ. Я одинокій, имѣющій дѣло и не работающій только изъ одного безволія, я приравниваю себя къ нему, съ этой его ожесточающейся сестрой... И онъ же чуть ли и не утѣшаетъ меня... Господи, да до чего я доживаю?!..»

И вдругъ со дна души его такъ и поднялся, такъ и хлынулъ, какъ вода черезъ прорванную плотину, протестъ: нѣтъ, нѣтъ, такъ нельзя, невозможно!

И такое же «нѣтъ» стало кричать и все его существо. Руки судорожно сжались въ кулаки, грудь поднялась, негодованіе точно сдавило его всего.

Улыбкинъ испуганно посмотрѣлъ на него и, тоже весь невольно выпрямляясь, заговорилъ было срывающимся, звенящимъ голосомъ:

— Вы раздражились, наконецъ... Я понимаю васъ, но...

— Нѣтъ, вы не понимаете меня,—рѣзко перебилъ его Демьяновъ, схватя и изо всѣхъ силъ сжимая его руку,—нѣтъ, нѣтъ!.. Раздражился, это вѣрно... болѣе того,—вы до основанія меня потрясли!.. Всю душу... И... и...

Онъ замолчалъ отъ волненія и, тяжело переводя духъ, не глядя на Улыбкина, вынулъ изъ кармана кошелекъ и, высыпавъ изъ него все, что въ немъ было, четыре рубля съ мелочью, протянулъ ему горсть:

— Вотъ все, что у меня есть въ наличности... Ради Бога, возьмите!.. А затѣмъ дайте мнѣ вашъ адресъ, и, вѣроятно, я сегодня же, нѣтъ, т.-е. завтра же, доставлю вамъ и еще что-нибудь... Берите же, прошу васъ.

Улыбкинъ весь дрожалъ и, готовясь возражать, только трясъ передъ лицомъ руками, какъ бы защищаясь.

— Умоляю же васъ, возьмите,—настаивалъ Демьяновъ,—и

знайте, что я у васъ въ неоплатномъ долгу... Потомъ я вамъ все расскажу, а теперь...

И послѣ нѣкоторой борьбы онъ ссыпалъ-таки свою горсть въ карманъ гостя.

У того брызнули изъ глазъ слезы.

— Я... я,—началъ было онъ, не подбирая словъ.

— Вашъ, адресъ, адресъ!—перебилъ Демьяновъ,—вотъ, напишите!..

Тотъ, дѣлать нечего, взялъ поданную книжку и кое-какъ нацарапалъ нѣсколько словъ.

— Вотъ и отлично и спасибо!..

И Демьяновъ крѣпко потрясъ его руку. Тотъ еще болѣе переконфузился и, бормоча какое-то неопредѣленное оправданіе себѣ, быстро скрылся за дверь.

Демьяновъ посмотрѣлъ на эту дверь, затѣмъ вокругъ себя и сталъ быстро, круто поворачиваясь, ходить взадъ и впередъ. И такъ проходилъ онъ минутъ съ десять.

Сначала лицо его отражало сильное возбужденіе, глаза сверкали, ноздри раздувались, но затѣмъ мало-по-малу по нему все ровнѣе и ровнѣе стала разливаться спокойная рѣшимость, и только. Шагъ его тоже дѣлался все ровнѣе и покойнѣе. Наконецъ, онъ и совсѣмъ остановился.

— Такъ, — сказалъ онъ себѣ,—отрезвѣлъ, небось, какъ отъ нищаго пришлось получить милостыню. Нѣтъ, довольно роскошествовать въ любованіи на свои собственныя скверны. Не до того, не одинъ на свѣтѣ!..

И онъ тутъ же сѣлъ за столъ и взялся за перо.

Давно намѣченные имъ сюжеты снова было замелькали передъ нимъ, какъ бы соперничая другъ передъ другомъ своими содержаніями и красками.

Онъ подумалъ немного и сказалъ себѣ:

— Что тутъ разбираться? Всѣ они мои дѣтища и всѣ едины по сути. Взять любой да и разрабатывать.

И онъ тутъ же сталъ писать. Сначала дѣло едва только двигалось, перо шло вяло, бывали частыя пометки, но затѣмъ письмо стало все вольнѣе и вольнѣе.

Исписавъ страницу, въ ожиданіи, когда она подсохнетъ, онъ закуривалъ и прохаживался, подготавливая въ умѣ дальнѣйшее; затѣмъ опять садился и опять писалъ.

Такъ проработалъ онъ до сумерекъ. Стали чувствоваться усталость и голодъ. Онъ наскоро просмотрѣлъ написанное, пересчиталъ страницы и, позвонивъ, спокойно приказалъ явившемуся и слегка ухмылявшемуся слугѣ принести себѣ обѣдъ.

— Скажите управляющему, что я завтра же расплачусь. Слышите, завтра же.

И спокойно-самоувѣренный тонъ его сразу же подѣйствовалъ на лакея.

— Слушаю-съ,—сказалъ онъ почтительно и вышелъ и черезъ нѣсколько же минутъ возвратился, неся обѣдъ.

Демьяновъ поѣлъ, повалялся немного въ ожиданіи, пока совѣтъ стемнѣетъ, и затѣмъ, зажегши лампу, снова сталъ писать.

И рѣчь его изливалась на бумагу еще свободнѣе и ровнѣе и прямо уже набѣло.

Въ десять часовъ онъ попросилъ самоваръ, поотдохнулъ за чаемъ, а тамъ и опять сѣлъ за столъ уже заканчивать свой рассказъ. И, дѣйствительно, часу ко второму вещь была закончена.

— Dixi,—сказалъ себѣ Демьяновъ и широко расписавшись подъ своимъ новорожденнымъ произведеніемъ, дѣтски весело разсмѣялся, весь дергаясь отъ ломавшей его усталости.

Уснулъ онъ, какъ камень въ воду, едва только укутался одѣяломъ.

Утромъ же, еще за самоваромъ, снова взялся за работу, пробѣгая и подправляя написанное наканунѣ.

Часу же въ третьемъ онъ уже передавалъ свой рассказъ редактору.

— Вотъ и отлично,—говорилъ тотъ,—мы давно уже ждемъ отъ васъ вещицы. На-дняхъ же и тиснемъ.

— Такъ-съ,—сказалъ Демьяновъ, а какъ насчетъ авансику?..

— А сколько бы вамъ?

— Да тутъ рублей на восемьдесятъ съ лишнемъ будетъ, дали

бы ужъ для круглаго счета сотню. А я вамъ вскорѣ, если угодно, и еще вещицу доставлю.

— Расписались?—улыбнулся редакторъ и, поднеся ко рту конецъ своей бороды, чуточку подумалъ, пожалъ плечами, сказалъ «что же!» и тотчасъ же подписалъ ордеръ.

— Сколько же дать Улыбкину изъ этихъ денегъ?—думалъ Демьяновъ, выходя изъ конторы редакціи.—Сколько?..

И онъ задумался.

«Но что это собственно произошло? Я искалъ помощи всюду и у всѣхъ, и все тщетно. Пришелъ ко мнѣ человекъ у меня просить помощи, и самъ же первый и помогъ мнѣ. Чѣмъ же?.. Тѣмъ, что совершенно нечаянно встряхнулъ, оживилъ мою душу, уже начинавшую было подгнивать безъ притока сильныхъ, живительныхъ впечатлѣній извнѣ, среди вѣчнаго перебалтыванья только въ сущности лично меня и меня касающихся чувствъ, чувствованій и ощущеній!.. Да, это такъ. Но, дѣйствительно ли извнѣ вошла въ меня черезъ его посредство какая-нибудь новая сила?.. Нѣтъ, она была во мнѣ и раньше, онъ только вызвалъ ее наружу. Я искалъ на сторонѣ, я хотѣлъ, чтобы меня пожалѣли, а нужно было въ себѣ искать и самому пожалѣть».

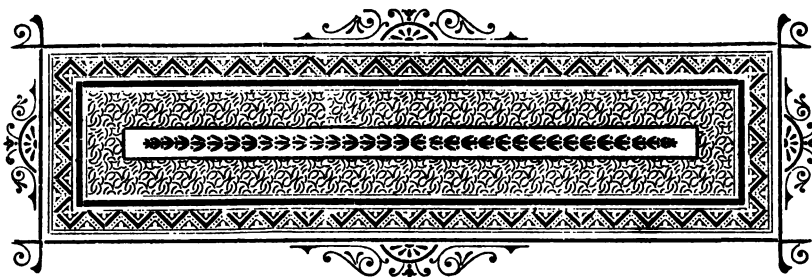
«Да, да», заключилъ онъ весело, «мы все въ самихъ себѣ носимъ. Значить, все въ себѣ, но и не безъ взаимной помощи».

И, придя домой, онъ тотчасъ же освободился отъ своей сотни, половину ея вручивъ управляющему номеровъ, а другую препроводивъ съ артельщикомъ къ Улыбкину, твердо сказавъ себѣ, что онъ приметъ всѣ мѣры, чтобы доставить ему и болѣе существенную помощь.

Затѣмъ онъ пообѣдалъ, поотдохнулъ и, дождавшись, когда стало удобнымъ зажечь лампу, бодро приступилъ къ новому разсказу.

Е. Гославскій.





Соціальная наука и соціальная філософія.

«При нормальныхъ условіяхъ истина, въ большинствѣ случаевъ, можетъ просуществовать лѣтъ семнадцать - восемнадцать, въ крайнемъ случаѣ двадцать, рѣдко долѣе. И въ этомъ почтенномъ возрастѣ истины всегда поразительно худосочны...»

Такъ пытался опредѣлить продолжительность жизни истины докторъ Штокманъ. Должно быть менѣе суровыя климатическія условія сокращаютъ этотъ средній норвежскій срокъ еще болѣе. У насъ, по крайней мѣрѣ, истины созрѣваютъ и отцвѣтаютъ гораздо быстрѣе, а быстрѣе всѣхъ продѣлываютъ свой жизненный круговоротъ, повидимому, соціально-філософскія истины.

«Марксизмомъ, породившимъ изъ своихъ нѣдръ метафизику, русскій позитивизмъ закончилъ полный кругъ своего развитія. Контизмъ Вл. Ал. Милютина, матеріализмъ (естественно - научный) Герцена, Чернышевскаго и Писарева, соціологическій субъективизмъ Лаврова и Михайловскаго, діалектическій марксизмъ Бельтова и позитивно-критическій, сильно окрашенный кантіанствомъ и неокантіанствомъ марксизмъ Струве—вотъ его различныя выраженія и въ то же время этапы, имѣющіе различное содержаніе и потому различную цѣнность, но по своему философскому зерну тождественные *). Но позитивизмъ, даже

*) П. Г. Къ характеристикѣ нашего философскаго развитія, въ сборникѣ „Проблемы идеализма“, стр. 87.

въ той небольшой дозѣ, въ какой онъ оставался въ послѣднемъ «этапѣ», оказался неподходящимъ средствомъ для рѣшенія основныхъ соціально-философскихъ задачъ. Представитель послѣдняго «этапа» перешелъ къ метафизикѣ, увлекая за собою колеблющихся. Устоять противъ искушеній отвлеченной мысли, тянувшей туда, гдѣ нѣтъ никакихъ сдержекъ для умозрѣнія, повидимому, было трудно, и вслѣдъ за Струве въ просторныхъ чертогахъ, гдѣ царить метафизика, одинъ за другимъ стали появляться русскіе мыслители, разочаровавшіеся въ позитивизмъ. Не всѣ входятъ туда одинаково смѣло и чувствуютъ себя тамъ одинаково свободно. Одни безпокойно оглядываются на дверь, другіе остановились на порогѣ съ занесенной ногою и не рѣшаются ступить. Но стремленіе туда намѣчается довольно опредѣленно, хотя теперь уже можно, кажется, не опасаться, что оно приметъ эпидемическій характеръ. Цѣнность положительныхъ результатовъ, къ которымъ приводитъ новое движеніе, довольно сомнительна, но за нимъ приходится признать одно: оно вновь взбудоражило теоретическую мысль и заставило вновь приняться за пересмотръ важнѣйшихъ соціально-философскихъ вопросовъ.

На одномъ изъ этихъ вопросовъ я хочу остановить вниманіе читателя.

Въ какомъ отношеніи находятся между собою научное изученіе общественныхъ явленій и общественные идеалы? Въ какой мѣрѣ являются опредѣляющими результаты научной работы и въ какой мѣрѣ самостоятельны идеалы? Гдѣ лежитъ центръ тяжести: въ научномъ анализѣ или сверхнаучныхъ предпосылкахъ? Вотъ тѣ вопросы, по которымъ мнѣ хотѣлось бы высказать нѣсколько соображеній. То, что я хочу сказать, не будетъ ново, но въ настоящее время мы переживаемъ такой моментъ, что не грѣхъ припомнить кое-что и изъ стараго. Вѣдь, въ сущности говоря, много ли такихъ новыхъ истинъ, которыя могутъ съ честью выдержать свѣрку съ метрическимъ свидѣтельствомъ? Часто оказывается, что новоявленная истина имѣетъ за собою весьма почтенный возрастъ.

Das Wahre war schon längst gefunden,
Hat edle Geisterschaft verbunden,
Das alte Wahre fass es an!

Я и собираюсь показать, что старой позитивной правды, которая соединяла столько великихъ умовъ, слѣдуетъ еще и теперь держаться, ибо лучшей не приобрѣтено.

I.

Начинать приходится съ бѣлаго анализа идеи закономерности общественныхъ явленій. Логически это первый вопросъ въ интересующей насъ задачѣ и, не устанавливая опредѣленнаго отношенія къ нему, нельзя итти дальше.

Необходимость постановки вопроса о закономерности социальныхъ явленій, прежде всякаго другаго, сознается мыслителями самыхъ различныхъ направленій. Но когда дѣло доходитъ до рѣшенія задачи, то единогласіе немедленно исчезаетъ, и каждый идетъ своей дорогой.

Было бы совершенно бесполезно утомлять читателя изложеніемъ всѣхъ доктринъ, относящихся сюда. Я только припомню двѣ теоріи, которыя кажутся мнѣ необходимыми для моей цѣли. Особенно характерна теорія Руд. Штамлера, изложенная имъ въ его книгѣ «Wirtschaft und Recht». «Всѣ эти соображенія,—говоритъ онъ въ заключеніи вступительнаго параграфа своей книги,—ведутъ къ признанію необходимости социальной философіи, т.-е. научнаго изслѣдованія о томъ, какой основной формальной закономерности подчиняется социальная жизнь людей. Социальная философія спрашиваетъ сообразно съ этимъ, что должно быть признано въ социальной жизни людей всеобщимъ и необходимымъ? Цѣлью ея является, такимъ образомъ, познаніе тѣхъ понятій и принциповъ, которые сохраняютъ значеніе для всякой социальной жизни. Она должна отвѣстись въ своемъ ученіи отъ всякаго спеціальнаго содержанія, какого-либо исторически даннаго социального бытія и стремиться къ систематическому

уразумѣнію законмѣрности, свойственной общественной жизни людей вообще». Постановка задачи очень ясная и правильная, но къ сожалѣнію, ея рѣшеніе портитъ все дѣло. Какъ извѣстно, Штамлеръ строить положительную часть своего ученія на критикѣ теоріи историческаго матеріализма, точнѣе на критикѣ идеи исключительно причиннаго характера социальной законмѣрности, положенной въ его основу. Только недочетами современнаго словоупотребленія, по мнѣнію Штамлера, можно объяснить отождествленіе понятій законмѣрности и причинности. Путемъ довольно сложнаго гносеологическаго анализа, которому нельзя отказать въ остроуміи, Штамлеръ приходитъ къ тому выводу, что существуетъ два направленія сознанія: познаніе и воля, и, соотвѣтственно этому, два единства явленій: причинность и цѣлесообразность. Оба эти единства совмѣщаются, однако, въ единомъ сознаніи и составляютъ виды пониманія. Изучаемыя сквозъ призму этихъ теоретико-познавательныхъ предпосылокъ человѣческія дѣйствія становятся объектомъ двоякаго разсмотрѣнія. Съ одной стороны, они представляются намъ, какъ причинно обусловленныя событія внѣшняго міра, съ другой — какъ продуктъ дѣятельности нашей воли. «Человѣческія дѣйствія подлежатъ разсмотрѣнію по закону причинности лишь тогда, когда они стали явленіями чувственнаго міра, когда они неотъемлемо предлежатъ какъ матеріалъ для научной обработки или когда необходимость ихъ можетъ быть предусмотрѣна на основаніи законмѣрности, установленной для другой какой-нибудь области опыта. Это, можетъ быть, но это лишь возможность и притомъ одна изъ двухъ. Почему же возможность представлять человѣческія дѣйствія не какъ являющіяся, но какъ долженствующія быть произведенными, можетъ исключаться правиломъ, которое имѣетъ силу только для объективнаго познанія явленій?» Социальная философія, изучающая явленія общественной жизни, главной цѣлью ставитъ познаніе ихъ законмѣрности. Съ точки зрѣнія только что приведенныхъ соображеній эта законмѣрность можетъ быть, очевидно, двухъ видовъ: каузальная и телеологическая. Онѣ другъ другу противоположны и не могутъ переходить одна въ другую. Какая

же является болѣе существенной. Штамлеръ не задумывается надъ отвѣтомъ. «Закономѣрность социальной жизни, состоящая въ объединяющей точкѣ зрѣнія для всякой возможной формы ея, можетъ быть найдена только въ идеѣ цѣлесообразности».

Къ счастью, мнѣ нѣтъ необходимости критиковать эту теорію. Блестящимъ образомъ доказалъ всю ея несостоятельность никто иной, какъ С. Н. Булгаковъ, въ статьѣ, которую теперь онъ склоненъ, кажется, причислять къ ошибкамъ своей молодости *). Г. Булгаковъ, опираясь на кантовское ученіе объ единствѣ трансцендентальнаго сознанія, очень легко показалъ, что сознаніе не можетъ раздваиваться на два направленія, взаимно другъ друга исключających и въ то же время равноправныхъ. Такая бифуркація гносеологически незаконна. Это возраженіе подрываетъ самую основу аргументаціи Штамлера, такъ что я могу не излагать дальнѣйшихъ; выводомъ критики г. Булгакова является утвержденіе идеи чисто-каузальной закономѣрности социальныхъ явленій.

Неудобства точки зрѣнія Штамлера, повидимому, почувствовалъ другой нѣмецкій мыслитель, также задавшійся цѣлью опредѣлить принципы общественной жизни, Людвигъ Штейнъ въ своемъ большомъ социальномъ-философскомъ изслѣдованіи **). И Штейну кажется недостаточной одна каузальная точка зрѣнія, и онъ принимаетъ телеологическую на ряду съ нею. Идеѣ механической причинности Бокля онъ противопоставляетъ причинность телеологическую. Самую идею онъ беретъ у эволюціоннаго ученія; поэтому его телеологизмъ не можетъ быть противопоставляемъ причинности, какъ это сдѣлано у Штамлера, и не предполагаетъ какого-то раздвоенія сознанія. Какъ извѣстно, у Дарвина идея цѣлесообразности является лишь дополненіемъ идеи причинности, которую онъ все время предполагаетъ, и вся эволюціонная теорія является протестомъ противъ телеологизма стараго типа, метафизическихъ конечныхъ цѣлей и

*) „Закономѣрность социальныхъ явленій“. *Вопр. Фил.* № 35; въ его же переводѣ цитируется большинство выдержекъ.

**) „Социальный вопросъ съ философской точки зрѣнія“. Стр. 33 и слѣд.

проч. И Штейнъ, заимствуя у дарвинизма нѣкоторыя методологическія черты, долженъ былъ дать молчаливое обязательство не искажать характера этихъ заимствованій. Онъ такъ и дѣлаетъ. Причинное объясненіе явленій общественной жизни, онъ кладетъ въ основу своей теоріи, но на ряду съ ней усматриваетъ въ общественномъ развитіи *имманентную телеологію*. Въ переводѣ на болѣе понятный языкъ это значитъ слѣдующее: въ процессѣ общественнаго развитія, каждая соціальная группа, повинуваясь инстинкту самосохраненія, дѣлаетъ то, что въ данный моментъ является для нея полезнымъ. Ясно, что имманентная телеологія, не есть телеологія объективная. Она не противопоставляется и не можетъ противопоставляться причинности; она ее дополняетъ; и, думается мнѣ, дополненія эти настолько несущественны, что сама идея ясно могла быть устранена изъ анализа. Она просто видоизмѣненіе идеи причинности. Вообще схема Штейна вся спита бѣлыми нитками. Онъ—монистъ, сторонникъ единства научнаго міровоззрѣнія. И принципъ причинности дѣйствуетъ у него одинаково и въ мірѣ природы, и въ мірѣ духа; но ему все-таки хочется какъ-нибудь провести грань между тѣмъ и другимъ. Данью дуалистическимъ переживаніямъ и является «имманентная телеологія». Я выбралъ схему Штейна не потому, конечно, чтобы она отличалась глубиною, а потому, что она представляетъ хорошій pendant схемѣ Штамлера. Послѣдній настаиваетъ на непримиримости двухъ точекъ зрѣнія и впадаетъ въ самую элементарную гносеологическую ошибку. У Штейна идеи причинности и цѣлесообразности мирно уживаются рядомъ и одна поглощаетъ другую. Можно, конечно, конструировать идею цѣлесообразности и не такъ элементарно, какъ это сдѣлано у Штейна, и все-таки, разъ не утверждается ея принципиальная противоположность каузальной точкѣ зрѣнія, анализъ быстро докажетъ ихъ формальное тождество. Кому, на примѣръ, не ясно, что механика *телеологическаго* прогресса у Уорда носить чисто каузальный характеръ.

Я не могу дальше останавливаться на критикѣ другихъ аналогическихъ построеній. Для моихъ цѣлей это совершенно бесполезно. Я думаю, что есть всѣ основанія признать слѣдующее

положеніе Рила: «Закономѣрность приводитъ черезъ волю къ цѣлесообразности: телеологическій взглядъ на природу впадаетъ, слѣдовательно, въ чисто причинное объясненіе природы, потому что цѣль исходитъ отъ причиннаго порядка всего существованія. Всеобщая закономѣрность *) вещей есть основа той особеннаго рода закономѣрности въ произвольныхъ дѣйствіяхъ животныхъ существъ, которая представляется ихъ сознанію, какъ цѣлесообразность (рус. пер., стр. 403 **).

II.

Мнѣ кажется, что вышесказанное дѣлаетъ для всякаго непредубѣжденнаго человѣка вполне яснымъ, что для изученія социальныхъ явленій нѣтъ необходимости оставлять точку зрѣнія причиннаго объясненія ихъ закономѣрности. Каузальный методъ есть научный методъ по преимуществу и до тѣхъ поръ, пока мы хотимъ оставаться въ сферѣ науки, всякая телеологія должна подчиниться принципу причинности и согласиться быть простымъ его видоизмѣненіемъ.

Посмотримъ же, что даетъ намъ для интересующаго насъ вопроса строго научная идея причинной закономѣрности общественныхъ явленій.

Общественныя явленія составляютъ предметъ изученія двухъ дисциплинъ: конкретной—исторіи и абстрактной—соціологіи. Въ исторіи идея закономѣрности примѣняется къ изученію индивидуальнаго; въ соціологіи къ изученію общаго. Въ исторической наукѣ по самому ея характеру роль закономѣрнаго изученія прекращается на порогѣ настоящаго; все, что наука можетъ извлечь отсюда, непосредственно будетъ относиться только къ прошлому. Въ соціологіи сфера примѣненія идеи закономѣрности несрав-

*) Подразумѣвается, конечно, закономѣрность каузальная.

**) Недавно появилась брошюра г. Софронова: „Механика общественныхъ идеаловъ“. Въ ней вопросъ о телеологизмѣ подвергнутъ весьма обстоятельной и остроумной критикѣ. Къ ней я и отсылаю читателя.

ненно шире. Соціологія изучаетъ общество вообще какъ прошлое, такъ и будущее, и если намъ удалось найти нѣкоторые общіе законы развитія обществъ на основаніи имѣющагося матеріала, то при условіи, что въ этомъ матеріалѣ нѣтъ крупныхъ пробѣловъ и что впослѣдствіи не появится неожиданныхъ фактовъ; мы имѣемъ право думать, что эти законы будутъ оправдываться всегда. Этимъ будущее приобщается къ области научнаго изученія. Въ научной сферѣ вообще это, какъ всѣмъ прекрасно извѣстно, далеко не новостъ. Чѣмъ ниже стоитъ наука въ контовской классификаціи (рядъ по убывающей общности и возрастающей сложности), тѣмъ увѣреннѣе она оперируетъ будущимъ. Для астрономіи не существуетъ рѣшительно никакой разницы между прошлымъ и будущимъ, для біологіи разница уже довольно существенная, для соціологіи она огромна.

Оселкомъ совершенства науки въ указанномъ отношеніи является возможность болѣе или менѣе надежныхъ предсказаній. Достоверность предсказаній уменьшается, чѣмъ выше избираемъ мы по лѣстницѣ наукъ. Мы можемъ утѣшать себя тѣмъ, что соціологія далека еще отъ полнаго овладѣнія своими методами, но принуждены мириться съ тѣмъ, что есть. Вообще трудности соціологическаго изученія очень значительны, но пока соціологія имѣетъ дѣло съ общественными явленіями уже совершившимися, ея задача нѣсколько облегчается; у нея есть факты, она можетъ слѣдить за взаимодействіемъ всѣхъ, по крайней мѣрѣ, главныхъ причинъ общественной жизни, всѣхъ ихъ комбинацій: онѣ даны ей. Когда же соціологія переходитъ отъ того, что было къ тому, что будетъ, то возникаютъ такіа методологическія затрудненія, съ которыми почти невозможно бороться. Чѣмъ сложнѣе общественный строй, который служить предметомъ изученія и отъ котораго исходятъ предвидѣнія, тѣмъ больше уменьшается вѣроятность предсказаній. Происходитъ это потому, что мы теряемъ возможность слѣдить за сложной, то и дѣло перекрещивающейся цѣпью причинъ и слѣдствій. Очень часто тутъ происходитъ нечувствительная замѣна точекъ зрѣнія; мы оставляемъ почву каузальности и начинаемъ говорить не о томъ, что *должно* произойти въ силу причинъ

ной закономерности общественных явлений, а о томъ, что *можетъ* произойти согласно нашимъ основаннымъ на чемъ-нибудь предположеніямъ. Эту точку зрѣнія социологія оставляетъ статистикѣ, и я заговорилъ о возможности ихъ смѣшенія только затѣмъ, чтобы не вышло какихъ-нибудь недоразумѣній.

Однако, несмотря на такое, повидимому, совершенно безнадежное положеніе дѣлъ, человѣческое сознаніе не хочетъ складывать оружія передъ тайною социальнаго будущаго. Оно всегда искало законовъ и часто давало доказательства того, что эти законы имъ угадываются, если и не формулируются.

Шекспиръ говоритъ въ одномъ мѣстѣ (Генрихъ IV, ч. II, д. III, сц. I).

There is a history in all men's lives,
Figuring the nature of the times deceased;
The which observed, a man may prophesy,
With a near aim, of the main chance of things
As yet not come to life; which in their seeds
And weak beginnings lie intreasured.

Событія рождаютъ
Всегда одни другія. Кто привыкъ
Внимательно слѣдить за ихъ рожденьемъ,
Легко предугадаетъ по началу,
Какъ по зерну, которое не дало
Еще ростка—что должно ждать *)...

Задача сводится къ тому, чтобы составить правильное представленіе о «сѣменахъ» и изучить какъ слѣдуетъ ихъ свойства. Люди, которымъ доступно это, могутъ быть пророками.

То не было еще предсказаніемъ въ научномъ смыслѣ, когда младшій Сципіонъ, уныло бродя среди развалинъ разрушеннаго его войсками Карфагена, вспоминалъ о родинѣ и задумчиво скандировалъ гомеровскіе стихи:

Будетъ нѣкогда день и погибнетъ священная Троя;
Съ нею погибнетъ Пріамъ и народъ копьеносца Пріама...

Сколько мнѣ извѣстно, ни одинъ біографъ не передалъ намъ, чѣмъ были вызваны у Сципіона эти стихи. Думалъ ли онъ о

*) Пер. А. А. Соколовскаго, въ данномъ случаѣ не очень точный.

неизбѣжной судьбѣ городовъ? Едва ли: Римъ находился на вершинѣ своего могущества и ничто не предрекало конца. Быть можетъ онъ думалъ о Немезидѣ, явившись невольнымъ исполнителемъ приказаній суроваго сената. Быть можетъ онъ сопоставлялъ Римъ и Карфагенъ и видѣлъ въ Семихолмномъ городѣ признаки зарожденія той олигархіи, которая была одной изъ причинъ гибели Пунической республики... Мы не знаемъ.

Совершенно иначе обстояло дѣло въ другомъ случаѣ. Осенью 1792 года подъ Вальми происходилъ упорный артиллерійскій бой, въ которомъ пушки молодой французской арміи заставили замолчать прусскія орудія. Въ союзной арміи находился Гёте, который бесѣдуя послѣ боя съ офицерами вымолвилъ: «Въ этотъ день, на этомъ мѣстѣ начинается новая эпоха всемірной исторіи». Сколько пророческой правды было въ этихъ простыхъ словахъ! Великій поэтъ видѣлъ то, чего никто не видѣлъ, не исключая быть можетъ и самихъ дѣятелей Законодательнаго Собранія. Онъ прочелъ будущее въ клубахъ порохового дыма, услышалъ его среди гула канонады. Теперь, разумѣется, не трудно возстановить ходъ мысли Гёте. Онъ убѣдился, гдѣ Франція способна защищать принципы 1789 года. Сила этихъ принциповъ могла обнаружиться лишь въ томъ случаѣ, если бы они могли устоять передъ защитниками стараго режима и начать работу активнаго обновленія европейскихъ порядковъ. Вальмо доказало, что они способны на это. Тутъ, несомнѣнно, была вполнѣ правильная соціологическая мысль, которая была угадана чутьемъ генія.

Соціологія, какъ наука, только тогда будетъ вполнѣ готова, когда самый обыкновенный человѣкъ получитъ возможность дѣлать такія же предсказанія, констатировать необходимость наступленія того или иного явленія на основаніи ряда уже извѣстныхъ. Пока этого еще нѣтъ, но, несомнѣнно, мы къ этому идемъ.

III.

Кто не знаетъ, что такое политика. Это—дисциплина, относящаяся къ соціологіи, какъ искусство къ наукѣ. Политика

родилась въ ту пору, когда болѣе или менѣе правильно сложились общественныя отношенія. У каждого общественнаго дѣятеля всегда имѣлся въ головѣ рядъ практическихъ правилъ, при помощи которыхъ онъ старался воздѣйствовать на общественныя явленія. Это одинаково справедливо какъ по отношенію къ Периклу или Гракху, такъ и по отношенію къ Гладстону или Жоресу. Но, несомнѣнно, есть крупное различіе между древними и нашими современниками. Мыслили они одинаково, но въ то время, какъ Гракху приходилось устанавливать законы сосуществованія и послѣдовательности общественныхъ явленій самому, Жоресъ знаетъ все, что знаетъ современная социальная наука. И мы знаемъ, что древніе политики дѣлали самыя невѣроятныя ошибки тамъ, гдѣ поступилъ бы правильно рядовой англійскій коммонеръ. Политика по своему существу осталась искусствомъ, но у этого искусства выросъ солидный научный фундаментъ. Теперь, какъ и раньше, задачей ея было воздѣйствіе на общественныя явленія, но то, въ чемъ прежде царилъ произволъ, теперь пріобрѣтаетъ все большую и большую стройность. Нѣтъ нужды, что мы не можемъ еще составить учебника практической политики, гдѣ въ первой части были бы перечислены всѣ социальныя законы, а во второй демонстрировались бы на приложеніе къ живой дѣйствительности; нѣтъ нужды, что мы и законовъ-то социальной жизни не знаемъ напередъ. Самое важное сдѣлано. Идея законности общественной жизни вошла во всеобщее сознаніе, и ни одинъ мыслящій человѣкъ не ошибется относительно послѣдствій такихъ явленій, гдѣ причины ясны и святы, не нарушены ничѣмъ. Но мы уже не безпомощны и въ сложныхъ явленіяхъ общественной жизни. Та же идея освѣщаетъ дорогу мысли и въ концѣ-концовъ, несомнѣнно, сдѣлается такимъ яркимъ маякомъ, который не оставитъ ни одного уголка не освѣщеннымъ въ обширной области общественной науки.

Возникаетъ вопросъ, въ какомъ направленіи должна идти работа и какая у существующихъ социологическихъ теорій обѣщаетъ быть наиболѣе плодотворной въ этомъ отношеніи. Мнѣ кажется, что Штамлеръ былъ вполне правъ, возлагая всѣ ожи-

данія на теорію, вѣрнѣе, гипотезу историческаго матеріализма.

Я имѣю въ виду классовую теорію—то положеніе, что общественное развитіе направляется классовыми интересами. Эту теорію, быть можетъ, еще требуется поставить на надлежащій фундаментъ и притомъ не совсѣмъ такъ, какъ это дѣлаетъ классическая формула марксизма; но пока мы не будемъ задаваться вопросомъ о томъ, что порождаетъ въ конечномъ счетѣ классовыя противоположности, въ самой формулѣ классовой теоріи мы имѣемъ наиболѣе совершенное выраженіе идеи законмѣрности общественныхъ явленій.

Правда, она имѣетъ и недостатки, и главный изъ нихъ—это ея чересчуръ общая форма. Предсказанія на основаніи этой формулы возможны лишь въ строго опредѣленныхъ границахъ, но въ принципѣ они несомнѣнно возможны.

Если бы современникомъ такого факта, какъ наримѣръ, возстаніе жителей города Лана противъ своего сеньора, былъ другой Гёте, то онъ могъ бы предвидѣть зарю новаго порядка и крушеніе господствовавшего феодальнаго строя. Это—буржуазія ополчалась на землевладѣніе; это торговый капиталъ начиналъ свое побѣдоносное шествіе. Или, наримѣръ, возьмемъ другой фактъ. Первые вспышки крестьянскаго возстанія въ Германіи въ эпоху реформации должны были казаться началомъ ужасающей соціальной грозы. Но проникательный современникъ, вооруженный классовой теоріей, могъ бы заранѣе предсказать его неудачу, ибо оно было по существу своему реакціоннымъ и требовало возвращенія къ отжившимъ соціально-экономическимъ порядкамъ. Не даромъ Лютеръ, которому, казалось бы, было очень выгодно соединить свое дѣло съ дѣломъ возставшихъ крестьянъ, гениальнымъ инстинктомъ почуялъ непрочность защищаемого ими дѣла и ополчился на нихъ со всѣмъ жаромъ своего грубаго краснорѣчія. Или еще, развѣ могло оставаться какое-нибудь сомнѣніе относительно будущаго развитія соціально-экономическихъ отношеній, когда въ Англіи послѣдней четверти XVIII в. стали появляться одна за другой фабрики съ утилизаціей новыхъ техническихъ изобрѣтеній.

Да и мы, люди начала XX вѣка, развѣ мы безнадежно слѣпы относительно того, что насъ ожидаетъ. Несомнѣнно, нѣтъ. Мы знаемъ отлично, куда ведетъ эволюція современнаго общественнаго строя; можемъ въ общемъ предвидѣть тѣ перемѣны, которыя ему предстоятъ, и лишь относительно сроковъ и частныхъ находимся въ невѣдѣніи. А политики-спеціалисты, посвящающіе себя исключительно изученію современныхъ соціально-политическихъ явленій, тѣ рѣшаются предсказывать и частности. Бебель въ одной изъ своихъ послѣднихъ рѣчей въ германскомъ парламентѣ предсказалъ огромное увеличеніе количества избирателей своей партіи и указалъ даже причины этого. Вандервельдъ, исходя изъ факта открытія угольныхъ копей въ одной бельгійской провинціи, набросалъ впередъ всѣ тѣ перемѣны, въ общественныхъ отношеніяхъ, которыя онъ произведетъ. А развѣ каждый нумеръ газеты не приноситъ предсказаній? Правда, среди нихъ очень много пущенныхъ на вѣтеръ, но есть и такія, къ которымъ авторы относятся серьезно; впрочемъ, большинство изъ нихъ исчисляетъ практическія вѣроятности и рѣдко пользуются методомъ причинной законмѣрности. Послѣднимъ и трудно пользоваться: онъ требуетъ фактовъ, слѣдовательно, большихъ знаній. Политики итальянскаго возрожденія, такъ много содѣйствовавшіе созданію современнаго государственнаго порядка и значить понимающіе кое-что въ этихъ вопросахъ приписывали способность предсказывать факты Леону Бартиста Альберти, потому что онъ поражалъ ихъ своими огромными, чуть не всеобъемлющими знаніями. Въ XV в. это было исключеніемъ, въ XX можетъ сдѣлаться обычнымъ.

Если въ частностяхъ мы всегда должны быть готовы къ ошибкамъ и неудачамъ, то въ общемъ, мнѣ кажется, идея причинной законмѣрности даетъ намъ возможность предвидѣть въ достаточной степени ясно судьбу, которая ожидаетъ то или другое общество. Это—фактъ огромной важности, ибо онъ долженъ опредѣлять и наше отношеніе къ будущему.

Вотъ въ этой-то области и являются самыя большія затрудненія.

IV.

Ни одинъ изъ самыхъ завзятыхъ приверженцевъ положительной науки не станетъ утверждать, что она одинаково совершенна какъ внизу, такъ и на верху контовской лѣстницы. Математикъ находится въ наилучшемъ положеніи въ царствѣ своихъ отвлеченностей. Его главный методъ—логика; у естествовика прибавляется другой—опытъ, и если онъ хорошо обставляетъ свои эксперименты, онъ можетъ быть увѣренъ, что то, что онъ доказалъ сегодня, повторится съ необходимостью и завтра. Соціологъ, которому приходится работать надъ сложными и капризными сочетаніями общественныхъ силъ, можетъ услѣдить законы ихъ сосуществованія и послѣдовательности лишь съ большимъ трудомъ и въ самыхъ общихъ чертахъ; въ его рукахъ нѣтъ могучаго ресурса естествоиспытателя—опыта; онъ не можетъ произвольно комбинировать проявленія общественной жизни, а логикъ приходится работать надъ крайне неустойчивыми величинами, которыя зачастую имѣютъ весьма сомнительныя права считаться неопровержимыми фактами. Отсюда, какъ было справедливо замѣчено, необычайное изобиліе въ выводахъ соціологіи, *petitio principii*; объясняется оно тѣмъ, что и ближайшія къ ней науки и прежде всего психологія еще далеко отъ совершенства.

Все это весьма неутѣшительно; это правда. Въ своемъ настоящемъ видѣ соціологія даетъ недостаточно, чтобы вполнѣ опредѣлить наше отношеніе къ будущему; но того, что она даетъ, мнѣ кажется, достаточно, чтобы создать ему прочную опору.

Не нужно забывать, что если мы не рѣшимся броситься очертя голову въ метафизику, у насъ нѣтъ никакихъ другихъ гарантій объективнаго знанія, кромѣ научныхъ выводовъ. Ни критикопознавательная точка зрѣнія, ни трансцендентально - нормативная, ни телеологія различныхъ разновидностей не способны дать увѣренность въ томъ, что, принимая ихъ методъ, мы обезпечены отъ всякихъ элементовъ, не имѣющихъ объективнаго, общеобязательнаго характера *).

*) Я не могу останавливаться на доказательствѣ этого положенія. См. объ этомъ мою статью въ „Русс. Вѣд.“. 1902, 24 дек.

ные научные результаты даютъ эту гарантію; одни они представляютъ истинно-объективное знаніе, имѣющее вполне реальный общеобязательный характеръ. И всякій, кто не хочетъ, чтобы его отношеніе къ будущему было насквозь проникнуто беспочвеннымъ субъективизмомъ, долженъ постоянно считаться съ объективными результатами научной работы.

Но при всемъ этомъ одни объективные научные результаты не въ состояніи опредѣлить нашего отношенія къ дѣйствительности какъ прошлой, такъ и настоящей и будущей. На ряду съ объективными данными, опредѣляющими, его, мы неизбежно будемъ привносить и субъективныя предпосылки.

Законность ихъ обусловлена прежде всего двумя обстоятельствами: несовершенствомъ социологіи какъ науки и ея специфическими особенностями. Субъективныя отношенія очень часто привлекаются потому, что наука не въ состояніи дать отвѣты на тотъ или иной вопросъ и ея пробѣлы очень охотно, потому что это необыкновенно легко, заполняются субъективными мечтами. Чѣмъ больше будутъ разрабатываться методы социальной науки, чѣмъ большій комплексъ вопросовъ она окажется въ состояніи разрѣшать, тѣмъ меньше будетъ дѣла субъективнымъ предпосылкамъ; ихъ область будетъ суживаться естественно, сама собою. Но окончательно вытѣснены они, повидимому, не будутъ никогда, и это всецѣло объясняется тѣмъ, что социологія и тутъ отличается отъ естественныхъ наукъ. Въ то время, какъ у самаго преданнаго своему дѣлу біолога нравственная сфера остается совершенно индифферентной во время его работы, у социолога она постоянно бываетъ затронута. Это и понятно: социологу приходится имѣть дѣло съ такими отношеніями, къ которымъ онъ, какъ человекъ, какъ общественный дѣятель, какъ носитель извѣстнаго моральнаго идеала, не можетъ оставаться безучастнымъ. И свое участіе онъ выражаетъ привнесеніемъ въ научную сферу субъективныхъ предпосылокъ.

Эта операція, однако, должна выполняться съ большою осторожностью, если только мы не хотимъ подвергнуться риску—окончательно упустить научную почву. Прежде, чѣмъ обращаться къ субъективнымъ элементамъ, мы должны взять отъ

объективныхъ все, что они въ состояніи намъ дать и затѣмъ должны все время имѣть передъ глазами добытые объективнымъ путемъ результаты. Только обезопасивъ себя такимъ образомъ мы можемъ перейти къ субъективнымъ элементамъ. Внося ихъ въ работу, мы должны помнить, что это—не научные выводы, что ихъ содержаніе не необходимо и не вполне извлечено изъ эмпирическаго, т.-е. единственно научнаго матеріала, что поэтому измѣнять фактическую основу нашихъ соціологическихъ концепцій они не въ силахъ. Объективные выводы и субъективные предпосылки—двѣ различныхъ группы представленій, по самому существу несоизмѣримыхъ. Которой изъ нихъ принадлежить преобладающее значеніе? Наши нео-идеалисты, конечно, утверждаютъ, что второй. Они представляютъ себѣ дѣло такъ, что субъективные предпосылки,—они ихъ не признаютъ субъективными—это, форма, вѣчная, неизмѣнная, а научные выводы это содержаніе текучее, измѣнчивое. Абсолютное, объективное значеніе имѣетъ только первая; роль второго—чисто служебная. Вся сила такой аргументаціи держится на одномъ положеніи. Нужно доказать, что «форма» имѣетъ дѣйствительно общеобязательное значеніе, что она не субъективна. Этого доказать, мнѣ кажется, нельзя, а разъ нельзя, то и принимать формы надъ содержаніемъ становится довольно сомнительнымъ. Тогда естественно возникаетъ вопросъ, не является ли въ данномъ случаѣ отношеніе между содержаніемъ и формою обратнымъ тому, чего хотятъ неоидеалисты, т.-е. не принадлежитъ ли въ соціально-философскихъ конструкціяхъ приматъ содержанію. Такой взглядъ, мнѣ кажется, всего лучше соотвѣтствуетъ истинному положенію дѣла. Это будетъ видно, когда мы нѣсколько внимательнѣе взглянемъ въ сущность того, что я до сихъ поръ намѣренно называлъ неопредѣленнымъ терминомъ субъективныхъ предпосылокъ.

V.

Большинство субъективныхъ предпосылокъ — этическіе идеалы. При той сложности явленій общественной жизни, при

тѣхъ неожиданныхъ и причудливыхъ сочетаніяхъ, которыя она представляетъ, нравственное міропониманіе человѣка можетъ складываться очень различно. Одинъ находитъ смыслъ общественной эволюціи въ одномъ, другой въ другомъ. Абсолютнаго, обязательнаго для всѣхъ нравственнаго идеала не существуетъ. Идеалисты пытаются спасти абсолютный характеръ нравственнаго закона, какъ извѣстно, признаніемъ его формализма, но это мало помогаетъ дѣлу, и честный мыслитель, который не хочетъ закрывать глаза на тотъ міръ, который одинъ придаетъ смыслъ какимъ бы то ни было нравственнымъ закономъ, міръ дѣйствительныхъ отношеній, неизбежно долженъ допустить такія ограниченія идеи формализма въ морали, которыя совершенно лишаютъ ее смысла. Это случилось между прочимъ и съ П. И. Новгородцевымъ *). Онъ утверждаетъ, что категорическій императивъ—это вѣчное исканіе, что нравственный принципъ есть признаніе идеи вѣчнаго развитія и совершенствованія. Утверждая это, мнѣ кажется, мы сильно сбиваемся съ почвы формализма. Взятая въ своей изначальной чистотѣ, въ какой она вышла изъ головы своего творца, эта идея не только не нуждается, въ такомъ толкованіи но прямо его не допускаетъ. Она даетъ формулу, неизмѣнную и ясную, которая опредѣляетъ принципъ моральнаго поведенія. Это форма, отлитая разъ навсегда; если мы пытаемся сдѣлать ее изъ твердой эластичной, способной расширяться и сжиматься въ зависимости отъ содержанія, тогда мы должны перестать разговаривать объ абсолютизмѣ. Это огромная уступка эволюціонной точкѣ зрѣнія, доказательство того, что если мы не хотимъ парить съ моральными принципами въ умопостигаемой сферѣ, то должны оставить и идею формализма, и идею абсолютизма нравственнаго закона. Первая, очевидно, не нужна, разъ она допускаетъ такую огромную принципиальную уступку, а вторая можетъ держаться лишь до тѣхъ поръ, пока держится первая.

Этому обстоятельству нельзя не придавать большой важно-

*) См. его статью „Нравственный идеализмъ въ философіи права“ въ сборникѣ „Проблемы идеализма“.

сти. Оно показываетъ, что только путемъ удаленія въ метафизику можно спасти принципъ абсолютнаго нравственнаго закона. Кто не дѣлаетъ этого шага, тотъ долженъ отказаться отъ этой идеи. Идея добра, которая составляетъ основу всякихъ идеаловъ, есть идея добра относительнаго, не абсолютнаго. Абсолютнаго добра мы не знаемъ, не знаемъ по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока остаемся внѣ области чистой метафизики или не вступали въ сферу мистическихъ построеній. Его пытаются обосновать, опираясь на ту же концепцію формализма нравственнаго закона. Но это не даетъ намъ гарантіи объективизма, и мы легко можемъ представить превращеніе абсолютнаго добра въ свою противоположность. Понятіе относительнаго добра не представляетъ этой опасности. Разъ оно и создается какъ относительное, то ему не будутъ придавать универсальнаго значенія. Относительное добро опредѣленнѣе, чѣмъ добро абсолютное. Ни одинъ изъ сторонниковъ этой послѣдней идеи никогда не сумѣетъ ясно растолковать, что же такое собственно это абсолютное добро, въ то время, какъ каждый, понимающій добро, какъ нѣчто относительное, легко скажетъ, что онъ подъ нимъ подразумѣваетъ въ твердыхъ соціологическихъ терминахъ. Тогда и оперировать этимъ понятіемъ становится легко.

Чѣмъ же объясняется относительность моральныхъ идеаловъ? Прежде всего и главнымъ образомъ тѣмъ, что въ самой ихъ основѣ лежитъ относительное: понятіе блага общества, какъ цѣлаго. Если мы возьмемъ двѣ даже не очень отдаленныя одна отъ другой эпохи и посмотримъ, что признавалось какъ благо въ одной и въ другой, то несомнѣнно разница получится весьма существенная. Въ свою очередь понятіе блага, или того, что наиболѣе соответствуетъ интересамъ общества въ данный моментъ, опредѣляетъ въ конечномъ счетѣ, и понятіе добра, слѣдовательно, нравственнаго идеала. Нравственный идеалъ такимъ образомъ покорно слѣдуетъ за процессомъ развитія общества, разнообразится и дробится въ зависимости отъ сочтеній и игры общественныхъ силъ.

VI.

Таково въ общихъ чертахъ происхожденіе моральныхъ идеаловъ. Они измѣнчивы, какъ измѣнчива порождающая ихъ жизнь, они относительны, какъ относительно всякое отвлеченіе отъ дѣйствительности. Возможно ли при такихъ условіяхъ допустить, чтобы имъ принадлежалъ приматъ въ различныхъ фазахъ и формахъ изученія общественныхъ явленій? Мнѣ кажется, что на этотъ вопросъ можетъ быть только одинъ отвѣтъ. Съ одной стороны, мы имѣемъ область фактовъ, въ которую идея каузальной закономерности вноситъ стройный порядокъ и позволяетъ угадывать управляющіе общественной жизнью законы; съ другой—моральные идеалы, измѣнчивость которыхъ намъ хорошо извѣстна. Сопоставимъ то и другое.

Когда мы даемъ оцѣнку историческимъ явленіямъ съ точки зрѣнія нашихъ моральныхъ идеаловъ, то мы очень хорошо знаемъ, что научное значеніе такого освѣщенія фактовъ равно нулю. Историкъ, который возмущается ученіемъ іезуитовъ или мрачными сторонами сеньориальнаго режима и привѣтствуетъ побѣду принциповъ 1789 года, перестаетъ быть ученымъ и дѣлается публицистомъ. Это сама по себѣ весьма почтенная задача, но она не входитъ, строго говоря, въ кругъ работы историка. Когда я устанавливаю фактъ, напр., когда я нахожу, что въ Римѣ въ 63 г. до Р. Х. былъ раскрытъ заговоръ Катилины, я дѣлаю научную работу, результаты которой имѣютъ объективный характеръ, но когда я начинаю оцѣнивать дѣйствія Цицерона или Цезаря въ этомъ заговорѣ, то я отлично вижу, что моя оцѣнка не имѣетъ въ себѣ ничего объективнаго и совершенно необязательна для другого.

Соціологія по своему абстрактному характеру не допускаетъ такого живого вмѣшательства, но оно возможно и тутъ. Никто, напримѣръ, не можетъ помѣшать соціологу сѣтовать на то, что законы народонаселенія такъ безжалостно ведутъ къ смѣнѣ менѣе интенсивныхъ хозяйственныхъ формъ болѣе интенсивными, слѣдовательно, и болѣе рѣзкому обостренію классовой борьбы. Но объективнаго научнаго значенія эти ламентации

будутъ имѣть такъ же мало, какъ и краснорѣчивыя филиппики противъ жестокости Діонисія Сиракузскаго или Людовика XI.

Элементъ оцѣнки въ исторіи и соціологіи играетъ тѣмъ большую роль, чѣмъ ближе изучаемая эпоха или общественная форма къ современнымъ. Когда мы изучаемъ современныя намъ явленія, то въ силу чисто-инстинктивнаго побужденія мы больше бываемъ публицистами, чѣмъ учеными. Тутъ моральнымъ идеаламъ полный просторъ, но опять-таки мы сознаемъ, что оцѣнка, которую мы даемъ тому или иному факту съ точки зрѣнія нашихъ этическихъ воззрѣній, ни для кого не обязательна *).

До сихъ поръ моральному идеалу приходилось дѣйствовать въ сферѣ реальныхъ фактовъ: и въ прошломъ, и въ настоящемъ ему приходится встрѣчаться съ опредѣленными соотношеніями общественныхъ силъ, и онъ ихъ оцѣниваетъ. Тутъ идеалъ, если позволено прибѣгнуть къ этой фигурѣ, ведетъ своего рода борьбу за существованіе. Ему нужно отстоять это, а не иное отношеніе къ дѣйствительности; иначе онъ принужденъ будетъ уступить мѣсто другому. Дѣло нѣсколько измѣняется, когда соціологическому мышленію приходится говорить о будущемъ. Тутъ нѣтъ фактовъ, этихъ постоянныхъ дядекъ моральнаго идеала, которые не позволяютъ ему развернуться такъ, какъ хотѣлось бы ему; онъ чувствуетъ себя свободнѣе, и сейчасъ же начинаетъ требовать отъ будущаго золотыхъ горъ. Но увѣ! Здѣсь, какъ и въ приложеніи къ прошлому и настоящему, голосъ моральнаго идеала звучитъ всеу; онъ выражаетъ только субъективныя чаянія того индивидуальнаго сознанія, которому онъ служить. Мы можемъ требовать отъ будущаго осуществленія «царства цѣлей» и прочихъ болѣе или менѣе метафизическихъ эмпиреевъ, а оно намъ будетъ съ холодной безжалостностью приносить нищету и порабощеніе. Неужели же дѣятельность человѣка можетъ быть поставлена въ

*) Я обхожу, какъ видитъ читатель, вопросы о томъ, имѣется ли какой-нибудь критерій цѣнности идеаловъ. Я думаю, что его можно найти, не сходя съ почвы дѣйствительности, но подробно останавливаться на этомъ теперь не могу.

зависимость отъ одного только моральнаго идеала? Вѣдь для него не писанъ законъ: онъ зарывается и не знаетъ никакихъ границъ своимъ требованіямъ. Если слѣдовать только ему, то получится одно изъ двухъ. Или мы будемъ обречены на вѣчное донкихотство, или обожжемся нѣсколько разъ подъ рядъ, падемъ въ безнадежное отчаяніе и извѣримся во всемъ.

Нѣтъ, одинъ идеалъ даетъ слишкомъ мало. Нужно искать другихъ руководителей дѣятельности. Самый идеалъ долженъ и тутъ подчиняться фактамъ, а такъ какъ будущихъ фактовъ не бываетъ, то ихъ роль должны исполнять ихъ идеальныя отраженія, законы. Выше говорилось, что законы социальной жизни еще не выработаны съ такою полнотой, чтобы можно было имѣть въ нихъ надежныхъ руководителей. Но несомнѣнно то, что, какъ справедливо замѣтилъ румынскій социологъ Ксенополъ, мы и при нынѣшнемъ состояніи науки имѣемъ возможность предвидѣть *направленіе* развитія того или иного общества. Факты при этомъ, конечно, будутъ неизвѣстны, но для социологіи это и не такъ важно*). И тутъ моральные идеалы найдутъ гораздо болѣе серьезную сдержку, чѣмъ въ настоящихъ реальныхъ фактахъ, съ которыми имъ приходилось сталкиваться при оцѣнкѣ прошлаго и настоящаго. Оцѣнка прошлаго можетъ совсѣмъ не оказывать вліянія на нашу дѣятельность, оцѣнка настоящаго вліяетъ на нее больше, оцѣнка будущаго въ принципѣ будетъ ее опредѣлять почти цѣликомъ. Поэтому-то и важно, чтобы эта оцѣнка велась съ величайшей осмотрительностью и всегда считалась съ прогнозомъ социологіи. Чѣмъ въ большемъ соотвѣтствіи находится личный нравственный идеалъ съ выводомъ науки, тѣмъ плодотворнѣе онъ будетъ для общества, ибо тѣмъ больше будетъ въ немъ реальныхъ элементовъ.

Тутъ могутъ возникнуть вопросы, на первый взглядъ порождающіе очень крупныя противорѣчія. Хорошо, могутъ сказать намъ, если идеалъ будетъ хотѣть того же, къ чему идетъ развитіе фактовъ. А если они будутъ расходиться съ идеаломъ?

*) Xénopol. Les principes fondamentaux de l'histoire, 222.

Это не только возможно въ теоріи,—на практикѣ это наиболѣе обычное сочетаніе. Идеалы всегда наклонны къ добру, а дѣйствительность не считается съ идеалами и часто приводитъ къ торжеству зла, которое наука можетъ предвидѣть. Какъ быть въ этихъ случаяхъ? Нео-идеалисты, чтобы спасти приматъ нравственнаго идеала, должны вполнѣ послѣдовательно отвернуться отъ такой дѣйствительности, которая этому идеалу не соответствуетъ, и ждать, по примѣру прародителя всѣхъ идеалистовъ, Платона, что ихъ чаянія исполнятся въ другомъ мѣстѣ. Задача человѣческой дѣятельности этимъ малодушнымъ бѣгствомъ отъ дѣйствительности, конечно, не разрѣшается, а обходится. Дѣйствительности нужно смотрѣть прямо въ лицо; только тогда съ нею можно совладать и спасти въ то же время свой идеаль. Если научный прогнозъ не соответствуетъ идеаламъ, то тѣмъ хуже для дѣйствительности. Идеаль тогда зоветъ на борьбу съ нею. Только борьбою, а не безплоднымъ ожиданіемъ какихъ-то сюрпризовъ отъ дѣйствительности можетъ быть восстановлена нарушенная гармонія между идеаломъ и выводами науки. Но необходимость борьбы съ дѣйствительностью не устраняется и въ томъ случаѣ, если научный прогнозъ находится въ согласіи съ идеаломъ. Разница та, что въ этомъ случаѣ ощущается близость побѣды, забывается осторожность въ борьбѣ и чаще сыпятся удары. *E fia l'combatter corto...*

VII.

Таково, мнѣ кажется, настоящее отношеніе между соціальной наукой и соціальной философіей. Это двѣ совершенно самостоятельныя области представленій, и если ихъ спутать, то могутъ дѣйствительно получиться большія неудобства. Но неудобствъ не будетъ никакихъ, если мы будемъ тщательно различать ихъ задачи и сферу ихъ приложенія. Если социологъ-позитивистъ, сознающій, что моральная или какая-нибудь иная философская точка зрѣнія не можетъ находить приложенія въ области фак-

товъ, тѣмъ не менѣе считаетъ ее законной и допускаетъ субъективныя настроенія, это вовсе не значитъ, что онъ отрекается отъ позитивизма. Это только значитъ, что, по его мнѣнью, научное, объективное отношеніе къ дѣйствительности, особенно еще не наступившей, не исчерпываетъ въ его глазахъ всякаго возможнаго отношенія къ ней. Соціологъ вовсе не обязанъ оставаться индифферентнымъ къ критеріямъ моральной оцѣнки, да фактически онъ и не можетъ оставаться таковымъ. Все дѣло въ томъ, что у него эти критеріи выступаютъ лишь тогда, когда научная работа окончена, научные выводы сдѣланы. А кромѣ того, онъ не считаетъ этихъ критеріевъ общеобязательными и смотритъ на нихъ, какъ на личные субъективные идеалы.

Со временемъ мысль человѣческая найдетъ настоящій теоретическій синтезъ между позитивизмомъ и идеализмомъ, который разрѣшитъ и занимающія насъ проблемы. Но и теперь, мнѣ кажется, можно установить нѣкоторый практический синтезъ между выводами соціальной науки и постулатами соціальной философіи. Этотъ синтезъ есть активная дѣятельность. Такъ какъ та соціологическая теорія, которая одна способна правильно понимать общественныя явленія, съ достаточной ясностью указываетъ направленіе грядущаго общественнаго развитія, то активная дѣятельность, борьба съ дѣйствительностью во имя нравственныхъ идеаловъ получаетъ характеръ борьбы навѣрняка. Ея исходъ предсказанъ объективными выводами науки, и каждый принявшій въ ней участіе содѣйствуетъ приближенію момента побѣды.

Такой синтезъ не мною найденъ. Къ нему уже давно пришли милліоны людей, которые исповѣдуютъ раздѣляемую мною соціологическую доктрину и которые вкладываютъ въ свою практическую дѣятельность столько высокаго идеализма. Соціологическая доктрина отвѣчаетъ насущнымъ потребностямъ этого класса, а идеалы ихъ искушены въ борьбѣ и крѣпки какъ коралль. Говоря это, я не утверждаю ничего такого, что не признавалось бы даже наиболѣе ортодоксальными теоретиками доктрины*).

*) См. объ этомъ мою статью „Марксизмъ и критическая философія“ въ Вопр. Фил. кн. 58, стр. 273—274.

И сколько бы ни смѣнялось научно-философскихъ направленій на верхахъ общества, низы его будутъ всегда жить только однимъ; тамъ, въ этихъ низахъ, теорія доктора Штокмана объ истинѣ не нашла бы никакого подтвержденія. Правда, и тамъ истины могутъ мѣняться быстро, но стоитъ попасть туда той истинѣ, которую ждуть инстинктивно, которую, видоизмѣняя нѣсколько извѣстное выраженіе Лассаля, можно назвать *Magenwahrheit*, и она уже привьется тамъ надолго, и никакая философская революція наверху не будетъ въ состояніи поколебать господства въ массахъ той соціологической доктрины, которая одна способна освѣтить имъ путь грядущаго развитія.

Почему рабочіе классы выбрали именно доктрину историческаго матеріализма, мнѣ кажется, вполне ясно. Это доктрина—наиболѣе близкая къ жизни. А у нихъ только такая и могла привиться. Эти люди знаютъ толкъ въ жизни: они стоятъ къ ней слишкомъ близко, и ихъ выборъ долженъ быть очень поучителенъ и для другихъ. Только положительная наука способна дать отвѣтъ на многочисленные вопросы, возникающіе въ сложныхъ жизненныхъ отношеніяхъ на каждомъ шагѣ. Только она разрѣшаетъ затрудненія исключительно средствами эмпирической дѣйствительности, не прибѣгая ни къ какимъ суррогатамъ надъэмпирическаго характера. Давать жизненному вопросу, выхваченному изъ самаго жаркаго круговорота общественныхъ столкновеній, объясненіе, опирающееся на неэмпирическіе аргументы, значитъ не выяснять, а затемнять его, и доктрина, которая рассматриваетъ живую дѣйствительность какъ нѣчто умопостижаемое, обрекаетъ себя заранѣе на полное безплодіе.

Чѣмъ объясняется интересъ къ такимъ доктринамъ у насъ? Каутскій уже давно подмѣтилъ склонность русскихъ людей къ теоретизированію. Нѣмецкій публицистъ указываетъ на отсутствіе у насъ болѣе живого дѣла, которое поглощало бы избытокъ интеллектуальной энергіи, и она направляется на теорію. Къ этому присоединяется еще одно обстоятельство. Все горе въ томъ, что мы не хотимъ отстать отъ нѣмцевъ, и стоитъ у нихъ появиться какой-нибудь новенькой доктринѣ, какъ мы, сломя голову, кидаемся вслѣдъ за ея авторомъ, и ста-

раемся передать его умозрѣнія на русскую почву. И нашъ нео-идеализмъ возникъ такимъ же образомъ. Въ Германіи началось нѣсколько лѣтъ обоюдное сближеніе между марксизмомъ и неокантіанствомъ *); отдѣльные моменты этого теченія были очень интересны, и наши социологи заинтересовались имъ. Штамлеръ положилъ начало, а тамъ пошло все болѣе и болѣе интенсивное изученіе представителей идеализма; идеализмъ многихъ не удовлетворилъ, перешли въ метафизику. Все это очень хорошо, но только нео-идеалисты забываютъ объ одномъ. У нѣмцевъ это движеніе выросло на корняхъ, у насъ для него нѣтъ питающей почвы. Успѣхъ его въ публикѣ **) носить временный характеръ и обусловленъ талантомъ людей, выступившихъ у насъ на его защиту. Теперь уже имѣются ясные признаки, показывающіе, что увлеченіе нео-идеалистическими теоріями продлится недолго. Требованія дѣйствительности, а наша дѣйствительность несравненно требовательнѣе, чѣмъ западная, вступятъ въ свои права, и позитивизмъ будетъ безпрепятственно продолжать свою работу надъ изученіемъ общественныхъ явленій.

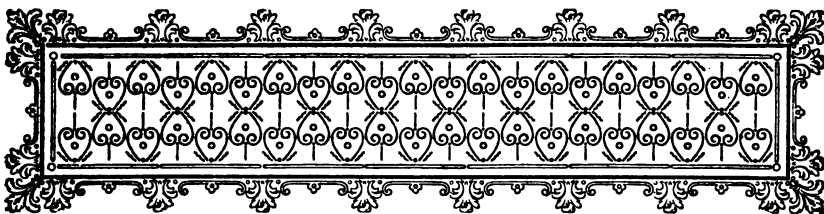
Такъ, передъ нашими глазами совершается одинъ изъ очень обычныхъ въ исторіи мысли цикловъ, когда старая истина, перешедшая временно на положеніе Золушки, вновь становится принцессой, облекается въ парчевыя одѣянія и собираетъ вокругъ себя своихъ рыцарей.

Нужно надѣяться, что на этотъ разъ рыцари положительной науки, отовсюду кинувшіеся въ бой на защиту позитивной идеи, окажутся болѣе вѣрными паладинами, чѣмъ ихъ товарищи, измѣнившіе положительной правдѣ изъ-за другой, холодной, но показавшейся имъ болѣе прекрасной доктрины.

А. Дживелеговъ.

*) См. Vorländer. „Kant und der Sozialismus“ и „Die neukantische Bewegung in der Sozialismus“, а также упомянутую мою статью въ Вopr. фил. кн. 58.

**) Я пытался объяснить его причины въ статьѣ, напечатанной въ *Курьеръ* 1 ноября 1902 г.



Пѣсни Скитальца.

* *
*

Я о томъ и пою, что я видѣлъ и зналъ:
Правда пѣсню мою вызываетъ.
Въ сердцѣ струны мои: я не пѣлъ бы—молчалъ—
Жизнь по сердцу меня ударяетъ.

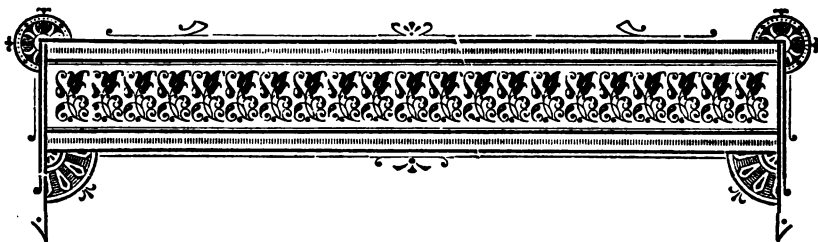
Знайте: если я пѣлъ о тяжеломъ трудѣ,—
То и самъ подъ ярмомъ задыхался,
Если въ пѣснѣ звучали проклятья нуждѣ—
Знайте: вмѣстѣ я съ нею скитался!

Коли злобой горѣлъ, пѣлъ про васъ и себя!
Если пѣсня звучала любовью,—
То любилъ и страдалъ и ту пѣсню, любя,
Вырывалъ со слезами и кровью.

Если жъ битвы я пѣлъ на гремучихъ струнахъ—
Знайте:—самъ я сражался съ врагами,
Видѣлъ все—и потомъ, на веселыхъ пирахъ,
Звонкій мечъ замѣнялъ я струнами!

Скиталецъ.





Антонъ Чеховъ и Максимъ Горькій.

I.

«Русская литература есть центральное проявленіе русскаго духа, фокусъ, въ которомъ сошлись лучшія качества русскаго ума и сердца». Такъ говоритъ одинъ изъ современныхъ историковъ нашей литературы, давая этими словами истинную оцѣнку литературнаго достоянія нашей родины. По справедливому замѣчанію того же историка, главная особенность русской литературы, рѣзко отличающая ее отъ литературъ другихъ европейскихъ народовъ, состоитъ въ томъ, что «наша литература никогда не (я бы сказалъ: рѣдко) замыкалась въ сферѣ чисто-художественныхъ интересовъ и всегда (я бы поправилъ: часто) была каедрой, съ которой раздавалось учительское слово». Вотъ почему тѣ произведенія нашихъ писателей, въ которыхъ слышится трепетное исканіе смысла и правды жизни, имѣютъ особый, исключительный успѣхъ, независимо отъ формальныхъ достоинствъ, отвѣчая на запросы читающей публики, въ особенности молодежи, являясь не только фактами литературы, но и фактами жизни, подчасъ даже болѣе вторыми, нежели первыми. Вотъ почему такъ часто русскій писатель слышитъ стукъ въ свои двери и нѣсколько странную, быть можетъ, просьбу: «научите жить!» И, кажется, нигдѣ съ такой ясностью и силой не выразилась эта, можно сказать, органическая черта нашей литературы, какъ въ томъ переломѣ, въ томъ исключительномъ направленіи въ сторону «учительности», которые характери-

зуютъ литературную дѣятельность «великаго писателя земли русской», Льва Толстого.

Обозрѣвая исторію литературно-общественнаго развитія въ широкихъ хронологическихъ рамкахъ, можно прослѣдить постоянную, до извѣстной степени закономѣрную смѣну повышенія и пониженія общественной температуры. Время прилива общественной энергіи смѣняется временемъ упадка. Въ литературѣ и жизни вопросы общественности, эти вѣчно жгучіе, вѣчно на-сущные вопросы, то выдвигаются впередъ, пробиваясь наружу, овладѣвая полемъ сраженія, господствуя въ умахъ и сердцахъ, то отступаютъ на второй и третій планъ, смѣняясь,—часто по внѣшнимъ причинамъ,—вопросами эстетическаго, психологическаго, даже библіографическаго характера, оставляя послѣ себя въ культурныхъ слояхъ общества усталость, скуку, раздражительность. Происходитъ своего рода волнообразное движеніе, лишній разъ оправдывающее поэтическую метафору — «море жизни».

Въ исторіи русской жизни и мысли за послѣдніе полтора вѣка мы можемъ наблюдать эту смѣну приливовъ и отливовъ въ строго-очередномъ порядкѣ.

Первая половина царствованія Екатерины II, т.-е. время появленія «Наказа», сатирическихъ журналовъ, созванія коммисіи для сочиненія проекта новаго уложенія, дѣятельности Новикова и Фонвизина, представляетъ изъ себя, несомнѣнно, эпоху зарожденія общественной мысли, эру подъема и роста общественныхъ силъ: отсюда, собственно говоря, начинаются волны русской общественности... Но едва показались первые ростки серьезной общественной мысли, наступаетъ неожиданно и быстро, въ виду зловѣщаго зарева французской революціи, пора затишья, заключенія Новикова. Именно въ это время мы можемъ наблюдать тотъ рѣдкій въ исторіи случай, когда ученика сѣкли за то, что онъ хорошо учился. Конецъ царствованія Екатерины непосредственно сливается съ короткимъ царствованіемъ Павла, ознаменованнаго изданіемъ такихъ указовъ, какъ указъ 1797 года о закрытіи частныхъ типографій, указъ 1799 года о запрещеніи поѣздокъ молодыхъ людей за границу

съ научной цѣлью или указъ 1800 года о запрещеніи ввоза въ Россію книгъ и нотъ. И снова, со смертью Павла, наступаетъ очередной приливъ: «дней александровыхъ прекрасное начало» освѣжаетъ общественную атмосферу, двѣнадцатый годъ вызываетъ огромное напряженіе всѣхъ:—и нравственныхъ, и матеріальныхъ—общественныхъ силъ, а затѣмъ опять реакція, опять мрачные цвѣта, которыми такъ щедро окрашена вторая половина царствованія Александра. Однако, мысль и подъ тяжелымъ гнетомъ все же работала, ютятся въ тѣсныхъ дружескихъ кружкахъ, и на арену общественного слова вышли «люди сороковыхъ годовъ». За этой славной эпохой русскаго прошлаго лежитъ семилѣтіе 1848—1855 г.г. Но кончается крымская война, и «эпоха великихъ реформъ» пробуждаетъ въ русскомъ обществѣ такую плодотворную дѣятельность, какой оно не знало раньше. Это былъ праздникъ русской мысли и жизни, ибо разрѣшались, наконецъ, вопросы, надъ которыми упорно и долго работала эта мысль, которые болѣзненно и тяжело вынашивала эта жизнь.

Съ конца 90-хъ годовъ въ литературѣ и жизни начинается новый приливъ: общественная жизнеспособность, притупленная и ослабленная долгіе годы, подаетъ признаки жизни; въ воздухѣ слышатся пѣсни о соколѣ и презрительный смѣхъ по адресу ужа; на литературную ниву выходитъ цѣлый рядъ молодыхъ талантовъ; «одинокіе» люди, съ дряблымъ духомъ и разслабленной волей, перестаютъ, кажется, быть героями времени; «дѣло жизни», всегда важное, всегда великое, яснѣе и яснѣе рисуется мысленнымъ взорамъ, какъ цѣль. Наличие подобныхъ признаковъ, подобныхъ «настроеній» заставляетъ думать, что въ нашей общественной жизни идетъ новый очередной валъ.

Если сдѣланная выше бѣглая историческая справка, которую можно было бы развить и расширить до широкихъ размѣровъ поучительной и интересной темы, дѣйствительно доказываетъ справедливость мысли о закономерномъ чередованіи приливовъ и отливовъ общественной энергіи, то наступленіе въ послѣдніе годы періода съ повышенной общественной температурой можно

оправдать и съ теоретической точки зрѣнія. Если же признать за литературой всю цѣнность термометрическихъ показаній, то многія явленія литературы нашихъ дней дадутъ показанія поучительныя и любопытныя, какъ въ отношеніи собственно литературномъ, такъ и въ отношеніи историческаго момента, подтвердивъ, кажется, въ полной мѣрѣ только что приведенное соображеніе, что въ нашей литературно-общественной жизни идетъ новый очередной валъ.

Два литературныхъ имени владѣютъ въ наши дни особой притягательной силой. Эти два имени—Антонъ Чеховъ и Максимъ Горькій. Въ ихъ произведеніяхъ современныя поколѣнія, подкупленныя свѣжестью и самобытностью дарованій обоихъ названныхъ писателей, ищутъ отвѣтовъ на тревожные вопросы времени, увѣренныя въ томъ, что именно здѣсь, гдѣ дышитъ сама жизненная правда, они всего скорѣе найдутъ то, чего ищутъ. Какъ въ самомъ характерѣ писательскихъ обликовъ Чехова и Горькаго, такъ и въ томъ горячемъ увлеченіи обоими писателями, которое раздѣляютъ самые широкіе слои нашей читающей публики, краснорѣчиво и выразительно сказывается значеніе историческаго момента, переживаемаго нами.

Именно съ точки зрѣнія общественно-исторической цѣнности я и позволю себѣ въ настоящемъ этюдѣ сдѣлать краткую сравнительную характеристику Антона Чехова и Максима Горькаго *).

II.

Одинъ газетный фельетонистъ, говоря о драмахъ Чехова, обронилъ замѣчаніе, чрезвычайно справедливое и любопытное. Постановку «Чайки» и «Дяди Вани» на сценѣ Московскаго

*) Настоящій этюдъ написанъ мною въ началѣ 1901 года и потому характеристика Максима Горькаго сдѣлана, главнымъ образомъ, по его раннимъ произведеніямъ. Но основная точка зрѣнія не измѣняется и теперь отъ опущенія произведеній позднѣйшихъ, которыя, раздвигая чрезвычайно художественные горизонты автора, сущности отношенія его къ современной дѣйствительности не мѣняютъ.

Аст.

Художественно-Общедоступнаго театра онъ назвалъ «лучшей критической статьей» о Чеховѣ. Дѣйствительно, едва ли не самыя важныя и серьезныя произведенія Чехова, его драмы, получили на этой сценѣ свое истинное и превосходное освѣщеніе, которое необыкновенно ясно обнаружило, гдѣ именно находится центръ тяжести творчества Чехова. Кажется, именно со времени постановки на названной сценѣ чеховскихъ драмъ вліяніе Чехова на широкіе круги русской интеллигенціи стало особенно интенсивнымъ.

«Пропала жизнь!»—много разъ говорятъ и думаютъ и большіе и маленькіе чеховскіе герои. Эта-то пропадающая жизнь, наводненная тоской; сознаніе погибающаго или уже совсѣмъ погибшаго человѣка, что при другихъ условіяхъ онъ могъ бы что-то сдѣлать, засасывающая тина мелочей, пошлость и ненужность очень многого, если не всего, что происходитъ вокругъ; порывы и только одни слабые порывы къ чему-то свѣтлому и хорошему, чего все равно не дожидаться; постоянная игра слѣплого случая; безволіе и рядомъ съ нимъ неотступная привычка къ беспощадной рефлексіи;—все это характеризуетъ глубокой и, если можно такъ выразиться, сплошной пессимизмъ Чехова.

Повидимому, этотъ пессимизмъ, опредѣленнѣе всего, впрочемъ, выступающій въ творествѣ Чехова лишь въ отношеніи современной русской дѣйствительности, складывался постепенно. Чеховъ началъ свою литературную карьеру «усмѣшечками», небольшими разсказами полу-сатирическаго, полу-юмористическаго характера, иногда очень удачными, иногда плохими; но потомъ, чѣмъ дальше, тѣмъ мрачнѣе становились его краски, тѣмъ безрадостнѣе были его картины. Отъ его произведеній послѣднихъ годовъ вѣетъ необычайно унылымъ, мрачнымъ, безпросвѣтнымъ «настроеніемъ».

По преимуществу Чеховъ изображаетъ жизнь современнаго «интеллигентнаго» человѣка, средняго ранга, провинціала, и затѣмъ, главнымъ образомъ, въ произведеніяхъ послѣднихъ годовъ, мелкаго мѣщанства и крестьянства. Его симпатіи лежатъ всецѣло на сторонѣ его героинь и героевъ—неудачниковъ. Людей, которымъ въ жизни «везетъ», онъ не любитъ: въ его изо-

браженіи не неудачникъ въ большинствѣ случаевъ заклеименъ печатью или безмѣрной пошлости и безнравственности, или бездарности... Устами своихъ героевъ онъ осмѣиваетъ все, что отзывается довольствомъ.

Я приведу нѣсколько характерныхъ выдержекъ, наиболѣе общихъ по своему содержанію, рисующихъ отношеніе Чехова къ современной жизни.

«Во всемъ городѣ», говоритъ герой повѣсти «Моя жизнь»: «я не зналъ ни одного честнаго человѣка. Мой отецъ бралъ взятки и воображалъ, что это даютъ ему изъ уваженія къ его душевнымъ качествамъ; гимназисты, чтобы переходить изъ класса въ классъ, поступали на хлѣба къ своимъ учителямъ, и эти брали съ нихъ большія деньги; жена воинскаго начальника во время набора брала съ рекрутовъ и даже позволяла угощать себя и разъ въ церкви никакъ не могла подняться съ колѣнъ, такъ какъ была пьяна; во время набора брали и врачи, а городской врачъ и ветеринаръ обложили налогомъ мясныя лавки и трактиры; въ уѣздномъ училищѣ торговали свидѣтельствами, дававшими льготу по третьему разряду; благотинные брали съ подчиненныхъ причтовъ и церковныхъ старостъ; въ городской, мѣщанской, во врачебной и во всѣхъ прочихъ управахъ каждому просителю кричали во слѣдъ: «Благодарить надо!» и проситель возвращался, чтобы дать 30—40 копеекъ. А тѣ, которые взятку не брали, какъ, на примѣръ, чины судебного вѣдомства, были надменны, подавали два пальца, отличались холодностью и узостью сужденій, играли много въ карты, много пили, женились на богатыхъ и, несомнѣнно, имѣли на среду вредное, развращающее вліяніе. Лишь отъ однѣхъ дѣвушекъ вѣяло нравственной чистотой; у большинства изъ нихъ были высокія стремленія, честныя, чистыя души; но онѣ не понимали жизни и вѣрили, что взятки даются изъ уваженія къ душевнымъ качествамъ, и, выйдя замужъ, скоро старились, опускались и безнадежно тонули въ тинѣ пошлаго, мѣщанскаго существованія».

«Отчего мы», жалуется Андрей Прозоровъ въ драмѣ «Три сестры»: «едва начавши жить, становимся скучны, сѣры, неинтересны, лѣнны, равнодушны, бесполезны, несчастны... Го-

родъ нашъ существуетъ уже двѣсти лѣтъ, въ немъ сто тысячъ жителей и ни одного, который не былъ бы похожъ на другихъ, ни одного подвижника ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ, ни одного ученаго, ни одного художника, ни мало-мальски замѣтнаго человѣка, который возбуждалъ бы зависть, или страстное желаніе подражать ему... Только ѣдятъ, пьютъ, спятъ и, чтобы не отупѣть отъ скуки, разнообразяютъ жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничествомъ, и жены обманываютъ мужей, мужья лгутъ, дѣлаютъ видъ, что ничего не видятъ, ничего не слышатъ, и неотразимо пошлое вліяніе гнететъ дѣтей, и искра Божія гаснетъ въ нихъ, и они становятся такими же жалкими, похожими другъ на друга мертвецами, какъ ихъ отцы и матери...»

Это жизнь города... А какими чертами рисуется деревня? Въ рассказѣ «Мужики» передаются деревенскія впечатлѣнія Ольги. Мы читаемъ:

«Въ теченіе лѣта и зимы бывали такіе часы и дни, когда казалось, что эти люди живутъ хуже скотовъ, жить съ ними было страшно; они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живутъ несогласно, постоянно ссорятся, потому что не уважаютъ, боятся и подозрѣваютъ другъ друга. Кто держитъ кабакъ и спаиваетъ народъ? Мужикъ. Кто растрчиваетъ и пропиваетъ мірскія, школьныя, церковныя деньги? Мужикъ. Кто укралъ у сосѣда, поджегъ, ложно показалъ на судѣ за бутылку водки? Кто въ земскихъ и другихъ собраніяхъ первый ратуетъ противъ мужиковъ? Мужикъ. Да, жить съ ними было страшно, но все же они люди, они страдаютъ и плачутъ, какъ люди, и въ жизни ихъ нѣтъ ничего такого, чему нельзя было бы найти оправданія. Тяжкій трудъ, отъ котораго по ночамъ болитъ все тѣло, жестокія зимы, скудные урожаи, тѣснота, а помощи нѣтъ и неоткуда ждать ея. Тѣ, которые богаче и сильнѣе ихъ, помочь не могутъ, такъ какъ сами грубы, не честны, не трезвы и сами бранятся такъ же отвратительно; самый мелкій чиновникъ или приказчикъ обходится съ мужиками, какъ съ бродягами, и даже старшинамъ и приходскимъ старостамъ говорить ты и думать, что имѣетъ на это право. Да и можетъ ли быть

какая-нибудь помощь и добрый примѣръ отъ людей корыстолюбивыхъ, жадныхъ, развратныхъ, лѣнивыхъ, которые наѣзжаютъ въ деревню только затѣмъ, чтобы оскорбить, обобрать, напугать?»

«На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвиженье пили. На Покровъ въ Жуковѣ былъ приходскій праздникъ, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили 50 рублей общественныхъ денегъ и потомъ еще со всѣхъ дворовъ собирали на водку... Кирыакъ всѣ три дня былъ страшно пьянъ, пропилъ все, даже шапку и сапоги, и такъ билъ Марью, что ее отливали водой. А потомъ всѣмъ было стыдно и тошно».

Среди цѣлаго ряда самыхъ угнетающихъ картинъ жизни «Мужиковъ» только одинъ разъ мелькаетъ свѣтлый лучъ чего-то хорошаго, хочется сказать, чего-то человѣческаго.

«Это было въ августѣ, когда по всему уѣзду, изъ деревни въ деревню носили Живоносную. Въ тотъ день, когда ее ожидали въ Жуковѣ, было тихо и пасмурно. Дѣвушки еще съ утра отправились навстрѣчу иконѣ въ своихъ яркихъ нарядныхъ платьяхъ и принесли ее подъ вечеръ съ крестнымъ ходомъ, съ пѣніемъ, и въ это время за рѣкой трезвонили. Громадная толпа своихъ и чужихъ запрудила улицу; шумъ, пыль, давка... Всѣ протягивали руки къ иконѣ, жадно глядѣли на нее и говорили, плача:

— Заступница, матушка! Заступница!

Всѣ какъ будто вдругъ поняли, что между землей и небомъ не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита отъ обидъ, отъ рабской неволи, отъ тяжелой, невыносимой нужды, отъ страшной водки...

Но отслужили молебень, унесли икону, и все пошло по-старому, и опять слышались изъ трактира грубые, пьяные голоса...»

Въ повѣсти «Въ оврагѣ»—тѣ же краски и тотъ же тонъ...

«... Въ табельные дни или въ престольный праздникъ, который продолжался три дня, сбывали мужикамъ протухлую солонину съ такимъ тяжелымъ запахомъ, что трудно было стоять около бочки, и принимали въ закладъ косы, шапки, женины платки... Въ грязи валялись фабричные, одурманенные плохой

водкой, и грѣхъ, казалось, сгустившись, уже туманомъ стоялъ въ воздухѣ...

Читая повѣсть, кажется, что уже не только село Уклеево лежитъ въ оврагѣ, но и вся жизнь его обитателей, всѣхъ отъ мала до велика, лежитъ въ еще болѣе глубокомъ и страшномъ оврагѣ, гдѣ нѣтъ ни тепла, ни свѣта, гдѣ царствуютъ вѣчныя потемки, леденящій холодъ, развратъ, беззаконіе...

Вотъ чрезвычайно любопытная для пониманія чеховскаго міровоззрѣнія выдержка изъ разсужденій доктора Королева въ разсказѣ «Случай изъ практики»:

«... Онъ думалъ о дьяволѣ, въ котораго не вѣрилъ, и оглядывался на два окна, въ которыхъ свѣтился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрѣлъ на него самъ дьяволъ, та невѣдомая сила, которая создала отношенія между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничѣмъ не исправить. Нужно, чтобы сильный мѣшалъ жить слабому, таковъ законъ природы, но это понятно и легко укладывается въ мысль только въ газетной статьѣ или въ учебникѣ, въ той же кашѣ, какую представляетъ изъ себя обыденная жизнь, въ путаницѣ всѣхъ мелочей, изъ которыхъ сотканы человѣческія отношенія, это уже не законъ, а логическая несообразность, когда и сильный, и слабый одинаково падаютъ жертвой своихъ взаимныхъ отношеній, невольно покоряясь какой-то направляющей силѣ, неизвѣстной, стоящей внѣ жизни, посторонней человѣку. Такъ думалъ Королевъ...»

Жертвою этой «логической несообразности» является вся вереница чеховскихъ «интеллигентныхъ» неудачниковъ (по рекомендаціи автора, часто очень талантливыхъ людей), выведенныхъ, главнымъ образомъ, въ его драмахъ: «Ивановъ», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры».

Я не буду дѣлать подробнаго и всесторонняго разбора этой вереницы разбитыхъ сердецъ, разбитыхъ и никому ненужныхъ жизней, этихъ варіацій одной и той же грустной темы. Я только приведу слѣдующія слова, которыми кончается одна изъ драмъ Чехова и которая можетъ сказать любой изъ типичныхъ героевъ Чехова:

Войницкій. Дитя мое, какъ мнѣ тяжело! О, если бъ ты знала, какъ мнѣ тяжело!

Соня. Что же дѣлать, надо жить! Мы, дядя Ваня, будемъ жить. Проживемъ длинный-длинный рядъ дней, долгихъ вечеровъ; будемъ терпѣливо сносить испытанія, какія пошлетъ намъ судьба; будемъ трудиться для другихъ и теперь, и въ старости, не зная покоя, а когда наступитъ нашъ часъ, мы покорно умремъ и тамъ, за гробомъ, мы скажемъ, что мы страдали, что мы плакали, что намъ было горько, и Богъ сжалятся надъ нами, и мы съ тобою, дядя, милый дядя, увидимъ жизнь свѣтлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешнія наши несчастія оглянемся съ умиленіемъ, съ улыбкой и отдохнемъ...

Этимъ похороннымъ напѣвомъ: «мы отдохнемъ», кончается пьеса.

Дальше идти некуда. Если всѣ упованія сводятся къ тому, чтобы отдохнуть «тамъ, за гробомъ», значитъ въ жизни нѣтъ ничего живого, значитъ люди заживо обратились въ могильные кресты... Въ итогъ какъ-будто выходить, что все то, что живетъ, то—пошло, бессмысленно-самодовольно или бездарно, а то, что свѣтло, талантливо и человѣчно, разлагается и умираетъ...

Нельзя, разумѣется, заподозрить правдивость авторскихъ наблюденій, искренность его мыслей. Но невольно закрадывается мысль: не слишкомъ ли сгустилъ авторъ свои краски, не прошелъ ли *мимо* иныхъ, свѣтлыхъ сторонъ жизни, не смотритъ ли онъ на окружающее сквозь закопченное стекло? Неужели, въ самомъ дѣлѣ, такъ сильна, такъ неотразима тина мелочей, такъ могуча власть гнетущей обыденщины? Неужели жизнь города и деревни такъ безпросвѣтно ужасна? Неужели въ современной дѣйствительности такіе хорошие, честные, трудолюбивые люди, какъ дядя Ваня и Соня, должны непременно гибнуть безслѣдно, безцѣльно, бессмысленно? И неужели, наконецъ, ни въ комъ нѣтъ живой и дѣятельной вѣры въ лучшее будущее, безъ которой невозможна осмысленная жизнь?

Талантъ Чехова выросъ въ эпоху восьмидесятыхъ годовъ. Къ началу девяностыхъ его литературная фizioномія сложилась и опредѣлилась, и потому съ полнымъ основаніемъ литератур-

ная критика признала его типичнымъ «восьмидесятникомъ». Но эпоха восьмидесятыхъ годовъ, въ удѣлъ которой достались клички: «безвременье», «мрачное десятилѣтіе», время «шатанія мысли» и пр., и пр., была эпохой сырой и тусклой жизни, эпохой перелома, упадка, смутнаго исканія новыхъ идеаловъ взаимѣнъ старыхъ, разбитыхъ, отжившихъ... И вотъ въ своихъ произведеніяхъ Чеховъ монополизируетъ *одну* очень характерную, очень важную черту своего времени—глубокій пессимизмъ, проистекающій отъ утраты вѣры въ себя и жизнь, отъ сознанія своего безсилія, какой-то преждевременной усталости, своей «негодности для дѣла жизни...» Человѣкъ съ «пропавшей» жизнью сдѣлался неизмѣнно излюбленнымъ героемъ Чехова. Но это пессимистическое міросозерцаніе, которое было вполне «историчнымъ» въ восьмидесятыхъ годахъ, которое выросло на социальной почвѣ, созданное цѣлымъ рядомъ условий русской дѣйствительности, Чеховъ сохранилъ неизмѣненнымъ вплоть до своего послѣдняго произведенія, увидѣвшаго свѣтъ уже въ XX-мъ вѣкѣ, такъ что, если бы перевернуть хронологическій порядокъ его сочиненій, это не произвело бы *существеннаго* измѣненія въ его литературномъ портретѣ. Если судить о русской жизни за послѣднія 15—20 лѣтъ по произведеніямъ Чехова, можно вывести мнѣніе, что эта жизнь, отлившись въ грустную эпоху восьмидесятыхъ годовъ въ одну опредѣленную и тоже грустную форму, застыла на долгіе-долгіе годы...

Неужели это такъ?

Конечно, нѣтъ. И все это доказываетъ лишь то, что за все время своей литературной дѣятельности Чеховъ очень выросъ, какъ художникъ, но, какъ идейная личность, остался истиннымъ «восьмидесятникомъ»... Онъ остался чуждымъ идейному подъему, который растетъ въ русскомъ обществѣ съ конца девяностыхъ годовъ.

Правда, въ его послѣдней драмѣ «Три сестры» есть нѣчто новое въ образѣ мыслей его героевъ. Но это новое едва ли можно признать особенно цѣннымъ и оригинальнымъ.

«Человѣкъ долженъ трудиться, работать,—говоритъ Ирина:— въ потѣ лица, кто бы онъ ни былъ, и въ этомъ одномъ заклю-

чается смыслъ и цѣль его жизни, его счастье, его восторги. Какъ хорошо быть рабочимъ, который встаетъ чуть свѣтъ и бѣгетъ на улицѣ камни, или пастухомъ, или учителемъ, который учить дѣтей, или машинистомъ на желѣзной дорогѣ...

«Тоска по трудѣ!» вторить ей баронъ Тузенбахъ: «о, Боже мой, какъ она мнѣ понятна! Я не работалъ ни разу въ жизни!.. Меня оберегали отъ труда. Только едва ли удалось уберечь, едва ли! Пришло время, надвигается на всѣхъ насъ громада, готовится здоровая сильная буря, которая идетъ, уже близка и скоро сдуетъ съ нашего общества лѣнь, равнодушіе, предубѣжденіе къ труду, гнилую скуку. Я буду работать, а черезъ какія-нибудь 25—30 лѣтъ работать будетъ уже каждый человѣкъ. Каждый!»

«У насъ, трехъ сестеръ», говоритъ Ирина: «жизнь не была еще прекрасной, она заглушала насъ, какъ сорная трава... Работать нужно, работать. Оттого намъ невесело и смотримъ мы на жизнь такъ мрачно, что не знаемъ труда. Мы родились отъ людей, презиравшихъ трудъ...»

Но вѣдь и баронъ Тузенбахъ, и Ирина, если они читали прежнія произведенія своего автора, должны бы были знать, что одной работой не спасешься, что ихъ старшіе литературные братья,—Ивановъ и дядя Ваня,—тоже работали, но эта работа не принесла имъ счастья, оказалась для нихъ бесплодной... Вся суть въ томъ, во имя чего совершается работа, какой цѣли служатъ рабочія руки. Для чего же хотятъ работать Ирина и баронъ Тузенбахъ? только для того, чтобы не скучать, забыться и не чувствовать тяготы своей жизни? Въ отношеніи ихъ самихъ, повидимому, да... но есть еще и другая отдаленнѣйшая цѣль этой работы.

О цѣли и работы, и всей настоящей жизни философствуетъ подполковникъ Вершининъ.

«Хорошая будетъ жизнь лѣтъ черезъ пятьдесятъ, жаль только, что мы не дотянемъ», думалъ докторъ Королевъ въ рассказѣ «Случай изъ практики». Подполковникъ Вершининъ съ особенной любовью развиваетъ именно эту самую мысль.

«Черезъ 200 — 300 лѣтъ», говоритъ онъ: «жизнь на землѣ

будетъ невообразимо прекрасной, изумительной. Человѣку нужна такая жизнь, и если ея нѣтъ пока, то онъ долженъ предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться къ ней...

«Давайте помечтаемъ», говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ: «напримѣръ, о той жизни, какая будетъ послѣ насъ, лѣтъ черезъ 200—300... Черезъ 200—300, наконецъ, черезъ тысячу лѣтъ,—дѣло не въ срокѣ,—настанетъ новая счастливая жизнь. Участвовать въ этой жизни мы не будемъ, конечно, но *мы для нея живемъ теперь*, работаемъ, ну, страдаемъ, *мы творимъ ее* — и въ *этомъ одномъ цѣль нашего бытія и, если хотите, наше счастье...*» «Мы должны только работать и работать, а счастье—это удѣлъ нашихъ далекихъ потомковъ...»

Такимъ образомъ, отъ себя и отъ своего поколѣнія философъ-подполковникъ ничего не ждетъ, объясняя это тѣмъ, что и онъ, и его поколѣніе живутъ въ «пустомъ мѣстѣ».

«Прежде человѣчество было занято войнами, заполняя все свое существованіе походами, набѣгами, побѣдами, теперь же все отжило, оставивъ послѣ себя громадное пустое мѣсто, которое пока нечѣмъ заполнить; человѣчество страстно ищетъ и, конечно, найдетъ...»

А пока оно ищетъ, и три сестры, и Соня, и дядя Ваня, и Вершининъ, и всѣ другіе, имъ подобные, будутъ влачить тоскливую свою ненужную «нудную» жизнь, заглушая работой «гнилую скуку» и утѣшая себя подобно Иринѣ: «кажется, еще не много, и мы узнаемъ, зачѣмъ мы живемъ, зачѣмъ страдаемъ...»

Но вѣдь это ожиданіе грядущаго блаженства потомковъ должно быть на чемъ-нибудь основано... Вершинины не объясняютъ, на чемъ зиждется ихъ вѣра въ будущее, которое они «творятъ» не дѣломъ, а мечтой, и потому блаженство потомковъ черезъ 200—300 лѣтъ является лишь суррогатомъ того самаго успокоенія «тамъ, за гробомъ», о которомъ мечтаетъ Соня; и потому ни желаніе работать, ни пассивная и безпочвенная вѣра въ людское счастье черезъ 200—300 лѣтъ не измѣняютъ сущности типичныхъ излюбленныхъ героевъ Чехова: они остаются во всѣхъ произведеніяхъ неизмѣнно одними и тѣми же со своей роковой фразой: «пропала жизнь!»

III.

Если бы Гегель создавалъ свою систему въ наши дни и если бы онъ былъ знакомъ съ новѣйшей русской литературой, то, несомнѣнно, въ А. Чеховѣ и М. Горькомъ онъ могъ бы увидать интересный образецъ *тезиса* и *антитезиса*. Типичные герои Горькаго при всемъ богатствѣ и разнообразіи ихъ душевныхъ силъ проникнуты несокрушимой вѣрой въ жизнь и лучшее будущее, полны смѣлости, энергіи, энтузіазма. «Безпокойство» духа, тревожное и неустанное исканіе смысла жизни, жажда свободы и презрѣніе къ жизненнымъ оковамъ характеризуютъ этихъ героевъ, стремящихся жить «на всѣ средства души». Если эпитафіомъ къ жизни типичныхъ героевъ Чехова можетъ служить похоронный плачъ: «пропала жизнь!» то эпитафіомъ къ жизни типичныхъ героевъ Горькаго будетъ «да здравствуетъ жизнь!»

Литературная дѣятельность Максима Горькаго расцвѣла, какъ извѣстно, необыкновенно быстро. Однимъ изъ главныхъ условий его исключительнаго успѣха нужно признать то, что онъ, чутко, быть можетъ, инстинктивно уловивъ едва зарождавшіяся новыя вѣянія жизни, пошелъ какъ разъ *противъ* того теченія унынія и усталости, совершеннымъ и истиннымъ выразителемъ котораго явился Чеховъ. Герои Горькаго не новы, ихъ идеалы туманны. Но дарованіе автора «Бывшихъ людей» мощно и самобытно, его бодрое, «жгучее» слово дорого въ наше время чрезвычайно; его стремленія и призывы, типы и картины — яркіе узоры на мрачномъ фонѣ «чеховщины». И потому такъ ослѣпительно блестятъ эти узоры, что слишкомъ сгущенъ фонъ.

Босыяки Горькаго, его «безпокойные люди», какъ справедливо уже было отмѣчено критикой, — «прямые потомки пушкинскихъ, лермонтовскихъ и другихъ безпокойныхъ людей, но только вышли изъ другой среды». «Великосвѣтскіе» и иные «бродяги»: Онѣгинъ, Печоринъ, Алеко, Рудинъ вмѣстѣ съ Коноваловымъ, Проходимцемъ, Лакутинымъ, Орловымъ, составляютъ одну и ту же «бродячую Русь», тотъ классъ людей «святого» недоволь-

ства, который въ каждомъ обществѣ во всѣ времена былъ ферментомъ общественной жизни.

Что говорить о себѣ сами горьковскіе герои?

«... Лишнее все въ насъ... въ душѣ лишнее... и вся жизнь наша лишняя...» «Особливые мы будемъ люди... и ни въ какой порядокъ не включаемся. Особый намъ счетъ нуженъ... и законы особые... очень строгіе законы, чтобы насъ искоренять изъ жизни! Потому пользы отъ насъ нѣтъ, а мѣсто мы въ ней занимаемъ и у другихъ на тропѣ стоимъ... Кто передъ нами виновать? Сами мы передъ собой и жизнью виноваты...» «Пусть все скачетъ къ чорту на кулички! Мнѣ было бы пріятно, если бъ земля вдругъ вспыхнула и сгорѣла или разорвалась бы въ дребезги... лишь бы я погибъ послѣдній, посмотрѣвъ сначала на другихъ...» «Я—бывшій человѣкъ... — такъ? Я отверженъ, значить, я свободенъ отъ всякихъ путъ и узъ... Значить, я могу наплевать на все! Я долженъ по роду своей жизни отбросить все старое... всѣ манеры и приемы отношеній къ людямъ, существующимъ сыто и нарядно и презирающимъ меня за то, что въ сытости и костюмѣ я отсталъ отъ нихъ... и я долженъ воспитать въ себѣ что-то новое...» «... Я здѣсь ничья. Свободная... какъ чайка! Куда захочу, туда и полечу! Никто мнѣ дороги не загородить... Никто меня не тронетъ!.. Мнѣ всегда хочется чего-то... а чего?.. не знаю. Иной разъ сѣла бы въ лодку и въ море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видать. А иной разъ такъ бы каждого человѣка завертѣла да и пустила волчкомъ вокругъ себя. Смотрѣла бы на него и смѣялась. То жалко всѣхъ мнѣ, а пуще всѣхъ—себя самое, то избила бы весь народъ...» «Люблю я... эту бродяжную жизнь. Оно и холодно, и голодно, но свободно ужъ очень. Нѣтъ надъ тобой никакого начальства... самъ ты своей жизни хозяинъ... Звѣзды мигаютъ мнѣ, ровно говорятъ: ничего, Лакутинъ, ходи, знай, по землѣ и никому не поддавайся».

Уже изъ этихъ короткихъ цитатъ можно вывести три заключенія о «безпокойныхъ» людяхъ Горькаго... Во-первыхъ, то, что они отличаются своеобразнымъ «босяцкимъ» аристократизмомъ. Во-вторыхъ, то, что ихъ «безпокойство» неизмѣримо ра-

дикальнѣе «безпокойства» ихъ литературныхъ предшественниковъ. Въ-третьихъ, то, что ихъ стремленія и идеалы очень неопредѣленны: ихъ «куда-то влечетъ», они хотятъ создать «что-то новое», и дальше этихъ «что-то» и «куда-то» они не идутъ.

Такимъ образомъ, по своей внутренней цѣльности они вовсе не являются чѣмъ-либо увлекательнымъ, глубокимъ, оригинальнымъ. Они никого не предъстятъ и не заманятъ на свою дорогу; изъ всѣхъ ихъ философскихъ рацей, всего ихъ «вольтотнаго» существованія важенъ только, но важенъ чрезвычайно, фактъ ихъ страстнаго исканія смысла жизни, высокой и свѣтлой цѣли, ихъ недовольства и презрѣнія къ существующимъ устоямъ жизни—не жизни вообще, а той самой жизни, которая есть «что-то скучное, тягучее, сѣрое, какая-то обуза», которой живутъ герои Чехова. Иные изъ нихъ ясно и твердо *знаютъ*, что *надо дѣлать*, въ чемъ «радость жизни»...

«Надо всегда что-нибудь дѣлать», говоритъ Сережка въ разсказѣ «Мальва»: «чтобы вокругъ тебя люди вертѣлись... и чувствовали, что ты живешь... Жизнь надо мѣшать чаще, чтобы она не закисала... Болтайся въ ней туда и сюда, пока силъ хватитъ,—ну и будетъ вокругъ тебя весело»...

Пусть это будетъ нѣсколько грубо, можетъ быть даже наивно, но это выкрикъ живой и здоровой человѣческой души, это «кричить человѣкъ здоровый, энергичный, довольный собой, человѣкъ съ большой и ясно сознанной имъ жизнеспособностью», кричить потому, что душа его «полна чѣмъ-то радостнымъ и сильнымъ, и оно—это радостное и сильное—просится вонъ, на волю»...

Слова Сережки, варьируя и развивая дальше, повторяетъ и машинистъ Нилъ въ «Мѣщанахъ»: «Я знаю, что жизнь—дѣло серьезное, но не устроенное... что она потребуетъ для своего устройства всѣ силы и способности мои. Я знаю и то, что я—не богатырь, а просто честный, здоровый человѣкъ, и все-таки говорю: ничего! Наша возьметъ! И на всѣ средства души моей удовлетворю мое желаніе вмѣшаться въ самую гущу жизни... мѣсить ее и такъ и этакъ, тому—помѣшать, этому—помочь... вотъ въ чемъ радость жизни!»

Исключительное освѣщеніе получаютъ «бывшіе», но здоровые и бодрые, а главное живые люди Горькаго потому, что они списаны ихъ авторомъ не съ высоты культурныхъ подмостковъ... Описывая ихъ, Горькій описываетъ ту среду, въ которой онъ провелъ долгіе годы, въ которой онъ выросъ. Внукъ красильщика и сынъ обойщика, онъ, по свидѣтельству автобіографической записки, былъ «мальчикомъ» въ магазинѣ обуви, ученикомъ чертежника, потомъ иконописца, поваренкомъ на пароходѣ, помощникомъ садовника, работалъ въ крендельномъ заведеніи и на соляныхъ промыслахъ, торговалъ яблоками, служилъ желѣзнодорожнымъ сторожемъ, былъ продавцомъ баварскаго кваса, письмоводителемъ, работалъ въ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ и, наконецъ, начавши писать, въ короткое—сравнительно—время сдѣлался популярнѣйшимъ писателемъ страны. Знаменательныя слова архитектора Шебуева съ полнымъ правомъ можно отнести къ самому Горькому... «Я пришелъ снизу, со дна жизни, оттуда, гдѣ грязь и тьма, гдѣ человѣкъ еще полувѣръ, гдѣ вся жизнь—только трудъ ради хлѣба... Тамъ она льется медленно, темнымъ, густымъ потокомъ, но и тамъ сверкаютъ на солнцѣ неоцѣнимые алмазы великодушія, ума, героизма, и тамъ есть любовь, и тамъ красота—всюду, гдѣ есть человѣкъ, есть и хорошее!..» «Жизнь—прекрасна, жизнь—величественное, неукротимое движеніе ко всеобщему счастью и радости. Я вѣрю въ это, я не могу не вѣрить въ это!..» А машинистъ Нилъ даже не понимаетъ, какъ ухитряются люди изъ жизни, въ которой онъ, Нилъ, цѣнить, понимаетъ и чувствуетъ радость, дѣлать себѣ «темницу, каторгу, несчастье»...

Эти рѣчи Шебуева, эта жизнерадостность и жизнеспособность Нила и другихъ представителей жизненнаго здоровья въ эпоху «чеховскаго» настроенія—животворный снопъ свѣта въ темномъ царствѣ. При свѣтѣ этого свѣта стоны и жалобы, скука и апатія, безволіе и безсиліе «трехъ сестеръ» и всѣхъ имъ подобныхъ кажутся уже чѣмъ-то побѣжденнымъ... хочется сказать—ненужнымъ, изжитымъ, миновавшимъ...

Менѣ всего можно подумать и допустить, что Горькій раскрашиваетъ нашу современную жизнь въ радужныя краски. Но

добно Чехову, можетъ быть больше, чѣмъ Чеховъ, онъ видитъ въ современной дѣйствительности ея великія несовершенства. И онъ пишетъ такіе чисто «чеховскіе» рассказы, какъ «Скуки ради»; и онъ видитъ въ жизни такихъ людей, какъ Татьяна, которой «негдѣ, нечѣмъ, незачѣмъ жить». Именно, въ его рассказѣ «Еще о чертѣ» построено уравненіе: душа «интеллигента» Ивана Ивановича равна суммѣ трехъ страстей—честолюбія, злобы и нервности. Нѣтъ болѣе тягостныхъ и вмѣстѣ глубоко справедливыхъ обвиненій по адресу современной жизни, чѣмъ тѣ, которыя мы слышимъ изъ устъ его героевъ.

Но важно и драгоцѣнно то, что, осуждая и обвиняя жизнь, Горькій съ исключительной силой убѣжденія стремится пробудить въ людяхъ любовь къ жизни, той жизни, которая въ существѣ своемъ должна быть прекрасной, свободной, счастливой. Люди должны не только мечтать о лучшемъ будущемъ, они должны страстно вѣрить въ него и созидать его, смѣло и сильно приближая его къ себѣ. Эта страстная вѣра убьетъ «гнилую скуку» жизни и создастъ тотъ здоровый жизненный воздухъ, въ которомъ будутъ вырастать и здоровые люди. Это—та вѣра въ жизнь и будущее народа, которая всегда жила въ груди лучшихъ русскихъ людей, на которой покоились мечты Ломоносова о «собственныхъ Платонахъ» и «быстрыхъ разумомъ Невтонахъ», которая поддерживала въ трудныя минуты «пѣвца народнаго горя» Некрасова, говорившаго:

Покажетъ Русь, что есть въ ней люди,
Что есть грядущее у ней...
... Въ ея груди
Бѣжитъ потокъ, живой и чистый,
Еще нѣмыхъ народныхъ силъ...

которая «во дни сомнѣній, во дни тягостныхъ раздумій о судьбѣ... родины» являлась поддержкой и опорой для Тургенева, не допускавшаго мысли, чтобы «великій, могучій, правдивый и свободный русскій языкъ... не былъ данъ великому народу».

Чрезвычайно интересенъ для характеристики Горькаго его рассказъ «Читатель».

«Всѣ вы, учителя жизни нашихъ дней,—говорить «странный

собесѣдникъ»,—гораздо больше отнимаете у людей, чѣмъ даете имъ, ибо вы всѣ только о недостаткахъ говорите, только ихъ видите»... «Читая васъ, ничему не поучаешься... Все будни, будни, будничные люди, будничныя мысли, событія»... «Вы только поете, стонете, охаете или равнодушно рисуете, какъ онъ (т.-е. современный человѣкъ) разлагается... Надъ жизнью носится запахъ гніенія, трусость, холопство пропитываютъ сердца, лѣнь вяжетъ умы и руки мягкими путами»... «Въ старыхъ рамкахъ жизни, въ которыхъ всѣмъ такъ тѣсно и гдѣ нѣтъ свободы духу человѣка... дремлетъ человѣкъ... и никто не будить его. Бичъ ему нуженъ и огненная ласка любви вслѣдъ за ударомъ бича. Не бойся сдѣлать ему больно: если ты любя бьешь, онъ пойметъ твой ударъ и приметъ его, какъ заслуженный»... «О, если бъ явился суровый и любящій человѣкъ съ пламеннымъ сердцемъ и могучимъ, всеобъемлющимъ умомъ! Въ духотѣ позорнаго молчанія раздались бы вѣщія слова, какъ удары колокола, и, можетъ быть, дрогнули бы презрѣнныя души живыхъ мертвецовъ!»... «Сознайся, ты не умѣешь изображать такъ, чтобъ твоя картина жизни вызывала въ человѣкѣ мстительный стыдъ и жгучее желаніе создать инныя формы бытія»...

Своими героями, нарисованными яркими и свѣжими красками, рѣзкими и смѣлыми штрихами, часто на фонѣ превосходныхъ, истинно поэтическихъ ландшафтовъ, своимъ культомъ смѣлой и сильной личности Горькій бьетъ по соннымъ слоямъ культурной буржуазіи, и дѣйствительно его произведенія могутъ вызвать «мстительный стыдъ» за ту лѣнь, апатію и «гнилую скуку», которыми насквозь пропитаны чеховскіе излюбленные герои, могутъ вызвать «жажду жизни»... «Смыслъ жизни», краснорѣчиво говоритъ Горькій: «въ красотѣ и силѣ стремленія къ цѣлямъ, и нужно, чтобы каждый моментъ бытія имѣлъ свою высокую цѣль!»

IV.

Можетъ возникнуть вопросъ: какимъ образомъ въ современномъ обществѣ совмѣстимо одновременное увлеченіе обоими писателями, Чеховымъ и Горькимъ, если они столь различны въ

своихъ обликахъ, въ основныхъ мотивахъ своего творчества, если въ ихъ лицахъ встрѣчаются представители двухъ этаповъ общественнаго развитія, очередной смѣны уровня общественнаго настроенія?

Можно думать, что такое совмѣщеніе не только возможно, но и вполне естественно, вполне неизбежно, ибо конечные результаты литературной дѣятельности обоихъ писателей совпадаютъ въ одномъ опредѣленномъ выводѣ, имѣющемъ крупную общественно-историческую цѣнность.

Одинъ—Чеховъ—*скупными* красками рисуетъ тину и плѣсень обыденной жизни, усталую и истомленную душу современнаго средняго «интеллигента», разложеніе духа и воли, торжество «обыденщины», сковавшей живую душу человѣка; другой—Горькій—клеямя презрѣніемъ эту душную, безпросвѣтную жизнь, смѣлымъ призывомъ стремится увлечь «къ свободѣ, къ свѣту», хочетъ зажечь въ истомленныхъ сердцахъ жгучую «жажду жизни»; мрачныя картины одного вселяютъ въ душу страхъ и ненависть ко всему, что хоть отчасти напоминаетъ то, что онѣ воспроизводятъ; бодрія пѣсни другого увлекаютъ все живое и будятъ все мертвое, врываясь «въ духоту позорнаго молчанія» какъ «вѣщіа слова», какъ «удары колокола», звуча великолѣпнымъ призывомъ:

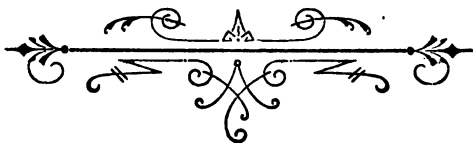
Безумство храбрыхъ—вотъ мудрость жизни!

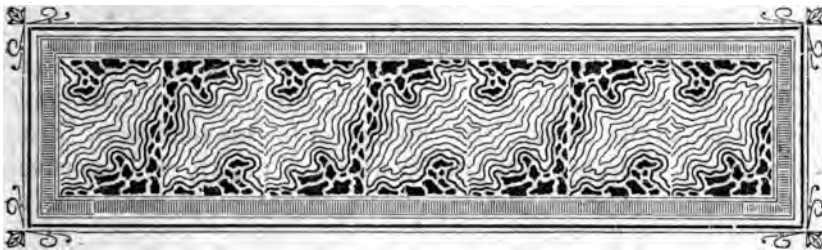
У одного нѣтъ никакихъ опредѣленныхъ и ясныхъ идеаловъ, и вся жизнь представляется «логическою несообразностью»; другой страстно ищетъ «высокой цѣли» для «каждаго момента бытія»; эмблема одного — тоскующая, скорбная чайка; эмблема другого — смѣлый соколъ или гордый буревѣстникъ. И какъ подъ тусклымъ, холоднымъ и тоскливымъ (хотя и глубоко проникновеннымъ) взглядомъ Чехова дѣйствительность вянетъ и блекнетъ—улетаетъ радость, хмурятся люди, плачетъ небо и жизнь тянется безъ свѣта, безъ счастья, безъ цѣли; такъ подъ смѣлымъ и жгуче-проникновеннымъ взоромъ Горькаго жизнь, изломанная, изношенная и запачканная по винѣ самихъ людей, въ своихъ нѣдрахъ раскрываетъ передъ нами великое счастье

бытія. Чеховъ, рисуя людей верхнихъ ступеней общественной лѣстницы, кромѣ изображенія дряблости, скуки, безцѣльнаго и пошлаго существованія, не даетъ ничего; Горькій поднимаетъ своихъ героевъ со дна жизни и подъ лохмотьями ихъ одежды, подъ грубой и жесткой оболочкой ихъ поступковъ, чувствъ и мыслей открываетъ чистое золото и подлинный огонь Прометея.

И именно это соединеніе контрастовъ даетъ цѣльное и единое впечатлѣніе: на фонѣ безгранично унылаго «настроенія» Чехова энтузіазмъ и «живая душа» героевъ Горькаго съ особенною силой вызываетъ одно желаніе, одну неизмѣнную цѣль—жить, жить и жить!..

В. Стражевъ.





Собиратель.

(РАЗСКАЗЪ.)

Федуль Семеновичъ Обжогинъ не имѣлъ собственной жизни. Есть люди, которые живутъ, но собственной жизни не имѣютъ. Это очень печально и стыдно чувствовать, что не имѣешь собственной жизни.

Въ дѣтствѣ Федуль Семеновичъ обнаруживалъ отсутствіе изобрѣтательности и скучалъ въ играхъ, требующихъ фантазіи. Зато любилъ сѣсть на полъ, обложить себя разными вещичками и разсматривалъ ихъ внимательно и пристально.

Въ гимназіи онъ собиралъ стальные перья, марки и монетки. И въ этомъ собирательствѣ его поощрялъ папаша.

Самъ папаша, дворянинъ-помѣщикъ, любилъ пособирать, какъ это бываетъ съ дворянами-помѣщиками, которые имѣютъ склонность «повозиться» съ чѣмъ-нибудь ученымъ.

Такъ, когда папаша задумывалъ писать о разведеніи брюквы, то выписывалъ себѣ всѣ брошюры и статейки, которые были напечатаны въ Россіи и въ Европѣ по этому вопросу: не потому, что рассчитывалъ найти въ нихъ новое и важное, а просто для того, чтобы собирать *все*.

Въ университетѣ Обжогинъ старательно записывалъ за профессорами, любилъ покупать старыя изданія лекцій и былъ очень несчастливъ, если у него ихъ брали и зачитывали. Кромѣ того, собиралъ портреты профессоровъ. Особенно былъ гордъ,

когда сидѣлъ на лекціяхъ знаменитаго профессора. Чѣмъ нравились ему эти лекціи, онъ не могъ бы объяснить съ точностью. Зато доподлинно зналъ, что профессоръ—знаменитость. Если приходилось говорить объ университетѣ, о наукѣ, то Обжогинъ, захлебываясь, рассказывалъ о своемъ профессорѣ, какъ онъ сидитъ на кафедрѣ, какъ кашляетъ, и начиналъ скучать, когда все было рассказано. Въ то же время онъ обнаруживалъ явную склонность пренебрежительно отзываться о всѣхъ прочихъ профессорахъ, хотя и они были люди добросовѣстные.

Обжогинъ думалъ, что и онъ сдѣлается ученымъ, но кончилъ курсъ со второю степенью и «оставленъ» не былъ.

Тогда попробовалъ сдѣлаться присяжнымъ повѣреннымъ, такъ какъ имѣлъ дядюшку, который былъ знаменитымъ адвокатомъ.

Но, промучавшись три года, понялъ, что не обладаетъ краснорѣчіемъ. Поэтому поступилъ въ помощники къ нотариусу, а потомъ и самъ открылъ нотаріальную контору, тѣмъ болѣе, что женился, и былъ нуженъ заработокъ. Но чувствовалъ себя разочарованнымъ и считалъ свою жизнь проигранной, такъ какъ зналъ, что изъ нотариусовъ не выходятъ знаменитости.

И сталъ понимать, какъ мучительно и больно не имѣть собственной жизни. И презиралъ все свое,—жену, квартиру и прислугу. Запускалъ дѣла въ конторѣ, избѣгалъ пріятелей, не читалъ отчетовъ о судебныхъ засѣданіяхъ, гдѣ выступали молодые адвокаты, его прежніе товарищи.

А если цокуналъ мимоходомъ въ лавкѣ портретъ моднаго юриста, то стыдился этого, скрывалъ и боялся, что узнаютъ, и кто-нибудь изъ пріятелей пришлетъ ему старую жилетку для коллекціи.

Онъ тосковалъ и нервничалъ, и единственной свѣтлой точкой въ его существованіи за это время была мысль, что у него есть дядя знаменитость... И къ этому дядюшкѣ стали приурочиваться всѣ его чувства, вся жизнь...

Онъ ходилъ лишь въ тѣ дома, гдѣ можно было говорить о дядюшкѣ. И тосковалъ, когда все было рассказано.

А сидя за обѣдомъ у дядюшки, забывалъ ѣсть, глядѣлъ, не сводя глазъ, слушалъ, раскрывъ ротъ; забывалъ о собственной

жизни, о неудачахъ, и погруженный въ мѣнѣ, чувствовалъ, что пріятно иногда уничтожиться и совсѣмъ не имѣть собственной жизни, чтобы она не мѣшала глядѣть, и слушать, и вбираться въ себя жизнь чужую. На лицѣ его вытянутомъ и облѣзломъ, какъ у стерляди, съ длинными усами, съ стекловидными глазами, выражалось восхищеніе. И дѣти дядюшки смѣялись надъ нимъ и говорили, что онъ «присосался».

А вернувшись домой, Федулъ Семеновичъ бранилъ свой письменный столъ, свою комнату... Думалъ, что жена у дядюшки умная, а у него глупая, и что дѣти его не будутъ обладать способностями, какъ дядюшкины, и что все въ его жизни мизерное, недостойное, не стоящее его трудовъ и денегъ... И что онъ не можетъ говорить просто: «моя жена», «моя жизнь», а долженъ говорить съ извиненіемъ: «моя жизнь, моя жена, съ позволенія сказать» и покраснѣть при этомъ.

Однажды онъ разсматривалъ портреты профессоровъ, собранные во времена студенчества. Въ такихъ случаяхъ онъ прятался и отъ жены своей и старался запирается.

Но на этотъ разъ жена, которая очень скучала, вошла въ комнату, и, увидавъ портреты, удивилась и вздохнула:

— Господи! вотъ насобралъ-то!..

Потомъ подумала и проговорила:

— Вотъ ты любишь собирать. А что—если бы тебѣ пособи-
рать *около* твоего дядюшки... что къ нему относится... Онъ—зна-
менитость, а ты близкій... Тебѣ удобнѣй, чѣмъ другимъ. И даже
оказалъ бы пользу.

Обжогинъ былъ ошеломленъ и не понималъ сразу. Потомъ вско-
чилъ, обѣими руками схватилъ себя за голову и подумалъ:

— А, вѣдь, она права! Боже мой, какъ она права!..

И, съ изумленіемъ и испугомъ установившись на жену, спро-
силъ глухо:

— Откуда это у тебя?

Жена засмѣялась,—счастливая.

А Обжогинъ понималъ, что въ его жизни произошло событіе, перевернуть... И, раскрывъ глаза, затрепеталъ отъ счастья, отъ свѣта, отъ широкихъ горизонтовъ...

На слѣдующій день онъ шагаль по лавкамъ и покупаль всѣ разновидности портретовъ дядюшки.

Купилъ собраніе его рѣчей и сборникъ, составленный друзьями къ его юбилею.

И въ слѣдующіе дни ходилъ по букинистамъ и разыскиваль старыя газеты съ судебными процессами, гдѣ фигурироваль дядюшка. А вернувшись домой, дѣлаль вырѣзки, занумеровываль, укладываль въ хронологическомъ порядкѣ, словно собирался писать дядюшкино житіе, и возилъ такъ до поздней ночи.

Съ тѣхъ поръ онъ ежедневно искалъ и покупаль, а по вечерамъ разбираль, укладываль. Заказаль папки и ящики изъ картона, на ящики наклеиваль ярлыки, и если нечего было покупать, то ходилъ за бумагой, за картономъ и гумми-арабикомъ.

Все это брало много времени, стоило большихъ хлопотъ. Были радости и огорченія, были восторги и страданія... Было пріятно приобрѣсти вещь и положить въ коллекцію, было пріятно по вечерамъ разсматривать и пересчитывать, заносить въ каталогъ и думать, скоро ли наполнится картонка. Было чувство особенное, вкусовое, былъ аппетитъ. И отъ мысли, что коллекція растеть, казалось, что и самъ растешь, становишься сильнѣе, крупнѣй. И даже ночью среди сна возникали образы, яркіе и соблазнительные: мелькали вещи, папки, букинисты...

Зато если оказывался предметъ, достать который было трудно, то являлась боль, что предметъ на свѣтѣ существуетъ, а не попалъ въ коллекцію, и приходилось ломать голову, какъ бы достать скорѣе его. Ибо было чувство ответственности и страха передъ судомъ потомства.

И разъ въ недѣлю Обжогина пугали сны, мучительные и злые: ему казалось, что онъ умеръ, и судъ потомства наступилъ. Пришли знатоки, ознакомились съ коллекціей и нашли пропускъ... И отъ этого пропуска обезчестилось все собранное, обезцѣнились идея и трудъ. И отъ этихъ сновъ Обжогина бросало въ жаръ и холодъ.

Но это наполнило жизнь. И вся жизнь, освѣтившись цѣлью, измѣнилась.

— Да, хорошая мысль мнѣ пришла въ голову, хорошая!—

говорилъ женѣ Федулъ Семеновичъ:—вотъ, когда умру, ты отдай вещи въ общество присяжныхъ повѣренныхъ. Тамъ поставятъ витрину и надъ ней надпись: «Музей Федора Ивановича Обжогина, собранный племянникомъ». И мое имя соединится съ великимъ именемъ.

Повеселѣло и въ квартирѣ. Прислуга служила аккуратнѣй, потому что стали ходить гости. И жена сшила себѣ новое платье.

Маленькій сынишка могъ безпрепятственно входить въ кабинетъ къ отцу. И отецъ, ласково забравши его къ себѣ на колѣни и понюхавъ въ шею, съ удивленіемъ говорилъ:

— Отъ тебя тоже человѣчкомъ пахнетъ!

Стали забѣгать пріятели. Обжогинъ ходилъ въ судъ и приглашалъ товарищей. И хотя они смѣялись надъ нимъ и называли гумми-арабикомъ, но это не было обидно.

А если кто изъ нихъ при имени Обжогина пренебрежительно гримасничалъ, то кто-нибудь другой непременно защищалъ его и говорилъ:

— Нѣтъ, онъ все-таки собираетъ.

Это дѣло было признано возможнымъ. И самъ Обжогинъ пересталъ стыдиться собирательства и говорилъ о немъ товарищамъ.

Глядя на отца, сталъ собирать и маленький сынишка.

Онъ набралъ ярлычковъ отъ конфетныхъ коробокъ, на которыхъ печатается цѣна. И, съ гордостью показывая отцу, въ восхищеніи кричалъ:

— Папа, посмотри, какой я богатый: двадцать пять рублей!..

Онъ думалъ, что ярлычки и настоящія деньги одно и то же.

Отецъ очень смѣялся и поощрялъ.

Лишь одного не удалось добиться Обжогину: чтобы самъ дядюшка одобрительно отнесся къ собиранію. Узнавъ, что племянникъ собираетъ, дядя очень разсердился и сказалъ:

— Что? Всякій хламъ изъ-подъ меня? Вздоръ какой! Сейчасъ же брось! Совѣмъ не въ моихъ правилахъ!

У него была такая манера, суровая и грозная, обращенія съ родственниками: ибо онъ помогалъ имъ въ жизни своимъ именемъ, значеніемъ.

И Обжогинъ понялъ, что содѣйствія отъ дядюшки не будутъ, и нужно обходиться собственнымъ умомъ и силами.

Это огорчило, но не смутило Обжогина, и, вернувшись отъ дядюшки, онъ говорилъ женѣ:

— Изумительный и рѣдкій человѣкъ! Ну, какъ же не собирать? Такіе люди сами о себѣ не позаботятся!

Онъ утѣшалъ себя, что со смертью дядюшки къ нему, какъ самому достойному изъ родственниковъ, перейдетъ все то самое важное, существенное, безъ чего коллекція теряла смыслъ. черновыя рукописи рѣчей, наброски, письма, вся эта лабораторія мысли, идеи въ процессѣ созрѣванія, все, что такъ необходимо для изслѣдователей, біографовъ, издателей матеріаловъ...

И, сидя у дядюшки, Обжогинъ съ любовной гордостью и предвкушеніями смотрѣлъ на письменный столъ, на бібліотеку, на бюро изъ розоваго дерева, гдѣ хранились рукописи, и на портреты знаменитостей на столѣ и стѣнахъ съ собственноручными посвященіями художниковъ, литераторовъ, генераловъ и сановниковъ, на всѣ эти внѣшніе знаки дѣятельности—широкой, сильной, богатой содержаніемъ.

И размышлялъ о томъ, какъ собранное вмѣстѣ, все это дастъ великолѣпную картину жизни дядюшки, его кружка, эпохи, момента въ исторіи.

А если оставался одинъ въ кабинетѣ, то съ нѣжностью поглаживалъ письменный столъ, и розовое бюро съ рукописями, и думалъ: «мой, голубчики, мой!..» Но не могъ утерпѣть и похищалъ визитную карточку, ручку или скомканное письмо изъ-подъ стола въ корзинкѣ...

Такъ Обжогинъ собиралъ безъ содѣйствія дядюшки.

Но счастье не покидало его и раза три улыбнулось особенно привѣтливо.

У него въ коллекціи имѣлись «уники». Лежалъ серебряный, продавленный портсигаръ съ инициалами дядюшки, купленный у антикварія.

Имѣлся пробный оттискъ гравированнаго портрета. Граверъ увидалъ ошибку и поправилъ доску. Оттискъ былъ пробный и

ошибочный: но въ цѣломъ свѣтѣ существовалъ лишь одинъ подобный экземпляръ! А это цѣнится коллекціонерами.

Наконецъ, однажды въ воскресенье Обжогинъ увидалъ подъ Сухаревкой, неизвѣстно какъ сюда попавшій «Календарь для юристовъ» за два года, съ дѣловыми замѣтками дядюшки... И когда купилъ, то лукаво засмѣялся, былъ гордъ и хотѣлъ пойти и похвалиться передъ дядюшкой.

Такъ собиралъ Обжогинъ и былъ счастливъ, и, хотя было много возни и бѣготни, однако пополнѣлъ, и видъ получилъ, внушающій довѣріе.

И лицо его перестало походить на стерляжье, и все тѣло сдѣлалось похожимъ на бѣлушье.

Въ душу ему легло спокойное самосознаніе.

Онъ говорилъ супругѣ:

— У насъ въ роду все помѣщики, типичные дворяне: охотятся, разводятъ лошадей, свиней. А собственно интеллигентовъ только двое: я, да дядюшка!

Но случилось то, чего не ожидалъ Обжогинъ.

Знаменитый адвокатъ въ 67 лѣтъ, когда племяннику было сорокъ пять, скоропостижно умеръ. Онъ схватилъ острое воспаление легкихъ и болѣлъ съ недѣлю.

Обжогинъ зналъ о болѣзни дяди, но у его постели не былъ, такъ какъ вмѣстѣ съ прочими родственниками приглашался преимущественно въ случаяхъ официальныхъ: въ дни именинъ, въ большіе праздники.

Ибо родственники люди не всегда удобные, и ихъ часто отстраняютъ отъ самыхъ важныхъ и интимныхъ сторонъ жизни.

Услыхавъ о смерти дяди, Обжогинъ былъ пораженъ и огорченъ глубоко.

Но гдѣ-то въ тайникахъ души его вдругъ что-то запрыгало, затрепетало. Онъ думалъ о вещахъ, которыя перейдутъ въ коллекцію, и о томъ, что дядюшка ушелъ въ исторію и что исторія настала.

И, собираясь на панихиду, онъ сквозь печаль и горе, взволнованно сталъ улыбаться.

Такъ что жена, вся въ черномъ и заплаканная, смотрѣла на него съ укоромъ и раза два стыдила:

— Не хорошо! Не хорошо!

Федулъ Семеновичъ пришелъ на панихиду и тутъ узналъ...

Это былъ ударъ страшный, непоправимый!.. Знаменитый адвокатъ передъ смертью завѣщалъ свои рукописи, а вмѣстѣ съ ними и все другое цѣнное, письма и портреты съ посвященіями, своему ближайшему другу, прокурору палаты, чело-вѣку почти столь же умному, талантливому и почти знамени-тому...

Бюро изъ розоваго дерева и библіотека перешли къ наслѣд-никамъ, и не было видно, чтобы они желали разстаться съ этими вещами.

Впрочемъ, вспомнили и объ Обжогинѣ, и онъ получилъ ко-робку съ перьями, кожаный, истертый и пустой, бюваръ и нѣ-которыя части костюма.

Федула Семеновича вынесли запертво изъ комнаты, гдѣ у гроба пѣли и служили священники.

Обжогинъ не спалъ всю эту ночь. Онъ ходилъ по своему кабинету изъ угла въ уголъ, какъ въ угарѣ и, схватившись за волосы, рыдалъ.

Онъ спрашивалъ себя, какъ могъ онъ прозѣвать этого бли-жайшаго друга, талантливаго и умнаго, почти столь же знаме-нитаго?.. Отчего не догадался, не предвидѣлъ?

И, какъ обманутый любовникъ, слишкомъ поздно прозрѣвшій, сталъ ревновать къ прошлому: къ этой дружбѣ дядюшки и про-курора, къ тѣмъ бесѣдамъ, которыми обмѣнивались эти равно-правные умы, къ ихъ остротамъ, которыхъ онъ не слышалъ и не записалъ, ко всей ихъ жизни, къ которой его не допустили, и ко всему: къ ихъ обѣдамъ, ужинамъ, къ ихъ загороднымъ увеселеніямъ.

Онъ плакалъ и проклиналъ свою недалъновидность и свое отсутствіе жизни, свою неинтересность и ненужность, благодаря которыхъ его «не допустили».

И за внѣшними знаками, вещичками, которыя собираютъ коллекціонеры, въ его отуманенной, тяжелой головѣ, какъ ни-

когда заманчивыя и недоступныя, возникали видѣнія настоящей, живой и яркой жизни, которую онъ проглядѣлъ.

Онъ метался, билъ себя въ грудь и проклиналъ все, все, какъ неопытный и неудачный военный корреспондентъ, который заблудился и не попалъ на поле историческаго сраженія.

И потянулись дни, пустые и унылые.

Были заброшены дѣла въ конторѣ. Прислуга перестала впускать посѣтителей, а самъ хозяинъ сидѣлъ запершись, въ халатѣ, туфляхъ и нечесанный.

Такъ прошли недѣли.

Тогда жена, внимательно наблюдавшая мужа, сказала ему робко:

— Послушай... Чѣмъ сокрушаться... Есть адвокатъ одинъ, молодой, Надежинъ... Только что входитъ въ славу... Вотъ бы ты пособиралъ... Попробуй пока не поздно, чтобы не дать другимъ...

Федулъ Семеновичъ повелъ бровями, уставилъ взоръ, мутный и тяжелый, и прохрипѣлъ:

— Что?.. Ты, собственно, къ чему?..

Но тотчасъ въ головѣ его зашевелилась мысль, лѣнивая и неясная:

— А, вѣдь, пожалуй, что права!..

Тогда онъ очень разсердился и снова захрипѣлъ:

— Не растравляй!.. Не прикасайся!..

Но на слѣдующій день попробовалъ и купилъ портретъ Надежина.

И снова зашагалъ по лавкамъ. Съ разбитымъ сердцемъ, съ усмѣшкой надъ самимъ собой, но шагаль... Чтобы не думать о себѣ, уйти отъ меланхоли.

Однако, помня урокъ прошлаго и свой горькій опытъ, онъ на этотъ разъ рѣшилъ дѣйствовать прямѣе.

И въ одинъ прекрасный день поѣхалъ къ молодому адвокату, котораго задумалъ «собирать».

Смущенный, задыхаясь отъ волненія и еще отъ какого-то неяснаго чувства, похожаго на стыдъ, онъ добросовѣстно открылъ адвокату свою душу и сказалъ слѣдующее:

— Мнѣ сорокъ слишкомъ, а вамъ тридцать. У меня нѣтъ собственной жизни, а вы восходящая звѣзда... Я затоскую... Я, можетъ быть, съ ума сойду... Подайте руку... Приобщите къ вашей жизни, введите въ кругъ товарищей, въ бесѣды... Пусть я буду одинъ изъ вашихъ! Боже мой, я отстаю... Уходитъ жизнь... А долгъ каждого человѣка съ пониманіемъ и вкусомъ быть въ томъ, что есть наилучшаго въ его эпохѣ... Я уже старикъ, сѣдые волосы... Не оскорбляйте!..

Сверхъ всякихъ ожиданій молодое свѣтило не только не обидѣлось, но, напротивъ, отнеслось къ просьбѣ съ самымъ внимательнымъ сочувствіемъ.

Адвокатъ объявилъ Обжогину, что онъ весь къ его услугамъ, и тутъ же подарилъ ему гусиное перо, которымъ любилъ писать, далъ фотографическій портретъ и сдѣлалъ надпись.

Онъ разспросилъ подробно Федула Семеновича о его системѣ, подаль нѣсколько совѣтовъ, внесъ цѣнные поправки. Человѣкъ занятой, онъ не могъ принимать Обжогина ежедневно, но назначилъ часъ въ недѣлю, по вторникамъ—отъ 6 до 7 вечера.

И Обжогинъ сталъ ходить по вторникамъ.

— А все-таки я не промахъ,—говорилъ женѣ нотаріусъ:—устроился прекрасно! Заплясалъ молодчикъ подъ мою дудку!—и хохоталъ.

Адвокатъ шелъ навстрѣчу всѣмъ желаніямъ Обжогина, даже предупреждалъ ихъ... Дарилъ вещи съ письменнаго стола, ѣздилъ сниматься у фотографа во всѣхъ своихъ одеждахъ, переплеталъ тетрадки съ черновыми и собственноручно записалъ для Федула Семеновича свои удачнѣйшіе каламбуры.

И былъ такъ заинтересованъ собираніемъ, что два раза посѣтилъ нотаріуса на его квартирѣ: осмотрѣлъ коллекцію и тутъ же, къ изумленію Обжогина, изобрѣлъ новый образецъ коробки изъ картона съ клапаномъ.

И Федулъ Семеновичъ былъ въ восторгѣ.

Адвокатъ приглашалъ Обжогина и на собраніе друзей.

Сидя за ужиномъ въ компаніи людей, весело и остроумно говорившихъ, собиратель чувствовалъ, что онъ очень близокъ къ интересной жизни, къ кружку, который сыграетъ роль въ исторіи.

И не нуждался въ большей близости, такъ какъ большая близость тяготила бы его, была бы не подъ силу.

Адвокатъ такъ рекомендовалъ его пріятелямъ:

— Нашъ извѣстный историкъ адвокатуры: собираетъ материалы.

И, сидя молча и прислушиваясь, сѣдой нотариусъ не страдалъ, и на него не глядѣли косо: онъ получилъ мѣсто среди нихъ, для него создали роль.

Какъ-то разъ онъ даже разсказалъ шутливо, что во время оно его звали гумми-арабикомъ.

Это понравилось, но было принято, какъ шутка. Всѣ поняли, что такъ было въ молодости, а теперь онъ — «нашъ историкъ адвокатуры» и, конечно, въ сферахъ соотвѣтствующихъ *извѣстенъ*.

Послѣ такихъ собраний, переполненный впечатлѣніями, Федулъ Семеновичъ просиживалъ напролетъ ночи и обстоятельно записывалъ все, что *тамъ* было. Онъ велъ записки современника.

И эти годы были счастливѣйшіе въ жизни Обжогина.

Но случилось такъ, что въ 50 лѣтъ онъ умеръ въ то время, какъ тридцатипятилѣтній адвокатъ находился въ расцвѣтѣ своей славы.

Тогда преданная жена, вѣрившая въ призваніе мужа, какъ собирателя, стала ждать, что заинтересуется общество присяжныхъ повѣренныхъ и устроить витрину, или придуть знатоки и пріобрѣтутъ коллекцію.

Но вышло такъ, что общество не заинтересовалось, и знатоки не пришли, и въ музей ничего не взяли. Жена ждала годъ, и тогда пришелъ букинистъ, у котораго покупалъ Обжогинъ, далъ небольшую сумму, и жена была рада.

Молодой, знаменитый адвокатъ, узнавъ о смерти Федула Ивановича, очень огорчился: онъ былъ тронутъ, такъ какъ жалѣлъ, что нѣтъ больше собирателя.

И въ тотъ день, когда похоронили Обжогина, адвокатъ собралъ у себя друзей и говорилъ имъ рѣчь о собирателѣ.

«Вспомните скромнаго труженика,—приглашалъ ораторъ, и

голосъ его звучалъ сочувственно: — жизнь его была тускла, скучна, *Ибо у него совсѣмъ не было собственной жизни... Но дѣло каждого быть тамъ, идѣ есть жизнь...* Это былъ его принципъ. И онъ сумѣлъ найти то, что его приблизило... Онъ сталъ собирать жизнь чужую... Но нужно понять, господа, эту психологию своеобразнаго существа, собирающаго вещицки... Вѣдь, вмѣстѣ съ коллекціей растетъ и самъ собиратель. Это та же потребность распоряженія и власти, которая присуща всѣмъ живымъ...

«Нѣтъ только творчества: его замѣняетъ собираніе. А сколь многимъ имъ обязана исторія! Что было бы безъ нихъ? Чѣмъ удовлетворить любопытство поколѣній будущаго? Напримѣръ, кресло и перо Вольтера: развѣ не пріятно всѣмъ взглянуть на кресло и перо Вольтера?

«А все-таки изумительная способность у этихъ коллекціонеровъ жизни не попадать въ самое, такъ сказать, горнило жизни! Такъ и нашъ собиратель. О, сколько разъ онъ моргалъ глазами и еле успѣвалъ запоминать и слушать въ то время, какъ мы *жили*. Но что же дѣлать? Причина въ томъ, что *жизнь и собираніе жизни въ одномъ лицѣ не совмѣстимы*. Вѣдь, большинство героевъ самой кипучей дѣятельности не позаботились оставить по себѣ ни строчки мемуаровъ. Такіе люди знали цѣну жизни и спѣшили жить.

«Тѣ же, что жили скудно, усерднѣйшимъ образомъ описывали, но какъ многого и многого не описали!

«Такъ и мы съ вами, господа: конечно, мы поймемъ другъ друга! Мы знаемъ, что свое *умѣнье* жить не отдадимъ ни за какое прошлое и будущее, не промѣняемъ ни на какіе мемуары, исторіи и прочія «археологіи», ни даже на монументы!..»

Друзья, прослушавши рѣчь, очень оцѣнили ее, зашумѣли, зааплодировали и весело подняли бокалы за свою жизнь, за талантъ жизни, за яркое мгновеніе...

А на счетъ собирателя всѣ согласились, что достаточно помянули его, достаточно оживили его образъ въ своихъ доброжелательныхъ сердцахъ.

И никому не пришло въ голову, что рѣчь въ сущности была

погребальная, и что этой рѣчью адвокатъ навсегда похоронилъ своего Федула Семеновича, а съ нимъ вмѣстѣ и прочихъ собирателей.

А на слѣдующее утро жена Обжогина молилась надъ могилой мужа.

А адвокатъ блестяще защищалъ въ судѣ. И это была новая побѣда адвоката.

Во всѣхъ газетахъ были напечатаны его изображенія въ моментъ защиты. А на квартиру къ нему пріѣхалъ агентъ международной компаніи граммофоновъ, чтобы взять записъ съ рѣчи на пластинку.

И со всѣхъ концовъ земли потянулись къ адвокату фотографы, біографы и собиратели. И сотни людей стали кормиться и нашли жизнь около одного, обладавшаго талантомъ жизни.

И нѣкоторые изъ нихъ на буксирѣ за адвокатомъ переползли въ исторію.

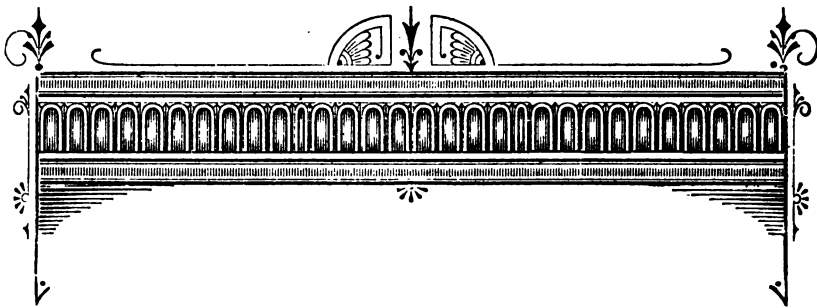
А года полтора спустя послѣ рѣчи адвоката подъ Сухаревкой, на воскресномъ торгѣ, все еще продавались вещи, собранныя Обжогинимъ. И букинистъ каждому любителю говорилъ: «такъ насобралъ одинъ кое-чего; не дорого возьму».

И нашелся покупатель, который далъ недорого. Это былъ толстый и лысый человѣкъ. Онъ служилъ въ казенномъ музеѣ древностей и, умирая отъ своей мертвой службы, покупалъ съ тоски все, что попадалось стараго.

И нѣкоторыя изъ вещичекъ перешли въ потомство.

Петръ Кожевниковъ.





Д р у г у.

Къ чему сомнѣнья и печали,
Къ чему, другъ, плакать обо всемъ,—
Еще съ тобой мы не устали
И сердцемъ свѣжи, и умомъ...

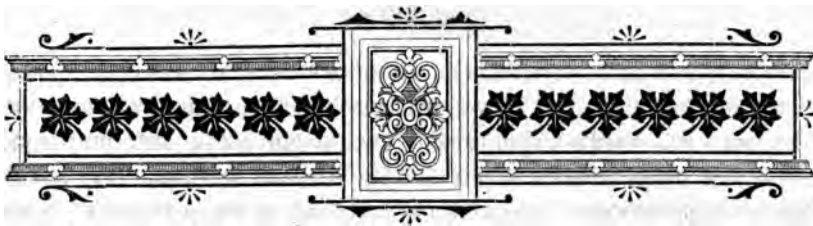
Впередъ свой бодрый шагъ направимъ,
Ни бѣдъ, ни горя не боясь,
И яркій свѣтъ свой мы оставимъ,
Чисты пройдемъ чрезъ жизни грязь...

Пускай кругомъ людей такъ мало,
Пусть уваженья къ правдѣ нѣтъ,
Но наша сила не пропала,
И не погасъ любви въ насъ свѣтъ!..

Ищи отрады, утѣшенья
Не въ людяхъ ты и не кругомъ,
Но тамъ внутри, въ святомъ стремленьи,
Въ борьбѣ съ неправдою и зломъ!..

Р. А. Виталинъ.





Изъ записной книжки.

КАРТИНКА.

I.

Ярко и весело свѣтитъ майское солнце, блестятъ непорочной чистоты зеленые листья недавно распустившихся деревьевъ, зеленымъ ковромъ стелется молодая трава. Перегоняя другъ друга, быстро несутся шумныя, бурливыя волны Роны; словно пушечные выстрѣлы доносятся изъ глубины горъ глухіе удары динамитныхъ взрывовъ, кукуетъ кукушка въ лѣсу.

Рядомъ со мной маленькое поле. Швейцарскій мужикъ только что положилъ свою кирку и завтракаетъ. Я смотрю, какъ онъ ѣстъ мясо и сыръ и какую-то зелень, пьетъ красное вино, весело болтаетъ съ дѣтьми и женой, сидящей тутъ же въ шляпкѣ съ перекрещенной на груди косынкой,—и мнѣ кажется, что это пикникъ и что снявшій сюртукъ господинъ съ трубочкой въ зубахъ пришелъ не работать, а дышать чистымъ воздухомъ, любоваться проснувшейся зеленью, снѣжными вершинами и бурно несущейся Роной. Вотъ онъ опрокидываетъ бутылку, допиваетъ послѣдній стаканъ и высоко поднимаетъ надъ головой своего мальчика, словно хочетъ показать ему сіяющую въдали бѣлую вершину Монблана. А дальше такіе же пикники, такіе же кавалеры безъ сюртуковъ и дамы въ шляпкахъ и группы дѣтей. Общество перебрасывается остротами на своемъ старинномъ «патуа», смѣется, веселится...

Кругомъ горы... Съ сѣвера, юга, востока и запада, громоздятся другъ на друга, съ темными лѣсами, сѣрыми скалами, бѣлыми снѣговыми вершинами, тѣсно окружили онѣ широкую долину и провожаютъ бурную Рону справа и слѣва туда, гдѣ скалы раздвинулись широкимъ оваломъ и въ зеленыхъ берегахъ, подъ синимъ небомъ нѣжится голубое Женевское озеро. Виноградныя лозы обвили сѣрыя скалы, зелеными пятнами ползуть по склонамъ фруктовые сады, въ тихихъ уголкахъ у подножія горъ пріютились веселыя деревни, какъ городки, и города, какъ деревни, красивые отели, изящныя виллы. Выются бѣлыя ленты шоссе, безшумно бѣгаютъ кругомъ долины маленькіе поѣзда,—у каждой деревни они на минуту останавливаются, берутъ и отдаютъ людей и товары и съ тихимъ посвистомъ бѣгутъ дальше къ слѣдующей деревушкѣ, къ слѣдующему городку.

Тамъ, выше, съ ревомъ несутся горные потоки и брызжутъ пѣной водопадъ, зеленѣютъ пышные луга, тянутся широкія площади обработанныхъ полей, кое-гдѣ по склонамъ горъ ютятся деревушки въ 8—10 домовъ. Большія швейцарскія коровы тяжело несутъ обремененныя молокомъ вымя; погромыхивая колокольчиками, прыгаютъ по утесамъ стройныя альпійскія козы. А еще выше темная ель утрюмыми рядами покрыла горы, стелются сугробы, и ледъ заковалъ маленькое горное озеро, и выюга носится надъ вершинами... Тамъ нѣтъ деревень, только рѣдкіе одинокіе домики красными и бѣлыми пятнами мелькаютъ по склонамъ горъ.

Я былъ въ одномъ изъ нихъ. Только что выстроенный маленький домикъ стоялъ на границѣ елей и сугробовъ и, какъ птичье гнѣздо, повисъ на утесѣ надъ глубокой пропастью, на днѣ которой, какъ зеленый звѣрь съ бѣлой гривой, прыгалъ съ камня на камень и грозно ревѣлъ горный потокъ. Какъ крики галчатъ, неслись дѣтскіе голоса въ открытыя окна бѣленькаго домика; милая дѣвушка съ сіяющими гордостью глазами показываетъ мнѣ переписанныя красивымъ почеркомъ ученическія тетради и все старается объяснить мнѣ, какъ хорошо рѣшаются въ ея школѣ ариѳметическія задачи и какія

рисуются географическія карты. Двѣнадцать партъ веселыхъ и смѣлыхъ дѣтскихъ глазокъ съ любопытствомъ разсматриваютъ меня. Я смотрю на пышущія здоровьемъ дѣтскія личики, слушаю, какъ весело и одушевленно поютъ они свой національный гимнъ,—и вторитъ имъ шумящая ель и несущійся на днѣ пропасти горный потокъ...

Я спускался внизъ; рядомъ со мной все ревѣлъ горный потокъ, прыгали съ утеса на утесъ альпійскія козы, замирая, шумѣла ель, а звенящіе дѣтскіе голоса, казалось, все неслись за мной изъ открытыхъ оконъ повисшаго надъ пропастью домика, который долго темною точкой виднѣлся вверху...

Внизу меня встрѣтили опять деревенскія дѣти, старшія дѣти. Они шли со своимъ учителемъ на прогулку, мѣряли землю, снимали планы, собирали ботаническія и зоологическія коллекціи. Я зналъ, что они скоро окончатъ свою школу и пойдутъ на отхожіе промыслы, куда уходятъ лишніе швейцарскіе люди,—учить и воспитывать русскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ дѣтей, заводить новыя дѣла въ новыхъ странахъ,—въ Южную Америку, на Яву и Суматру, на дикіе острова дикихъ морей, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вспоминалъ, какъ жители сосѣдняго протестантскаго кантона смѣялись надъ моей католической деревней и говорили мнѣ, что тамъ живутъ дикіе, отсталые, консервативные люди,—«les sauvages».

Въ деревнѣ было тихо. Чуть шумѣлъ фонтанъ на деревенской площади, улицы были пусты, въ открытыхъ окнахъ кафе виднѣлись одинокія фигуры иностранцевъ съ красными бедкерами въ карманахъ. У крыльца стараго дома, гдѣ я жилъ,—ему шло седьмое столѣтіе,—восьмидесятилѣтній старикъ копошился около маленькаго колеса, прилаженнаго къ проведенному отъ горнаго потока желобу, и по обыкновенію что-то мололъ, что-то пилил на своей крохотной мельницѣ.

Я усталъ ходить по горамъ, но не усталъ любоваться ими, и не перестаю думать все о томъ же, — объ этихъ горахъ, о людяхъ, живущихъ въ нихъ.

И у нихъ было суровое, студеное время... Бурные потоки размывали горы и обрушивались цѣлыя скалы, огромныя снѣж-

ныя лавины сметали сады и дома, губили людей и скоть, засыпали деревни. Съ сѣвера, юга, востока и запада, какъ снѣжныя лавины, спускались съ горъ полчища чужихъ людей, — шли римскіе легіоны, шли рати закованныхъ въ броню рыцарей, врывались нѣмцы, французы, итальянцы. Цѣлые вѣка звонъ оружія и громъ выстрѣловъ раздавались въ горахъ, и кровь красными струями обогрѣвала прозрачныя воды озеръ и бурливый волны Роны. Вѣка умиряли люди свои горы, бились швейцарскіе топоры и мечи о кованныя латы — и потомъ тихо и уютно стало въ зеленыхъ горахъ, веселыхъ долинахъ.

Грозные потоки несутъ теперь въ деревни электричество, приводятъ въ движеніе маленькія колеса домашнихъ мельницъ. Каменныя укрѣпленія сдерживаютъ снѣжныя лавины, и медленно таютъ сугробы въ горахъ, все лѣто открывая все новыя пастбища, свѣжіе луга.

Только оставшіеся съ тѣхъ давнихъ студеныхъ временъ старыя, разрушающіеся замки, какъ умирающіе коршуны, сидятъ на высокихъ скалахъ и потухающими глазами угрюмо смотрятъ на полныя жизни и радости цвѣтушія долины, да, какъ побѣдныя выстрѣлы, несутся глухіе удары изъ глубины горъ, — оттуда, гдѣ люди все бьются съ непокоренными остатками покоренныхъ горъ.

И чужіе люди все ѣдутъ изо всѣхъ концовъ міра въ уютныя долины, гдѣ не видно крѣпостей и солдатъ, не слышно грома выстрѣловъ, — ѣдутъ смотрѣть страну, гдѣ рядомъ лежатъ вѣчныя снѣга и зрѣютъ персики, растутъ ели и каштаны, гдѣ вмѣстѣ, какъ братья, живутъ кальвинисты, католики и лютеране, нѣмцы, французы, итальянцы и евреи, составляя союзъ мира и труда, образуя одну страну, одно отечество...

Я сказки вспоминаю — старыя дѣтскія сказки, — какъ добрый молодецъ добывалъ себѣ невѣсту-царевну, перелеталъ черезъ горы и лѣса, бился съ великанами и трехглавыми змїями, рѣшалъ мудренныя загадки, которыя задавали ему волшебники... Давно швейцарскій мужикъ нашелъ себѣ путь-дорогу, гдѣ «самъ сытъ и конь не голоденъ», давно побѣдилъ великановъ и трехглавыхъ змїевъ и добылъ себѣ невѣсту-царевну. Давно состо-

ить съ ней въ законномъ бракѣ и сидить дома, устраивая свое гнѣздо, воспитывая дѣтей... И мудренныя загадки рѣшилъ. Все такъ правильно и просто и неуклонно, какъ ложе Роны въ крутыхъ горахъ, и веселымъ аккордомъ звучить людской смѣхъ и дѣтскіе крики, и гимны, и шопотъ зеленыхъ листьевъ, и говоръ Роны, и дальніе выстрѣлы въ горахъ. Только тамъ, въ глубинѣ долины, кукушка все о чемъ-то тоскуетъ, мечтаетъ, чего-то ищетъ...

Одинъ по одному, съ кирками и лопатами на плечахъ идутъ мимо меня швейцарскіе мужики, веселые и довольные, какъ люди, прошедшіе хорошій день на открытомъ воздухѣ.

Я знаю, послѣ трудового дня они соберутся группами въ свои любимыя кафе и, потягивая вино, при свѣтѣ электрическихъ лампъ будутъ читать газеты и обсуждать дѣла своей общины, кантона и федеральнаго союза. И непременно поднимется споръ все о томъ же, что вотъ уже вторую недѣлю занимаетъ умы моей деревушки: о выкупѣ государствомъ желѣзныхъ дорогъ. Будутъ говорить pro и contra, но я знаю, къ чему придетъ большинство. Федеральнѣйшій советъ хочетъ ловкимъ манеромъ провести общины... О, они отлично понимаютъ эти махинаціи! Онѣ желаютъ имѣть въ своемъ распоряженіи много денегъ и цѣлую армію служащихъ и вліять на выборы... Въ газетахъ уже появился слухъ, что онѣ собираются даже медицину сдѣлать государственнымъ учрежденіемъ и предоставить населенію бесплатное лѣченіе, очевидно, онѣ пытаются сосредоточить въ своихъ рукахъ всѣ функціи и всю власть и постепенно отобрать у общинъ и кантоновъ ихъ вольности и прерогативы. А потомъ заведетъ настоящую армію, какъ въ другихъ странахъ, и будетъ дѣлать политику... Да, но они, *bons valaisans*, потребуютъ референдума и сумѣютъ своимъ властнымъ «поп» отвѣтить на хитрые происки федеральнаго совета! На этомъ пунктѣ всѣ сойдутся и будутъ говорить, какъ опасно давать много воли федеральному совету и какъ ревниво нужно беречь вольности общинъ и кантоновъ... Поговорятъ и о томъ, что дѣлается и въ другихъ государствахъ,—тамъ, куда ушли на отхожіе промысла ихъ братья и сестры, сыновья и дочери.

А потомъ разойдутся и отправятся въ свои старинные дома и мирнымъ сномъ довольныхъ, сытыхъ людей уснуть на старыхъ кроватяхъ, на которыхъ спали ихъ дѣды и прадѣды,— тѣ, которые бились съ горами и рыцарями, устраивали своимъ внукамъ тишину и уютъ этихъ домовъ и научили ихъ говорить «поп» и «оці» въ отвѣтъ на вопросы, которые ставятъ жизнь...

Солнце зашло за горы и темныя извитыя линіи прорѣзали долину. Тяжелыя облака ползли съ вершинъ, густыми клубами окутывали горы, деревни и города,—и сіяющая долина Роны померкла, и все стало смутно, сѣро и печально. Безлюдно и тихо кругомъ, только кукушка, казалось, еще громче и печальнѣе куковала свою вѣчную пѣсню.

И я все думалъ: что она ищетъ, о чемъ тоскуетъ въ этой странѣ довольныхъ людей, гдѣ все такъ ясно и правильно?

С. Елпатьевскій.





Прототипы Базарова.

(По поводу 40-лѣтія „Отцовъ и Дѣтей“ Тургенева и 20-лѣтія смерти его.)

15-го іюля 1861 года Тургеневъ записалъ въ своемъ дневникѣ: «Часа полтора тому назадъ я кончилъ, наконецъ, свой романъ... Не знаю, каковъ будетъ успѣхъ. «Современникъ», вѣроятно, оболъетъ меня презрѣніемъ за Базарова и не повѣритъ, что во все время писанія я чувствовалъ къ нему невольное влеченіе» *).

Извѣстно, какъ съ избыткомъ оправдались опасенія Тургенева. Успѣхъ романа, по словамъ современника, «далеко превзошелъ все доселѣ совершавшееся въ русскомъ литературномъ мірѣ, издавшемъ много успѣховъ», но авторъ «Записокъ Охотника», «Рудина», «Наканунѣ» и «Дворянскаго гнѣзда» изъ самаго популярнаго и любимаго писателя сталъ опальнымъ и притомъ не у одного «Современника», но у большей части русскаго общества. «Я испытывалъ тогда,—вспоминалъ, семь лѣтъ спустя, Тургеневъ,—впечатлѣнія хотя разнородныя, но одинаково тягостныя... Въ то время, какъ одни обвиняли меня въ оскорбленіи молодого поколѣнія, въ отсталости, въ мракобѣсіи, извѣщали

*) Полное собраніе сочиненій И. С. Тургенева, изд. „Нивы“, т. XII, стр. 93. Дальше вездѣ цитируются сочиненія Тургенева по этому изданію, подъ названіемъ „сочиненія“.

меня, что съ «хохотомъ презрѣнія» сжигаютъ мои фотографическія карточки,—другіе, напротивъ, съ негодованіемъ упрекали меня въ низкопоклонствѣ передъ самымъ этимъ молодымъ поколѣніемъ. «Вы ползаете у ногъ Базарова!—восклицалъ одинъ корреспондентъ:—вы только притворяетесь, что осуждаете его; въ сущности, вы заискиваете передъ нимъ и ждете, какъ милости, одной его небрежной улыбки»... На мое имя легла тѣнь *).

Отсылая за подробностями этой бури на страницахъ журналовъ къ г. Зелинскому **), съ своей стороны, напомнимъ только отношеніе къ ней Тургенева. Въ 1869 году, когда эта литературная буря затихла, онъ въ статьѣ «По поводу «Отцовъ и Дѣтей»» попытался—было объясниться съ публикой на счетъ Базарова, но этимъ только подлил масла въ потухавшій огонь. Статью сочли заискиваніемъ у молодого поколѣнія. Послѣ этого, Тургеневъ еще разъ рассчитывалъ измѣнить отношеніе общества къ себѣ другимъ своимъ большимъ романомъ—«Новью».—«Ну, а теперь,—писалъ онъ 3 января 1876 года Салтыкову,—скажу два слова и объ «Отцахъ и Дѣтяхъ», такъ какъ вы о нихъ говорите. Неужели вы полагаете, что все, въ чемъ вы меня упрекаете, не приходило мнѣ въ голову? Оттого мнѣ и не хотѣлось бы исчезнуть съ лица земли, не кончивъ моего большого романа, который, сколько мнѣ кажется, разъяснилъ бы многія недоразумѣнія и самого меня поставилъ бы такъ и тамъ, какъ и гдѣ мнѣ слѣдуетъ стоять» ***). Оправдались ли и эти расчеты Тургенева, это лучше всего видно изъ его «Предисловія» къ собранію его романовъ 1880 года. «Вотъ уже семнадцать лѣтъ прошло,—подводитъ итогъ онъ здѣсь,—со времени появленія «Отцовъ и Дѣтей», а, сколько можно судить, взглядъ критики на это произведеніе все еще не установился, и не далѣе, какъ въ прошломъ году, я по поводу Базарова могъ про-

*) Сочиненія, т. XII, стр. 97—99.

**) См. его Критическіе разборы романа „Отцы и Дѣти“ Тургенева.

***) Первое собраніе писемъ И. С. Тургенева, стр. 278. Дальше оно цитируется подъ названіемъ „Письма“.

честь въ одномъ журналѣ, что я не что иное, какъ баши-бузукъ, добивающій не имъ раненныхъ» *).

Въ мартѣ прошлаго года истекло 40 лѣтъ со времени появленія «Отцовъ и Дѣтей» въ печати, а 22-го августа настоящаго года исполнится ровно двадцать лѣтъ со дня смерти Тургенева. За эти послѣдніе годы появилось много цѣннаго біографическаго и бібліографическаго матеріала о немъ. Несмотря на это, не только журнальные критики, но и признанные историки нашей литературы: г. Пыпинъ при обзорѣ публицистической дѣятельности Салтыкова **), г. Скабичевскій въ «Исторіи новѣйшей русской литературы» ***), г. Ивановъ въ «Жизни и творчествѣ И. С. Тургенева» ****) и другіе, много разъ повторяли старые взгляды и старые унреки по отношенію къ «Отцамъ и Дѣтямъ», и въ то же время не появилось въ сущности ни одного новаго сужденія объ этомъ, больше всего могущемъ характеризовать Тургенева, его произведеніи. Какъ понимать этотъ фактъ? Признать ли, что и исторія стала на сторону современниковъ Тургенева, или же—что всѣ эти «исторіи»—еще не исторіи?

Отвѣтъ на это можетъ дать все-таки только исторія, т.-е. изученіе «Отцовъ и Дѣтей» съ исторической точки зрѣнія. Изслѣдованіе генеалогіи, по крайней мѣрѣ, главнаго героя этого романа лучше всего можетъ освѣтить правдивость этого образа и значеніе тѣхъ историческихъ событій, которыя воплощены въ немъ. Надо констатировать, что произведенія Тургенева и въ особенности Базаровъ такому изслѣдованію не подвергались и, безъ сомнѣнія, потому, что такая точка зрѣнія вообще не популярна въ нашей литературѣ. Единственное исключеніе изъ этого представляетъ статья самого Тургенева «По поводу «Отцовъ и Дѣтей»», которой онъ попытался-было привлечь критику этого романа на историческую почву, но которая, какъ уже сказано, такъ и осталась «гласомъ вопіющаго въ пусты-

*) Сочин., т. II, стр. VII.

**) „М. Е. Салтыковъ“, стр. 53—55, 157—158 и 170—176.

***) Стр. 125—126.

****) Стр. 225—232.

нѣ». «Не однажды,—писалъ онъ здѣсь,—слышалъ я и читалъ въ критическихъ статьяхъ, что я въ своихъ произведеніяхъ «отправляюсь отъ идеи» или «провожду идею»; иные меня за это хвалили, другіе, напротивъ, порицали; съ своей стороны, я долженъ сознаться, что никогда не покушался «создавать образъ», если не имѣлъ исходною точкою не идею, а живое лицо, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы... Точно то же произошло и съ «Отцами и Дѣтьми». — Такимъ образомъ оказывается, что Тургеневъ въ своей творческой работѣ, точно ученый, отправлялся отъ дѣйствительности, отъ «живыхъ лицъ», отъ наблюденія. — «Эта жизнь *такъ* складывалась, — продолжаетъ онъ,—говорилъ мнѣ (при созданіи Базарова) опыты, можетъ быть, ошибочный, но, повторяю, добросовѣстный; мнѣ нечего было мудрить, и я долженъ былъ именно *такъ* нарисовать его фигуру. Личныя мои наклонности тутъ ничего не значать» *). Выходитъ далѣе, что не только матеріалъ для своихъ произведеній Тургеневъ почерпалъ изъ одного съ учеными источника—изъ «опыта», но и въ обработкѣ этого матеріала слѣдовалъ одинаковому съ научнымъ методу. Какъ ученые, поскольку они ученые, при своихъ изслѣдованіяхъ отвлекаются отъ личныхъ «*idola*», предвзятыхъ взглядовъ и слѣдуютъ только фактамъ и логикѣ, такъ и Тургеневъ въ своемъ творествѣ отрѣшался отъ «личныхъ своихъ наклонностей» и слѣдовалъ лишь «опыту» и, такъ сказать, художественной логикѣ. Но мало того: изъ вышеупомянутаго письма Тургенева къ Салтыкову видно, что при созданіи Базарова онъ больше, чѣмъ когда-либо, находился во власти этихъ не зависящихъ отъ воли художника стимуловъ. «Не удивляйтесь, впрочемъ,—писалъ онъ,—что Базаровъ остался для многихъ загадкой; я самъ не могу хорошенько себѣ представить, какъ я его написалъ. Тутъ былъ, не смѣйтесь пожалуйста, какой-то фатумъ, что-то сильнѣе самого автора, что-то независимое отъ него. Знаю одно: никакой предвзятой мысли, никакой тенденціи во мнѣ тогда не было; я писалъ наивно, словно самъ дивяся тому,

*) Сочин., т. XII, стр. 95.

что у меня выходило». Послѣ этого не удивительно, если Тургеневъ въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» достигъ того, что въ учебникахъ словесности называли бы идеаломъ эпической поэзіи, и чего не достигали ни другіе наши писатели, ни самъ онъ въ предыдущихъ своихъ произведеніяхъ,—«въ самый моментъ появленія *новаго* человѣка, Базарова, отнесся къ нему критически... объективно», т.-е. не привнесъ въ изображеніе его ни «симпатій, ни антипатій» своихъ, несмотря даже на то, что «во все время писанія чувствовалъ къ нему невольное влеченіе» *). Итакъ, по словамъ Тургенева, «элементы» Базарова взяты изъ «опыта», изъ тогдашней жизни и скомбинированы такъ, какъ слагались въ самой жизни. Какъ ни совпадаетъ этотъ выводъ съ непосредственнымъ впечатлѣніемъ отъ этого живого и правдиваго образа, здѣсь можетъ послѣдовать возраженіе: «Но, вѣдь, все это говоритъ самъ Тургеневъ и притомъ по отношенію къ Базарову своимъ противникамъ». Поэтому, чтобы провѣрить слова Тургенева, слѣдуетъ прослѣдить детальнѣе и дальше процессъ созданія Базарова посмотрѣть, изъ какого же именно «опыта», изъ какихъ дѣйствительныхъ историческихъ «элементовъ» онъ сложенъ. Вотъ, что рассказываетъ Тургеневъ въ той же статьѣ «По поводу «Отцовъ и Дѣтей»» о происхожденіи ихъ:

„Я бралъ морскія ванны въ Вентнорѣ, маленькомъ городкѣ на островѣ Уайтѣ—дѣло было въ августѣ мѣсяцѣ 1860-го года,—когда мнѣ пришла въ голову первая мысль „Отцовъ и Дѣтей“... Въ основаніе главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинціального врача. (Онъ умеръ незадолго до 1860-го года). Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось, на мои глаза, то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма. Впечатлѣніе, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и въ то же время не совсѣмъ ясно; я, на первыхъ порахъ, самъ не могъ хорошенько отдать себѣ въ немъ отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, какъ бы желая провѣрить правдивость (собственныхъ) ощущеній. Меня смущалъ слѣдующій фактъ: ни въ одномъ произведеніи нашей литературы я даже намека не встрѣчалъ на то, что мнѣ чудилось повсюду; поневолѣ возникало сомнѣніе: ужъ не за призракомъ ли я гонюсь? Помнится, вмѣстѣ со мною на островѣ Уайтѣ жилъ одинъ русскій чело-

*) Тамъ же.

вѣкъ, одаренный весьма тонкимъ вкусомъ и замѣчательною чуткостью на то, что покойный Аполлонъ Григорьевъ называлъ „вѣяніями“ эпохи. Я сообщилъ ему занимавшія меня мысли и съ нѣмымъ изумленіемъ услышалъ слѣдующее замѣчаніе: „Да вѣдь ты, кажется, уже представилъ подобный типъ... въ Рудинѣ?“ Я промолчалъ: что было сказать? Рудинъ и Базаровъ—одинъ и тотъ же типъ!—Эти слова такъ на меня подѣйствовали, что въ теченіе нѣсколькихъ недѣль я избѣгалъ всякихъ размышленій о затѣянной мною работѣ; однако, вернувшись въ Парижъ, я снова принялся за нее: *фабула* понемногу сложилась въ моей головѣ: въ теченіе зимы я написалъ первыя главы, но кончилъ повѣсть уже въ Россіи, въ деревнѣ, въ іюлѣ мѣсяцѣ. Осенью я прочелъ ее нѣкоторымъ пріятелямъ, кое-что исправилъ, дополнилъ, и въ мартѣ 1862-го года „Отцы и Дѣти“ явились въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ *).

При бѣгломъ чтеніи этотъ отрывокъ производитъ то впечатлѣніе, что Базаровъ—фотографія умершаго провинціального врача, котораго дальше Тургеневъ называетъ «докторомъ Д.» **). Въ самомъ дѣлѣ: разъ личность этого врача была «замѣчательная», «воплощала» нарождавшееся новое начало, не естественно ли заключить, что Тургеневу оставалось только «срисовать» ее? Однако, помимо того, что слишкомъ ужъ типична фигура Базарова для того, чтобы быть фотографіей, такой выводъ не оправдывается и при болѣе внимательномъ чтеніи разсказа Тургенева. Уже изъ того признанія его, что въ основѣ его образовъ всегда лежало какое-нибудь «живое лицо, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы», и что «точно то же произошло и съ «Отцами и Дѣтьми»,—такъ уже изъ этого слѣдуетъ, что къ впечатлѣнію, полученному отъ доктора Д., при созданіи Базарова были «примѣшаны и приложены» и иные элементы. И, дѣйствительно, середина приведеннаго отрывка вполне подтверждаетъ этотъ выводъ. Отсюда оказывается, что «впечатлѣніе, произведенное на Тургенева этою личностью», было хотя «очень сильно», но «въ то же время» настолько «неясно», что «на первыхъ порахъ» Тургеневъ «самъ не могъ хорошенько отдать себѣ въ немъ отчета и на-

*) Сочин., т. XII, стр. 91—92.

**) Г. Буренинъ въ своей книжкѣ „Литературная дѣятельность Тургенева“ называетъ его Дмитріевымъ.

пряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что его окружало, какъ бы желая провѣрить правдивость собственныхъ ощущеній». И такъ-какъ всѣ эти сомнѣнія, колебанія, уясненія и провѣрки впечатлѣнія, полученнаго отъ Д., волновали Тургенева, когда Д. уже не было въ живыхъ и когда работа была уже «затѣяна», то, очевидно, докторъ Д. могъ дать для этой работы развѣ только сюжетъ, главный остовъ «фабулы» и послужить именно лишь «основаніемъ», исходной точкой при созданіи Базарова; разъяснившіе же полученное отъ него впечатлѣніе элементы заимствованы были Тургеневымъ уже послѣ смерти Д. изъ другихъ источниковъ,—изъ «окружающаго», какъ говоритъ Тургеневъ. Итакъ, подлинная, заимствованная изъ первоисточника исторія происхожденія Базарова подтверждаетъ получаемое отъ него непосредственное впечатлѣніе, что это—образъ сложный, сплоченный изъ почерпнутыхъ въ разныхъ источникахъ элементовъ—типъ. Но если такъ, то возникаетъ дальнѣйшій вопросъ: какія же именно другія, кромѣ полученнаго отъ врача Д., дѣйствительно пережитыя Тургеневымъ впечатлѣнія вошли въ Базарова?

Какъ мы видѣли, въ воспоминаніяхъ Тургенева на этотъ вопросъ нѣтъ отвѣта; но здѣсь приходятъ на помощь его письма. Между многими, сыпавшимися на Тургенева послѣ появленія «Отцовъ и Дѣтей» филиппиками, получено было имъ письмо одного гейдельбергскаго русскаго студента, который отъ лица своихъ русскихъ товарищей и вообще случившихся въ то время въ Гейдельбергѣ русскихъ также обрушивался на Тургенева за Базарова и за его «намѣренія». Отвѣчая 14 апрѣля 1862 года изъ Парижа на это письмо, Тургеневъ бросаетъ нѣсколько хотя краткихъ, но весьма цѣнныхъ данныхъ для исторіи происхожденія «Отцовъ и Дѣтей». Цѣнность ихъ увеличивается тѣмъ болѣе, что они писаны, въ противоположность статьѣ «По поводу «Отцовъ и Дѣтей»», черезъ 1½ мѣсяца послѣ появленія въ печати этого романа, значить, при свѣжихъ воспоминаніяхъ о процессѣ писанія его и, судя по перепискѣ Тургенева, кажется, до прочтенія извѣстной статьи Антоновича, повидимому, заставившей Тургенева замкнуться. Чтобы не показались

наши выводы произвольными и въ виду того, что письмо это пригодится намъ дальше, позволяемъ себѣ привести его здѣсь почти полностью.

„Во всякомъ случаѣ,—писалъ Тургеневъ,—я бы очень желалъ, чтобы не было недоразумѣній на счетъ моихъ *намерений*. Отвѣчаю по пунктамъ:

1) Первый упрекъ напоминаетъ обвиненіе, дѣлаемое Гоголю и др., зачѣмъ не выводятся хорошіе люди въ числѣ дурныхъ. Базаровъ все-таки подавляетъ всѣ остальные лица романа (Катковъ находить, что я въ немъ представилъ апофеозу „Современника“). Приданныя ему качества не случайны. Я хотѣлъ сдѣлать изъ него лицо трагическое: тутъ было не до нѣжностей. Онъ честенъ, правдивъ и демократъ до конца ногтей. А вы не находите въ немъ *хорошихъ* сторонъ. „Stoff und Kraft“ онъ рекомендуетъ именно какъ популярную, т.-е. пустую книгу; дуэль съ Павломъ Петровичемъ именно введена для нагляднаго доказательства пустоты элегантно-дворянскаго рыцарства, выставленнаго почти преувеличенно-комически; и какъ бы онъ отказался отъ нея: вѣдь Павелъ Петровичъ его побилъ бы.—Базаровъ, по-моему, постоянно разбиваетъ Павла Петровича, а не наоборотъ, и если называется нигилистомъ, то надо читать: революционеромъ.

2) То, что сказано объ Аркадіѣ, о реабилитированіи отцовъ и т. д., показываетъ только—виноваты!—что меня не поняли. *Вся моя повѣсть направлена противъ дворянства, какъ передового класса*. Вглядитесь въ лица Николая Петровича, Павла Петровича, Аркадія. Слабость и вялость, или ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно *хорошихъ* представителей дворянства, чтобы тѣмъ вѣрнѣе доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко? Взять чиновниковъ, генераловъ, грабителей и т. д. было бы грубо, *le point аих аms*, и невѣрно. Всѣ истинные *отрицатели*, которыхъ я зналъ—безъ исключенія—(Бѣлинскій, Бакунинъ, Герценъ, Добролюбовъ, Стѣшневъ и т. д.) происходили отъ сравнительно добрыхъ и честныхъ родителей, и въ этомъ заключается великій смыслъ: это отнимаетъ у *дѣтелей*, у отрицателей всякую тѣнь *личнаго* негодованія, личной раздражительности. Они идутъ по своей дорогѣ потому только, что болѣе чутки къ требованіямъ народной жизни. Графчикъ С—съ не правъ, говоря, что лица, подобныя Николаю Петровичу и Павлу Петровичу,—наши дѣды: Николай Петровичъ, это—я, Огаревъ и тысячи другихъ; Павелъ Петровичъ—Столыпинъ, Есаковъ, Боссетъ — тоже наши современники. Они лучше изъ дворянъ и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать ихъ несостоятельность. Представить съ одной стороны взяточниковъ, а съ другой идеальнаго юношу — эту картину пускай рисуютъ другіе... Я хотѣлъ большаго. Базаровъ въ одномъ мѣстѣ у меня говоритъ (я это выпустилъ для цензуры) Аркадію, тому самому Аркадію, въ которомъ ваши гейдельбергскіе товарищи видѣли *болѣе удачный типъ*: „Твой отецъ честный малый; но будь онъ разперевзятчикъ, ты все-таки дальше бла-

городного смиренія или кипѣнія не пошелъ бы, потому что ты дворянинъ...“

Оканчиваю слѣдующимъ замѣчаніемъ: „если читатель не *полюбитъ* Базарова со всею его грубостью, безсердечностью, безжалостной сухостью и рѣзкостью, если онъ его не полюбитъ, повторяю я—я виноватъ и не достигъ своей цѣли. Но разсыропиться, говоря его словами, я не хотѣлъ, хотя черезъ это я бы, вѣроятно, тотчасъ имѣлъ молодыхъ людей на моей сторонѣ. Я не хотѣлъ накупаться на популярность такого рода уступками. Лучше проиграть сраженіе (и кажется я его проигралъ), чѣмъ выиграть его уловкой. Мнѣ мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая изъ почвы, сильная, злобная, честная и все-таки обреченная на гибель, потому что она все-таки стоитъ еще въ преддверіи будущаго: мнѣ мечтался какой-то странный pendant съ Пугачевымъ и т. д.“ *).

Вдумываясь въ эти строки, находишь ихъ какъ бы продолженіемъ вышеприведеннаго отрывка изъ воспоминаній Тургенева „По поводу «Отцовъ и Дѣтей»“. Въ послѣднемъ Тургеневъ говоритъ, что въ докторѣ Д. воплотилось и въ Базаровѣ изображено имъ едва народившееся начало, но (безъ сомнѣнія, въ виду цензурныхъ условій) начала этого не характеризуетъ; здѣсь же, въ частномъ и притомъ заграничномъ письмѣ, онъ исполнѣ откровененъ. Здѣсь онъ прямо говоритъ, что «вся его повѣсть направлена»—конечно, въ лицѣ ея героя, «демократа до конца ногтей»—«противъ дворянства, какъ передового класса». А такъ какъ въ 1859 г., когда происходитъ дѣйствіе романа,—до реформъ весь строй нашей русской жизни былъ приспособленъ къ господству дворянства, то выражаемое Базаровымъ демократическое начало, дѣйствительно, должно было тогда являться и «революціоннымъ». Точно также въ статьѣ „По поводу «Отцовъ и Дѣтей»“ Тургеневъ сообщая, что точность полученнаго отъ Д. впечатлѣнія старался провѣрить и восполнить изъ окружающаго, не указываетъ, изъ какихъ же именно источниковъ; въ письмѣ же, по нашему, разъясняется и этотъ пробѣлъ. Оказывается, что Тургеневъ, «пораженный» въ лицѣ доктора Д. нарождавшимся и чудившимся ему повсюду демократическимъ началомъ, по его собственнымъ словамъ въ статьѣ «По поводу «Отцовъ и Дѣтей»», съ одной стороны,

*) Письма, стр. 104—107.

«чувствовалъ къ нему невольное влеченіе», съ другой—«самъ не зналъ, любить ли его или нѣтъ». Дѣло въ томъ, что для Тургенева, какъ для истиннаго поэта, для котораго каждое его произведеніе—фактъ въ его личной жизни, стать на сторону этого начала значило, по собственному его признанію въ той же статьѣ, «казнить самого себя, свои недостатки». Рѣшившись, въ концѣ-концовъ, какъ сейчасъ увидимъ, на это, Тургеневъ за то вмѣстѣ съ тѣмъ задался цѣлью выиграть этому началу полную побѣду. Онъ рѣшилъ сопоставить, съ одной стороны, «сливки» дворянскаго сословія, съ другой—типъ «истиннаго отрицателя», отнесся при этомъ къ нему «критически... объективно», т.-е. изобразивши его со всею реальностью, — со всею его «честностью, правдивостью», «грубостью, безсердечностью», — словомъ, со всеми его «худыми и хорошими сторонами». Руководимый, по нашему, не только «эстетическимъ чувствомъ», но и глубокимъ общественно-историческимъ смысломъ, Тургеневъ разсуждалъ при этомъ такъ, что если въ виду даже лучшихъ сторонъ дворянства «читатель полюбитъ», отдастъ однако же предпочтеніе изображенному такимъ образомъ представителю демократизма со всеми его крайностями, то тогда онъ «достигъ своей цѣли», достигъ «большаго», чѣмъ когда бы «представилъ съ одной стороны взяточниковъ, а съ другой—идеальнаго юношу». И вотъ, задавшись такою большою цѣлью, Тургеневъ для созданія Николая и Павла Петровичей Кирсановыхъ «выбираетъ» и отвлекаетъ типическія черты отъ «лучшихъ изъ дворянъ»: Огарева, Столыпина и т. д. до своихъ собственныхъ дворянскихъ чертъ включительно, при созданіи же Базарова «прислушивается и приглядывается ко «всеми истиннымъ отрицателямъ, которыхъ онъ знаетъ безъ исключенія: къ Бѣлинскому, Бакунину, Герцену, Добролюбову, Спѣшневу *) и т. д.»

Ну, вотъ, благодаря самому Тургеневу, мы и у самыхъ первоначальныхъ элементовъ, у историческихъ прототиповъ глав-

*) Къ великому сожалѣнію, кромѣ краткихъ свѣдѣній въ воспоминаніяхъ Пассека, Акшарумова и Вѣдоголоваго, о Спѣшневѣ намъ ничего неизвѣстно; поэтому въ дальѣйшемъ изложеніи намъ приходится опустить его изъ виду совершенно.

ныхъ дѣйствующихъ лицъ «Отцовъ и Дѣтей». Только, пожалуй, читатель и подведенный къ этимъ историческимъ элементамъ остановится передъ ними, на первый разъ, все-таки въ недоумѣніи и недоумѣніи. Прежде всего онъ, навѣрно, обратитъ вниманіе на то обстоятельство, что вышеприведенные отрывки изъ статьи и письма Тургенева значительно разнятся между собою по цѣли, а отсюда и по характеру. Въ статьѣ Тургеневъ *разсказываетъ исторію* возникновенія «Отцовъ и Дѣтей», въ письмѣ же *защищаетъ* свои художественныя комбинаціи въ этомъ романѣ. Очевидно, въ послѣднемъ онъ могъ указать и такія основанія этихъ комбинацій, которыхъ не имѣлъ въ виду при созданіи послѣднихъ. Безъ сомнѣнія, могъ; но все-таки предпочесть это предположеніе обратному—значило бы предпочесть менѣе вѣроятное вполне вѣроятному. Въ самомъ дѣлѣ: мы видѣли, что Тургеневъ при писаніи «Отцовъ и Дѣтей» долго колебался, много «проверялъ» правдивость собственныхъ ощущеній», и потому не естественнѣе ли ему было, когда пришлось защищать свои поэтическія обобщенія, привести первоначально легшія въ основу ихъ и долго взвѣшиваемыя основанія, чѣмъ, умалчивая о нихъ, измыслить и притомъ скороспѣло новыя. Да противъ того, что характерныя черты Огарева, Боскета, а въ особенности самого Тургенева, послужили послѣднему матеріаломъ для созданія братьевъ Кирсановыхъ, читатели, со словъ критиковъ Тургенева, безъ сомнѣнія, не станутъ и спорить. Точно также они допустятъ и то, что въ Базарова вошли нѣкоторыя черты Добролюбова. Вѣдь, не даромъ же нѣкоторое время циркулировало въ нашемъ обществѣ убѣжденіе, что Базаровъ — это, по однимъ, карриатура, по другимъ—апоеоза знаменитаго критика. Но неужели для Базарова было заимствовано что-нибудь и отъ Бакунина, и отъ Герцена, и, что еще менѣе вѣроятно, отъ Бѣлинскаго, того самаго Бѣлинскаго, котораго мы знаемъ по существующимъ изслѣдованіямъ о немъ?

Отвѣтить на этотъ вопросъ, безспорно, можно лучше всего, отвѣтивши на другой вопросъ: какія именно черты какихъ изъ вышеназванныхъ «отрицателей» были взяты Тургеневымъ для Базарова? Но прежде, чѣмъ приступить къ этому вопросу, надо

предварительно уяснить поставленную Тургеневымъ при обрисовкѣ Базарова задачу. Какъ мы уже видѣли, задача эта очень широкая: изображеніе, воплощеніе въ этомъ типѣ цѣлаго жизненнаго начала, общественнаго направленія—*демократизма*. Но еще больше задача эта расширяется тѣмъ, что Тургеневъ при рѣшеніи ея не ограничивался современностью, а старался по-смотреть на нее съ исторической точки зрѣнія. Какъ видно изъ гейдельбергскаго его письма, онъ ставилъ въ связь изображаемое имъ начало даже съ Пугачевымъ. Наконецъ, на эту же широту задачи, безъ сомнѣнія, вліяла,—хоть въ то же время, конечно, и сама обуславливалась этой широтой,—и избранная Тургеневымъ форма «Отцовъ и Дѣтей», — форма романа. Эта форма обязывала его не только охарактеризовать явленіе, но и прослѣдить его генезисъ и развитіе. Если же такъ, то почему бы Тургеневу, по крайней мѣрѣ, при изображеніи зарожденія у насъ демократическаго движенія, не принять въ расчетъ названныхъ дѣятелей 40-хъ гг. и въ томъ числѣ Бѣлинскаго? Не люди ли этихъ годовъ впервые ввели и выдвинули въ литературѣ народные интересы, и не первый ли Бѣлинскій превознесъ и популяризировалъ «Деревню» и «Антонъ Горемыку» Григоровича и первые очерки «Записокъ охотника»? Но здѣсь слѣдуетъ принять въ соображеніе еще одно обстоятельство. Дѣло въ томъ, что, по нашему мнѣнію, аргументировать которое здѣсь было бы неумѣстно, поэтъ истинно-художественные образы можетъ создавать лишь изъ элементовъ близко, детально, такъ сказать, органически ему знакомыхъ и положительно или отрицательно, но глубоко задѣвающихъ его за живое. Съ этой точки зрѣнія и при равенствѣ прочихъ условій, отрицатели 40-хъ гг., безспорно, имѣли больше шансовъ играть роль при созданіи Базарова, чѣмъ отрицатели послѣдующихъ годовъ и даже Добролюбовъ. Съ послѣднимъ Тургеневъ, по его собственнымъ словамъ, «почти не видался»; близкая же дружба Тургенева съ первыми довольно известна. Съ Бакунинымъ онъ даже квартировалъ вмѣстѣ во время ихъ студенчества въ Берлинскомъ университетѣ. Съ Бѣлинскимъ онъ «видѣлся въ теченіе четырехъ зимъ съ 1843 по 1846 годъ и особенно часто

передъ январемъ 1847 года»; наконецъ, на его же попеченіи больной Бѣлинскій провелъ часть послѣдняго своего лѣта за границей. Правда, вслѣдъ за приведенными словами о Добролюбовѣ Тургеневъ прибавляетъ, что его онъ «высоко цѣнилъ какъ человѣка и талантливаго писателя». Значить, по крайней мѣрѣ, моральная фізіономія критика была достаточно ему известна, чтобы послужить матеріаломъ для Базарова. Но мы этого и не отрицаемъ; мы утверждаемъ только, что названные пріятели Тургенева были ему еще знакомѣй и, повторяемъ, при равенствѣ прочихъ условій, могли служить этимъ матеріаломъ еще больше и притомъ при изображеніи не только генезиса, но и характера нашего демократизма. Остается, слѣдовательно, теперь рассмотреть равенство этихъ «прочихъ условій», т.-е. рѣшить вопросъ, насколько каждый изъ этихъ дѣятелей приближался къ тому типу истиннаго демократа-отрицателя, который, какъ мы видѣли, Тургеневъ задался цѣлью создать въ Базаровѣ.

Конечно, лучше всего было бы, если бы можно было констатировать взглядъ на это самого Тургенева. Но это, дѣйствительно, до нѣкоторой степени и представляется возможнымъ. Въдѣ есть принадлежащія самому Тургеневу характеристики—Базарова въ приведенномъ гейдельбергскомъ письмѣ и Бѣлинскаго — въ воспоминаніяхъ о немъ. Сравнимъ эти характеристики—и отношеніе Базарова къ Бѣлинскому будетъ рѣшено. Этимъ въ значительной мѣрѣ опредѣлятся отношенія къ этому типу и другихъ названныхъ лицъ. Все, что не закроется въ Базаровѣ Бѣлинскимъ, должно быть отыскано въ этихъ послѣднихъ. Но прежде, чѣмъ перейти къ этому сравненію, здѣсь сами собою навязываются два вопроса. Они, повидимому, срываютъ все вышесказанное. Дѣло въ томъ, что Анненковъ въ своихъ воспоминаніяхъ утверждаетъ, что Тургеневымъ въ Рудинѣ изображенъ Бакунинъ, а въ Лаврецкомъ — Огаревъ *). Хотя къ словамъ этого повѣреннаго по литературнымъ дѣ-

*) Кромѣ III т. „Лит. воспоминаній“ Анненкова, о томъ же въ перепискѣ Тургенева съ Аксаковымъ „Русс. Обзоріе“ за декабрь 1894 г., стр. 587.

ламъ Тургенева должно отнести съ полнымъ довѣріемъ, но, во-первыхъ, какъ могъ Бакунинъ послужить прототипомъ Базарова, когда самъ Тургеневъ восклицаетъ: «Рудинъ и Базаровъ—одинъ и тотъ же типъ!» Во-вторыхъ, зачѣмъ было Тургеневу снова выводить на сцену родственнѣйшій Огареву типъ, да еще и въ лицѣ второстепеннаго дѣйствующаго лица, Николая Петровича, когда онъ разработанъ имъ въ главномъ героѣ «Дворянскаго гнѣзда»? Оба эти вопроса, по нашему мнѣнію, въ значительной степени разъясняются началомъ «Предисловія» Тургенева къ собранію его романовъ.

„Рѣшившись въ предстоящемъ изданіи, — пишетъ Тургеневъ здѣсь, — помѣстить всѣ написанные мною романы (Рудинъ, Дворянское гнѣздо, Наканунъ, Отцы и Дѣти, Дымъ, Новь) въ послѣдовательномъ порядкѣ, считаю не лишнимъ объяснить въ немногихъ словахъ, почему я это сдѣлалъ. Мнѣ хотѣлось дать тѣмъ изъ моихъ читателей, которые возьмутъ на себя трудъ прочесть эти шесть романовъ сподрадь, возможность наглядно убѣдиться, насколько справедливы критики, упрекавшіе меня въ измѣненіи однажды принятаго направленія, въ отступничествѣ и т. п. Мнѣ, напротивъ, кажется, что меня скорѣе можно упрекнуть въ излишнемъ постоянствѣ и какъ бы прямолинейности направленія. Авторъ „Рудина“, написаннаго въ 1855 году, и авторъ „Нови“, написанной въ 1876 году, является однимъ и тѣмъ же человѣкомъ. Въ теченіе этого времени я стремился, насколько хватало силъ и умѣнья, добросовѣстно и безпристрастно изобразить и воплотить въ надлежащіе типы и то, что Шекспиръ называетъ the body and pressure of time *), и ту быстро измѣняющуюся физиономію русскихъ людей культурнаго слоя, который преимущественно служилъ предметомъ моихъ наблюденій“ **).

Изъ этой же «Автобіографіи» мы узнаемъ далѣе, что образъ главной героини «Наканунъ» обрисовывался довольно ясно въ воображеніи Тургенева если не раньше, то во время писанія «Рудина», и если, однако, быть изображенъ имъ лишь между «Дворянскимъ гнѣздомъ» и «Отцами и дѣтьми», то это—только новое доказательство того, что Тургеневъ въ разработкѣ явленій русской жизни, дѣйствительно, держался строгой, можно сказать, логической и хронологической послѣдовательности, и

* „Самый образъ и давленіе времени“.

** Сочин. т. II, стр. III.

что поэтому между его произведеніями, на самомъ дѣлѣ, существуетъ внутренняя, историческая связь. Намъ она представляется въ такомъ видѣ.

Въ «Рудинѣ» Тургеневъ воспроизвелъ наше культурное общество въ тотъ моментъ развитія, міросозерцаніе котораго О. Контъ называлъ бы метафизическимъ и характеры котораго называли романтическими. Отличительная черта его — вѣра, что все существующее—продуктъ автономнаго развитія субъекта, и вытекающія отсюда, съ одной стороны, стремленіе къ свободѣ развитія духа, съ другой—надежда при этомъ лишь на врожденные ему силы. Въ моментъ своего появленія на сцену предшествовавшаго ему теологическаго періода эта эпоха въ развитіи нашего общества, очевидно, носила въ себѣ благопріятныя условія для появленія людей-отрицателей. Такими людьми и являются нѣкоторые студенты московскаго, а немного позже и др. университетовъ и вообще передовая молодежь 30-хъ годовъ. Самымъ рѣзкимъ изъ этихъ отрицателей-романтиковъ, по общему голосу, былъ Бакунинъ. Такимъ онъ остался, *mutatis mutandis*, и до конца. Главнымъ мотивомъ и конечною цѣлью его дѣятельности была идея свободы развитія личности,—свободы даже отъ узъ цивилизаціи. Такимъ образомъ постольку, поскольку Бакунинъ являлся отрицателемъ, онъ, конечно, могъ быть принятъ Тургеневымъ во вниманіе при созданіи Базарова; въ остальномъ же, т.-е. въ основѣ и цѣли ихъ отрицанія, дѣйствительно, едва ли могло быть между ними что-либо общее. Однако не всѣ изъ этой молодежи 30-хъ гг. остались такъ вѣрны «завѣтамъ молодости». Многие не устояли подъ «давленіемъ времени»—должны были признать вмѣстѣ съ нарождавшимся позитивизмомъ могущество внѣшнихъ условій даже надъ личностью и духомъ и убѣдиться въ недостаточности для человѣка одной свободы. Нѣкоторые изъ этихъ людей, не имѣя силъ отрѣшиться отъ традицій, въ которыхъ воспитывались, въ то же время нашли въ себѣ силы признать значеніе этихъ условій и даже искренно, хотя не всегда умѣло, пытались бросить свою лепту на улучшеніе ихъ. Лучшимъ представителемъ такого рода людей были въ дѣйствительно-

сти Огаревъ, въ литературѣ—Лаврецкій. Послѣдній представляеть намъ типъ человѣка переходнаго времени отъ метафизически-романтически-индивидуальнаго періода къ положительно-демократическому въ коллизіи съ адептами теологическаго и романтическаго порядка въ моментъ перваго своего появленія и потому полнаго здоровья, вѣры и стремленій. Но уже тотъ же Лаврецкій въ «эпilogъ» является намъ какъ бы пережившимъ свое время, уступающимъ свое мѣсто «молодому племени», новымъ вѣяніямъ. Дѣло въ томъ, что нѣкоторые изъ тѣхъ же людей 30—40-хъ гг. не остановились на полдорогѣ отъ метафизическаго міровоззрѣнія къ положительному, а перешли на сторону послѣдняго совершенно и безповоротно. Въ числѣ первыхъ изъ нихъ были, какъ утверждаютъ всѣ писавшіе о немъ, Герценъ и, какъ увидимъ ниже, Бѣлинскій. Если же, дѣйствительно, таково было развитіе нашихъ «людей культурнаго класса», то не естественно ли было слѣдившему за этимъ развитіемъ Тургеневу изобразить, съ одной стороны, того же Лаврецкаго, но уже такимъ, какимъ онъ сталъ впоследствии, «подъ бременемъ годовъ», и въ коллизіи съ опередившимъ его положительнымъ направленіемъ, словомъ—Николаемъ Петровичемъ Кирсановымъ, съ другой—это самое положительное направление? Итакъ, разсмотрѣніе вышепоставленныхъ вопросовъ, во-первыхъ, показало намъ, въ какомъ смыслѣ Бакунинъ могъ быть прототипомъ Базарова, во-вторыхъ, не только не поколебало, но еще подтвердило предположеніе, что такими прототипами могли быть Герценъ и Бѣлинскій. Трудно предположить, чтобы Тургеневъ, слѣдя за нашимъ общественнымъ развитіемъ съ 1855 г. по 1876 г. и будучи историкомъ направленія Бакунина и Огарева, обошелъ направление, представителями котораго были эти дѣятели. И, дѣйствительно, факты оправдываютъ это заключеніе. Изъ воспоминаній Тургенева о Бѣлинскомъ мы узнаемъ, что въ годъ появленія въ печати «Дворянскаго гнѣзда» и, значить, вслѣдъ за его написаніемъ Тургеневъ, дѣйствительно, занялъ былъ Бѣлинскимъ. Онъ рассказываетъ, что въ 1859 г. читалъ «передъ немногочисленнымъ обществомъ» лекцію о Пушкинѣ. Въ ней онъ касался и «зна-

ченія критики Бѣлинскаго» и, между прочимъ, говорилъ, что кружокъ, изъ котораго вышелъ Бѣлинскій, «заслуживаетъ особаго историка*)». Не позже, какъ въ началѣ слѣдующаго же 1860 года, Тургеневъ въ нѣкоторомъ родѣ самъ явился такимъ историкомъ: въ январьскомъ № 3 «Московского Вѣстника» за этотъ годъ имъ было помѣщено письмо къ Н. А. Основскому подъ заглавіемъ «Встрѣча моя съ Бѣлинскимъ», передѣланное въ 1868 году въ «Воспоминанія о Бѣлинскомъ». И въ лекціи, и въ письмѣ Бѣлинскій характеризуется чертами, очень живо напоминающими Базарова... Но это мы сейчасъ увидимъ изъ обѣщаннаго сравненія, отъ котораго намъ теперь уже некуда и незачѣмъ уклоняться. Итакъ, въ статьѣ „По поводу «Отцовъ и Дѣтей»“ Тургеневъ говоритъ, что въ легшемъ въ основаніе Базарова докторъ Д. «воплотилось на его глазахъ—то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма». Въ гейдельбергскомъ своемъ письмѣ Тургеневъ поясняетъ, что вся его повѣсть направлена противъ дворянства, какъ передоваго класса, — что главное лицо ея — «демократъ до конца ногтей» «и если называется нигилистомъ, то надо читать: революціонеромъ». Итакъ, Базаровъ, какъ иначе называетъ его Тургеневъ въ томъ же письмѣ, — прежде всего «истинный» демократъ и «отрицатель». Въ отношеніи этихъ двухъ характерныхъ чертъ мы и сравнимъ его съ Бѣлинскимъ. Характеризуя Базарова въ первомъ отношеніи, Тургеневъ обнаруживаетъ широкое и глубокое пониманіе демократизма. Подъ истиннымъ демократизмомъ онъ понимаетъ связь съ народомъ не только по интересамъ и цѣлямъ, но и по воспитанію, по происхожденію, по крови. Базаровъ у него — «лѣкарскій сынъ и внукъ дьячка». Дѣдъ его самъ «землю пахалъ». Бѣлинскій также былъ «плебейскаго происхожденія (отецъ его былъ лѣкарь, а дѣдъ—діаконъ)». Хотя память здѣсь измѣнила Тургеневу, такъ какъ дѣдъ Бѣлинскаго былъ священникъ села Бѣлынь, Пензенской губерніи (впрочемъ, можетъ быть, онъ прошелъ, по обыкновенію того времени, и обѣ эти должности), но въ сущности дѣло отъ этого не измѣняется: не только въ началѣ, но

*) Сочин., т. XII, стр. 33—37.

и въ третьей четверти прошлаго вѣка священники почти ничѣмъ не отличались отъ причетниковъ и также сами «землю пахали». Такимъ образомъ въ жилахъ Базарова и Бѣлинскаго одинаково «текла кровь великорусскаго духовенства», и если они, однако, вышли изъ его среды, то благодаря выдающимся качествамъ своихъ отцовъ. Послѣдніе у обоихъ, какъ извѣстно, были «штабъ-лѣкари». Оба они получили образованіе въ либеральное царствованіе Александра I въ медицинской академіи: Бѣлинскій кончилъ курсъ въ 1809 г., Базаровъ около 1820 г. Благодаря этому, они были чужды многихъ «предразсудковъ» своего времени. Василій Ивановичъ «тѣхъ-то, въ южной-то арміи, по четырнадцатому, вы понимаете, всѣхъ зналъ наперечетъ» и сословныхъ и религіозныхъ предразсудковъ «не имѣлъ», хотя въ то же время «набоженъ былъ не менѣе своей жены». Григорій Никифоровичъ также слылъ за волтеріанца, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ читалъ «Эккартгаузена и Юнга Штиллинга». Начавъ свою службу въ полку, и тотъ и другой потомъ перевелись на родину (Василій Ивановичъ на родину жены), гдѣ имѣли небольшую недвижимую собственность (Василій Ивановичъ усадьбу, Григорій Никифоровичъ домъ въ Чамбарѣ) и крестьянъ (первый—«22 души», второй—«семью»), которые, впрочемъ, принадлежали ихъ женамъ. Послѣднія обѣ были офицерскія дочери. Извѣстно изъ описанія Тургенева, до какой степени Арина Власьевна была набожна, добра, суевѣрна, «а въ хозяйствѣ, сушеніи и вареньи знала толкъ». Несмотря на ея горячую привязанность къ сыну, всѣ ея заботы о немъ ограничивались тѣмъ, чтобы хорошенько накормить его и помолиться о немъ Богу. Мать Бѣлинскаго также «была женщина, какъ говорятъ, очень добрая», хотя «вмѣстѣ раздражительная и даже сварливая; ея образованіе ограничивалось посредственнымъ знаніемъ грамоты. Вся забота ея заключалась въ томъ, чтобы прилично одѣть и особливо сыто накормить дѣтей: когда Виссаріонъ жилъ въ Москвѣ, она еще снабжала его теплыми фуфайками и копчеными гусями, посылаемыми съ «оказіей», и въ письмахъ увѣщевала ходить не по театрамъ, а по церквамъ.

Такимъ образомъ и Базаровъ, и Бѣлинскій имѣли, дѣйствительно, «сравнительно добрыхъ и честныхъ родителей». Особенно отцы ихъ цѣлой головой «стояли выше малограмотнаго уѣзднаго люда» и если не совсѣмъ ладили съ послѣднимъ, то потому, что Василій Ивановичъ любилъ поразсказать злые анекдотцы о своихъ сосѣдяхъ, лѣжившихъ «изъ филантропіи» и т. п., а Григорій Никифоровичъ, также «склонный къ насмѣшливости», «не стѣснялся высказывать свои мнѣнія, которыя иногда казались слишкомъ рѣзкими». Правда, какъ Василій Ивановичъ разъ «велѣлъ высѣчь одного своего оброчнаго мужика», такъ и Григорій Никифоровичъ однажды «взѣлся» на свою крѣпостную кухарку; но, во-первыхъ, по крайней мѣрѣ, Василій Ивановичъ «очень хорошо сдѣлалъ» это, потому что мужикъ былъ «воръ и пьяница страшнѣйшій», во-вторыхъ, оба они конфузились за этотъ свой поступокъ передъ сыновьями, изъ которыхъ Бѣлинскому написала объ этомъ мать, а Базарову донесла, конечно, Арина Власьевна, «съ подчиненными обходившаяся ласково и кротко». Но мало того: какъ Василій Ивановичъ «счелъ своимъ долгомъ не безъ чувствительныхъ для себя пожертвованій посадить мужиковъ на оброкъ и отдать имъ свою землю изъ-полу», такъ и въ семьѣ Бѣлинскихъ былъ поднятъ вопросъ объ окончательномъ освобожденіи ея крѣпостныхъ (хотя отецъ Бѣлинскаго почему-то противился этому). Изъ этого видно, что родители Базарова и Бѣлинскаго были «народъ не строгій» и должны были благотворно вліять на своихъ дѣтей. Само собою, большее вліяніе имѣли на Базарова и Бѣлинскаго ихъ отцы, на которыхъ они «и лицомъ болѣе походили». — «Все мое честолюбіе, — признавался Василій Ивановичъ Аркадію, — состоитъ въ томъ, чтобы современемъ въ его (Базарова) біографіи стояли слѣдующія слова: «Сынъ простаго штабъ-лѣкаря, который, однако, рано умѣлъ разгадать его и ничего не жалѣлъ для его воспитанія». Въ біографіи Бѣлинскаго, дѣйствительно, читаемъ: «Съ самой ранней поры даровитаго ребенка отецъ не могъ не отличить и остроумія рѣчей, и страсти къ чтенію, и пытливой любознательности, съ которою мальчикъ прислушивался къ разсказамъ отца о прошед-

шемъ, къ его сужденіямъ о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе, и мало-по-малу раскрывалась между ними живая симпатія, сохранившаяся навсегда и благотѣльно дѣйствовавшая на обоихъ въ рѣзкихъ случаяхъ жизни». Дѣйствительно, несмотря на свои подтруниванья надъ отцомъ, Базаровъ высоко цѣнилъ его за то, что онъ «разгадалъ» его и не только не останавливалъ, но поощрялъ его отрицаніе. «Вѣдь такихъ людей, какъ онъ, — говорилъ Базаровъ Аннѣ Сергѣевнѣ, умирая, — въ вашемъ большомъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыскать». Точно также и Бѣлинскій, несмотря на частые нелады съ отцомъ, въ то же время писалъ ему, что «понимаетъ его» только онъ одинъ, Бѣлинскій, и, въ свою очередь, также имѣлъ въ немъ первую и твердую поддержку. Извѣстно, напр., какъ «благородное негодованіе» маленькаго Бѣлинскаго на «вандализмъ» одного учителя чамбарскаго училища «возбудило энергическія жалобы къ смотрителю со стороны Григорія Никифоровича». Точно такъ же, когда Бѣлинскій написалъ домой уже изъ университета о судьбѣ своей трагедіи, писанной подъ вліяніемъ «чувствъ высокихъ и благородныхъ», съ пѣлю живо и вѣрно «представить тиранство людей, присвоившихъ себѣ гибельное и несправедливое право мучить себѣ подобныхъ», и однако же въ цензурѣ признанной «безнравственной» и чуть было не повлекшей за собою «составленіе журнала», то это письмо, «несмотря на всѣ непріятности, заключавшіяся» въ немъ, «очень понравилось» его отцу, и онъ даже «сердился» на свою жену и племянницу, хотѣвшихъ прочесть Бѣлинскому нотаціи за подобныя трагедіи. Наконецъ, если Григорій Никифоровичъ оставилъ безъ достаточнаго образованія остальныхъ своихъ дѣтей, то, видимо, также ничего не жалѣлъ для своего первенца, хотя послѣдній, подобно Базарову, тоже «отроду лишней копейки не взялъ» отъ родителей *).

Такимъ образомъ, условія происхожденія и первоначальнаго развитія Базарова, съ небольшими варіантами, въ существенномъ точно выписаны изъ біографіи Бѣлинскаго. Мы даже не

*) Цитаты о Бѣлинскомъ заимствованы изъ „В. Г. Бѣлинскаго“ Пыпина.

знаемъ, что бы можно было прибавить здѣсь изъ біографій другихъ нашихъ отрицателей. Скажемъ даже больше: послѣдніе съ Базаровымъ въ этомъ отношеніи, за исключеніемъ хорошихъ качествъ своихъ родителей, ничего общаго не имѣли. Переходя, далѣе, къ самымъ характерамъ Базарова и Бѣлинскаго, нельзя не подвести того итога, что отмѣченныя условія очень благоприятны были для развитія въ Базаровѣ и Бѣлинскомъ указываемыхъ Тургеневымъ въ первомъ характерныхъ чертъ: демократизма и отрицательнаго отношенія къ окружающему. И, дѣйствительно, въ Базаровѣ Тургеневу «мечталась фигура, наполовину выросшая изъ почвы», т.-е. изъ народа, и потому носившая въ себѣ всѣ качества стать вождемъ его, явиться «pendant съ Пугачевымъ». Базаровъ «владеѣлъ особеннымъ умѣньемъ возбуждать къ себѣ довѣріе въ людяхъ низшихъ, хотя онъ никогда не потакалъ имъ и обходился съ ними небрежно». На завтра же своего приѣзда въ Марьино «онъ отыскалъ двухъ дворовыхъ мальчишекъ, съ которыми тотчасъ свелъ знакомство, и отправился съ ними въ небольшое болотце, съ версту отъ усадьбы, за лягушками». — «Прошло около двухъ недѣль», и Кирсановскіе «слути также привязались къ нему, хотя онъ надъ ними подтрунивалъ: они чувствовали, что онъ все-таки свой братъ, не баринъ». «Въ особенности» же «освоилась съ нимъ Өеничка». «Она не только довѣрялась ему, не только его не боялась, она при немъ держалась вольнѣе и развязнѣе, чѣмъ при самомъ Николаѣ Петровичѣ. Трудно сказать, отчего это происходило; можетъ быть оттого, что она безсознательно чувствовала въ Базаровѣ отсутствіе всего дворянскаго, всего того высшаго, что и привлекаетъ, и пугаетъ. Въ ея глазахъ онъ и докторъ былъ отличный, и человекъ простой... Өеничкѣ нравился Базаровъ». Однако былъ предѣлъ этой близости Базарова съ народомъ.

„Иногда (живя уже у родителей) онъ отправлялся на деревню и, подтрунивая, по обыкновенію, вступалъ въ бесѣду съ какимъ-нибудь мужикомъ.

„Ну, — говорилъ онъ ему, — излагай мнѣ свои воззрѣнія на жизнь, братецъ, вѣдь въ васъ, говорятъ, вся сила и будущность Россіи, отъ васъ начнется новая эпоха въ исторіи, вы намъ дадите и языкъ настоящій, и законы“. Мужикъ либо не отвѣчалъ ничего, либо произносилъ слова въ

ламъ Тургенева должно отнестись съ полнымъ довѣріемъ, но, во-первыхъ, какъ могъ Бакунинъ послужить прототипомъ Базарова, когда самъ Тургеневъ восклицаетъ: «Рудинъ и Базаровъ—одинъ и тотъ же типъ!» Во-вторыхъ, зачѣмъ было Тургеневу снова выводить на сцену родственнѣй Огареву типъ, да еще и въ лицѣ второстепеннаго дѣйствующаго лица, Николая Петровича, когда онъ разработанъ имъ въ главномъ героѣ «Дворянскаго гнѣзда»? Оба эти вопроса, по нашему мнѣнію, въ значительной степени разъясняются началомъ «Предисловія» Тургенева къ собранію его романовъ.

„Рѣшившись въ предстоящемъ изданіи, — пишетъ Тургеневъ здѣсь, — помѣстить всѣ написанные мною романы (Рудинъ, Дворянское гнѣздо, Наканунъ, Отцы и Дѣти, Дымъ, Новь) въ послѣдовательномъ порядкѣ, считаю не лишнимъ объяснить въ немногихъ словахъ, почему я это сдѣлалъ. Мнѣ хотѣлось дать тѣмъ изъ моихъ читателей, которые возьмутъ на себя трудъ прочесть эти шесть романовъ сподрядъ, возможность наглядно убѣдиться, насколько справедливы критики, упрекавшіе меня въ измѣненіи однажды принятаго направленія, въ отступничествѣ и т. п. Мнѣ, напротивъ, кажется, что меня скорѣе можно упрекнуть въ излишнемъ постоянствѣ и какъ бы прямолинейности направленія. Авторъ „Рудина“, написаннаго въ 1855 году, и авторъ „Нови“, написанной въ 1876 году, является однимъ и тѣмъ же человѣкомъ. Въ теченіе этого времени я стремился, насколько хватало силъ и умѣнья, добросовѣстно и безпристрастно изобразить и воплотить въ надлежащіе типы и то, что Шекспиръ называетъ the body and pressure of time *), и ту быстро измѣняющуюся фیزیомію русскихъ людей культурнаго слоя, который преимущественно служилъ предметомъ моихъ наблюденій“ **).

Изъ этой же «Автобіографіи» мы узнаемъ далѣе, что образъ главной героини «Наканунъ» обрисовывался довольно ясно въ воображеніи Тургенева если не раньше, то во время писанія «Рудина», и если, однако, былъ изображенъ имъ лишь между «Дворянскимъ гнѣздомъ» и «Отцами и дѣтьми», то это—только новое доказательство того, что Тургеневъ въ разработкѣ явленій русской жизни, дѣйствительно, держался строгой, можно сказать, логической и хронологической послѣдовательности, и

*) „Самый образъ и давленіе времени“.

**) Сочин. т. II, стр. III.

что поэтому между его произведеніями, на самомъ дѣлѣ, существуетъ внутренняя, историческая связь. Намъ она представляется въ такомъ видѣ.

Въ «Рудинѣ» Тургеневъ воспроизвелъ наше культурное общество въ тотъ моментъ развитія, міросозерцаніе котораго О. Контъ называлъ бы метафизическимъ и характеры котораго называли романтическими. Отличительная черта его — вѣра, что все существующее—продуктъ автономнаго развитія субъекта, и вытекающія отсюда, съ одной стороны, стремленіе къ свободѣ развитія духа, съ другой—надежда при этомъ лишь на врожденные ему силы. Въ моментъ своего появленія на сцену предшествовавшаго ему теологическаго періода эта эпоха въ развитіи нашего общества, очевидно, носила въ себѣ благопріятныя условія для появленія людей-отрицателей. Такими людьми и являются нѣкоторые студенты московскаго, а немного позже и др. университетовъ и вообще передовая молодежь 30-хъ годовъ. Самымъ рѣзкимъ изъ этихъ отрицателей-романтиковъ, по общему голосу, былъ Бакунинъ. Такимъ онъ остался, *mutatis mutandis*, и до конца. Главнымъ мотивомъ и конечною цѣлью его дѣятельности была идея свободы развитія личности,—свободы даже отъ узъ цивилизаціи. Такимъ образомъ постольку, поскольку Бакунинъ являлся отрицателемъ, онъ, конечно, могъ быть принятъ Тургеневымъ во вниманіе при созданіи Базарова; въ остальномъ же, т.-е. въ основѣ и цѣли ихъ отрицанія, дѣйствительно, едва ли могло быть между ними что-либо общее. Однако не всѣ изъ этой молодежи 30-хъ гг. остались такъ вѣрны «завѣтамъ молодости». Многіе не устояли подъ «давленіемъ времени»—должны были признать вмѣстѣ съ нарождавшимся позитивизмомъ могущество внѣшнихъ условій даже надъ личностью и духомъ и убѣдиться въ недостаточности для человѣка одной свободы. Нѣкоторые изъ этихъ людей, не имѣя силъ отрѣшиться отъ традицій, въ которыхъ воспитывались, въ то же время нашли въ себѣ силы признать значеніе этихъ условій и даже искренно, хотя не всегда умѣло, пытались бросить свою лепту на улучшеніе ихъ. Лучшимъ представителемъ такого рода людей были въ дѣйствительно-

сти Огаревъ, въ литературѣ—Лаврецкій. Послѣдній представляеть намъ типъ человѣка переходнаго времени отъ метафизически-романтически-индивидуальнаго періода къ положительно-демократическому въ коллизіи съ адептами теологическаго и романтическаго порядка въ моментъ перваго своего появленія и потому полнаго здоровья, вѣры и стремленій. Но уже тотъ же Лаврецкій въ «эпилогѣ» является намъ какъ бы пережившимъ свое время, уступающимъ свое мѣсто «молодому племени», новымъ вѣяніямъ. Дѣло въ томъ, что нѣкоторые изъ тѣхъ же людей 30—40-хъ гг. не остановились на полдорогѣ отъ метафизическаго міровоззрѣнія къ положительному, а перешли на сторону послѣдняго совершенно и безповоротно. Въ числѣ первыхъ изъ нихъ были, какъ утверждаютъ всѣ писавшіе о немъ, Герценъ и, какъ увидимъ ниже, Бѣлинскій. Если же, дѣйствительно, таково было развитіе нашихъ «людей культурнаго класса», то не естественно ли было слѣдившему за этимъ развитіемъ Тургеневу изобразить, съ одной стороны, того же Лаврецкаго, но уже такимъ, какимъ онъ сталъ впоследствии, «подъ бременемъ годовъ», и въ коллизіи съ опередившимъ его положительнымъ направленіемъ, словомъ—Николаемъ Петровичемъ Кирсановымъ, съ другой—это самое положительное направление? Итакъ, разсмотрѣніе вышепоставленныхъ вопросовъ, во-первыхъ, показало намъ, въ какомъ смыслѣ Бакунинъ могъ быть прототипомъ Базарова, во-вторыхъ, не только не поколебало, но еще подтвердило предположеніе, что такими прототипами могли быть Герценъ и Бѣлинскій. Трудно предположить, чтобы Тургеневъ, слѣдя за нашимъ общественнымъ развитіемъ съ 1855 г. по 1876 г. и будучи историкомъ направленія Бакунина и Огарева, обошелъ направление, представителями котораго были эти дѣятели. И, дѣйствительно, факты оправдываютъ это заключеніе. Изъ воспоминаній Тургенева о Бѣлинскомъ мы узнаемъ, что въ годъ появленія въ печати «Дворянскаго гнѣзда» и, значить, вслѣдъ за его написаніемъ Тургеневъ, дѣйствительно, занялъ былъ Бѣлинскимъ. Онъ рассказываетъ, что въ 1859 г. читалъ «передъ немногочисленнымъ обществомъ» лекцію о Пушкинѣ. Въ ней онъ касался и «зна-

ченія критики Бѣлинскаго» и, между прочимъ, говорилъ, что кружокъ, изъ котораго вышелъ Бѣлинскій, «заслуживаетъ особаго историка*)». Не позже, какъ въ началѣ слѣдующаго же 1860 года, Тургеневъ въ нѣкоторомъ родѣ самъ явился такимъ историкомъ: въ январьскомъ № 3 «Московского Вѣстника» за этотъ годъ имъ было помѣщено письмо къ Н. А. Основскому подъ заглавіемъ «Встрѣча моя съ Бѣлинскимъ», передѣланное въ 1868 году въ «Воспоминанія о Бѣлинскомъ». И въ лекціи, и въ письмѣ Бѣлинскій характеризуется чертами, очень живо напоминающими Базарова... Но это мы сейчасъ увидимъ изъ обѣщаннаго сравненія, отъ котораго намъ теперь уже некуда и незахѣтъ уклоняться. Итакъ, въ статьѣ „По поводу «Отцовъ и Дѣтей»“ Тургеневъ говоритъ, что въ легшемъ въ основаніе Базарова докторъ Д. «воплотилось на его глазахъ—то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма». Въ гейдельбергскомъ своемъ письмѣ Тургеневъ поясняетъ, что вся его повѣсть направлена противъ дворянства, какъ передового класса, — что главное лицо ея — «демократъ до конца ногтей» «и если называется нигилистомъ, то надо читать: революціонеромъ». Итакъ, Базаровъ, какъ иначе называетъ его Тургеневъ въ томъ же письмѣ, — прежде всего «истинный» демократъ и «отрицатель». Въ отношеніи этихъ двухъ характерныхъ чертъ мы и сравнимъ его съ Бѣлинскимъ. Характеризуя Базарова въ первомъ отношеніи, Тургеневъ обнаруживаетъ широкое и глубокое пониманіе демократизма. Подъ истиннымъ демократизмомъ онъ понимаетъ связь съ народомъ не только по интересамъ и цѣлямъ, но и по воспитанію, по происхожденію, по крови. Базаровъ у него — «лѣкарскій сынъ и внукъ дьячка». Дѣдъ его самъ «землю пахалъ». Бѣлинскій также былъ «плебейскаго происхожденія (отецъ его былъ лѣкарь, а дѣдъ—діаконъ)». Хотя память здѣсь измѣнила Тургеневу, такъ какъ дѣдъ Бѣлинскаго былъ священникъ села Бѣлынь, Пензенской губерніи (впрочемъ, можетъ быть, онъ прошелъ, по обыкновенію того времени, и обѣ эти должности), но въ сущности дѣло отъ этого не измѣняется: не только въ началѣ, но

*) Сочин., т. XII, стр. 33—37.

и въ третьей четверти прошлаго вѣка священники почти ничѣмъ не отличались отъ причетниковъ и также сами «землю пахали». Такимъ образомъ въ жилахъ Базарова и Бѣлинскаго одинаково «текла кровь великорусскаго духовенства», и если они, однако, вышли изъ его среды, то благодаря выдающимся качествамъ своихъ отцовъ. Послѣдніе у обоихъ, какъ извѣстно, были «штабъ-лѣкари». Оба они получили образованіе въ либеральное царствованіе Александра I въ медицинской академіи: Бѣлинскій кончилъ курсъ въ 1809 г., Базаровъ около 1820 г. Благодаря этому, они были чужды многихъ «предразсудковъ» своего времени. Василій Ивановичъ «тѣхъ-то, въ южной-то арміи, по четырнадцатому, вы понимаете, всѣхъ зналъ наперечетъ» и сословныхъ и религіозныхъ предразсудковъ «не имѣлъ», хотя въ то же время «набоженъ былъ не менѣе своей жены». Григорій Никифоровичъ также слылъ за волтеріанца, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ читалъ «Эккартгаузена и Юнга Штиллинга». Начавъ свою службу въ полку, и тотъ и другой потомъ перевелись на родину (Василій Ивановичъ на родину жены), гдѣ имѣли небольшую недвижимую собственность (Василій Ивановичъ усадьбу, Григорій Никифоровичъ домъ въ Чамбарѣ) и крестьянъ (первый—«22 души», второй—«семью»), которые, впрочемъ, принадлежали ихъ женамъ. Послѣднія обѣ были офицерскія дочери. Извѣстно изъ описанія Тургенева, до какой степени Арина Власьевна была набожна, добра, суевѣрна, «а въ хозяйствѣ, сушеніи и вареньи знала толкъ». Несмотря на ея горячую привязанность къ сыну, всѣ ея заботы о немъ ограничивались тѣмъ, чтобы хорошенько накормить его и помолиться о немъ Богу. Мать Бѣлинскаго также «была женщина, какъ говорятъ, очень добрая», хотя «вмѣстѣ раздражительная и даже сварливая; ея образованіе ограничивалось посредственнымъ знаніемъ грамоты. Вся забота ея заключалась въ томъ, чтобы прилично одѣть и особливо сыто накормить дѣтей: когда Виссаріонъ жилъ въ Москвѣ, она еще снабжала его теплыми фуфайками и копчеными гусями, посылаемыми съ «оказіей», и въ письмахъ увѣщевала ходить не по театрамъ, а по церквамъ.

Такимъ образомъ и Базаровъ, и Бѣлинскій имѣли, дѣйствительно, «сравнительно добрыхъ и честныхъ родителей». Особенно отцы ихъ цѣлой головой «стояли выше малограмотнаго уѣзднаго люда» и если не совсѣмъ ладили съ послѣднимъ, то потому, что Василій Ивановичъ любилъ поразсказать злые анекдотцы о своихъ сосѣдяхъ, лѣчившихъ «изъ филантропіи» и т. п., а Григорій Никифоровичъ, также «склонный къ насмѣшливости», «не стѣснялся высказывать свои мнѣнія, которыя иногда казались слишкомъ рѣзкими». Правда, какъ Василій Ивановичъ разъ «велѣлъ выѣчь одного своего оброчнаго мужика», такъ и Григорій Никифоровичъ однажды «взѣлся» на свою крѣпостную кухарку; но, во-первыхъ, по крайней мѣрѣ, Василій Ивановичъ «очень хорошо сдѣлалъ» это, потому что мужикъ былъ «воръ и пьяница страшнѣйшій», во-вторыхъ, оба они конфузились за этотъ свой поступокъ передъ сыновьями, изъ которыхъ Бѣлинскому написала объ этомъ мать, а Базарову донесла, конечно, Арина Власьевна, «съ подчиненными обходившаяся ласково и кротко». Но мало того: какъ Василій Ивановичъ «счелъ своимъ долгомъ не безъ чувствительныхъ для себя пожертвованій посадить мужиковъ на оброкъ и отдать имъ свою землю изъ-полу», такъ и въ семьѣ Бѣлинскихъ былъ поднятъ вопросъ объ окончательномъ освобожденіи ея крѣпостныхъ (хотя отецъ Бѣлинскаго почему-то противился этому). Изъ этого видно, что родители Базарова и Бѣлинскаго были «народъ не строгій» и должны были благотворно вліять на своихъ дѣтей. Само собою, большее вліяніе имѣли на Базарова и Бѣлинскаго ихъ отцы, на которыхъ они «и лицомъ болѣе походили». — «Все мое честолубіе, — признавался Василій Ивановичъ Аркадію, — состоитъ въ томъ, чтобы современемъ въ его (Базарова) біографіи стояли слѣдующія слова: «Сынъ простаго штабъ-лѣкаря, который, однако, рано умѣлъ разгадать его и ничего не жалѣлъ для его воспитанія». Въ біографіи Бѣлинскаго, дѣйствительно, читаемъ: «Съ самой ранней поры даровитаго ребенка отецъ не могъ не отличить и остроумія рѣчей, и страсти къ чтенію, и пытливой любознательности, съ которою мальчикъ прислушивался къ разсказамъ отца о прошед-

шемъ, къ его сужденіямъ о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе, и мало-по-малу раскрывалась между ними живая симпатія, сохранившаяся навсегда и благотѣльно дѣйствовавшая на обоихъ въ рѣзкихъ случаяхъ жизни». Дѣйствительно, несмотря на свои подтруниванья надъ отцомъ, Базаровъ высоко цѣнилъ его за то, что онъ «разгадалъ» его и не только не останавливалъ, но поощрялъ его отрицаніе. «Вѣдь такихъ людей, какъ онъ, — говорилъ Базаровъ Аннѣ Сергѣевнѣ, умирая, — въ вашемъ большомъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыскать». Точно также и Бѣлинскій, несмотря на частые нелады съ отцомъ, въ то же время писалъ ему, что «понимаетъ его» только онъ одинъ, Бѣлинскій, и, въ свою очередь, также имѣлъ въ немъ первую и твердую поддержку. Извѣстно, напр., какъ «благородное негодованіе» маленькаго Бѣлинскаго на «вандализмъ» одного учителя чамбарскаго училища «возбудило энергическія жалобы къ смотрителю со стороны Григорія Никифоровича». Точно такъ же, когда Бѣлинскій написалъ домой уже изъ университета о судьбѣ своей трагедіи, писанной подъ вліяніемъ «чувствъ высокихъ и благородныхъ», съ цѣлью живо и вѣрно «представить тиранство людей, присвоившихъ себѣ гибельное и несправедливое право мучить себѣ подобныхъ», и однако же въ цензурѣ признанной «безправственной» и чуть было не повлекшей за собою «составленіе журнала», то это письмо, «несмотря на всѣ непріятности, заключавшіяся въ немъ, «очень понравилось» его отцу, и онъ даже «сердился» на свою жену и племянницу, хотѣвшихъ прочесть Бѣлинскому нотации за подобныя трагедіи. Наконецъ, если Григорій Никифоровичъ оставилъ безъ достаточнаго образованія остальныхъ своихъ дѣтей, то, видимо, также ничего не жалѣлъ для своего первенца, хотя послѣдній, подобно Базарову, тоже «отроду лишней копейки не взялъ» отъ родителей *).

Такимъ образомъ, условія происхожденія и первоначальнаго развитія Базарова, съ небольшими варіантами, въ существенномъ точно выписаны изъ біографіи Бѣлинскаго. Мы даже не

*) Цитаты о Бѣлинскомъ заимствованы изъ „В. Г. Бѣлинскаго“ Пыпина.

знаемъ, что бы можно было прибавить здѣсь изъ біографій другихъ нашихъ отрицателей. Скажемъ даже больше: послѣдніе съ Базаровымъ въ этомъ отношеніи, за исключеніемъ хорошихъ качествъ своихъ родителей, ничего общаго не имѣли. Переходя, далѣе, къ самымъ характерамъ Базарова и Бѣлинскаго, нельзя не подвести того итога, что отмѣченныя условія очень благоприятны были для развитія въ Базаровѣ и Бѣлинскомъ указываемыхъ Тургеневымъ въ первомъ характерныхъ чертъ: демократизма и отрицательнаго отношенія къ окружающему. И, дѣйствительно, въ Базаровѣ Тургеневу «мечталась фигура, наполовину выросшая изъ почвы», т.-е. изъ народа, и потому носившая въ себѣ всѣ качества стать вождемъ его, явиться «pendant съ Пугачевымъ». Базаровъ «владеѣлъ особеннымъ умѣньемъ возбуждать къ себѣ довѣріе въ людяхъ низшихъ, хотя онъ никогда не потакалъ имъ и обходился съ ними небрежно». На завтра же своего пріѣзда въ Марьино «онъ отыскалъ двухъ дворовыхъ мальчишекъ, съ которыми тотчасъ свелъ знакомство, и отправился съ ними въ небольшое болотце, съ версту отъ усадьбы, за лягушками». — «Прошло около двухъ недѣль», и Кирсановскіе «слути также привязались къ нему, хотя онъ надъ ними подтрунивалъ: они чувствовали, что онъ все-таки свой братъ, не баринъ». «Въ особенности» же «освоилась съ нимъ Өеничка». «Она не только довѣрялась ему, не только его не боялась, она при немъ держалась вольнѣе и развязнѣе, чѣмъ при самомъ Николаѣ Петровичѣ. Трудно сказать, отчего это происходило; можетъ быть оттого, что она безсознательно чувствовала въ Базаровѣ отсутствіе всего дворянскаго, всего того высшаго, что и привлекаетъ, и пугаетъ. Въ ея глазахъ онъ и докторъ былъ отличный, и человѣкъ простой... Өеничкѣ нравился Базаровъ». Однако былъ предѣлъ этой близости Базарова съ народомъ.

„Иногда (живя уже у родителей) онъ отправлялся на деревню и, подтрунивая, по обыкновенію, вступалъ въ бесѣду съ какимъ-нибудь мужикомъ.

„Ну, — говорилъ онъ ему, — излагай мнѣ свои воззрѣнія на жизнь, братецъ, вѣдь въ васъ, говорятъ, вся сила и будущность Россіи, отъ васъ начнется новая эпоха въ исторіи, вы намъ дадите и языкъ настоящій, и законы“. Мужикъ либо не отвѣчалъ ничего, либо произносилъ слова въ

родѣ слѣдующихъ: „А мы можемъ... тоже, потому, значить... какой подожень у насъ, примѣрно, придѣлъ“.—„Ты мнѣ растолкуй, что такое есть вашъ міръ?“ перебивалъ его Базаровъ: „и тотъ ли это самый міръ, что на трехъ рыбахъ стоять?“

— Это, батюшка, земля стоитъ на трехъ рыбахъ,—успокоительно, съ патріархально-добродушною пѣвучестію объяснялъ мужикъ,—а противъ нашего, то-есть, міру, извѣстно, господская воля; потому вы наши отцы. А чѣмъ строже баринъ взыщеть, тѣмъ милѣе мужику.

Выслушавъ подобную рѣчь, Базаровъ однажды презрительно пожалъ плечами и отвернулся, а мужикъ побрелъ во-свойси.

— О чемъ толковали?—спросилъ у него другой мужикъ среднихъ лѣтъ и угрюмаго вида, издали, съ порога своей избы, присутствовавшій при бесѣдѣ его съ Базаровымъ.—О недоимкѣ, что ль?

— Какое о недоимкѣ, братецъ ты мой!—отвѣчалъ первый мужикъ, и въ голосъ его уже не было слѣда патріархальной пѣвучести, а напротивъ, слышалась какая-то небрежная суровость:—такъ, болталъ кое-что; языкъ почесать захотѣлось. Извѣстно, баринъ; развѣ онъ что понимаетъ?

— Гдѣ понять!—отвѣчалъ другой мужикъ и, тряхнувъ шапками и осунувъ кушаки, оба они принялись разсуждать о своихъ дѣлахъ и нуждахъ“.

Такимъ образомъ, когда дѣло шло о воззрѣніяхъ и стремленіяхъ народа, то, «увы! презрительно пожимавшій плечомъ, умѣвшій говорить съ мужиками Базаровъ (какъ хвастался онъ въ спорѣ съ Павломъ Петровичемъ), этотъ самоувѣренный Базаровъ и не подозрѣвалъ, что онъ въ ихъ глазахъ былъ все-таки чѣмъ-то въ родѣ шута гороховаго...»

«Бѣлинскій, говоритъ Тургеневъ въ воспоминаніяхъ о немъ,—былъ тѣмъ, что я позволю себѣ назвать *центральной натурой*; онъ всѣмъ существомъ своимъ стоялъ близко къ сердцевинѣ своего народа, воплощалъ его вполнѣ и съ хорошихъ, и съ дурныхъ его сторонъ». Безъ этого онъ, по мнѣнію Тургенева, не сталъ бы «вождемъ своихъ современниковъ въ дѣлѣ критики общественной, эстетической, въ дѣлѣ критическаго самосознанія». «Вожди современниковъ должны, конечно, стоять выше ихъ, обладать болѣе нормально устроенной головой, болѣе яснымъ взглядомъ, большей твердостью характера; но между этими вождями и ихъ послѣдователями не должно быть бездны... Вождь можетъ возбуждать негодованіе, досаду тѣхъ, которыхъ онъ тревожитъ, поднимаетъ съ мѣста, двигаетъ впередъ; проклинать они его могутъ, но понимать они должны его всегда. Онъ дол-

женъ стоять выше ихъ, да, но и близко къ нимъ *)». Что Бѣлинскій, дѣйствительно, стоялъ такъ близко къ народу, для убѣжденія въ этомъ довольно, напримѣръ, вспомнить испугъ Бѣлинскаго за судьбу солдата, укравшаго у него ложку, и прочесть письмо его къ Боткину отъ 8 сентября 1841 г. «Что мнѣ въ томъ,—пишетъ онъ здѣсь,—что для избранныхъ есть блаженство, когда большая часть и не подозрѣваетъ его возможности. Прочь же отъ меня блаженство, если оно достояніе мнѣ одному изъ тысячи! Не хочу я его, если оно у меня не общее съ меньшими братьями моими!.. Горе, тяжелое горе овладѣваетъ мною при видѣ и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицѣ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извозчика, и идущаго съ развода солдата, и бѣгущаго съ портфелемъ подъ мышкою чиновника, и довольнаго собою офицера, и горделиваго вельможи. Подавши грошъ солдату, я чуть не плачу; подавши грошъ нищей, я бѣгу отъ нея, какъ будто сдѣлавши худое дѣло... И это жизнь: сидѣть на улицахъ въ лохмотьяхъ, съ идиотскимъ выраженіемъ на лицѣ, набирать днемъ нѣсколько грошей, а вечеромъ пропить ихъ въ кабакѣ, и люди это видятъ, и никому до этого нѣтъ дѣла! **»). Къ сожалѣнію, гораздо меньше сохранилось намъ фактовъ объ отношеніи народа къ Бѣлинскому. Но что онъ также «владѣлъ особеннымъ умѣньемъ возбуждать къ себѣ довѣріе въ людяхъ низшихъ», объ этомъ достаточно говорятъ отношенія къ нему Кольцова. Какъ извѣстно, изъ всѣхъ литераторовъ, очень дружески относившихся къ Кольцову, онъ близко сошелся только съ Бѣлинскимъ. По собственнымъ словамъ Кольцова, Бѣлинскій «замѣнилъ для него всѣхъ и все ***»). Для того же, чтобы обрисовать манеру отношеній Бѣлинскаго къ столь близкому ему народу, позволимъ привести здѣсь слѣдующую историческую сценку.

Въ 1845 г. Грановскій, Кетчеръ и Герценъ лѣто проводили на дачѣ въ селѣ Соколовѣ, въ 25 или 30 верстахъ отъ Москвы.

*) Сочин., т. XII, стр. 25—26.

**) Пыпинъ. „В. Г. Бѣлинскій“ въ „Вѣст. Евр.“ за февр. 1875 г., стр. 617.

***) Тамъ же, за дек. 1874 г., стр. 550.

Къ нимъ постоянно наѣзжали туда ихъ друзья: Коршъ, Панаевъ, Анненковъ, Некрасовъ и др. Однажды, въ концѣ іюня все общество ихъ собралось на прогулку въ поля, окружавшія Соколово, на которыхъ, по случаю сѣнокоса *), царствовала муравьиная дѣятельность. Крестьяне и крестьянки убирали поля въ костюмахъ почти примитивныхъ, что и дало поводъ кому-то сдѣлать замѣчаніе, что изъ всѣхъ женщинъ одна русская ни передъ чѣмъ не стыдится, и одна, передъ которой также никто и ни за что не стыдится. Этого замѣчанія достаточно было для того, чтобы вызвать бурю. Грановскій остановился и необычайно серьезно возразилъ на шутку: «Надо прибавить, — сказалъ онъ, — что фактъ этотъ составляетъ позоръ не для русской женщины изъ народа, а для тѣхъ, кто довелъ ее до того, и для тѣхъ, кто привыкъ относиться къ ней цинически. Большой грѣхъ за послѣднее лежитъ на нашей литературѣ. Я никакъ не могу согласиться, чтобы она хорошо дѣлала, потворствуя косвенно этого рода цинизму распространеніемъ презрительнаго взгляда на народность». Съ этого и начался споръ. На замѣчаніе Кетчера, что нельзя дѣлать такіа обобщенія изъ простого замѣчанія, и что еще вопросъ, «не участвовалъ ли самъ народъ въ образованіи нашихъ дурныхъ привычекъ, и не есть ли наши дурныя привычки именно народные привычки», — Грановскій возразилъ, что «случайныя замѣчанія состоятъ въ близкомъ родствѣ съ тайной нашей мыслию, а во-вторыхъ, собраніе такихъ замѣтокъ составляетъ иногда цѣлое ученіе, какъ, на примѣръ, у Бѣлинскаго. А я тебѣ долженъ сказать здѣсь прямо, добавилъ Грановскій съ особеннымъ удареніемъ на словахъ, — что во взглядѣ на русскую національность и по многимъ другимъ литературнымъ и нравственнымъ вопросамъ я сочувствую гораздо болѣе славянофиламъ, чѣмъ Бѣлинскому, «Отечественнымъ запискамъ» и западникамъ». Гораздо позднѣе мысль, выраженная Грановскимъ, повторялась много разъ и самимъ Герценомъ отъ своего имени въ его заграничныхъ изданіяхъ, но впервые она была сказана именно Грановскимъ и въ Соко-

*) Бъ подлинникѣ: „ранняго жнитва“.

ловѣ. Герценъ, конечно, принялъ участіе въ завязавшемся спорѣ и свелъ данный вопросъ на нравственную почву. Послѣ протеста Кетчера противъ примѣненія еще и нравственной точки зрѣнія къ пустому случаю и замѣчанія, что Бѣлинскій не высказывалъ категорически и не могъ высказать по цензурнымъ условіямъ своихъ истинныхъ воззрѣній на народность русскую, и послѣ возраженія Грановскаго, что цензура заставила Бѣлинскаго «обдумывать планы своихъ критикъ и способы выраженія и сдѣлала его тѣмъ, чѣмъ онъ есть», кто-то замѣтилъ, что всѣ рѣзкія антинаціональныя выходки Бѣлинскаго происходятъ еще отъ горячаго демократическаго чувства, возмущеннаго тѣмъ состояніемъ, до котораго доведены народныя массы. Грановскій горячо присталъ къ этому мнѣнію, находя въ немъ разгадку многихъ излишествъ критика, которыя все-таки считалъ явленіемъ ненормальнымъ и печальнымъ. Споръ прекратился *).

Сопоставляя только что сказанное о Базаровѣ и Бѣлинскомъ, нельзя сразу же не замѣтить, что здѣсь трактуются въ сущности одни и тѣ же отношенія къ народу. Разница лишь въ томъ, что въ словахъ о Бѣлинскомъ логически опредѣляются эти отношенія, въ словахъ же о Базаровѣ они являются конкретно кристаллизованными въ томъ видѣ, какъ они были въ дѣйствительности. Базаровъ представляется «наполовину выросшимъ изъ почвы», Бѣлинскій—«близкимъ къ сердцевинѣ своего народа, воплощающимъ его вполнѣ и съ хорошихъ, и съ дурныхъ его сторонъ». Базаровъ является «демократомъ до конца ногтей», Бѣлинскій—человѣкомъ, одушевленнымъ «горячимъ демократическимъ чувствомъ». Наконецъ, оба они, по крайней мѣрѣ, по мнѣнію Тургенева, носили въ себѣ всѣ признаки «вождей своихъ современниковъ». Но вышеописанныя отношенія Базарова и Бѣлинскаго къ народу не только такимъ образомъ совпадаютъ, но и взаимно поясняютъ одни другія. Какъ мы видѣли, одинъ и тотъ же народъ считалъ Базарова въ лицѣ слугъ и Өенички «своимъ братомъ, не бариномъ», въ лицѣ же

*) Анненковъ. „Литературныя воспоминанія“, т. III, стр. 118—124.

Мужиковъ—«бариномъ». Очевидно, что Базаровъ, не вырываясь изъ почвы, изъ народа, въ то же время настолько выросъ надъ крайней периферіей его—мужикомъ, что становится столь же непонятнымъ ему, какъ и противоположной периферіи общества—аристократизму. Являясь, такимъ образомъ, подобно Бѣлинскому, также «центральной натурой», онъ если и оставался связаннымъ съ народной массой, то черезъ болѣе культурный слой ея, въ родѣ слугъ и Оеничекъ. Намъ кажется, что только въ такомъ же смыслѣ надо понимать тѣ слова Тургенева о Бѣлинскомъ, что его, какъ «вождя», современники должны были «понимать всегда». Да, понималъ его и народъ, но тоже лишь въ лицѣ Кольцова. Съ другой стороны, какъ мы видѣли, и самъ Базаровъ въ однѣхъ случаяхъ «владѣлъ особеннымъ умѣньемъ возбуждать къ себѣ довѣріе въ людяхъ низшихъ» и даже «привязывать» ихъ къ себѣ, въ другихъ—дѣлалъ противъ нихъ такія «выходки», что возбуждалъ къ себѣ въ нихъ «какую-то небрежную суровость». Исходя изъ этого видимаго противорѣчія, Павелъ Петровичъ «не хотѣлъ вѣрить», что Базаровъ «точно знаетъ русскій народъ, что онъ представитель его потребностей, его стремленій»; напротивъ, онъ полагалъ, что Базаровъ «идетъ противъ своего народа». Какъ сказано уже, подобный же взглядъ высказывался и на Бѣлинскаго, и не только Шевыревымъ, Ю. Самаринымъ и т. п., но проникалъ и въ болѣе близкую къ нему среду, въ кругъ «лучшихъ» людей того времени. Однако, коротко знавшія Бѣлинскаго лица понимали и разъяснили намъ мнимость этого противорѣчія въ отношеніяхъ Базарова и Бѣлинскаго къ народу. Секретъ здѣсь заключается въ томъ, что, любя народъ, они «такъ же пламенно любили просвѣщеніе и свободу». При этомъ, какъ Базаровъ нѣмцевъ считалъ «въ этомъ нашими учителями», такъ и Бѣлинскій, напримѣръ, въ статьяхъ о Петрѣ Великомъ защищалъ указанный имъ путь нашей культуры. Точно такъ же, какъ Базаровъ признавалъ западно-европейцевъ учителями лишь постольку, поскольку они «говорятъ дѣло», такъ и Бѣлинскій рекомендовалъ путь самостоятельнаго усвоенія и, въ числѣ первыхъ русскихъ, сталъ критически обсуждать

качества западно-европейскихъ формъ жизни и мысли и посягать на такіе авторитеты, какъ Гёте. Какъ видно изъ письма Бѣлинскаго къ Боткину и какъ сейчасъ увидимъ относительно Базарова, они именно изъ любви къ «меньшимъ братьямъ» не могли выносить, что «грубѣйшее суетворіе душитъ» нашъ народъ, «что мужикъ нашъ радъ самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману въ кабакъ». Стремясь поэтому просвѣтить народъ, они разсуждали при этомъ такъ: «Всякій человѣкъ самъ себя воспитать долженъ, ну, хоть, какъ я, наприкладъ... А что касается до времени, отчего я отъ него зависѣть буду? Пускай же лучше оно зависить отъ меня». Судя, такимъ образомъ, по себѣ, по сознанію своихъ громадныхъ силъ, они и отъ другихъ требовали такой же активности, когда же сталкивались съ инертностью, традиціями, предразсудками, то смѣялись, презирали, раздражались. А такъ какъ эти столкновенія у нихъ были на каждомъ шагу, то у нихъ постоянно господствовало то раздраженное состояніе нервовъ, которое такъ неожиданно прорвалось у Базарова въ желаніи «подрататься» съ Аркадіемъ подъ стогомъ, и которое казалось такъ непонятнымъ въ Бѣлинскомъ уравновѣшенному Гончарову. Между тѣмъ, неудивительно, что это раздраженіе иногда переходило у нихъ въ нетерпѣніе и даже въ ненависть. «Ненавидѣть!—воскликаетъ Базаровъ въ разговорѣ съ Аркадіемъ тамъ же подъ стогомъ.—Да вотъ, наприкладъ, ты сегодня сказалъ, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа,—она такая славная, бѣлая,—вотъ, сказалъ ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у послѣдняго мужика будетъ такое же помѣщеніе, и каждый изъ насъ долженъ этому способствовать... А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопахъ рости будетъ; ну, а дальше?»— «Что мнѣ въ томъ, точно также спрашиваетъ Бѣлинскій въ письмѣ отъ 1 марта 1841 г. того же Боткина, что я увѣренъ, что разумность восторжествуетъ, что въ будущемъ будетъ хорошо, если судьба велѣла мнѣ быть свидѣтелемъ торжества слу-

чайности, неразумія, животной силы? *)». Сами работая для другихъ не за «спасибо», они въ то же время требовали, чтобы и эти другіе работали на общее благо, и не хотѣли примириться, чтобы «Москва не была сожжена», чтобы ихъ стремленія не осуществились на ихъ глазахъ. Эта вытекавшая изъ сознанія собственныхъ своихъ силъ «самоувѣренность» дѣлала ихъ тѣмъ, чѣмъ они были,—вождями своихъ современниковъ, сообщавшими и имъ эту самоувѣренность, но въ то же время дѣлала ихъ, какъ говоритъ Тургеневъ о Базаровѣ, «лицами трагическими». Въ своей самоувѣренности этой, «не подозрѣвая, что въ глазахъ массы народной они были все-таки чѣмъ-то въ родѣ шутовъ гороховыхъ», что «стояли лишь въ преддверіи будущаго», они слишкомъ заходили впередъ, и потому Базаровъ «былъ обреченъ на гибель», а Бѣлинскій «умеръ кстати и во-время», потому что, по крайней мѣрѣ, дѣятельность его была, какъ извѣстно, также «обречена на гибель...»

Итакъ, Базаровъ и Бѣлинскій не только по условіямъ происхожденія и развитія, но и по одной изъ основныхъ чертъ своего характера—демократизму—совпадаютъ. Но мало того: изъ вышесказаннаго обнаруживается также неполное совпаденіе Базарова съ другими нашими отрицателями. Безъ сомнѣнія, всѣ эти отрицатели сочувствовали демократизму, но, во-первыхъ, далеко не всѣ они были «наполовину выросшими» изъ народа: Бакунинъ былъ баринъ, Герценъ—полу-русскій, полу-баринъ. Во-вторыхъ, извѣстно, что Бакунинъ во время своихъ агитацій среди западно-европейскихъ рабочихъ именно «потакалъ» ихъ грубымъ инстинктамъ и пріобрѣлъ названіе «апостола разрушенія» западной цивилизаціи. Герценъ въ этомъ отношеніи подходилъ ближе къ Базарову и Бѣлинскому, но за то мы видѣли, какъ онъ не сочувствовалъ ихъ манерѣ относиться къ народу. Остается такимъ образомъ Добролюбовъ. Онъ, дѣйствительно, въ этомъ пунктѣ больше всего приближается къ Базарову и Бѣлинскому, но въ манерѣ относиться къ мужику также, кажется, разошелся бы съ ними. По крайней мѣрѣ, въ извѣстной

*) Пыпинъ. „В. Г. Бѣлинскій“, „Вѣстн. Евр.“ за февр. 1875 г., стр. 660.

статьѣ «Черты для характеристики русскаго простонародья», въ противоположность Базарову и Бѣлинскому, онъ признаетъ «великія силы, таящіяся въ народѣ», «старается возстановить передъ публикой достоинство народа и защититъ его полное право на участіе во всѣхъ преимуществахъ гражданской жизни». Даже мало того: «чтобы расширить кругъ сужденія о качествахъ нашего народа», здѣсь Добролюбовъ «старается также провести нѣсколько параллелей между людьми простого званія и между лицами того общества, которое называетъ себя образованнымъ... въ размѣрѣ германскихъ гимназическихъ курсовъ... Немного преимуществъ въ отношеніи къ нравственнымъ качествамъ находитъ онъ въ этомъ обществѣ; немного оказывается у него правъ на особое возвышеніе его предъ простонародьемъ *)». Но допустимъ, что эта статья написана въ виду производившихся тогда работъ Редакціонной Комиссіи по освобожденію крестьянъ, носитъ на себѣ публицистическій, «гражданскій» характеръ, направлена къ тому, чтобы расположить возможно больше дать гражданскихъ правъ народу; и тогда между Бѣлинскимъ и Базаровымъ, съ одной стороны; и Добролюбовымъ—съ другой, останется въ этомъ отношеніи значительное различіе. Вѣдь, и Бѣлинскій жилъ и писалъ передъ 1848 г., когда также возбужденъ былъ вопросъ въ правительственныхъ сферахъ объ освобожденіи крестьянъ, и Базаровъ былъ современникомъ Добролюбова, и однако они, не менѣе послѣдняго добиваясь расширенія благосостоянія и правъ народа, «любя русскаго человѣка и вѣря великой будущности Россіи», тѣмъ не менѣе, въ противоположность Добролюбову, какъ писалъ Бѣлинскій 22 ноября 1847 г. Кавелину, «ничего не строили на основаніи этой любви и этой вѣры **»). Даже наоборотъ, именно въ виду открывавшейся возможности дать крестьянамъ гражданскія права, они умѣряли пылъ въ этомъ направленіи своихъ современниковъ, совѣтывали,—Бѣлинскій въ томъ же письмѣ къ Кавелину,—не торопиться, а предварительно надлежаще подготовить народъ

*) Сочиненія Н. А. Добролюбова, изд. 1875 г., т. III, стр. 439.

**) Пыпинъ. „В. Г. Бѣлинскій“, „Вѣстн. Евр.“ за май 1875 г., стр. 182.

къ пользованію этими правами. Исторія показала, кто изъ нихъ былъ дальновиднѣе...

Однако, мы здѣсь подошли уже къ сравненію Базарова съ Бѣлинскимъ въ отношеніи второй изъ указанныхъ Тургеневымъ въ Базаровѣ основныхъ чертъ. Безспорно, что опредѣленнѣй и рѣзче всего высказался Базаровъ какъ отрицатель въ извѣстномъ своемъ рѣшительномъ объясненіи съ Павломъ Петровичемъ.

— Позвольте, — продолжалъ послѣдній, обращаясь снова къ Базарову послѣ того, какъ у нихъ чуть-было дѣло не дошло до личностей:—вы, можете быть, думаете, что ваше ученіе новость? Напрасно вы это воображаете. Матеріализмъ, который вы проповѣдуете, былъ уже не разъ въ ходу и всегда оказывался несостоятельнымъ...

— Опять иностранное слово!—перебилъ Базаровъ. Онъ начиналъ злиться, и лицо его приняло какой-то мѣдный и грубый цвѣтъ.—Во-первыхъ, мы ничего не проповѣдуемъ; это не въ нашихъ привычкахъ...

— Что же вы дѣлаете?

— А вотъ что мы дѣлаемъ. Прежде, въ недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берутъ взятки, что у насъ нѣтъ ни дорогъ, ни торговли, ни правильного суда...

— Ну, да, да, вы обличители,—такъ, кажется, это называется. Со многими изъ вашихъ обличеній и я соглашаюсь, но...

— А потомъ мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, такъ называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ-то искусствѣ, безсознательномъ творествѣ, о парламентаризмѣ, объ адвокатурѣ и чортъ знаетъ о чемъ, когда дѣло идетъ о насущномъ хлѣбѣ, когда грубѣйшее суевѣріе насъ душитъ, когда всѣ наши акціонерныя общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостатокъ въ честныхъ людяхъ, когда самая свобода, о которой хлопочетъ правительство, едва ли пойдетъ намъ въпрокъ, потому что мужикъ нашъ радъ самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману въ кабацѣ.

Какъ извѣстно, послѣ этого Павелъ Петровичъ окончательно потерялъ самообладаніе и чуть было не перешелъ въ руготню.

— Вотъ и измѣнило вамъ хваленое чувство собственного достоинства,—флегматически замѣтилъ Базаровъ, между тѣмъ, какъ Аркадій весь вспыхнулъ и засверкалъ глазами.—Споръ нашъ зашелъ слишкомъ далеко... Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готовъ согласиться съ вами,—прибавилъ онъ, вставая,—когда вы представите мнѣ хоть одно постановле-

ніе въ современномъ нашемъ быту, въ семейномъ или общественномъ, которое бы не вызвало полного и безпощаднаго отрицанія.

— Я вамъ миллионы такихъ постановленій представлю, — воскликнулъ Павелъ Петровичъ, — миллионы! Да вотъ хоть община, напримѣръ.

Холодная усмѣшка скривила губы Базарова.

— Ну, на счетъ общины, — промолвилъ онъ: — поговорите лучше съ вашимъ братцемъ. Онъ теперь, кажется, извѣдалъ на дѣлѣ, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобныя штучки.

— Семья, наконецъ, семья, такъ, какъ она существуетъ у нашихъ крестьянъ! — закричалъ Павелъ Петровичъ.

— И этотъ вопросъ, я полагаю, лучше для васъ же самихъ не разбирать въ подробности. Вы, чай, слышали о снохачахъ? Послушайте меня, Павелъ Петровичъ, дайте себѣ денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите всѣ наши сословія да подумайте хорошенько надъ каждымъ, а мы пока съ Аркадіемъ будемъ...

— Надо всѣмъ глумиться, — подхватилъ Павелъ Петровичъ.

— Нѣтъ, лягушекъ рѣзать*.

Указавши главное условіе, благодаря которому Бѣлинскій сталъ вождемъ своихъ современниковъ, т.-е. близость его къ народу, Тургеневъ продолжаетъ: «Бѣлинскій, безспорно, обладалъ главными чертами великаго критика, и если въ дѣлѣ науки, знанія ему приходилось заимствовать отъ товарищей, принимать ихъ слова на вѣру, въ дѣлѣ критики ему не у кого было спрашиваться; напротивъ, другіе слушались его; починъ оставался всегда за нимъ. Эстетическое чутье было въ немъ почти непогрѣшительно; взглядъ его проникалъ глубоко и никогда не становился туманнымъ. Бѣлинскій не обманывался внѣшностью, обстановкой, не подчинялся никакимъ вліяніямъ и вѣяніямъ; онъ сразу узнавалъ прекрасное и безобразное, истинное и ложное, и съ безтрепетной смѣлостью высказывалъ свой приговоръ, высказывалъ его вполне, безъ урѣзокъ, горячо и сильно, со всей стремительной увѣренностью убѣжденія *)». Замѣчательно, что Тургеневъ здѣсь характеризуетъ Бѣлинскаго не только, какъ литературно-художественнаго критика, но гораздо шире, какъ критика вообще. Но это станетъ вполне понятнымъ, когда вспомнить дальнѣйшія слова Тургенева, что Бѣлинскій, если не принимать въ расчетъ 2—1¹/₂, лѣтъ увлече-

*) Сочинен., т. XII, стр. 27.

нія его гегельянствомъ, „не былъ поклонникомъ принципа «искусство для искусства»“, что послѣднее было для него только «такой же узаконенной сферой человѣческой дѣятельности, какъ и наука, какъ общество, какъ государство *)». Многие идутъ даже дальше этого: опираясь на довольно прочное основаніе—главнымъ образомъ на извѣстное письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, они утверждаютъ, что при иныхъ историческихъ условіяхъ, Бѣлинскій приобрѣлъ бы достойную его извѣстность такъ же не на литературномъ поприщѣ, какъ Базаровъ, по убѣжденію отца и Аркадія, «не на медицинскомъ», хотя они и въ этихъ отношеніяхъ были «изъ первыхъ». Если же такъ, то не окажется ли въ приведенномъ логическомъ опредѣленіи Бѣлинскаго, сдѣланномъ Тургеневымъ, та же столь рѣзко и ярко обрисованная имъ въ Базаровѣ полная независимость отъ «внѣшности, обстановки»,—отъ всѣхъ авторитетовъ и связанныхъ съ ними «направленія и вѣяній»,—та же самая базаровская смѣлость, рѣзкость, категоричность и трезвость въ сужденіяхъ и рѣшеніяхъ? При такомъ близкомъ сходствѣ особенностей критическаго отношенія Базарова и Бѣлинскаго къ окружающему вполне понятнымъ становится и совпаденіе результатовъ этого отношенія. Какъ видѣли изъ спора Базарова съ Павломъ Петровичемъ и изъ письма Бѣлинскаго къ Боткину отъ 8 сентября 1841 г., оно привело ихъ къ отрицанію полному, безпощадному, простирающемуся на всѣ «постановленія» и на всѣ сословія, начиная съ «оборваннаго нищаго» и кончая «горделивымъ вельможей». Въ этомъ отношеніи они, дѣйствительно, были «нигилисты», хотя въ то же время они настолько глубоко сознавали твердость и прочность основаній такого своего отрицанія и возможность, взаимнѣ негоднаго настоящаго, лучшаго будущаго, что рѣдко у кого рѣчь звучала такою «стремительною увѣренностью убѣжденія».

Однако, какъ ни широко и безпощадно было отрицаніе Базарова, въ то же время онъ имѣлъ столько ума и характера, что не вдавался въ крайности на практикѣ. Во-первыхъ, какъ

*) Тамъ же, стр. 41—42.

мы видѣли изъ того же спора его съ Павломъ Петровичемъ, въ своихъ требованіяхъ онъ не заносился слишкомъ далеко, добивался самаго насущнаго и элементарнаго. «Куда намъ до Либиха!—воскликнулъ онъ въ другой разъ, выслушавъ желаніе Николая Петровича примѣнить открытія этого ученаго къ своимъ «агрономическимъ работамъ». — Сперва надо азбукѣ выучиться и потомъ уже взяться за книгу, а мы еще аза въ глаза не видали». Точно также, рекомендуя книжки Николаю Петровичу и Аннѣ Сергѣевнѣ, онъ выбираетъ самыя подходящія къ ихъ знаніямъ, элементарныя—въ родѣ «физики» Гано. Безспорно, такой образъ дѣйствія еще больше придавалъ, по крайней мѣрѣ въ глазахъ Тургенева, радикализма дѣйствительности отрицанію Базарова. Но еще больше, во-вторыхъ, эта дѣйствительность усиливалась тѣмъ, что Базаровъ предпочиталъ при этомъ прямыя и положительныя, а не отрицательныя и двусмысленныя средства. «Обличеніе» онъ считалъ «болтовней», «вздоромъ», ведущимъ къ «пошлости и доктринерству». На укоръ со стороны Павла Петровича въ «глумленіи» онъ не считалъ нужнымъ даже отвѣчать. И, дѣйствительно, какъ ни горячи и рѣзки были у него столкновенія съ Павломъ Петровичемъ, онъ никогда не прибѣгалъ къ этимъ легкимъ пріемамъ дискредитировать противника. Замѣчательно, что Тургеневъ, вслѣдъ за приведенной характеристикой Бѣлинскаго, какъ критика, отмѣчаетъ въ немъ какъ разъ эти же двѣ черты и при томъ въ отличіе его именно отъ Добролюбова. «Другое,—говоритъ онъ,—замѣчательное качество Бѣлинскаго, какъ критика, было его пониманіе того, что именно стоитъ на очереди, что требуетъ немедленнаго разрѣшенія, въ чемъ сказывается «злоба дня»... Бѣлинскій никогда бы не позволилъ себѣ той ошибки, въ которую впалъ даровитый Добролюбовъ; онъ не сталъ бы, напримѣръ, съ ожесточеніемъ бранить Кавура, Пальмерстона, вообще парламентаризмъ, какъ неполную и потому невѣрную форму правленія. Даже, допустивъ справедливость упрековъ, заслуженныхъ Кавуромъ, онъ бы понялъ всю несвоевременность (у насъ, въ Россіи, въ 1862 г.) подобныхъ нападеній...» «Еще одно замѣчательное качество Бѣлинскаго, какъ критика,

состояло въ томъ, что онъ былъ всегда, какъ говорятъ англичане, «in earnest»; онъ не шутилъ ни съ предметомъ своихъ розысканій, ни съ читателями, ни съ самимъ собою; а позднѣйшее, столь распространенное глумленіе онъ бы отвергнулъ, какъ недостойное легкомысліе или трусость... Бѣлинскій самъ про себя говорилъ, что онъ шутить не мастеръ, иронія его была очень вѣска и неповоротлива; она тотчасъ становилась сарказмомъ, била не въ бровь, а въ глазъ. И въ разговорѣ также, какъ и съ перомъ въ рукѣ, онъ не блисталъ остроуміемъ, не обладалъ тѣмъ, что французы называютъ esprit, не ослѣплялъ игрою искусной діалектики; но въ немъ жила та неотразимая мощь, которая дается честной и непреклонной мысли, и выражалась она своеобразно и, въ концѣ-концовъ, увлекательно *)». Сходство Бѣлинскаго съ Базаровымъ и несходство послѣдняго съ Добролюбовымъ въ отношеніи этихъ двухъ качествъ не требуетъ комментаріевъ; но здѣсь же обнаруживается отличіе Базарова и Бѣлинскаго отъ Бакунина и Герцена: не говоря уже объ ихъ политическихъ планахъ, тоже, какъ показало время, слишкомъ забѣгавшихъ впередъ условій своего осуществленія, извѣстно, что Бакунинъ, благодаря своимъ діалектическимъ способностямъ, главенствовалъ среди нашихъ русскихъ гегельянцевъ, а Герценъ поражалъ фейерверкомъ своихъ остротъ.

Можно бы было провести эту параллель между Базаровымъ и Бѣлинскимъ и дальше. Можно бы, напр., указать на то, что Бѣлинскій такъ же, какъ и Базаровъ, особенно въ молодости, не блисталъ «одеженкой». — «Другой на его мѣстѣ, — замѣчаетъ по этому поводу гимназическій учитель Бѣлинскаго, — смотрѣлъ бы жалкимъ, заброшеннымъ мальчикомъ, а у него взглядъ и поступки были смѣлые, какъ бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствѣ. Такимъ онъ былъ и послѣ, такимъ пошелъ и въ могилу **). Точно также могли бы мы указать въ Бѣлинскомъ и чисто база-

*) Сочин., т. XII, стр. 30 и 40.

**) Пыпинъ: „В. Г. Бѣлинскій“. — „Вѣст. Евр.“, за мартъ 1874 г., стр. 218.

ровскую наружную черствость, напр., при встрѣчѣ его со студентомъ Кавелинымъ, и такую же, какъ у Базарова, рѣзкость и прямолинейность сужденій, напр., «въ большомъ обществѣ у князя Одоевскаго, гдѣ Бѣлинскій, нетерпѣливо слушавшій фантазію одного изъ собесѣдниковъ о чемъ-то въ родѣ реставраціи стариннаго боярства, наконецъ, взволнованный и раздраженный, заявилъ свое противорѣчіе словами, которыя поразили присутствовавшихъ своей суровой рѣзкостью *)». Наконецъ, могли бы мы сопоставить «дикость» Базарова и «неистовость» Бѣлинскаго, — ихъ «честность и правдивость», отношеніе къ своимъ промахамъ, къ «не имѣвшему власти» надъ ними прошедшему, къ родителямъ, женщинамъ и т. д.; но довольно. Полагаемъ, что послѣ всего вышесказаннаго это было бы даже излишнимъ: если основныя черты совпадаютъ, то совпаденіе второстепенныхъ чертъ само собой подразумѣвается. Поэтому посмотримъ лучше, въ заключеніе сравненія, на ихъ міровоззрѣнія.

„Аркадій и Базаровъ лежали въ тѣни небольшого стога сѣна...

— Знаешь ли ты, о чемъ я думаю? — промолвилъ, наконецъ, Базаровъ, закидывая руки за голову.

— Не знаю. О чемъ?..

— А я думаю: я вотъ лежу здѣсь подъ стогомъ... Узенькое мѣстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ и гдѣ дѣла до меня нѣтъ; и часть времени, которую удастся прожить, такъ незначительна передъ вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ... А въ этомъ атомѣ, въ этой маленькой точкѣ, кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочется тоже... Что за безобразіе! что за пустяки!

— Позволь тебѣ замѣтить: то, что ты говоришь, примѣняется вообще къ людямъ...

— Ты правъ,—подхватилъ Базаровъ.

Оба пріятеля полежали нѣкоторое время въ молчаніи.

— Да,—началъ Базаровъ, — странное существо человѣкъ. Какъ посмотришь этакъ сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведутъ здѣсь „отцы“, кажется: чего лучше? Ышь, пей и знай, что поступаешь самымъ правильнымъ, самымъ разумнымъ манеромъ. Анъ нѣтъ; тоска одолѣетъ. Хочется съ людьми возиться, хоть ругать ихъ, да возиться съ ними.

*) Тамъ же.—„Вѣст. Евр.“, за апрѣль 1875 г., стр. 585.

— Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение въ ней было значительно,—произнесъ задумчиво Аркадій.

— Кто говоритъ! Значительное, хотя и ложно бываетъ, да сладко; но и съ незначительнымъ помириться можно... а вотъ — дразги, дразги... это бѣда.

— Дразги не существуютъ для человѣка, если онъ только не захочетъ ихъ признать.

— Гм... Это ты сказалъ *противоположное общее мѣсто*.

— Что? Что ты называешь этимъ именемъ?

— А вотъ что: сказать, напр., что просвѣщеніе полезно, это общее мѣсто; а сказать, что просвѣщеніе вредно, это противоположное общее мѣсто. Оно какъ будто щеголеватѣе, а въ сущности одно и то же.

— Да правда-то гдѣ, на какой сторонѣ?

— Гдѣ? я тебѣ отвѣчу какъ эхо: гдѣ?..

— Полно, Евгений!... послушать тебя сегодня, поневолѣ согласишься съ тѣми, которые упрекаютъ насъ въ отсутствіи принциповъ.

— Ты говоришь, какъ твой дядя. Принциповъ вообще нѣтъ: ты объ этомъ не догадался до сихъ поръ! а есть ощущенія. Все отъ нихъ зависить.

— Какъ такъ?

— Да такъ же. Напримѣръ я: я придерживаюсь отрицательнаго направленія въ силу ощущенія. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ — и баста! Отчего мнѣ нравится химія? Отчего ты любишь яблоки?—тоже въ силу ощущенія. Не всякій тебѣ это скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу.

— Что жъ! и честность—ощущеніе?

— Еще бы!

— Евгений! — началъ печальнымъ голосомъ Аркадій.

— А? что? не по вкусу? — перебилъ Базаровъ — Нѣтъ, братъ! Рѣшилъ все косить, валяй и себя по ногамъ!.. Однако, мы довольно философствовали. „Природа навѣваетъ молчаніе сна“, сказалъ Пушкинъ.

— Никогда онъ ничего подобнаго не сказалъ,—промолвилъ Аркадій.

— Ну, не сказалъ, такъ могъ и долженъ былъ сказать въ качествѣ поэта“...

Аркадій съ Базаровымъ только что пріѣхали въ Никольское къ Одинцовой, и у нихъ только что завязался первый разговоръ.

— „Всѣ люди другъ на друга похожи какъ тѣломъ, такъ и душой,—между прочимъ замѣтилъ Базаровъ:—у cadaго изъ насъ мозгъ, селезенка, сердце, легкія одинаково устроены; небольшія видоизмѣненія ничего не значать...“

— Стало быть, по-вашему, нѣтъ разницы между глупымъ и умнымъ человекомъ, между добрымъ и злымъ?—возразила Анна Сергѣевна.

— Нѣтъ есть: какъ между больнымъ и здоровымъ. Легкія у чахоточнаго не въ томъ положеніи, какъ у насъ съ вами, хотя устроены одинаково. Мы приблизительно знаемъ, отчего происходятъ тѣлесныя недуги; а нравственныя болѣзни происходятъ отъ дурнаго воспитанія, отъ всякихъ пустяковъ, которыми сызмала набиваютъ людскія головы, отъ безобразнаго состоянія общества, однимъ словомъ. Исправьте общество, и болѣзней не будетъ...

— И вы полагаете, — промолвила Анна Сергѣевна, — что когда общество исправите, уже не будетъ ни глупыхъ, ни злыхъ людей?

— По крайней мѣрѣ, при правильномъ устройствѣ общества совершенно будетъ равно, глупъ ли человѣкъ или уменъ, золъ или добръ.

— Да, понимаю; у всѣхъ будетъ одна и та же селезенка.

— Именно такъ-съ, сударыня“.

Ограничимся лишь этими отрывками. И изъ нихъ уже достаточно опредѣленно обрисовывается міровоззрѣніе Базарова. Прежде всего привлекаетъ къ себѣ вниманіе его широта. Здѣсь уже и слѣда нѣтъ той свойственной метафизическому міросозерцанію односторонней точки зрѣнія, когда человѣкъ поставляется центромъ всего существующаго. Человѣка Базаровъ разсматриваетъ въ связи его сосуществованія со всей остальной вселенной и притомъ не только въ ея настоящемъ, но и въ прошедшемъ и будущемъ. Такая точка зрѣнія, само собой, должна была привести и Базарова, какъ привела современныхъ эволюціонистовъ, къ признанію человѣка не какимъ-то особымъ существомъ, а лишь однимъ изъ ничтожныхъ «атомовъ» окружающаго его безпредѣльнаго міра, подлежащимъ всѣмъ механически-дѣйствующимъ законамъ его: «кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочется...» Признавши же это, дѣйствительно, остается счесть слова Аркадія: «дрязги не существуютъ для человѣка, если только онъ не захочетъ ихъ признать», такимъ же «общимъ мѣстомъ», какъ и положенія: «просвѣщеніе полезно» и «просвѣщеніе вредно». Съ механической точки зрѣнія человѣкъ не можетъ самопроизвольно «захотѣть» или «не захотѣть», а подчиняется и въ своихъ желаніяхъ и нежеланіяхъ повсюду царящей вокругъ него законообразности. Въ основѣ этихъ психическихъ явленій лежитъ выработанный длиннымъ рядомъ внѣшнихъ вліяній и наслѣдственныхъ передачъ инстинктъ, при неудовлетвореніи котораго

возникает то тревожное, неприятное ощущение, которое называется желаніемъ и которое толкаетъ человѣка искать удовлетворенія, при удовлетвореніи же является пріятное ощущение, повышающее всѣ или нѣкоторыя силы человѣка и, благодаря этому, задерживающее его на нѣкоторое время въ занятомъ имъ положеніи. Если же, такимъ образомъ, въ основѣ всякаго направленія воли человѣка лежитъ, дѣйствительно, независимое отъ его произвола ощущение, то тогда, конечно, на вопросъ: «да правда-то гдѣ, на какой сторонѣ?» можно отвѣтить только «какъ эхъ: гдѣ?» потому что въ такомъ случаѣ «принциповъ вообще нѣтъ», а есть лишь принципы извѣстнаго однороднаго порядка людей или же даже отдѣльныхъ личностей. Въ самомъ дѣлѣ: нельзя же отрицать очевиднаго факта, что точно такъ же есть люди, которые противятся и противодѣйствуютъ просвѣщенію, какъ существуютъ дикія племена, признающія «долгомъ чести» кровавую месть. Значитъ, у нихъ нѣтъ такихъ инстинктовъ, потребностей, при неудовлетвореніи которыхъ возникало бы въ нихъ желаніе просвѣщенія и прощенія обидъ, а при удовлетвореніи — пріятное чувство, поддерживающее ихъ волю въ этомъ направленіи. А если такъ, то становится понятнымъ, почему, какъ мы видѣли, «проповѣдывать» было «не въ привычкахъ» Базарова и почему «обличеніе» онъ считалъ «болтовнею», «вздоромъ». При такой перестановкѣ принциповъ изъ причины, изъ «категорическаго императива» въ слѣдствіе, перемѣнить принципы человѣка можно только, перемѣнивши его инстинкты, его конструкцію. Но это — задача, которая достигается не «проповѣдью» или «обличеніемъ», не словами, а цѣлымъ строго-систематическимъ воспитаніемъ, да и то при томъ условіи, если окружающая среда будетъ не разрушать, а укрѣплять результаты воспитанія, если общество будетъ нормально. Такъ какъ люди кажутся тѣмъ злѣе и глупѣе одинъ другому, чѣмъ они менѣе сходны, то нормальнымъ надо считать то общество, члены котораго имѣютъ такъ же одинаковыя инстинкты и конструкцію, какъ «одну и ту же селезенку». Отсюда протестъ Базарова противъ всего, что не приноситъ «пользы» и, однако, поселяетъ разнь между людьми, и въ томъ числѣ

противъ искусства, которое онъ готовъ былъ признать только въ узко-утилитарномъ смыслѣ, если оно преслѣдуетъ тѣ же цѣли, какъ «искусство наживать деньги» или медицина.

Безъ сомнѣнія, большинству читателей такое механически-позитивное міровоззрѣніе и мораль «*sans obligation, ni sanction*» покажутся совершенно несовмѣстимыми съ представленіемъ о Бѣлинскомъ. Однако, если оставить въ сторонѣ путь, которымъ вмѣстѣ съ своимъ временемъ шелъ Бѣлинскій, и имѣть въ виду лишь то, къ чему онъ въ концѣ-концовъ пришелъ, то эта несовмѣстимость въ значительной мѣрѣ сгладится. Тургеневъ рассказываетъ, что Бѣлинскій, отбросивши Гегеля, еще въ 1843 г. «добился удовлетворившаго его отвѣта на тѣ вопросы, которые, не получивъ разрѣшенія или получивъ разрѣшеніе одностороннее, не даютъ покоя человѣку, особенно въ молодости: философскіе вопросы о значеніи жизни, объ отношеніи людей другъ къ другу и къ Божеству, о происхожденіи міра, о безсмертіи души и т. п. *)». Изъ другихъ рассказовъ о Бѣлинскомъ мы знаемъ, что при рѣшеніи этихъ вопросовъ въ данный періодъ большую роль играли у него Фейербахъ и вообще лѣвогегельянская школа, эта предшественница позитивизма на германской почвѣ, и Пьеръ Леру, извѣстный въ перепискѣ Бѣлинскаго съ друзьями подъ именемъ «Петра Рыжаго». Точно также извѣстно, съ какимъ интересомъ Бѣлинскій, когда появилась положительная философія О. Конта, слѣдилъ за нимъ и его послѣдователями, изъ которыхъ отъ Литтре, по его собственному признанію въ одномъ изъ писемъ начала 1847 г., онъ былъ «безъ ума» **). Въ это время онъ думалъ, что основатель новой философіи долженъ освободить науку отъ признаковъ трансцендентализма, отъ всего фантастическаго и мистическаго ***). Наконецъ, Анненковъ сообщаетъ, что Бѣлинскій «мечталъ о воспитаніи дочери на естествознаніи и точныхъ наукахъ ****)» — фактъ, пожалуй, лучше всего свидѣтельствующій

*) Сочин., т. XII, стр. 29.

**) Пыпинъ. „В. Г. Бѣлинскій“. „Вѣстн. Евр.“ за май 1875 г., стр. 154.

***) Тамъ же, стр. 157.

****) Литер. воспоминанія, т. III, стр. 221.

о томъ, насколько прочно и безповоротно онъ стоялъ въ послѣдніе годы своей жизни на сторонѣ только что нарождавшагося тогда положительнаго міровоззрѣнія. Конечно, по самымъ условіямъ своей дѣятельности Бѣлинскій не могъ вполне раскрыть этого своего міровоззрѣнія; тѣмъ не менѣе не только въ письмахъ, но и въ сочиненіяхъ его этой поры оно повсюду просвѣчиваетъ довольно прозрачно. Начать хоть бы съ того, что особенно въ статьяхъ, печатавшихся уже въ «Современникѣ», у Бѣлинскаго все чаще и чаще встрѣчаются параллели между человѣческимъ и подчеловѣческимъ міромъ. Защищая, напримѣръ, изображеніе въ литературѣ «міра, освѣщеннаго лучиною», онъ говоритъ: «Природа—вѣчный образецъ искусства, а величайшій и благороднѣйшій предметъ въ природѣ—человѣкъ. А развѣ мужикъ—не человѣкъ? Но что можетъ быть интереснаго въ грубомъ необразованномъ человѣкѣ? Какъ что? его душа, умъ, сердце, страсти, склонности,—словомъ, все то же, что и въ образованномъ человѣкѣ. Положимъ, послѣдній выше перваго; но развѣ ботанистъ интересуется только садовыми, улучшенными искусствомъ растеніями, презирая ихъ полевые, дико-растущіе первообразы? Развѣ для анатома и физиолога организмъ дикаго австралійца не такъ же интересенъ, какъ и организмъ просвѣщеннаго европейца? На какомъ же основаніи искусство въ этомъ отношеніи должно такъ разниться отъ науки? *)» При такомъ расширеніи точки зрѣнія вполне естественно, если мы встрѣчаемъ у Бѣлинскаго такъ же, какъ и у Базарова, чисто механическое міровоззрѣніе. «Вы, конечно, очень цѣните въ человѣкѣ чувство?—спрашиваетъ, напримѣръ, онъ, сражаясь съ метафизиками-космополитами.—Прекрасно! такъ цѣните же и этотъ кусокъ мяса, который трепещетъ въ его груди... Вы, конечно, очень уважаете въ человѣкѣ умъ? Прекрасно! такъ останавливайтесь же въ благоговѣйномъ изумленіи и передъ этою массою мозга, гдѣ происходятъ всѣ умственные отправления... Иначе, вы будете удивляться въ человѣкѣ слѣдствію мимо причины или, что еще хуже, сочините свои небывалыя въ природѣ причины и удовлетворитесь

*) Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго, изд. Павленкова, т. IV, стр. 585.

ими. Психологія, не опираючися на фізіологію, такъ же не-основательна, какъ и фізіологія, не знающая о существованіи анатоміи *)». Послѣ признанія такой чисто Конттовской субординаціи областей знаній, не удивительно, если Бѣлинскій, подобно Базарову, въ основу всего полагаетъ ощущеніе. «Великая важность *наглядности*,—говоритъ онъ по поводу одного пособія при преподаваніи физической географіи,—основана на самой природѣ человѣка, у котораго самыя отвлеченныя умственными представленія все-таки суть не иное что, какъ результатъ дѣятельности мозговыхъ органовъ... Давно уже сами философы согласились, что «ничто не можетъ быть въ умѣ, что прежде не было въ чувствахъ». Гегель, признавая справедливость этого положенія, прибавилъ: «кромѣ самого ума». Но эта прибавка едва ли не подозрительна, какъ порожденіе трансцендентальнаго идеализма. Человѣкъ не прямо же, не чистымъ же мышленіемъ дошелъ до сознанія, что у него есть умъ, а замѣтилъ это прежде всего изъ собственныхъ дѣйствій, въ которыхъ отражается его умъ, но которыя онъ опять-таки только черезъ чувства созналъ своимъ умомъ **). Разъ же въ основѣ всего—ощущенія, «принциповъ вообще нѣтъ»; и, дѣйствительно, обозрѣвши эволюцію нашей литературы до 1846 г., Бѣлинскій дѣлаетъ такой выводъ: «И такъ, все на свѣтѣ только относительно важно или неважно, велико или мало, старо или ново». «Какъ,—скажутъ намъ,—и истина, и добродѣтель понятія относительныя? Нѣтъ, какъ понятія, какъ мысль, онѣ безусловны и вѣчны; но какъ *осуществленіе*, какъ *фактъ* онѣ относительны. Идея истины и добра признавалась всѣми народами, во всѣ вѣка; но что непреложная истина, что добро для одного народа или вѣка, то часто бываетъ ложью и зломъ для другого народа, въ другой вѣкъ. Поэтому безусловный или абсолютный способъ сужденія есть самый легкій, но зато и самый ненадежный... ***)» Послѣ этого также становится понятнымъ, почему Бѣлинскій въ по-

*) Тамъ же, стр. 460.

**) Тамъ же, стр. 866.

***) Тамъ же, стр. 456.

слѣднее время отводилъ такое широкое мѣсто въ своей дѣятельности вопросамъ воспитанія и улучшенія общественныхъ условий. При этомъ первое онъ считалъ также недостаточнымъ безъ послѣдняго, такъ какъ, подобно Базарову, полагалъ, что «зло скрывается не въ человѣкѣ, но въ обществѣ... *)».

Наконецъ, меньше всего, повидимому, можно сближать Базарова съ Бѣлинскимъ въ ихъ отношеніи къ искусству; но и это только повидимому. Тургеневъ, сказавши, что Бѣлинскій, за исключеніемъ періода гегельянства, по «всему складу своего образа мыслей» не былъ и не могъ быть поклонникомъ чистаго искусства, — продолжаетъ: «Самъ онъ, впрочемъ, въ области искусства чувствовать себя дома только въ поэзіи, въ литературѣ. Живопись онъ не понималъ и музыкѣ сочувствовалъ очень слабо. Онъ самъ очень хорошо сознавалъ свой недостатокъ и уже не совался туда, куда ему заказана была дорога... Хоръ чертей въ Робертѣ-Дьяволѣ былъ единственной мелодіей, затверженной Бѣлинскимъ: въ минуты отличнаго расположенія духа онъ подвывалъ басомъ этотъ дьявольскій напѣвъ» **). Такимъ образомъ, кромѣ поэзіи, въ прочихъ искусствахъ Бѣлинскій немного превзошелъ Базарова и пѣніемъ своимъ, навѣрно, очень напоминалъ декламацію его изъ Пушкина: «Природа навѣваетъ молчаніе сна...»; съ переходомъ же на сторону позитивнаго міровоззрѣнія онъ все болѣе сталъ приближаться къ Базарову и въ своихъ отношеніяхъ къ поэзіи. Такъ, въ началѣ декабря 1847 г. онъ писалъ Боткину: «Мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т.-е. не впадала въ аллегорію или не отзывалась диссертацией... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзіи и творчества, она для меня *тѣмъ не менѣе* интересна... Разумѣется, если повѣсть возбуждаетъ вопросы и производитъ нравственное впечатлѣніе на общество при высокой художественности, тѣмъ она для меня

*) Тамъ же, т. III, стр. 605.

**) Сочин., т. XII, стр. 42.

лучше; но главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щегольствѣ. Будь повѣсть хоть расхудожественна, да если въ ней нѣтъ дѣла, то я къ ней совершенно равнодушенъ *)». Это уже чисто Базаровское равнодушіе къ искусству; но Бѣлинскій, подобно Базарову, не остановился на этомъ. «Помню,—разсказываетъ тотъ же Тургеневъ,—съ какой комической яростью онъ однажды при мнѣ напалъ на отсутствующаго, разумѣется, Пушкина за его два стиха въ «Поэтъ и Чернь»:

Печной горшокъ тебѣ дороже:
Ты пишу въ немъ себѣ варишь!

«И конечно,—твердилъ Бѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ,—конечно, дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пишу варю, и прежде чѣмъ любоваться красотой истукана, будь онъ распрефидіасовскій Аполлонъ, мое право, моя обязанность накормить своихъ и себя, на зло всякимъ негодующимъ баричамъ и виршеплетамъ! **»). Не напоминаетъ ли это словъ Базарова: «Порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта» и «искусство наживать деньги или нѣтъ болѣе геморроя». То же самое, что въ послѣднихъ двухъ цитатахъ, неоднократно встрѣчается и даже въ болѣе категорической формѣ и въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Бѣлинскаго. «Теперь, напимѣръ, говорится въ одномъ изъ нихъ,—посредственное художественное произведеніе, но которое даетъ толчокъ общественному сознанию, будить вопросы или рѣшаетъ ихъ, гораздо важнѣе самаго художественнаго произведенія, ничего не дающаго сознанию внѣ сферы искусства. Вообще нашъ вѣкъ—вѣкъ рефлексіи, мысли, тревожныхъ вопросовъ, а не искусства. Скажемъ болѣе: нашъ вѣкъ *враждебенъ* чистому искусству и чистое искусство не возможно въ немъ. Какъ во всѣ критическія эпохи, *эти разложенія жизни, отрицанія стараго при одномъ предчувствіи новаго*, теперь *искусство не господинъ, а рабъ*: оно служитъ постороннимъ для него цѣлямъ... ***»).

*) Пыпинъ. „В. Г. Бѣлинскій“. „Вѣстн. Евр.“ за май 1875 г., стр. 187.

**) Сочин., т. XII, стр. 41.

***) Сочин. Бѣлинскаго, т. IV, стр. 64.

Въ послѣднемъ отрывкѣ мы подходимъ къ новой параллели между воззрѣніями Базарова и Бѣлинскаго. Въ немъ Бѣлинскій не только отрицаетъ самостоятельное значеніе искусства, но и указываетъ основаніе къ тому въ задачахъ своего времени. При этомъ оказывается, что онъ совершенно такъ же понималъ эти задачи, какъ и Базаровъ. Вспомните тотъ же споръ послѣдняго съ Павломъ Петровичемъ. «Строить, — также, между прочимъ, говоритъ Базаровъ ему, — это уже не наше дѣло... Сперва нужно мѣсто расчистить...» Но мы не будемъ останавливаться на этой, какъ и на многихъ другихъ, не менѣе интересныхъ параллеляхъ въ воззрѣніяхъ Базарова и Бѣлинскаго. Повторяемъ: разъ міровоззрѣнія ихъ совпадаютъ въ основахъ, въ деталяхъ не совпадутъ развѣ вслѣдствіе непослѣдовательности. Поэтому теперь остается только сдѣлать выводъ изъ всего вышесказаннаго. Но выводъ этотъ, смѣемъ надѣяться, такъ самъ собою навязывается, что не требуетъ никакихъ дальнѣйшихъ комментаріевъ. Это — личность Бѣлинскаго послужила главнымъ не только источникомъ, но и прототипомъ Базарова, — они — люди одного порядка, одинаковаго характера, направленія, міровоззрѣнія, одной эпохи. Но какъ ни естественно вытекаетъ нашъ выводъ изъ всего вышесказаннаго, читателю, навѣрно, онъ покажется слишкомъ новымъ и потому не внушающимъ довѣрія. Поэтому, чтобы вывести читателя изъ такого колебательнаго состоянія, намъ слѣдовало бы привести здѣсь прецеденты этого вывода въ нашей литературѣ. Но, къ своему сожалѣнію, мы должны сказать, что можемъ указать лишь одинъ такой прецедентъ, и, къ утѣшенію читателя, прибавить, что собственно больше и не могло быть. Полагаемъ, послѣ вышеизложеннаго никто не станетъ спорить противъ того, что историческому изслѣдованію типъ Базарова доселѣ, дѣйствительно, не подвергался; о Бѣлинскомъ же имѣется одно такое изслѣдованіе — г. Пыпина. Итакъ, только въ одномъ сочиненіи нашей литературы мы можемъ искать прецедентъ нашему выводу, и вотъ какое обобщеніе, дѣйствительно, дѣлается здѣсь: «Наконецъ, въ его (т.-е. Бѣлинскаго) письмахъ мы не разъ отмѣчали эпизоды скептическаго сомнѣнія, которое своимъ отчасти жесткимъ тономъ очень близки къ «отри-

панію» новыхъ поколѣній и могли бы напоминать Базарова и его прототипы *)». Но,—воскликнетъ читатель,—здѣсь говорится только объ «эпизодахъ?» Но, успокоимъ мы его опять, о большемъ здѣсь и не могло говорить. Какъ видно изъ самыхъ приведенныхъ словъ г. Пышина, онъ смотритъ здѣсь съ той предвзятой точки зрѣнія, что Бѣлинскій—ни въ какомъ случаѣ не прототипъ Базарова, и потому отмѣчаетъ только тѣ черты сходства между ними, которыя, такъ сказать, сами лѣзли ему подъ перо. И, несмотря на это, онъ все-таки констатируетъ сходство между Бѣлинскимъ и Базаровымъ въ самомъ характерномъ признакѣ ихъ, въ доходящемъ до «жестокости» «отрицаніи».

Впрочемъ, года два тому назадъ опубликованъ очень авторитетный прецедентъ нашему выводу. Однако, мы его приведемъ потомъ; теперь же спѣшимъ предупредить одно недоразумѣніе, которое можетъ породить этотъ выводъ. Именно: какъ раньше казалось, что Базаровъ сфотографированъ съ «доктора Д.», такъ здѣсь можетъ показаться, что мы его считаемъ копіей Бѣлинскаго. Но помимо того, что это несовмѣстимо съ непосредственно-очевидной типичностью Базарова, Тургеневъ самъ говоритъ, что матеріаломъ для него послужили «наблюденія надъ... докторомъ Д. и подобными ему лицами **)» и, слѣдовательно, не надъ однимъ Бѣлинскимъ. Надъ кѣмъ же еще? Для отвѣта на это позволимъ себѣ привести двѣ, извиняемся, нѣсколько длинныя выписки.

„Окончивъ курсъ по филологическому факультету С.-Петербургскаго университета въ 1837 году, я весной 1838 года отправился доучиваться въ Берлинъ. Мнѣ было всего 19 лѣтъ; объ этой поѣздкѣ я мечталъ давно. Я былъ убѣжденъ, что въ Россіи возможно набраться только нѣкоторыхъ приготовительныхъ свѣдѣній, но что источникъ настоящаго знанія находится за границей...

„Могу сказать о себѣ, что лично я весьма ясно сознавалъ всѣ невыгоды подобнаго отторженія отъ родной почвы, подобнаго насильственнаго прерыва всѣхъ связей и нитей, прикрѣплявшихъ меня къ тому быту, среди

*) Пышинъ. „В. Г. Бѣлинскій“. „Вѣсти. Евр.“ за июнь 1875 г., стр. 593.

**) Сочин., т. XII, стр. 95.

котораго я выросъ... Но дѣлать было нечего. Тотъ быть, та среда и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ—полоса помѣщичья, крѣпостная—не представляла ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротивъ: почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія, отвращенія, наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей по избитой дорогѣ, либо отвернуться, разомъ оттолкнуть отъ себя „всѣхъ и вся“, даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ...

„Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня, вѣроятно, неоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага за тѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ известное имя: врагъ этотъ былъ—крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца—съ тѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я одинъ далъ ее тогда“...

„Куртавенель, 28 июля 1849 года.

„Половина 11-го вечера. Я пишу эти строки съ нѣкоторою гордостью. Какъ видите, мы не съ курами ложимся спать. Я только что сдѣлалъ прогулку въ паркѣ. Ночь прекрасная, звѣздъ невѣроятное количество. Крупныя звѣзды, которыя свѣтятся голубымъ свѣтомъ и какъ будто мигаютъ, красиво высятся надъ вершинами тополей, между тѣмъ какъ луна просвѣчиваетъ сквозь черныя вѣтви...

„Вы сейчасъ поете, такъ какъ я полагаю, что „Пророка“ будутъ давать по три раза на недѣлѣ; вотъ увидите, что вашъ успѣхъ будетъ только все рости и становиться все прекраснѣе, какъ Парижъ. Надѣюсь, что ваши сотрудники теперь держатся лучше.

„Возвращаясь къ своимъ звѣздамъ; вы знаете, что нѣтъ ничего зауряднѣе выраженія, будто онѣ внушаютъ религіозныя чувства; по крайней мѣрѣ, это можно встрѣтить во всѣхъ воспитательныхъ книжкахъ.

„Но увѣряю васъ, что вовсе не такое дѣйствіе производятъ онѣ на того, кто смотритъ на нихъ просто, безъ заранѣе предвзятаго взгляда. Тысячи міровъ, въ изобиліи разбросанныя по самымъ отдаленнымъ глубинамъ пространства, суть не что иное, какъ безконечное разлитіе жизни, той жизни, которая обнимаетъ все, проникаетъ всюду, заставляетъ безъ цѣли и надобности зарождаться цѣлый міръ растений и насѣкомыхъ въ какой-нибудь каплѣ воды. Это произведеніе неодолимаго, невольнаго, инстинктивнаго движенія, которое не можетъ поступать иначе; это не есть творчество обдуманное.

„Но что такое эта жизнь? А! Я ничего объ этомъ не знаю, но знаю, что въ данную минуту она все, она въ полномъ разцвѣтѣ, въ полной силѣ, не

знаю, долго ли это будет продолжаться, но въ данную минуту это такъ: она заставляетъ кровь обращаться въ моихъ жилахъ безо всякаго съ моей стороны къ тому воздѣйствію, и она же заставляетъ звѣзды появляться на небѣ, какъ прыщи на кожѣ, и это ей ничего не стоитъ, и нѣтъ ей въ томъ большой заслуги.

„Уфъ! вотъ такъ спекулятивная философія! Я не хочу перечитывать моего царापанья! Встряхнемся и перейдемъ къ чему-нибудь другому. Однако, думаю, не продолжать ли мнѣ завтра? А пока, да благословить васъ Богъ, или да будетъ къ вамъ жизнь благосклонна; но во всякомъ случаѣ будьте счастливы и здоровы“.

Какъ видимъ, эти отрывки относятся къ 1838—1849 годамъ; между тѣмъ они—точно черновые наброски къ «Отцамъ и Дѣтямъ». Впрочемъ, между этими годами и 1859 годомъ, въ которомъ совершаются событія «Отцовъ и Дѣтей», никакихъ существенныхъ перемѣнъ не произошло въ Россіи. Оказывается, что просвѣщенные молодые люди тогда находились въ довольно трагическомъ положеніи. Имъ представлялось только два выхода: «либо покориться и смиренно побрести общей колеей по избитой дорогѣ» крѣпостного строя, «либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя «всѣхъ и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко сердцу». И вотъ въ первомъ отрывкѣ мы видимъ 19-лѣтняго юношу, порывающаго «всѣ связи и нити, прикрѣплявшія его къ тому быту, среди котораго онъ выросъ», и дающаго «аннибаловскую клятву» «бороться до конца» съ нимъ, а въ «Отцахъ и Дѣтяхъ»—уже зрѣлаго чело-вѣка, уже «оттолкнувшаго отъ себя «всѣхъ и вся» и сражающагося съ окружающимъ его бытомъ, съ «полосой помѣщичьей, крѣпостной». Разница между тѣмъ и другимъ лишь въ томъ, что въ юношѣ, «вѣроятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера» сразиться съ «врагомъ» лицомъ къ лицу, въ героѣ же «Отцовъ и Дѣтей» всего этого въ избыткѣ. Что же касается второго отрывка, то не напоминаетъ ли онъ разговора Базарова съ Аркадіемъ подъ стогомъ сѣна? Въ немъ развивается то же широкое, позитивное, механическое, ставящее и чело-вѣка въ рядъ закономѣрныхъ явленій вселенной и чуждое предвзятыхъ взглядовъ міросозерцаніе. Даже тотъ же ироническій тонъ базаровскій,—выраженія сходныя: «кровь обращаетъ

ся», «заставляет кровь обращаться», и въ заключеніе дѣлается одинаковая вылазка по адресу «философіи» и выражается предпочтеніе ей сна. Разница и здѣсь лишь въ томъ, что Базаровъ хотя доступенъ вліянію природы, но равнодушенъ, а авторъ письма, видимо, не равнодушенъ къ красотамъ ея.

Какъ, конечно, читатель знаетъ, первая выписка сдѣлана изъ «вступленія» Тургенева къ его «Воспоминаніямъ», а вторая—одно изъ писемъ его къ г-жѣ Віардо. Если же такъ, то мы проникли въ процессъ созданія Базарова еще дальше:—къ тому личному настроенію, горячо пережитому и глубоко передуманному настроенію Тургеневымъ, къ которому «постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы», подъ вліяніемъ которыхъ и изъ которыхъ онъ въ послѣдствіи, такъ сказать, вытѣпилъ эту свою фигуру. И если отвлечься отъ взглядовъ на Тургенева, распространенныхъ у насъ сочиненіями Антоновича, Писарева, г. Скабичевскаго и т. п., и безпристрастно пробѣжать и взвѣсить біографическія подробности его, то такой выводъ покажется вполне естественнымъ. Въ самомъ дѣлѣ: рѣшимость 19-лѣтнимъ юношей ѣхать доканчивать образованіе за границу, усвоеніе тамъ лѣвогегельянской, а потомъ позитивной философіи, дружба съ Бакунинымъ, Бѣлинскимъ и Герценомъ, разрывъ съ матерью-крѣпостницей и жизнь въ нуждѣ, «Записки Охотника», какъ первое реальное изображеніе народной жизни,—проповѣдь въ «жестокій вѣкъ» освобожденія крестьянъ и прочей свободы, помощь деньгами и книгами Бакунину и ходатайство о смягченіи его участи, когда онъ сидѣлъ въ Шлиссельбургѣ,—арестъ и ссылка въ Спасское въ 1852—1856 годахъ, открытыя сношенія послѣ нея съ нашими эмигрантами и дѣятельное сотрудничество въ «Колоколѣ» Герцена, смѣлое заявленіе, что, «за исключеніемъ воззрѣній на художества, раздѣляетъ почти всѣ убѣжденія Базарова», когда все общество ополчилось на него, самая способность выносить въ душѣ и написать Базарова, въ послѣдствіи Соломина.. Безъ сомнѣнія, все это несравненно больше гармонируетъ съ характеристиками Тургенева, оставленными людьми, близко знавшими его, чѣмъ—публицистами. «Это, писалъ, напримѣръ, Бѣлинскій 31 марта

1843 года Боткину о Тургеневѣ послѣ сближенія съ нимъ,—человѣкъ необыкновенно умный да и вообще хорошій человѣкъ. Бесѣда и споры съ нимъ отводили мнѣ душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всемъ соглашаются съ тобою, или если противорѣчатъ, то не доказательствами, а чувствами и инстинктомъ, и отрадно встрѣтить человѣка, самобытное и характерное мнѣніе котораго, сшибаясь съ твоимъ, извлекаетъ искры. У Т. много юмору. Я, кажется, уже писалъ тебѣ, что разъ въ спорѣ противъ меня за нѣмцевъ онъ сказалъ мнѣ: да что вашъ русскій человѣкъ, который не только шапку, да и мозгъ-то свой носить набекрень! Вообще, Русь онъ понимаетъ. Во всѣхъ его сужденіяхъ видны характеръ и дѣйствительность. Онъ врагъ всего неопредѣленнаго... Въ немъ есть злость, желчь и юморъ*)». Еще ближе къ Базарову характеризуетъ себя самъ Тургеневъ въ письмѣ къ М. А. Милютиной отъ 22 февраля 1875 года. «Скажу вкратцѣ,—писалъ онъ здѣсь,—что я преимущественно *реалистъ* и больше всего интересуюсь *живою правдою* людской фizioноміи; ко всему *сверхъестественному* отношусь *равнодушно*, ни въ какіе *абсолюты и системы* не вѣрю, люблю больше всего *свободу* и, сколько могу судить, доступенъ поэзіи**). Если здѣсь замѣнить слово «поэзіи» словомъ «наукѣ», то подъ этимъ самоопредѣленіемъ подписался бы самъ Базаровъ. Впрочемъ, не слѣдуетъ преувеличивать и разницы отношенія ихъ къ «художествамъ». Въ томъ же 1861 году, во время работы надъ «Отцами и Дѣтьми», Тургеневъ, охарактеризовавъ двухъ вождей тогдашней нашей живописи—Брюллова и Иванова, изъ которыхъ «одинъ, если можно такъ выразиться, правдиво представлялъ намъ ложь, другой—ложно, т.-е. слабо и невѣрно, представлялъ намъ правду», заявляетъ: «А между тѣмъ, если ужъ выбирать изъ двухъ направленій, лучше, въ тысячу разъ лучше пойти за Ивановымъ***)». Не то же ли самое это значить, что и слова Бѣлинскаго: «нашъ вѣкъ вражде-

*) Приводится г. Пыпинымъ въ „В. Г. Бѣлинскій“.—„Вѣстн. Европы“ за апрѣль 1875 г., стр. 566.

**) Письма, стр. 252.

***) Сочин., т. XII, стр. 90.

бенъ чистому искусству» и т. д., и слова Базарова: «порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта», при поясненіи къ нимъ: «мнѣ скажутъ дѣло, я соглашусь—вотъ и все». Поэтому гораздо болѣе существенное отличіе отъ Базарова указываетъ въ себѣ Тургеневъ въ письмѣ къ Герцену отъ 25 ноября 1862 года. «Я не нигилистъ,—писалъ онъ,—потому только, что я, насколько хватаетъ моего пониманія, вижу трагическую сторону въ судьбахъ всей европейской семьи (включая, разумѣется, и Россію). Я все-таки *европеусъ* и люблю знамя, вѣрю въ знамя, подъ которое сталъ въ молодости*)». На этомъ знамени, кромѣ вѣры въ неизбежность и необходимость западнаго вліянія въ Россіи, было написано: «Безъ образованія» и «знанія», «безъ свободы въ обширнѣйшемъ смыслѣ въ отношеніи къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ и системамъ, даже къ своему народу, къ своей исторіи... дышать нельзя**»). Такъ какъ художественныя произведенія вырастаютъ хотя изъ духовнаго настроенія и содержанія художника, но подъ вліяніемъ столкновеній и борьбы съ окружающею современностью и прежде всего въ кругѣ личныхъ отношеній, то остановимся на этомъ «знамени» Тургенева поподробнѣй. Оно настолько реально и свободно, что подъ нимъ очень естественно было появиться Базарову.

Анненковъ рассказываетъ, что было время, именно въ 1845 г., въ моментъ окончательнаго перехода Бѣлинскаго отъ метафизическаго міровоззрѣнія къ положительному, когда онъ «оставался почти одинъ со знаменемъ ***»). Съ образованіемъ новой редакціи «Современника» около Бѣлинскаго сгруппировался кружокъ преимущественно молодыхъ литераторовъ; но насколько ближайшіе сотрудники Бѣлинскаго недостаточно понимали его, это видно изъ того, что когда онъ, предупреждая Тѣна, сталъ признавать значеніе для характеристики эпохи за такими писателями, какъ Сумароковъ, Булгаринъ, славянофилы, автори-

*) Багуринскаго „Герценъ и Тургеневъ“—„Вѣстникъ всемірной Исторіи“, II кн. за 1901 г., стр. 129.

**) Сочин., т. XII, стр. 100—101.

***) Воспоминанія, т. III, стр. 133.

теты которыхъ прежде потрясалъ съ такимъ превосходствомъ, то «редакція много роптала на статьи съ такой странной, небывалой тенденціей въ петербургской западнической печати *)». Вскорѣ послѣдовавшая смерть Бѣлинскаго «покрыла мракомъ неизвѣстности» то, каковы бы были дальнѣйшія отношенія его къ редакціи «Современника», но подъ знамя Бѣлинскаго твердо стали многіе изъ тогдашнихъ молодыхъ, а впослѣдствіи сдѣлавшихся знаменитыми литераторовъ: Григоровичъ, Ап. Майковъ, Гончаровъ, Анненковъ и въ особенности Тургеневъ. Во время своей ссылки въ Спасское онъ ратовалъ подъ этимъ знаменемъ противъ Аксаковыхъ. Когда въ 1856 г. ему разрѣшили выѣхать за границу, онъ первымъ дѣломъ заявился въ Лондонъ повидаться съ Герценомъ. Здѣсь между ними произошли жаркіе споры о «будущности Россіи», являвшіеся «въ сущности продолженіемъ старыхъ московскихъ и петербургскихъ споровъ, имѣвшихъ мѣсто въ 40-хъ годахъ въ кружкахъ Герцена и Бѣлинскаго. Герценъ рѣшился суммировать этотъ споръ въ отдѣльной статьѣ, озаглавленной: «Варіаціи на старыя темы» и хотѣлъ посвятить статью Тургеневу, какъ главному и характерному представителю тогдашняго «западничества **»). Тѣ же споры повторились при встрѣчѣ Тургенева съ Герценомъ на островѣ Уайтѣ въ августѣ 1860 г. и при короткомъ свиданіи ихъ въ Лондонѣ въ апрѣлѣ 1862 г., слѣдовательно, когда впервые зародилась у Тургенева идея «Отцовъ и Дѣтей» и когда они только что появились въ печати. Защищаемыя Герценомъ воззрѣнія были изложены имъ въ «Колоколѣ» въ формѣ письма къ Тургеневу подъ заглавіемъ «Концы и начала». На эту статью Тургеневъ отвѣчалъ Герцену въ письмѣ отъ 8 ноября 1862 г. Въ немъ ярче всего выражено тогдашнее базаровское трезвое, прямое, смѣлое, свободное настроеніе Тургенева. Кромѣ того, изъ него видно, что «Отцы и Дѣти» въ лицѣ Базарова были «направлены» столько же «противъ дворянства, какъ передового класса», сколько и противъ передовыхъ тогдашнихъ лю-

*) Тамъ же, стр. 145—149.

**) Батуринскій. „Герценъ и Тургеневъ“. „Вѣс. всем. исторіи“, кн. 2 за 1901 г., стр. 37.

дей, покидавшихъ реальную почву подъ ногами. Вотъ это письмо съ небольшими сокращеніями:

„Врагъ милитаризма и абсолютизма, ты мистически преклоняешься передъ русскимъ тулупомъ, и въ немъ ты видишь великую благодать и новизну, и оригинальность будущихъ общественныхъ формъ: das Absolute, однимъ словомъ то самое Absolute, надъ которымъ ты такъ смѣешься въ философіи. Всѣ твои идолы разбиты, а безъ идола жить нельзя; такъ давай двигать алтарь этому невѣдомому богу, благо о немъ почти ничего неизвѣстно, и опять можно молиться и вѣрить, и ждать. Богъ этотъ думаетъ совсѣмъ не то, что вы отъ него ждете; это, по вашему, временно, случайно, насильно привито ему внѣшнюю властью; богъ вашъ любить до обожанія то, что вы ненавидите, и ненавидитъ то, что вы любите, богъ принимаетъ именно то, что вы за него отвергаете; вы отворачиваете глаза, затыкаете уши и съ экстазомъ, свойственнымъ всѣмъ скептикамъ, которымъ скептицизмъ надоелъ, съ этимъ специфическимъ, ультра-фанатическимъ экстазомъ твердите о „весенней свѣжести“, „благодатныхъ буряхъ“ и т. д. Исторія, филологія, статистика—вамъ все нипочемъ; нипочемъ вамъ факты, хотя бы, наприимѣръ, тотъ несомнѣнный фактъ, что мы, русскіе, принадлежимъ и по языку, и по породѣ къ европейской семьѣ, „gens Europeum“ и, слѣдовательно, по самымъ неизмѣннымъ законамъ фізіологіи должны идти по той же дорогѣ... А, между тѣмъ, въ силу вашей душевной боли, вашей усталости, вашей жажды положить свѣжую крупинку свѣга на изсохшій языкъ, вы бьете по всему, что каждому европейцу, а потому и намъ, должно быть дорого: и наливъ молодыя головы вашей еще непребродившей соціально славянофильской брагой, пускаете ихъ хмельными и отуманенными въ міръ, гдѣ имъ предстоитъ споткнуться на первомъ шагу. Что вы все это дѣлаете добросовѣстно, честно, горестно, съ горячимъ искреннимъ самоотверженіемъ, въ этомъ я не сомнѣваюсь, и ты увѣренъ, что я не сомнѣваюсь... Но отъ этого не легче. Одно изъ двухъ: либо служи европейскимъ началамъ попрежнему, либо, если ужъ дошелъ до убѣжденія въ ихъ несостоятельности, имѣй духъ и смѣлость посмотреть чорту въ оба глаза, скажи: „guilty“ (виновенъ) въ лицо *всему европейскому человечеству* и не дѣлай явныхъ или подразумеваемыхъ исключеній въ пользу новодолженствующаго придти россійскаго Мессіи, въ котораго въ сущности ты лично такъ же мало вѣришь, какъ и въ европейскаго. Ты скажешь: это страшно, и популярность можно потерять, и возможность продолжать дѣйствовать, какъ ты теперь дѣйствуешь. Согласенъ; но, съ одной стороны, и такъ дѣйствовать, какъ ты теперь дѣйствуешь, бесполезно, а съ другой стороны, я въ тебѣ, на зло тебѣ, предполагаю достаточно силы духа, чтобы не убояться никакихъ послѣдствій отъ высказыванія того, что ты считаешь истиной“ *).

*) Тамъ же, кн. 11, стр. 126—127.

Ограничимся этими сближающими Тургенева съ Базаровымъ чертами. Да больше указывать ихъ было бы и излишнимъ: разъ въ Бѣлинскомъ оказались всѣ основные «элементы» Базарова, и разъ Тургеневъ былъ связанъ съ Бѣлинскимъ самой тѣсной дружбой и единствомъ знамени,—созданіе Базарова Тургеневымъ и внесеніе въ него своихъ настроеній и стремленій представляется такъ естественнымъ. Лучше приведемъ здѣсь, наконецъ, тотъ прецедентъ этому нашему выводу, о которомъ упоминали выше. Какъ извѣстно, Базаровъ сначала показался Герцену также если не карриатурой и клеветой, то порицаніемъ молодого поколѣнія. Хотя Тургеневъ въ письмѣ отъ 28 апрѣля 1862 г. завѣрялъ его, что «при сочиненіи Базарова не только не сердился на него, но чувствовалъ влеченіе, родъ недуга *)», тѣмъ не менѣе Герценъ остался при мнѣніи, что Базаровъ «дурно задуманъ». Однако, въ 1869 г. онъ перечиталъ статьи Писарева о Базаровѣ и въ написанномъ по этому поводу письмѣ къ Огареву значительно измѣнилъ свой взглядъ на этотъ типъ и, между прочимъ, говоритъ вотъ что:

„Что наше поколѣніе завѣщало новому?

Нигилизмъ.

Вспомнимъ, какъ было дѣло.

Около 40-хъ годовъ жизнь изъ-подъ туго придавленныхъ клапановъ стала сильно пробиваться...

Тайныхъ обществъ тогда не было, но тайное сочувствіе понимающихъ было велико.

Тогда все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ и передъ собственнымъ безправіемъ, все указывало на науку и образованіе, какъ на очищеніе мысли отъ всего традиціознаго хлама, на свободу совѣсти и разума.

Къ этому времени принадлежитъ первая зарница *нигилизма*, зарница той свободы отъ всѣхъ готовыхъ понятій, отъ всѣхъ унаслѣдованныхъ абстракцій и заваловъ, которые мѣшаютъ западному уму идти впередъ со своимъ историческимъ ядромъ на ногахъ...

Когда Бѣлинскій, долго слушая объясненія кого-то изъ друзей о томъ, что *духъ* приходитъ къ самосознанію въ человѣкѣ, съ негодованіемъ отвѣчалъ: такъ это я не для себя сознаю, а для духа! Что же я ему за дуракъ

*) Тамъ же, стр. 2.

достался, лучше не буду вовсе думать, что мнѣ за забота до его сознанія... онъ былъ *нигилистъ*.

Когда Бакунинъ учились берлинскихъ профессоровъ въ робости отрицанія и парижскихъ революціонеровъ 1848 г. въ консерватизмъ, онъ былъ *нигилистъ*.

Когда Петрашевскій *) „хотѣлъ ниспровергнуть всѣ божескіе и человѣческіе законы и разрушить основы общества“, онъ былъ такъ же *нигилистъ*.

Нигилизмъ съ тѣхъ поръ расширился, яснѣе созналъ себя, даже сталъ доктриной, принялъ въ себя многое изъ науки и вызвалъ дѣятелей съ огромными силами, съ огромными талантами... все это несомнѣнно.

*Но новыхъ началъ, принциповъ онъ не внесъ **).*

Итакъ, прототипы Базарова — «докторъ Д.», въ особенности Бѣлинскій и, за исключеніемъ дворянскаго происхожденія, мягкости характера и склонности къ художествамъ, послужившихъ матеріаломъ для Н. П. Кирсанова, самъ Тургеневъ. Если же такъ, то Базаровъ является типичнымъ изображеніемъ того направленія въ нашей недавней исторіи, самыми первыми, яркими и полными выразителями и вождями котораго были эти два нашихъ великихъ писателя. Направленіе это народилось еще въ 30-хъ, созрѣло въ 40-хъ и *вполнѣ* заявило себя въ 60-хъ годахъ прошлаго вѣка «великими реформами». Дѣйствительно, если перечислить главныхъ дѣятелей этихъ реформъ, то окажется, что все это люди 40-хъ годовъ и, какъ это ни покажется страннымъ на первый взглядъ, базаровскаго склада. Въ самомъ дѣлѣ: надо было имѣть чисто базаровское убѣжденіе въ негодности всѣхъ «постановленій» нашего быта, чтобы предпринять сплошную и коренную реформу его во всѣхъ направленіяхъ. Точно также при осуществленіи этой реформы дѣятели ея не заносились, подобно Н. П. Кирсанову, прямо къ Либиху, а начинали съ базаровскихъ «азовъ» и «элементарныхъ» начинаній. Наконецъ, они такъ же, какъ и Базаровъ, полагали, что если нормальные люди могутъ быть только при нормальномъ общественномъ строѣ, то и этотъ послѣдній обусловливается

*) Въ гейдельбергскомъ письмѣ Тургеневъ изъ Петрашевцевъ упоминаетъ Спѣшневъ.

**) „Вѣст. всем. ист.“ 1901 г., кн. II, стр. 13—15.

больше всего нормальными людьми, и потому прежде всего сосредоточивали вниманіе на образованіи народа *). Во всемъ дѣятели реформъ рѣзко отличаются какъ отъ предшествовавшаго имъ поколѣнія 20-хъ годовъ, съ одной стороны, провозглашавшаго «официальную народность», съ другой—начинавшаго прямо съ конституціи, такъ и отъ послѣдующаго поколѣнія 70-хъ годовъ, открывшаго «деревенскіе устои», вѣрившаго въ готовность народа послѣдовать за Мадзини и проповѣдывавшаго «субъективный методъ въ соціологіи» и «справедливость выше правды». Въ глазахъ первыхъ люди 40-хъ годовъ были «нителисты», а въ глазахъ послѣднихъ—«постепенновцы» **).

Такимъ образомъ мы пришли къ выводу, совершенно несогласному съ общераспространенными взглядами на Базарова. Какъ извѣстно, его считали и считаютъ или «карикатурой», или «апофеозой», или же «представителемъ» молодого поколѣнія 60-хъ годовъ. По нашему же онъ, дѣйствительно,—поразительно типичный представитель, но только не этого поколѣнія, а цѣлаго направленія въ русской жизни, возникшаго въ 30-хъ и сошедшаго со сцены въ 80-хъ годахъ прошлаго вѣка. Предоставляемъ самимъ читателямъ судить, насколько такое перемѣщеніе центра тяжести Базарова изъ 60-хъ въ 40-е годы измѣняетъ пониманіе какъ самого Базарова, такъ и его прототиповъ—Бѣлинскаго и Тургенева; мы же здѣсь прибавимъ только, что при нашемъ пониманіи Базарова вполне понятнымъ становится пріемъ, оказанный ему русскимъ обществомъ. Въ «Воспоминаніяхъ» Тургеневъ рассказываетъ, что когда Бѣлинскій выступилъ въ половинѣ 30-хъ годовъ на литературное поприще, то о немъ составила «цѣлая легенда». Говорили, что онъ недоучившійся казенный студентъ, выгнанный изъ университета тогдашнимъ попечителемъ Голохвастовымъ за развратное поведеніе (Бѣлинскій и развратное поведеніе!); увѣряли, что и наружность его самая ужасная; что это какой-то циникъ, бульдогъ,

*) Въ этомъ отношеніи характеренъ „Проектъ программы общества для распространенія грамотности и первоначальнаго образованія“ Тургенева. Сочин., т. XII, стр. 353.

**) Сочин., т. XII, стр. 364.

призрѣнный Надеждинымъ съ цѣлью травить имъ своихъ враговъ *). Насколько такое отношеніе къ Бѣлинскому сохранилось и ко времени появленія «Отцовъ и Дѣтей», можно судить по тому, что когда Тургеневъ въ упомянутой выше лекціи о Пушкинѣ въ 1859 г. коснулся критики Бѣлинскаго, то «одно упоминовеніе этого имени возбудило негодованіе большей части его слушателей». Но такъ относились къ Бѣлинскому люди направленія 20-хъ годовъ; молодое же поколѣніе 60-хъ годовъ считало Бѣлинскаго «погрязшимъ въ эстетическомъ мистицизмѣ», а самого лектора о немъ—человѣкомъ «отставнымъ», «непричастнымъ къ современному движенію идей» **), «лишеннымъ всякаго философскаго развитія», «всякой умственной подготовкѣ» къ пониманію молодого поколѣнія ***)) и т. д. до сравненія съ Аскочинскимъ, этимъ Булгаринымъ 50-хъ годовъ, включительно ****)). Если же такъ относились старое и молодое поколѣніе нашего общества 60-хъ годовъ къ оригиналамъ, то могли ли быть иныя отношенія къ снимку съ нихъ—къ Базарову, въ которомъ ихъ характерныя черты были сконцентрированы и ярко освѣщены? Какъ видно изъ переписки Тургенева, вполне поняли Базарова Боткинъ и Достоевскій и сочувственно отнеслись къ нему Анненковъ, Ап. Майковъ, Григоровичъ и, въ концѣ-концовъ, Герценъ и Салтыковъ *****), все люди 40-хъ годовъ и (со включеніемъ тогдашняго Достоевскаго) стоявшіе съ Бѣлинскимъ и Тургеневымъ подъ однимъ знаменемъ.

Въ перепискѣ Тургенева разсѣяны увѣренія, что онъ «при сочиненіи Базарова... чувствовалъ (къ нему) влеченіе, родъ не-

*) Сочин., т. XII, стр. 19.

**) Слова Писарева изъ статьи „Базаровъ“ во 2 томѣ его сочиненій.

***)) Слова Скабичевскаго изъ его статьи о Тургеневѣ въ „Отеч. Записк.“ за 1868 г.

****) Въ статьѣ Антоновича „Асмодей нашего времени“.—„Современникъ“, кн. 3 за 1862 г.

*****)) Письма, стр. 100—102, 107—103 и 278,—Анненкова „Шесть лѣтъ переписки съ Тургеневымъ“ въ „Вѣст. Евр.“ 1885 г., кн. IV, стр. 490, — Батуринскаго „Герценъ и Тургеневъ“ въ „Вѣст. всем. ист.“ 1901 г., кн. XI, стр. 9.—Герценъ называлъ Базарова „нормальнымъ“ нигилистомъ, а Салтыковъ считалъ его „самымъ симпатичнымъ“ изъ героев Тургенева.

дуга», что «раздѣляетъ почти всѣ его убѣжденія», что «потратилъ на него всѣ находившіяся въ его распоряженіи краски», что послѣ него «болѣе чѣмъ когда-либо удалился отъ того круга, въ который собственно никогда вхожъ не былъ и писать и трудиться для котораго почелъ бы глупостью и позоромъ», что «никому не можетъ быть обиднымъ сравненіе его съ Базаровымъ», что это—«любимое его дѣтище», «умница, герой» *). Послѣ всего вышеизложеннаго эти слова Тургенева заслуживаютъ полное довѣріе, равно какъ вполне понятнымъ становится и то, почему онъ писалъ «Отцовъ и Дѣтей» съ такимъ напоминающимъ вдохновеніе старинныхъ поэтовъ одушевленіемъ и особенно «критическимъ» и «объективнымъ» отношеніемъ къ своему предмету и своимъ «симпатіямъ и антипатіямъ». Вѣдь, если когда-либо Тургеневъ исполнилъ свою «Аннибаловскую клятву», то больше всего этимъ своимъ романомъ, направленнымъ противъ главнаго его врага—дворянства, какъ передового класса», и представлявшимъ типъ человѣка, въ которомъ, по его мнѣнію, нуждалась взаимно этого класса освобождавшаяся Россія, человѣка простаго, работающаго, вооруженнаго точнымъ знаніемъ и такого самостоятельнаго и независимаго, которому больше не требуются ни авторитеты, ни даже знамя. Какъ мы видѣли, доселѣ не была признана эта роль Тургенева въ недавнихъ событіяхъ нашей исторіи; но «кто знаетъ, скажемъ и мы вмѣстѣ съ нимъ,—ему, быть можетъ, еще суждено зажечь сердца людей **»). Въ настоящее время пришелъ чередъ сойти со сцены поколѣнію, такъ непривѣтливо встрѣтившему автора «Отцовъ и Дѣтей». Сверхъ того, наше общество снова взволновано тѣми самыми вопросами, въ отвѣтъ на которые былъ написанъ этотъ романъ, а впослѣдствіи какъ бы продолженіе и разъясненіе его—«Новь». Это—вопросы о «вѣщшемъ укрѣпленіи и развитіи благосостоянія основныхъ устоевъ русской сельской (а слѣдовательно и почти всей) жизни—помѣстнаго дворянства и крестьянства ***»». Не мо-

*) Письма, стр. 238 и 278, „Вѣстн. всем. исторіи“, 11 кн. за 1901 г., стр. 2.

**) Тамъ же, стр. 279.

***) Слова Высочайшаго манифеста 26 февраля 1903 г.

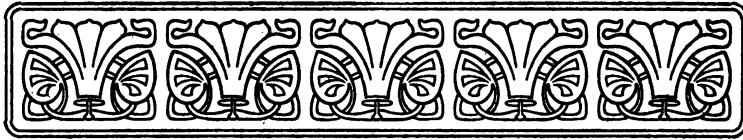
жетъ быть, чтобы русское общество при коренномъ рѣшеніи этихъ вопросовъ прошло мимо отвѣта на нихъ величайшаго своего «бытописателя», мимо Базарова и Соломина, и въ наше время «проблемъ идеализма», «имморализма» и «декаденщины», все еще остающихся тѣмъ же, чѣмъ считалъ ихъ для своего времени Тургеневъ, — «провозвѣстниками» *)...

Въ заключеніе еще одно короткое, но краснорѣчивое подтвержденіе нашего вывода: «Отцы и Дѣти» Тургеневымъ «посвящаются памяти Виссаріона Григорьевича Бѣлинскаго».

В. Тухоміцкій.



*) Письма, стр. 242.



П о р ы в ъ.

Полечу я въ лодкѣ быстрой,
Унесусь я въ сине море,
Утоплю тамъ, схороню я
Навсегда людское горе...

Пусть оно въ морскихъ глубинахъ
Все растаетъ, разойдется
И далѣко отъ жилища
Человѣка унесется!..

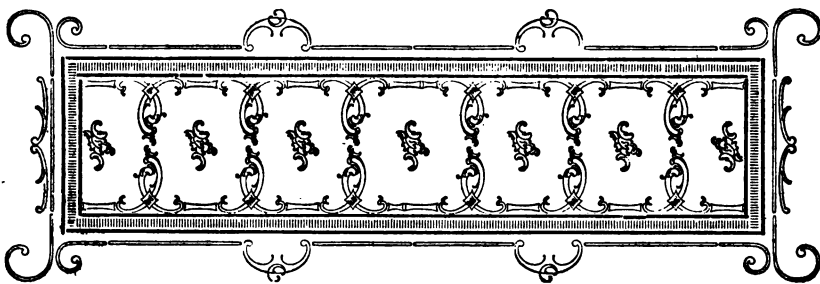
Такъ пускай же моя лодка
Гнетомъ жизни нагрузится,
Подъ которымъ безконечно
Человѣчество томится!

Но, быть можетъ, грузъ тяжелый
Моя лодка не подниметъ
И съ пловцомъ своимъ печальнымъ
Въ морѣ бурномъ вмѣстѣ сгинетъ!?

Пусть на вѣкъ пловца схоронитъ
Глубина въ себѣ морская,
Если свѣтомъ счастья, правды
Озарится жизнь земная!..

Р. А. Виталинъ.





Эстетика и нравственность.

Какъ бы мы ни смотрѣли на эстетику и нравственность, какъ бы мы ни опредѣляли ихъ, мы не перестанемъ испытывать по временамъ того особаго ощущенія, когда красота тянетъ насъ въ одну сторону, а требованія нравственности—въ другую.

Можетъ быть, эстетика и нравственность вырастаютъ изъ одного корня, скрытаго въ недоступной для сознанія глубинѣ души? Можетъ быть, противорѣчiе между ними—только кажущееся? Какъ бы мы ни рѣшали это, но нашъ субъективный вопросъ о коллизіи между красою и нравственностью внутри насъ—остается во всей своей жгучей силѣ. Это—психологическій фактъ, извѣстный намъ по нашему внутреннему опыту, и съ нимъ поневолѣ приходится иногда считаться очень серьезно. Тутъ—жизненный вопросъ, рѣшеніе котораго не всякому дается легко: вспомните, напр., героя Гаршинскихъ «Художниковъ» и всю ту мучительную внутреннюю драму, которую онъ пережилъ.

Пусть красота и нравственность сливаются въ концѣ-концовъ въ одно общее русло гдѣ-нибудь въ метафизической дали-заманчивой для взора, но намъ отъ этого не легче въ тѣ моменты, когда онѣ рвутъ насъ въ разныя стороны. Философскою мыслью мы можемъ усматривать родство между ними, но по непосредственному внутреннему опыту должны признать, что эти

родственники иногда не уживаются между собой, какъ два медвѣдя въ одной берлогѣ. Тутъ-то мы и ощущаемъ, подчасъ очень больно, все различіе между ними, хотя еще Цицеронъ сказалъ, что «различіе это легче почувствовать, чѣмъ изложить».

Будемъ ли мы разумѣть подъ нравственностью исполненіе нравственнаго долга или дѣятельную любовь къ ближнему, во всякомъ случаѣ, какъ только происходитъ въ насъ столкновеніе эстетики съ нравственностью, мы легко можемъ замѣтить особенныя черты, отличающія чисто эстетическія эмоціи отъ моральныхъ движеній души.

Шопенгауэръ тонко уловилъ одну изъ характерныхъ чертъ прекраснаго, когда опредѣлилъ эстетическое настроеніе души, какъ успокоеніе воли въ созерцаніи: воля уже не эксплуатируетъ жизнь, не воздѣйствуетъ на нее, а безкорыстно наслаждается. Въ этомъ *пассивный* характеръ впечатлѣній прекраснаго, между тѣмъ, какъ нравственность требуетъ дѣятельнаго отношенія къ жизни, требуетъ борьбы: она побуждаетъ насъ не подчиняться рабски впечатлѣніямъ, а оцѣнивать *явленія* жизни съ точки зрѣнія нравственнаго принципа или идеала и *воздѣйствовать* на нихъ.

Вотъ въ этомъ-то различіи и кроется одна изъ причинъ вражды между эстетическимъ и моральнымъ въ душѣ человѣка. Красота, овладѣвая нами, застигаетъ передъ нашими глазами неприглядную дѣйствительность или скрашиваетъ ее порой до неузнаваемости. Благодаря ей, мы можемъ получать эстетическое наслажденіе отъ картинъ, гдѣ изображены кровопролитныя битвы, штурмы, гибель, разрушеніе, казни; но если мы вспомнимъ и живо представимъ себѣ настоящія, дѣйствительныя раны, подлинныя муки и стоны, то эстетическое впечатлѣніе исчезнетъ, и останется одно состраданіе, ужасъ или негодованіе. Бушующее море перестанетъ производить на насъ впечатлѣніе величественно прекраснаго, если въ немъ на нашихъ глазахъ будутъ тонуть люди или если намъ самимъ придется бороться съ нимъ за жизнь: въ обоихъ случаяхъ намъ будетъ не до красоты. Какъ острое чувство состраданія, такъ и напряженіе воли плохо вяжутся съ чисто эстетическими эмоціями.

Эстетика можетъ гипнотизировать человѣка, усыпляя въ немъ нравственные импульсы, безпокойную совѣсть, пытливость моральной мысли. Римскіе цезари хорошо понимали это, когда наркотизировали толпу зрѣлищами, въ которыхъ не послѣднюю роль играла эстетическая обстановка,—яркія краски, впечатлѣнія грандіознаго. Католическіе обряды и пышныя процессіи точно такъ же гипнотизируютъ массу своей помпой. И вообще всякіе парады, празднества, грандіозныя картины, музыка, хоры, вѣнки, фейерверки сильно дѣйствуютъ на массу своей эстетической стороною, убаюкивая въ человѣкѣ критическую мысль и заслоняя передъ нимъ нравственную истину.

Сколькій путь, по которому красота можетъ заползать въ самую сердцевину нашего моральнаго «я», заключается въ ея *примиряющемъ* вліяніи. А примиряетъ она по-своему: она не оправдываетъ факта, не истолковываетъ его смысла; нѣтъ, она просто находитъ для него такія формы, въ которыхъ фактъ является передъ нами, такъ сказать, своей праздничной стороною и вслѣдствіе этого даетъ намъ особаго рода удовлетвореніе: *эстетическое*. Для того, чтобы зрѣлище злодѣйства, насилія дало намъ въ концѣ-концовъ *нравственное* удовлетвореніе, нужно, чтобы злодѣй понесъ кару или нравственно переродился, нужно, чтобы такъ или иначе справедливость заявила свои права; для эстетическаго же удовлетворенія требуется только, чтобы злодѣй представлялъ собою нѣчто художественно законченное. Ясно, что ни эстетическое чувство, ни эстетическое удовлетвореніе, взятыя сами по себѣ, не противорѣчатъ нравственному, такъ какъ тутъ не происходитъ никакого оправданія факта; но косвенно они могутъ вредить интересамъ нравственности, отвлекая наше вниманіе отъ моральной оцѣнки факта: получивъ эстетическое удовлетвореніе, мы иногда склонны успокоиться на этомъ и не искать нравственнаго. Мало того: нравственное зло, облекшись въ праздничный нарядъ красоты, можетъ незамѣтно вызвать въ насъ одобреніе. Вѣдь, эстетика не вступаетъ въ открытую борьбу съ моралью: она просто надѣваетъ на жизнь привлекательную эстетическую маску, и мы перестаемъ видѣть передъ собой некрасивую дѣйствительность. Мора-

листь, ненавидящій войну и въ то же время очень чуткій къ красотѣ, можетъ увлечься прекрасными формами, въ которыя облакають иногда военный героизмъ искусство или сама жизнь. Конечно, здѣсь для него прекрасны будутъ лишь героизмъ, энергія, отвага, а не кровопролитіе; но дѣло въ томъ, что и въ жизни и въ художественномъ произведеніи отдѣльныя черты сливаются перѣдко въ одно неразрывное органическое цѣлое, и зрѣлище кровопролитія, рѣзни, разрушенія, выступивъ подъ великолѣпнымъ флагомъ героизма, можетъ разбудить въ насъ не только героическіе, но и прямо кровожадные инстинкты. Еще незамѣтнѣе это можетъ произойти, когда въ эстетическія формы наряжается развратъ: донжуанизмъ, явившись передъ нами во всемъ своемъ эстетическомъ парадѣ, можетъ показаться намъ очень привлекательнымъ, и мы проморгаемъ всю его некрасивую закулисную сторону, какъ тѣ старцы, которые любовались Еленой, виновницей Троянской войны, когда она появилась передъ ними на стѣнахъ Трои.

Обращаясь къ музыкѣ, мы должны признать, что она можетъ дѣйствовать какъ на лучшія стороны души, такъ и на грубые инстинкты. Одинъ молодой солдатъ говорилъ, что, когда онъ слышитъ звуки военного марша, имъ овладѣваетъ азартъ: «Отца родного разорву на части!» Всѣмъ болѣе или менѣе извѣстно, какимъ сильнымъ и ядовитымъ наркотомъ оказываются сплошь и рядомъ музыка, пѣніе и разнаго рода эстетика во всякихъ притонахъ, лѣтнихъ садахъ, увеселительныхъ заведеніяхъ: на воспріимчивыхъ къ такимъ формамъ эстетики людей она дѣйствуетъ, какъ дурманъ. Соблазнительныя картины, въ которыхъ любятъ иногда изощряться живописцы, дѣйствуютъ прежде всего на грубую чувственность массы — и тѣмъ неотразимѣе, тѣмъ незамѣтнѣе, чѣмъ привлекательнѣе эстетическая чадра, накидываемая на картину художникомъ; лишь отдѣльныя лица вынесутъ чисто эстетическое впечатлѣніе, а для остальныхъ эстетика въ этомъ случаѣ сыграетъ предательскую роль: введя измѣннически въ ихъ душу рой совсѣмъ не эстетическихъ ассоціацій, она затеряется между ними и ступается.

Теперь посмотримъ, какое гнѣздо свила себѣ эстетика въ

мирныхъ обывательскихъ квартирахъ. Эстетическая обстановка уже сама по себѣ какъ-то предрасполагаетъ смотрѣть въ полглаза на неэстетическую подкладку ея. Когда у богатаго буржуа стѣны квартиры увѣшаны картинами, жена играетъ, а дочери (всѣ очень мило одѣтыя) поютъ, когда обѣденный столъ блестеть красивой сервировкой, а въ гостиной разбросаны альбомы художественныхъ произведеній.—не мѣшаетъ ли это до нѣкоторой степени видѣть въ истинномъ свѣтѣ цѣну этой эстетики и всей этой буржуазной жизни? Не скрашивается ли этимъ то, что само по себѣ некрасиво, и не дѣлается ли импонирующимъ завѣдомо ничтожное? Чадолюбивыя матери инстинктивно чувствуютъ коварную силу эстетики, когда обучаютъ дочерей музыкѣ «подъ жениха». Одна старая дьяконица, давно овдовѣвшая, признавалась мнѣ по секрету, что въ молодости плѣнила своего будущаго мужа единственно бѣглою игрой на фортепьяно легкихъ танцевъ: бравурная игра производила на только что кончившаго семинариста ошеломляющее впечатлѣніе.

Меня могутъ упрекнуть, зачѣмъ я спускаюсь въ такія низины эстетики, тогда какъ есть серьезная эстетика и серьезное отношеніе къ ней?

Да, есть и золото въ эстетикѣ, но, къ сожалѣнію, мелкой мѣдной монеты въ миллионъ разъ больше. «Дешевая» эстетика страшно популярна и гораздо больше вліяетъ на жизнь массы, чѣмъ величавыя вершины эстетики. Посмотрите и прислушайтесь: вездѣ играютъ на музыкальныхъ инструментахъ, поютъ, рисуютъ, пишутъ, устраиваютъ спектакли и т. д.; вездѣ «играютъ въ эстетику», и этотъ эстетическій флиртъ иногда какъ нельзя лучше прикрываетъ собою нравственное убожество, какъ та предательская травка, которая дѣлаетъ вязкую трясину похожей съ виду на прелестный зеленый лужокъ.

Если эта дешевая, популярная эстетика не возвышаетъ челоуѣка, а гораздо чаще усыпляетъ его совѣсть и поддерживаетъ въ немъ нравственный индифферентизмъ, то причина этого кроется отчасти, какъ мы уже отмѣтили выше, въ самомъ существѣ эстетики, а слѣдовательно даже серьезныя, высокія формы ея могутъ оказывать на душу аналогичное вліяніе. Мнѣ

хочется послушать очень хорошую музыку или насладиться величественной картиной природы, а я долженъ сидѣть у постели больного или нравственно обязанъ заняться какой-нибудь скучной прозаической работой. Мои эстетическія стремленія вполне законны, и, кромѣ хорошаго, ничего въ нихъ нѣтъ, а, между тѣмъ, они могутъ заставить меня позабыть о больномъ или не исполнить какого-нибудь нравственного обязательства. Согласитесь, что между самымъ чистымъ эстетическимъ порывомъ и самымъ обязательнымъ требованіемъ нравственного долга или чувства можетъ возникнуть въ нѣкоторыхъ случаяхъ самое вопіющее противорѣчіе: одна сила тянетъ меня въ міръ красоты, а другая велитъ мнѣ стать лицомъ къ лицу съ изнанкой жизни, вмѣшаться въ сутолоку ея и бороться съ многочисленными и безобразными язвами некрасивой дѣйствительности.

Противорѣчіе между эстетически-красивымъ и нравственно-добрымъ хорошо понималъ еще Платонъ. Восхищаясь эстетически Гомеромъ, онъ подвергаетъ его въ то же время строгой нравственной цензурѣ. Устраивая свое теоретическое государство на началахъ нравственности, Платонъ, во имя нравственной истины и борьбы за нравственный идеалъ, изгоняетъ поэтовъ и отдастъ искусство подъ строжайшую цензуру: и это—человѣкъ, который тонко понималъ прекрасное, былъ чутокъ къ красотѣ и доказывалъ ея сродство съ нравственностью!

Въ тѣ эпохи, когда общественное зло становится особенно ощутительнымъ, въ лучшихъ людяхъ невольно обостряются нравственные требованія. Такъ было въ эпоху упадка Рима, когда развился стоицизмъ, а потомъ появилось христіанство. Естественно, что стоики и христіане, одушевленные нравственнымъ идеаломъ, очень сурово относились къ красотѣ: если близкій вамъ боленъ или переживаетъ тяжелый кризисъ, все ваше вниманіе направлено къ тому, чтобы спасти его, и вамъ въ ту пору не до эстетики. Въ эпоху 60-хъ годовъ у насъ, на ряду съ обострившимися среди интеллигенціи требованіями общественной морали, понизился спросъ на красоту и ослабло или сузилось эстетическое чувство въ нѣкоторыхъ слояхъ общества. Намъ станетъ понятнымъ тогдашнее озлобленное гоненіе

на эстетику, если мы припомним ненавистный для передовыхъ людей того времени типъ крѣпостника—эстетика, развившійся на почвѣ крѣпостного труда. Это—тотъ любитель эстетики, у котораго «амуры и зефиры всѣ распроданы по одиночкѣ», тотъ, который могъ спокойно любоваться сельскимъ ландшафтомъ или слушать, какъ жена его играетъ ноктюрны Шопена въ то самое время, когда изъ конюшни доносились совсѣмъ не эстетическіе вопли наказуемыхъ. И. И. Игнатовичъ въ своей книгѣ «Помѣщичьи крестьяне наканунѣ освобожденія» рассказываетъ про одного помѣщика Б., который во время представленія его крѣпостной труппы ходилъ «съ трубкой во рту, въ халатѣ и ночью колпакѣ между кулисами, подбадривая словами и *жестами* своихъ крѣпостныхъ артистовъ». Играли «Дидону». Въ одной сценѣ барину не понравилась игра артистки, исполнявшей роль Дидоны. «Онъ быстро идетъ на сцену и хлещетъ по щекамъ несчастную Дидону со словами: «Я говорилъ, что поймаю тебя на этомъ. Послѣ представленія ступай на конюшню за заслуженной наградой». Дидона, поморщившись отъ пощечины, приняла снова гордый видъ и продолжала свою арію». «Въ театрѣ графа Каменскаго въ Орлѣ висѣла огромная плеть; во время антрактовъ графъ снималъ ее, лично шель за кулисы и тамъ собственноручно рассчитывался съ провинившимися артистами такъ, что вопли наказуемыхъ отчетливо слышались зрителямъ»... У помѣщика Н. И—ча Б. (рассказываетъ сельскій священникъ) былъ хоръ, пѣвшій также и въ церкви. «Если кто, къ несчастію, чуточку сфальшивить, т.-е. вмѣсто діезной или бемольной нотки возьметъ простую, Н. И—чъ, пропуская мимо себя послѣ обѣдни пѣвчихъ, говаривалъ: «Ты, Саша, опять сфальшивила: въ «Достойно»—ля діезное; а ты, Даша, въ концертѣ въ «Пріидите»—ди-фисъ». Это говорилось самымъ нѣжнымъ тономъ; даже иногда Н. И—чъ, улыбаясь, по подбородку погладить; но всѣ ужъ очень хорошо знали, что значили эти діезы и бемоли! Регентъ сейчасъ долженъ былъ сказать объ этомъ управляющему, а тотъ вкатывалъ и Сашѣ, и Дашѣ уже безъ всякой фальши. Цѣна діезовъ и бемолей была извѣстна: 25 розогъ. Вечеромъ эти же Саша и Даша

должны были играть въ домашнемъ театрѣ на сценѣ и разыгрывать какихъ-нибудь княгинь и графинь. Въ антракты баринъ входилъ за кулисы и говорилъ: «Ты, Саша, не совсѣмъ ловко выдержала свою роль; графиня NN должна держать себя съ достоинствомъ». И 15—20 минутъ антракта Сашѣ доставались дорого: кучеръ поролъ ее съ полнымъ своимъ достоинствомъ! Затѣмъ опять та же Саша должна была или держать себя съ полнымъ достоинствомъ, или играть въ водевилъ и отплясывать въ балетѣ».

Конечно, не эстетика виновата въ томъ, что эти любители искусства были такъ нравственно низменны и грубы; но, тѣмъ не менѣе, если бы они не были столь пристрастны къ своей эстетикѣ, то людямъ ихъ меньше досталось бы розогъ; если бы фальшивая нота не оскорбляла въ такой степени музыкальное ухо Н. И—ча Б., то и Сашѣ, и Дашѣ жилось бы легче. Во всякомъ случаѣ эстетика нисколько не мѣшала этимъ любителямъ искусства быть звѣрями. У болѣе же мягкихъ господъ эстетика сплошь и рядомъ порождаетъ брезгливое отношеніе къ массѣ изъ-за ея неэстетичности.

Должно быть, душа человѣка не настолько широка, чтобы въ ней могли мирно ужиться и эстетическія, и моральныя стремленія: одни зовутъ его къ наслажденію красками жизни, а другія повелѣваютъ ему воздѣйствовать на ея темныя стороны. Поэтому вопросъ естественно сводится къ тому, какое мѣсто отвести эстетикѣ и нравственности, согласно требованіямъ идеала, который шире и выше красоты и морали, взятыхъ отдѣльно, и который слѣдовательно является для насъ высшимъ критеріемъ?

Всмотримся въ этотъ конечный идеалъ. Такъ какъ нравственная воля направляется на борьбу со зломъ, на исцѣленіе язвъ жизни и на устраненіе изъ жизни дисгармоніи, то въ конечномъ идеалѣ нравственность становится ненужной, какъ лѣкарство для выздоровѣвшаго. Торжество ея заключается именно въ томъ, чтобы сдѣлаться лишнею—все равно, какъ задача воспитателя, чтобы воспитанникъ умѣлъ, наконецъ, обходиться безъ его помощи.

Но нравственность может естественно ступеваться только тогда, когда она сдѣлаетъ до конца свое дѣло. А пока въ жизни существуетъ зло, нашъ прекрасный идеалъ остается запятнаннымъ: въ немъ не можетъ быть полной, неотравленной ничѣмъ красоты, и потому онъ не можетъ дать намъ полного, свѣтлаго удовлетворенія. Отсюда ясно, что для торжества высшаго идеала необходимъ длинный рядъ нравственныхъ усилій, упорная борьба съ темными сторонами жизни.

Нашъ идеалъ и цѣль нашихъ усилій есть праздникъ, т.-е. свѣтлая, гармоническая жизнь, созданіе истинно прекраснаго и радостное наслажденіе имъ; но существующая дѣйствительность представляетъ изъ себя будни. Степень нашего приближенія къ идеалу будетъ зависѣть прежде всего отъ нашей будничной дѣятельности. Чѣмъ дороже намъ идеалъ, тѣмъ больше труда вложимъ мы въ борьбу съ обезображивающими человѣка и его жизнь вредными и болѣзненными наростами. Вѣдь, пошлость, безобразіе или отсутствіе красоты въ человѣческихъ лицахъ, чувствахъ, рѣчахъ, манерахъ, образѣ жизни, въ ихъ жилищахъ, обстановкѣ, костюмѣ зависятъ въ огромной мѣрѣ отъ нужды, отъ непосильнаго, оупляющаго труда, отъ умственной и нравственной темноты. Громадная масса принуждена съ дѣтства жить среди внѣшней и внутренней грязи, среди тысячи уродливыхъ условій, въ которыя ставитъ человѣческую личность нищенское и безправное существованіе. Стремясь къ уничтоженію этихъ условій, какъ того властно требуетъ нравственное сознаніе и чувство, человѣкъ дѣйствуетъ въ интересахъ прекраснаго больше, чѣмъ тѣ, которые спокойно оставляютъ обездоленныхъ жить въ каторжной обстановкѣ и только по временамъ подслащиваютъ ихъ существованіе эстетической патокой. Здѣсь нравственность нужнѣе эстетики, и мы, работая во имя совѣсти, сослужимъ для той же красоты болѣе вѣрную службу, чѣмъ работая во имя эстетики. Рескинъ совершенно правъ, говоря, что главное препятствіе для достиженія красоты есть нищета, что если въ насъ молчитъ гуманное чувство, то пусть хоть эстетическое побуждаетъ насъ бороться противъ этого зла. По его убѣжденію, пока люди страдаютъ отъ голода

и холода, пока на каждомъ шагу встрѣчаешь впалыя щеки отъ непосильной работы и всякаго гнета,—до тѣхъ поръ никакое искусство немислимо. Все золото,—говоритъ онъ,—которое мы затрачиваемъ на искусство, въ то время, какъ нужда царить въ жизни, есть пропавшее золото для живой эстетики. Съ его точки зрѣнія, стыдно находить удовольствіе въ роскоши туалетовъ немногихъ женщинъ, когда большинству не во что одѣться, когда болѣзни, холодъ, невзгоды и муки жизни лишаютъ ихъ человѣческой красоты. Людей, для которыхъ эстетика сосредоточивается въ картинныхъ галлерейхъ и выставкахъ, въ театрахъ, концертахъ и произведеніяхъ изящной словесности, едва ли смутятъ горячія тирады Рескина. Но мы имѣемъ въ виду эстетику во всемъ ея живомъ объемѣ, ту «живую» эстетику, уголокъ которой отражается въ искусствѣ, но которая можетъ быть разлита по всей жизни. Мы разумѣемъ не крошечный красивый оазисъ, затерявшійся среди необъятной и угрюмой пустыни, а всю эту необъятную ширь, усѣянную блестками красоты. Съ точки зрѣнія маленькаго оазиса, гдѣ наслаждается прохладой и изобиліемъ горсточка счастливецъ,—какая-нибудь выхоленная дама въ дорогомъ и на диво красивомъ костюмѣ, или какой-нибудь дворецъ, выстроенный по всѣмъ правиламъ эстетики архи-милліонеромъ, не знающимъ, куда дѣвать деньги и чѣмъ занять себя, или сладкогласный пѣвецъ, поющій вотъ для такихъ дамъ и милліонеровъ, или поэтъ, постыдно равнодушный ко всему, кромѣ своей поэтической особы, излагающій въ красивыхъ, оригинальныхъ созвучіяхъ собственныя поэтическія настроенія,—все это для счастливыхъ обитателей оазиса можетъ казаться чѣмъ-то очень прекраснымъ и значительнымъ, но для людей, которые видятъ передъ собой и за собой, и кругомъ себя эту безбрежную мрачную пустыню, всѣ эти эстетическія блестки невольно представляются мишурой, вся эта дорого стоящая эстетика покажется дешевой, и на ряду съ красотой оазиса они увидятъ въ немъ кричащую дисгармонію, и самый оазисъ будетъ въ ихъ глазахъ заплатой изъ дорогой красивой матеріи на грязномъ и рваномъ мужицкомъ зипунѣ.

Да, нельзя отдать себя на служеніе красотѣ ради красоты,

искусству ради искусства, нельзя дѣлать изъ эстетики дѣло своей жизни: жизнь со всѣхъ сторонъ вопіетъ о другомъ дѣлѣ. Ненормально существованіе человѣка, посвятившаго себя культивированію красоты: въ его жизни и дѣятельности есть зіяющій пробѣлъ, уродливое несоотвѣтствіе съ дѣйствительностью, съ ея законами и запросами, съ насущными интересами массы. Онъ торопится сорвать незрѣлый плодъ, перенести блѣдный, искаженный идеалъ въ нашу столь далекую отъ идеала дѣйствительность, и эта смутная тѣнь идеала, въ которой онъ ищетъ удовлетворенія, застилаетъ передъ нимъ черты истиннаго идеала. Онъ силится закрыть глаза на реальную жизнь, но сквозь эстетическую оболочку, созданную имъ, все-таки просвѣчиваетъ грязная изнанка жизни. Онъ перестанетъ замѣчать ее только тогда, когда сдѣлается совсѣмъ слѣпымъ и глухимъ, т.-е. превратится въ калѣку.

Итакъ, если идеаломъ своимъ мы признаемъ прекрасное въ широкомъ смыслѣ, то *принципомъ* нашей жизни и дѣятельности должно быть нравственное. Исходя изъ этого, мы при столкновеніи внутри насъ эстетическаго стремленія съ моральнымъ требованіемъ должны отдавать предпочтеніе послѣднему.

Но тутъ намъ грозитъ другая опасность. Уклонившись отъ Сциллы, мы рискуемъ наткнуться на Харибду. Если мы сдѣлаемъ изъ всей нашей жизни лишь средство для достиженія идеала и уйдемъ съ головой въ будничную дѣятельность, мы можемъ потерять самое представленіе о праздникѣ, т.-е. объ идеалѣ. Средство незамѣтно станетъ для насъ цѣлью, и мы будемъ не жить, а добросовѣстно тянуть лямку, сами не зная, для чего и во имя чего. Разъ будетъ утраченъ нами конечный смыслъ нашихъ усилій, мы можемъ дойти незамѣтно до того, что станемъ насаждать вмѣсто однихъ невыносимыхъ буденъ другіе, столь же невыносимые, вмѣсто одной лямки—другую. Необходимо по временамъ ощущать на себѣ вѣяніе идеала, чтобы жизнь не перестала быть жизнью. Если усилія нравственной воли, исправляя безобразія дѣйствительности, оказываютъ великую услугу интересамъ эстетики, то здѣсь, наоборотъ, эстетика можетъ спасти человѣка отъ полнаго порабожденія его сѣ-

рой будничной лямкой: впечатлѣнія прекраснаго напомнятъ ему, что въ жизни есть и должна быть не одна только борьба, не одна лямка...

Такимъ образомъ мы видимъ, что эстетика и нравственность подаютъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ другъ другу руки. Да и можетъ ли быть иначе? Вѣдь, между красотой и нравственностью нѣтъ кореннаго противорѣчія. Никто не скажетъ, чтобы онѣ были противоположны другъ другу, какъ зло—добру, мракъ—свѣту. Красота формъ, прелесть звуковъ—все это, взятое само по себѣ, внѣ коллизіи съ моралью, нравственно безразлично. Мало того: есть цѣлый рядъ такихъ эстетическихъ впечатлѣній, которымъ присущи прямо нравственные элементы. Одно зрѣлище звѣзднаго неба можетъ возвышать душу, вносить въ нее живое представленіе о міровой гармоніи и отрывать человѣка отъ погони за мелкими личными интересами. Когда эстетика, давая намъ ощущеніе гармоніи, поддерживаетъ въ насъ любовь къ жизни, тогда она является вѣрной союзницей нравственности. Вѣдь, въ постоянной борьбѣ съ уродствами жизни можно растерять любовь и интересъ къ самой жизни, невольно обезцѣнить ее, какъ вмѣстилище всевозможныхъ безобразій и пошлостей, или надорваться душой и лишь автоматически продолжать прежнюю борьбу. Вотъ тутъ-то примиряющее вліяніе эстетики, которое во многихъ случаяхъ представляетъ серьезную опасность для совѣсти,—тутъ-то именно можетъ оказаться спасительнымъ: усталая душа отдыхаетъ отъ мрачной дѣйствительности и опять начинаетъ вѣрить въ возможность хотя бы слабаго, смутнаго мерцанія идеала среди унылыхъ сумерекъ жизни. Превосходной иллюстраціей такого спасительнаго вліянія эстетики можетъ служить очеркъ Гл. Успенскаго: «Выпрямила». Истерзанный безотрадными картинами дѣйствительности, человѣкъ увидалъ въ Луврѣ Венеру Милосскую и вдругъ почувствовалъ, что съ нимъ «случилась большая радость». «Что-то, чего я понять не могъ, дунуло въ глубину моего скомканнаго, искалѣченнаго, измученнаго существа и выпрямило меня... наполнило расширившуюся грудь, весь выросшій организмъ свѣжестью и свѣтомъ».—«Ну, слава Богу, еще можно жить на бѣломъ свѣтѣ!»

говори́лъ онъ себѣ. Онъ ощущалъ себя человѣкомъ, онъ видѣлъ воочию, до какой степени можетъ быть прекраснымъ *человѣческое существо*: такой красоты сейчасъ нѣтъ ни въ комъ и ни въ чемъ и въ то же время «есть въ *каждомъ* человѣческомъ существѣ»; надо только «распрямить» человѣка. «И желаніе выпрямить, высвободить искалѣченного теперешняго человѣка для... свѣтлаго будущаго... радостно возникаетъ въ душѣ». Даже одно воспоминаніе о прекрасномъ образѣ ободряетъ въ послѣдствіи человѣка, обезсиленнаго тяжелою жизнью, и даетъ ему новые импульсы для борьбы съ ея уродствами.

Эстетика отвѣчаетъ насущной потребности человѣка. Онъ можетъ закрыть наглухо для себя міръ прекраснаго по нравственнымъ побужденіямъ, но никогда въ глубинѣ души не примирится съ этимъ. Сведите все къ одному нравственному—и вы окарнаете жизнь, окарнаете человѣческую природу. Нельзя дѣлать изъ буденъ вѣчнаго праздника (вѣдь это все-таки въ концѣ-концовъ будетъ не праздникъ, а будни съ подкрашенной праздничной фizioноміей), но нельзя и праздникъ дѣлать буднями. Да, прежде всего, въ этомъ нѣтъ ни малѣйшей надобности. Примемъ за руководящій принципъ требованія морали и совѣсти,—намъ еще останется огромная область красоты, далекая отъ столкновеній съ требованіями нравственности. Бываютъ моменты, когда нравственное сознаніе заставляетъ отвергать эстетику, даже вооружаться противъ нея; но въ общемъ причиной скудости въ жизни человѣка эстетическихъ впечатлѣній является не какой-нибудь строгій нравственный принципъ, не мотивы совѣсти, состраданія, самоотверженія, а гораздо чаще—просто неразвитое или испорченное чувство красоты. Если, какъ это бываетъ нерѣдко, вся эстетика сводится у человѣка къ оперѣ, картинной выставкѣ, да къ стихамъ, то, разумѣется, эстетическій регистръ будетъ у него не великъ. Но если въ немъ съ дѣтства развивали любовь къ природѣ, умѣніе наслаждаться ея безчисленными красками, то ему не будетъ надобности ѣхать куда-нибудь въ Италію для того, чтобы налюбоваться красотами природы: онъ вездѣ найдетъ ихъ, подмѣтитъ и прочувствуетъ,—и это будетъ огромнымъ вкладомъ въ эстетическую

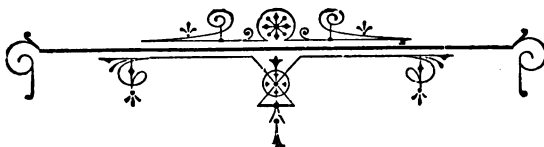
сторону его жизни. А для того, кто научился смотрѣть на звѣздное небо, оно явится неисчерпаемымъ и вѣчно живымъ источникомъ красоты... Развейте широко въ человѣкѣ эстетическое чувство,—и онъ повсюду увидитъ блески прекраснаго, которыя могутъ скрасить ему жизнь и давать отдыхъ его усталой отъ борьбы душѣ. Надо только, чтобы эстетическое развитіе не опережало нравственнаго, чтобы красота уравнивалась совѣстью, и тогда коллизія между той и другой потеряетъ свой рѣжущій характеръ или будетъ ощущаться только въ исключительныхъ случаяхъ.

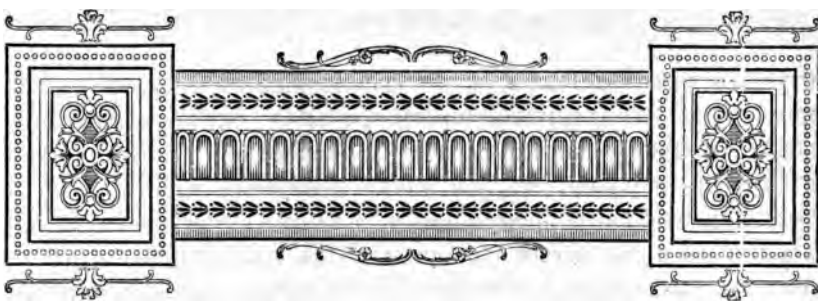
Но есть еще область, гдѣ эстетическое нераздѣльно сливается съ нравственнымъ: это—область нравственно прекраснаго, красота чувства, мысли, воли, красота души и ея отдѣльных свойствъ. Гюйо видитъ тождественность добра и красоты какъ въ дѣйствіяхъ (напр., подвиги самопожертвованія), такъ и въ сферахъ чувствованій: сочувствіе, состраданіе, негодованіе и др. По его мнѣнію, красота чувства «состоитъ въ соединеніи силы, гармоніи и граціозности», а признаки эти, въ глазахъ Гюйо, присущи одновременно «и добру, и красотѣ», такъ что у него невольно является вопросъ: «существуетъ ли въ области чувствъ какое-нибудь реальное различіе между этими двумя названіями?»

Путь, по которому можно достигъ прочнаго примиренія между эстетикой и моралью,—это тотъ же самый путь, что ведетъ къ всестороннему развитію человѣческой личности. Для человѣка, въ которомъ личность высоко развита, не оказывается надобности комкать свою душу, чтобы выполнить нравственные требованія: его жизнь и дѣятельность представляютъ собою свободное, непосредственное творчество, направленное къ осуществленію идеала. Въ разнообразныхъ проявленіяхъ самопожертвованія, въ которыхъ выражается нравственная воля, онъ ощущаетъ нравственную *красоту*, т.-е. испытываетъ не только моральное, но и своего рода эстетическое удовлетвореніе, а въ различныхъ формахъ красоты онъ находитъ отраженіе конечнаго идеала. Для него широко раздвинуты предѣлы прекраснаго, и онъ чувствуетъ красоту тамъ, гдѣ для другихъ нѣтъ ровно ничего

Эстетическаго: онъ подмѣчаетъ крупицы чистаго золота въ самой, повидимому, сѣрой будничной дѣйствительности, какъ художникъ, открывающій бездну красоты въ самомъ сѣренькомъ пейзажѣ. Если эстетичность натуры или отдѣльныя эстетическія дарованія, при полномъ равнодушіи къ нравственному смыслу жизни и дѣятельности, можно встрѣтить въ очень мелкой по калибру личности; если крѣпкая нравственная воля, въ связи съ неспособностью чувствовать и любить красоту, указываетъ на извѣстную узость и ограниченность, то внутренняя гармонія между эстетическимъ и моральнымъ, живой синтезъ ихъ требуютъ широкаго развитія личности: что не умѣщается въ маленькой душѣ, то можетъ свободно вмѣстить въ себя—большая. Такимъ образомъ проблема красоты и морали можетъ найти удовлетворительное разрѣшеніе въ вопросѣ о личности.

Н. Тимковскій.





Сильная.

Разсказъ Стефана Жеромскаго.

Перев. съ польскаго **Е. Каменецкой.**

Въ ненаилучшемъ расположеніи духа возвратился домой докторъ Павелъ Обарецкій послѣ восемнадцатичасового непрерывнаго винта съ почтмейстеромъ, аптекаремъ и судьей,—устроеннаго въ ознаменованіе дня ангела мѣстнаго ксендза-настоятеля. Войдя въ свой кабинетъ, онъ тщательно притворилъ дверь, чтобы никто, не исключая и его двадцатичетырехлѣтней экономки, не могъ къ нему ворваться, — затѣмъ, подсѣвъ къ столу, сталъ упорно, безъ всякаго, впрочемъ, опредѣленнаго повода, глядѣть въ окно, наконецъ, принялся барабанить пальцами по столу. Онъ чувствовалъ съ полнѣйшей очевидностью, что имъ начинается овладѣвать «метафизика».

Всѣмъ извѣстно, что человѣкъ культуры, отторгнутый центробѣжной силой матеріальной необезпеченности отъ фокуса умственной жизни и заброшенный въ какой-нибудь Кльвовъ, Курозвенкъ или, какъ докторъ Обарецкій, въ Обржидловокъ,—подъ вліяніемъ осеннихъ дождей, недостатка путей сообщенія, абсолютной невозможности въ теченіе цѣлыхъ сезоновъ обмѣняться съ кѣмъ-нибудь мыслями,—начинаетъ постепенно преобразоваться въ плотоядно-травоядное животное, поглощающее неимоверное количество бутылокъ пива и подверженное при-

ступамъ разслабляющей скуки, граничащей съ состояніемъ тошноты. Вначалѣ обычная провинціальная скука впитывается безсознательно,—какъ безсознательно глотаетъ заяцъ, вмѣстѣ съ травой, попавшія въ нее яички ленточной глисты,—но съ того момента, какъ проникшій въ организмъ зародышъ превращается въ пузырьчатый эхинококкъ,—въ сознательное «мнѣ рѣшительно всѣ равно»,—начинается собственно процессъ умиранія личности. Докторъ Павелъ, въ изображаемый періодъ его жизни, вполне уже сдѣлался жертвой Обржидловка, поглотившаго его сердце, мозгъ, энергію,—какъ кинетическую, такъ и потенциальную. Онъ испытывалъ непреодолимое отвращеніе къ чтенію, письму и счету, могъ по цѣлымъ часамъ машинально шагать по кабинету или лежать на кушеткѣ, съ незакуренной даже папирсой, въ томительномъ, тоскливомъ, почти болѣзненномъ ожиданіи, пока что-нибудь произойдетъ, кто-нибудь войдетъ, начнетъ говорить, хотя бы даже кувыркаться вверхъ ногами,—напряженно прислушиваясь къ каждому шуму, къ каждому шороху, возбѣщающему нарушеніе гнетущей тишины. Особенно его удручала осень. Въ тишинѣ, воцаряющейся въ послѣполуденное время осенняго сезона на протяженіи всего Обржидловка, вплоть до предмѣстій, было что-то прямо-таки мучительное, побуждающее чуть не кричать о помощи. Мозгъ, словно опутанный мягкой сѣтью паутины, съ трудомъ воспроизводилъ кое-какія мысли, порою до невѣроятности банальныя, а неоднократно и совсѣмъ ни на что не похожія.

Насвистываніе и разговоры съ экономкой, иногда болѣе приличные (напримѣръ, о неслыханныхъ преимуществахъ жаренаго поросенка съ гречневой кашей,—конечно, безъ майерана,—передъ такимъ же поросенкомъ, начиненнымъ какими-либо иными субстанціями), иногда же до гнусности непристойныя,—составляли единственное развлеченіе. Надвинется, бывало, и займетъ половину неба тяжелая туча съ большими выступами по краямъ, въ видѣ исполинскихъ лапъ, нависнетъ недвижно—бурой массой, неспособной раствориться въ пространствѣ,—и словно грозитъ обвалиться на Обржидловкъ и далекія поля. Отъ тучи густой мгдою несутся, относимыя въ сторону вѣтромъ, мельчайшія

капельки густого, косого дождя и, осѣдая кристалликами на оконныхъ стеклахъ, производятъ, стуча по нимъ, среди шума вѣтра, какой-то особенный, жалобный звукъ,—словно гдѣ-то, за угломъ дома, надрываясь изъ всѣхъ силъ, плачетъ ребенокъ. Вдали, на межахъ, стоятъ, обнаженные отъ листьевъ, одинокія дикія груши; вѣтеръ треплетъ ихъ вѣтви, дождь сбѣчетъ ихъ... Впечатлѣнія такого ландшафта, проникая въ душу, вносили въ строй мыслей особую грусть, носившую хронически-катаральный характеръ, и какую-то неясную, безсознательную тревогу. Это катарально-меланхолическое настроеніе понемногу стало господствующимъ, распространяясь и на лѣтніе и весенніе сезоны. Въ душѣ доктора свила себѣ гнѣздо безысходная, хотя и ничѣмъ не обоснованная, тоска. За ней потянулась неопиcуемая лѣнь,—тяжелая, убійственная, подъ вліяніемъ которой даже новеллы Алексиса вываливались изъ рукъ.

«Метафизика», которой докторъ Павелъ подвергался за послѣдніе годы,—одинъ, а иногда и два раза въ годъ,—состояла въ слѣдующемъ. Это было нѣсколько часовъ сознательной самокритики, быстрого до безумія стремительнаго наплыва воспоминаній, нетерпѣливаго собиранія въ умѣ обрывковъ знаній, кипучаго, граничащаго съ бѣшенствомъ, волненія благородныхъ порывовъ, вырывающихся изъ-подъ гнета тяжелой глыбы бездѣлья, — размысленій, непоколебимыхъ рѣшеній, обѣтовъ, намѣреній... Все это, конечно, не вело ни къ какой перемѣнѣ къ лучшему и проходило, какъ проходитъ всякое, болѣе или менѣе продолжительное и болѣе или менѣе мучительное, болѣзненное состояніе. Отъ «метафизики» можно было отоспаться, чтобы проснуться на слѣдующій день съ обновленными силами для несенія обычнаго бремени скуки и болѣе успѣшной траты мозговой энергіи на придумываніе наиболѣе вкусной ѣды. Тѣмъ не менѣе, упорное періодическое возвращеніе заболѣванія «метафизикой» показывало нашему доктору, что въ глубинѣ его растительнаго существованія,—насквозь пропитаннаго и, такъ сказать, насыщеннаго философіей здраваго смысла,—кроется, однако, какая-то неизлѣчимая рана, незамѣтная, но невыразимо-болѣзненная, подобно язвочкѣ надъ поверхностью гніющей кости.

Докторъ Обарецкій прибылъ въ Обридловокъ лѣтъ за шесть передъ тѣмъ, тотчасъ же по окончаніи курса, съ умомъ, озареннымъ свѣточемъ, правда, очень немногочисленныхъ, но зато чрезвычайно полезныхъ идей, и съ нѣсколькими рублями въ карманѣ. Въ то время очень много говорилось о необходимости селиться въ лѣсахъ и разныхъ Обридловкахъ. Онъ послушался апостоловъ. Онъ былъ тогда молодъ и обладать извѣстнымъ запасомъ смѣлости, душевнаго благородства и энергіи. Въ первомъ же мѣсяцѣ послѣ своего водворенія онъ необдуманно объявилъ войну мѣстному аптекарю и фельдшерамъ, врачевавшимъ при помощи средствъ, вторгающихся въ область тайны. Аптекарь, «эксплуатируя положеніе» (до ближайшаго пункта, благодѣтельствованнаго дарами цивилизаціи, въ видѣ аптеки, было не менѣе пяти миль), — обложилъ тяжелой данью обывателей, жаждавшихъ найти исцѣленіе въ его снадобьяхъ. Что же касается «цырюльниковъ», то, идя рука-объ-руку съ фармацевтомъ, они повыстроили себѣ великолѣпныя хоромы; одѣтые въ *кацавечи*, подбитыя медвѣжьимъ мѣхомъ, они ходили, храня на лицахъ выраженіе такой важности, словно въ каждый моментъ своего существованія сопровождали ксендза-настоятеля въ торжественной процессіи праздника Тѣла Господня.

Послѣ того, какъ мягкія и осторожныя увѣщанія съ разнообразныхъ «точекъ зрѣнія», обращенныя къ фармацевту и высказанныя съ соотвѣтственнымъ паѳосомъ, были приняты, какъ «юношескія бредни» и не оказали должнаго воздѣйствія, — докторъ Обарецкій, скопивъ немного денегъ, купилъ себѣ походную аптечку и всегда бралъ ее съ собой, отправляясь къ больнымъ по селамъ. Онъ самъ, тутъ же на мѣстѣ, приготовлялъ лѣкарства, отпускалъ ихъ за безцѣнокъ, а то и совсѣмъ бесплатно, училъ паціентовъ гігіенѣ, наблюдалъ, работалъ съ фанатическимъ упорствомъ, безъ сна и отдыха. Не мудрено, поэтому, что, какъ только разнеслась вѣсть о переносныхъ аптечкахъ, безвозмездной помощи и тому подобныхъ «точкахъ зрѣнія», немедленно были перебиты всѣ стекла, какія только имѣлись въ его скромномъ жилищѣ. А такъ какъ Борухъ Покойкъ, единственный стекольщикъ въ Обридловкѣ, справлялъ въ это самое время праздни-

«кучекъ»,—пришлось заклеить выбитыя окна сахарной бумагой и бодрствовать по ночамъ, съ револьверомъ въ рукахъ. Вставленные, наконецъ, стекла были затѣмъ выбиты вторично и выбивались періодически, пока, наконецъ, докторъ не догадался снабдить окна дубовыми ставнями. Среди населенія мѣстечка былъ распущенъ слухъ, что молодой докторъ находится въ сношеніяхъ съ нечистыми духами; во мнѣніи окрестной интеллигенціи его очернили, какъ неуча, силою отвлекали больныхъ, направлявшихся къ его квартирѣ, устраивали ему въ майскіе вечера кошачьи концерты, и т. д. Молодой врачъ не обращалъ на все это вниманія, уповая на торжество истины. Но истина не восторжествовала. Незвѣстно, почему... Уже по истеченіи перваго года докторъ почувствовалъ, что его энергія понемногу становится «наслѣдіемъ червей». Близкое соприкосновеніе съ темной народной массой невыразимо разочаровало его: всѣ его просьбы, убѣжденія, цѣлыя лекціи изъ области гігіены уподоблялись зерну, упавшему на каменистую почву. Онъ дѣлалъ все, что только могъ,—но тщетно. Говоря по совѣсти, трудно даже требовать, чтобы человѣкъ, не имѣющій сапогъ на зиму, выгребаяющій въ мартѣ на чужихъ поляхъ сгнившій прошлогодній картофель, чтобы испечь изъ него лепешки, принужденный, задолго до новаго хлѣба, молоть ольховую кору для подмѣшиванія къ слишкомъ скудному запасу ржаной муки, готовить кашу изъ незрѣлаго зерна, гдѣ-нибудь набраннаго на разсвѣтѣ «воровскимъ манеромъ»,—чтобы такой человѣкъ былъ въ состояніи заботиться о возстановленіи своего запущеннаго здоровья, хотя бы подъ вліяніемъ самаго доступнаго изложенія гігіеническихъ законовъ. Какъ-то незамѣтно доктору начало становится «все равно». Ъдятъ гнилой картофель,—что же дѣлать?—пусть ѣдятъ, если могутъ. Могутъ даже ѣсть сырой,—ну, при такихъ условіяхъ, трудно, конечно...

Еврейское населеніе мѣстечка лѣчилося у мечтателя, потому что его не пугали нечистые духи и привлекала необыкновенная дешевизна «медицины».

Въ одно прекрасное утро докторъ констатировалъ, что путеводный огонекъ надъ головой, съ которымъ онъ сюда явился и

которымъ надѣялся освѣтить свою стезю,—погасъ. Погасъ самъ собою—догорѣлъ. Тогда онъ заперъ въ шкафъ подъ замокъ свою походную аптечку и сталъ пользоваться ею исключительно для собственныхъ надобностей.

Но какая мука: дать восторжествовать надъ собою фармацевту и цырюльникамъ, прекратить объявленную войну, окончить ее, просто спрятавъ подъ замокъ аптечку!

Да, они въ правѣ провозгласить себя побѣдителями и продолжать грабежъ,—но не они его осилили. Самъ онъ себя осилилъ. Онъ задушилъ въ себѣ простыя и высокія мысли и побужденія къ дѣлу,—быть-можетъ, потому что началъ излишне вдаваться въ бду, — но, такъ или иначе, задушилъ. Онъ дѣлалъ еще что-то такое, лѣчилъ осмысленно, но никому уже отъ всей этой его «дѣятельности» не было пользы ни на понюшку табаку.

Въ окрестныхъ помѣщичьихъ усадьбахъ проживали, по странному стеченію обстоятельствъ, одни лишь «столбовые» троглодиты, вообще относившіеся къ врачамъ нѣсколько несовременнымъ образомъ. Одному изъ нихъ докторъ сдѣлалъ визитъ, но это была напрасная затѣя, потому что троглодитъ принялъ его, сидя безъ сюртука, у себя въ кабинетѣ и во все время визита продолжалъ ѣсть ветчину, отрѣзывая ломтики перочиннымъ ножомъ. Докторъ почувствовалъ въ себѣ приливъ духа демократизма, сказалъ импровизированному графу что-то язвительное и не пытался болѣе знакомиться съ окрестными обитателями.

Такимъ образомъ, для взаимнаго «обмѣна мыслей» оставались только настоятель и судья. Однако, слишкомъ часто проводить время со священникомъ—нѣсколько скучновато, судья же имѣлъ привычку говорить что-то совершенно непонятное; оставалось въ сущности—лишь общеніе съ самимъ собою. Во избѣжаніе дурныхъ послѣдствій абсолютнаго одиночества, онъ пытался сблизиться съ природой, найти невидимыя звенья той желѣзной цѣпи, которая связываетъ человѣка съ природой, и въ этомъ снова обрѣсти утраченное спокойствіе, душевную гармонию, сознаніе собственной силы и мужество. Но никакихъ желѣзныхъ звеньевъ онъ не нашелъ, несмотря на то, что много

блуждалъ по полямъ и лѣсамъ, добирался до отдаленныхъ порубокъ и даже однажды увязъ въ болотѣ на пастбищѣ.

Плоская мѣстность разстилалась въ видѣ однообразной равнины, окаймленной со всѣхъ сторонъ синеватымъ ободкомъ лѣса. Поближе, на сѣрыхъ песчаныхъ буграхъ росли одинокія сосенки, а далѣе тянулись вокругъ неизвѣстно кому принадлежащія поля. Единственное украшеніе Обржидловка составляли пастбища, поросшія «козицей» и желтоватыми преждевременно умирающими травами, словно для развитія въ ихъ побѣгахъ хлорофилловыхъ тѣлецъ не хватило солнечнаго свѣта. Казалось, что солнце освѣщаетъ эту пустыню единственно затѣмъ, чтобы выставить на видъ ея безплодіе, наготу и унылость.

Бѣдный докторъ ежедневно тащился съ зонтикомъ краемъ дороги, покрытой грязной пылью, изрытой ухабами и окаймленной остатками полуразвалившагося плетня. Дорога эта не вела, повидимому, ни къ какому человѣческому жилью, потому что развѣтвлялась на пастбищѣ на множество дорожекъ и терялась среди кротовинъ. Затѣмъ она опять появлялась на вершинѣ наноснаго песчанаго бугра, въ видѣ колеи въ пескѣ, и уходила въ лѣсъ приземистыхъ сосенокъ.

Какое-то злобное раздраженіе охватывало доктора при видѣ этого ландшафта, какая-то неопредѣленная тревога нарушала его душевный покой...

Шли года. По инициативѣ ксендза, было устроено примиреніе между аптекаремъ и докторомъ, послѣ того какъ было констатировано отрадное явленіе «остыванія» послѣдняго. Съ тѣхъ поръ антагонисты начали часто сходиться за винтомъ для совместной «запашки» зеленого поля, хотя докторъ все еще съ отвращеніемъ глядѣлъ на фармацевта. Понемногу прошло и отвращеніе. Обарецкій сталъ ходить къ аптекарю въ гости, ухаживать за его женой. Однажды даже, послѣ нѣкотораго анализа собственнаго сердца, онъ съ ужасомъ убѣдился, что способенъ платонически влюбиться въ аптекаршу, — даму, крайне тупую въ умственномъ отношеніи, готовую отдать себя на распятіе за ни на чемъ не основанное убѣжденіе, что она стройна, привлекательна и опасна для сердець, и могшую съ неописуемымъ

жаромъ безконечно рассказывать о прегрѣшеніяхъ своей горничной. Докторъ Павелъ цѣлыми часами выслушивалъ красно-рѣчіе пани Анели, храня на лицѣ приторно-любезную улыбку,— улыбку, какую можно наблюдать на лицѣ молодого человѣка, попавшаго въ общество прекрасныхъ дамъ и принужденнаго ухаживать за ними, несмотря на испытываемыя въ этотъ моментъ боли въ животѣ.

Для геройскихъ подвиговъ на поприщѣ демократизаціи понятій въ Обржидловкѣ онъ былъ уже неспособенъ. Ни за какія деньги онъ не сталъ бы, напримѣръ, знакомиться съ мелкими мясными торговцами, какъ предполагалъ вначалѣ; если онъ могъ еще разговаривать, то только съ людьми, такъ или иначе приобщившимися къ культурѣ.

И вотъ тогда уничтоженію подверглась уже не только энергія: исчезло и уваженіе ко всякому болѣе широкому міропониманію. Отъ далекихъ горизонтовъ, еле охватываемыхъ окрыленнымъ мечтою взоромъ, остался до того узенькій кругозоръ, что онъ съ успѣхомъ могъ бы очертить его вокругъ себя концомъ моднаго сапога. Въ началѣ своего умиранія онъ смотрѣлъ на широкое отраженіе въ литературѣ исканія истины— «правды лучей свѣтозарныхъ и невѣдомыхъ, новыхъ путей»—съ душевною болью, горечью и завистью, потомъ—съ осмотрительностью человѣка, обладающаго кое-какимъ запасомъ опыта, далѣе—съ недовѣріемъ, затѣмъ—съ улыбочкой, потомъ—съ предвзятымъ пренебреженіемъ, наконецъ, вовсе не сталъ обращать никакого вниманія, потому что ему уже было «совершенно все равно». Лѣчилъ рутинными способами, обзавелся кое-какой практикой, какъ-то попривыкъ къ Обржидловку, къ одиночеству, даже къ скукѣ, къ жаренымъ поросятамъ и уже вовсе не стремился къ центру умственной жизни.

Принципъ, къ которому, какъ къ одному знаменателю, сводились всѣ помыслы и поступки доктора Обарецкаго, былъ слѣдующій: давайте деньги и убирайтесь...

И все же теперь, когда онъ, по возвращеніи съ именинъ ксендза-настоятеля, сидѣлъ, барабани пальцами по столу, «метафизика» овладѣвала имъ съ прежней силой. Уже что-то около шестнад-

цатаго часа винта докторъ сталъ чувствовать себя нехорошо. Вино вникомъ этого былъ опять-таки аптекаръ, почему-то вздумавшій ни съ того, ни съ сего изучать «Всеобщую исторію» Чезаре Канту (въ переводѣ Леона Рогальскаго), выработавшій себѣ при этомъ крайне радикальный взглядъ на дѣятельность папы Александра VI и якобы склонявшійся къ атеизму.

Докторъ Обарецкій отлично зналъ, изъ-за чего фармацевтъ изводитъ ксендза настоятеля препирательствами на такую революціонную тему; онъ предчувствовалъ, что это только прелюдія къ сближенію, къ сведенію дружбы на почвѣ одинаковости воззрѣній... Предчувствовалъ, что аптекаръ какъ-нибудь навѣститъ его, умѣло, начиная издаиска, наведетъ разговоръ на отсутствіе капиталовъ, какъ источникъ «застоя», и, спустившись съ объективныхъ высотъ до мѣстныхъ условій, прямо укажетъ, сколько они оба, идя рука объ руку, могли бы принести пользы обществу: одинъ — писаніемъ аршинныхъ рецептовъ, другой — умѣлой «эксплоатаціей положенія»... Кто знаетъ? — быть-можетъ, безо всякихъ обиняковъ, — «положа ноги на столъ», — откровенно предложить организовать прямо-таки акціонерное товарищество для цѣлей дружнаго маршированія по пути... къ бездонной трясинѣ навозной ямы. Докторъ предчувствовалъ, что у него самого не хватитъ, пожалуй, духу положить конецъ «пропозиціямъ» аптекаря, свернувъ ему слегка скулу, — по той простой причинѣ, что онъ не зналъ уже, во имя чего собственно сворачивать эту скулу. Онъ допускалъ даже, что такое товарищество состоится, — почемъ знать... Жгучая горечь залила ему сердце. Что случилось? Какимъ путемъ дошелъ онъ до такой степени паденія, отчего не рвется изъ этого болота, почему продолжаетъ оставаться лѣнтяемъ, мечтателемъ, насквозь избѣденнымъ рефлексіей, искажителемъ собственныхъ идей, отвратительной каррикатурой на самого себя.

И началась, — сопровождаемая пристальнымъ всматриваніемъ въ окно, — необыкновенно тщательная, пытливая, безпощадная и утонченная процедура разслѣдованія собственного безсилія. Снѣгъ падалъ большими хлопьями и заволакивалъ печальный ландшафтъ зимней мглою и сумракомъ.

Безпокойная и бесплодная работа мысли была внезапно прервана громкими восклицаніями экономки, силившейся убѣдить кого-то, что доктора нѣтъ дома. Но докторъ самъ вышелъ въ кухню, пользуясь случаемъ прервать цѣпь терзавшихъ его размышленій.

Огромный мужикъ въ желтомъ тулупѣ отвѣсилъ ему низкій поклонъ, доставъ шапкою до земли, отбросилъ рукой спустившіеся на лобъ волосы и выпрямился, собираясь держать рѣчь.

— Что надо?—спросилъ докторъ.

— Да вотъ, ваше высокоблагородіе, господинъ докторъ, староста послалъ меня сюда...

— Зачѣмъ?

— Да за вашимъ высокоблагородіемъ...

— Кто боленъ?

— Учителька тутъ у насъ захворала въ деревнѣ, сдавило ее что-то. Пришелъ староста... Поѣзжай, говоритъ, Игнатъ, въ Обржидловокъ, за ихъ высоблагородіемъ, господиномъ докторомъ, можетъ, говорить...

— Поѣду. Лошади хорошія?

— Да лошадки, какъ лошадки,—добрая скотина.

Доктору понравилась мысль о ѣздѣ, утомленіи, хотя бы даже опасности. Съ внезапнымъ оживленіемъ онъ надѣлъ толстые сапоги, полушубокъ, потомъ шубу,—въ которую можно было бы закутать цѣлую вѣтряную мельницу,—подпоясался поверхъ шубы и вышелъ на крыльцо. Крестьянскія лошадки были небольшие, но круглыя, сытыя; сани были наполнены соломой и покрыты коврикомъ. Онъ погрузился въ солому, закутался; мужикъ примостился бочкомъ на облучкѣ, отмоталъ и подтянулъ возжи, стегнулъ лошадей. Поѣхали.

— А что,—далеко это?—спросилъ докторъ.

— Да, можетъ, будетъ мили три, а можетъ, и нѣтъ...

— Не собьешься съ пути?

Мужикъ оглянулся съ иронической улыбкой.

— Кто это?.. Я-то?...

Въ полѣ дулъ пронзительный вѣтеръ. Покосившіяся, грубо сколоченныя сани, безъ подрѣзовъ, глубоко врѣзывались въ

только что выпавшій снѣгъ и пластами выворачивали его по сторонамъ саней. Дорогу замело.

Мужикъ, заломивъ шапку набекрень, стегалъ лошадей. Докторъ чувствовалъ себя превосходно. Миновавъ лѣсокъ, казалось, утопавшій въ снѣгу, они выѣхали на пустое, безлюдное пространство, обрамленное чуть виднѣвшейся на горизонтѣ плоской лѣса. Спускались сумерки, налагая на голую, угрюмую, пустынную мѣстность голубоватый колоритъ, сгущавшійся надъ лѣсомъ. Комья мерзлаго снѣга, отбрасываемые лошадиными копытами, то и дѣло пролетали мимо ушей доктора. Самъ не зная почему, онъ испытывалъ сильнѣйшее желаніе стать въ саняхъ и громко, по-мужицки, всей грудью выкрикивать что-то въ это глухое, нѣмое, безконечное пространство—словно бездна, чарующее его своей необъятностью. Быстро надвигалась ночь, суровая, угрюмая,—ночь необитаемыхъ полей.

Вѣтеръ усилился и дулъ однообразно съ шумомъ, переходившимъ по временамъ въ глухое *larco*; сбоку стегалъ снѣгъ.

— Держитесь дороги, хозяинъ, а не то, какъ бы плохо не было,—замѣтилъ докторъ, пряча носъ въ шубу.

— А ну! малютки! — заоралъ мужикъ на лошадей, вмѣсто отвѣта.

Голосъ его былъ еле слышенъ среди шума вьюги. Лошади неслись во всю прыть.

Метель внезапно неистово разыгралась. Вѣтеръ набѣгалъ шкваломъ, налеталъ на сани, визжалъ между полозьевъ, захватывалъ дыханіе. До доктора доносилось фырганье лошадей, но ни ихъ, ни возницу онъ уже не могъ видѣть. Клубы снѣга, подхваченные съ земли вѣтромъ, неслись, словно стадо бѣлыхъ коней, и, казалось, въ воздухѣ раздавался топотъ ихъ титаническаго бѣга; по временамъ земля извергала цѣлый адъ неистовыхъ звуковъ, и вся эта дикая мелодія неслась вверхъ, со всей силой ударялась объ облака, ломала ихъ и снова внезапно съ грохотомъ обрушивалась на землю. При этомъ снѣжный покровъ, какъ пухъ, поднимался въ воздухѣ и, взлетая, окружалъ путниковъ вертящимися столбами снѣжной пыли. Казалось, какія-то чудовища носятся вокругъ въ исполинскомъ бѣ-

шенномъ хороводѣ, догоняють сзади, забѣгаютъ впередъ, сбоку и бросаютъ въ сани щепотками снѣга. Гдѣ-то вверху, въ самомъ зенитѣ, раздался вдругъ какъ бы звукъ раскачавшагося огромнаго колокола,—глухой, монотонный, протяжный...

Докторъ почувствовалъ, что они ѣдутъ уже не по дорогѣ: сани подвигались туго, задѣвая концами полозьевъ за верхушки бороздъ вспаханнаго поля.

— Хозяинъ, а хозяинъ!—съ испугомъ закричалъ докторъ,—гдѣ это мы ѣдемъ?

— Правлю полемъ къ лѣсу,—отвѣчалъ мужикъ,—въ лѣсу будетъ затишнѣе... подъ самое село подкатимъ лѣсомъ...

Дѣйствительно, вскорѣ вѣтеръ затихъ, и только слышался еще шумъ вверху и трескъ ломающихся вѣтвей. На черномъ фонѣ ночи мелькали осыпанныя снѣгомъ деревья. Ъхать скорѣе было невозможно, потому что заваленная сугробами лѣсная дорога пролежала между иней и древесныхъ вѣтвей. Наконецъ, черезъ какой-нибудь часъ, въ теченіе котораго докторъ успѣлъ не на шутку истерзаться страхомъ и огорченіемъ,—послышались какіе-то повторяющіеся глухіе звуки: лаяли собаки.

— Наше село, ваше высокоблагородіе...

Вдали замелькали огоньки, на подобіе движущихся въ пространствѣ точекъ; запахло дымомъ.

— Ну же, малютки,—весело закричалъ на лошадей возница, похлопывая себя по бокамъ, чтобы согрѣться.

Спустя минуту они уже неслись мимо рядовъ избъ, до стрехъ засыпанныхъ снѣгомъ. На фонѣ замерзшихъ оконныхъ стеколъ, бросавшихъ на дорогу яркіе круги свѣта, вырисовывались тѣни головъ.

— Люди ужинаютъ...—безъ всякой нужды сказалъ мужикъ, напомнивъ доктору о времени ужина, на полученіе котораго онъ сегодня едва ли могъ надѣяться.

Лошади остановились передъ какимъ-то жилищемъ; мужикъ ввелъ доктора въ сѣни и исчезъ. Нащупавъ щеколду, онъ вошелъ въ небольшую, убогую избу, освѣщенную керосиновой плошкой.

Дряхлая, сгорбленная въ крючокъ женщина, увидѣвъ его,

быстро вскочила съ постели, поправила на головѣ платокъ и стала мигать вѣками, тараща, съ плохо скрываемымъ испугомъ, свои красные глаза.

— Гдѣ больная?—спросилъ докторъ.—Самоваръ есть у васъ?

— Самоваръ-то этотъ есть... да сахару...

— На вотъ тебѣ! Сахару нѣтъ?

— А нѣту... развѣ, можетъ, у Вальковой, а то барышня...

— Гдѣ же она-то, ваша барышня?

— Да въ горницѣ лежитъ, бѣдненькая.

— Давно больна?

— Да вотъ уже недѣльки двѣ, какъ стала перемогаться все, а теперь и совсѣмъ вотъ ни рукой, ни ногой. Сдавило ее, и все тутъ.

Она пріотворила дверь въ сосѣдную комнату.

— Сейчасъ! Нужно же мнѣ согрѣться,—сердито вскричалъ докторъ, снимая шубу.

Согрѣться въ этой норѣ было не трудно: отъ печки шель такой жаръ, что докторъ поспѣшилъ тотчасъ же перейти въ комнату «барышни». Эта маленькая, невзрачная комнатка была освѣщена притушенной лампой, горѣвшей на стѣнѣ, у изголовья больной. Разглядѣть черты лица учительницы было затруднительно, потому что на нихъ падала тѣнь отъ какой-то большой книги. Докторъ приблизился осторожно, поднялъ пламя лампы, отодвинулъ книгу и принялся разсматривать паціентку, Это была молодая дѣвушка, погруженная въ горячечный сонъ. Лицо ея, шея, руки были залиты густымъ пурпуромъ, на фонѣ котораго виднѣлась какая-то сыпь. Свѣтлые, пепельнаго цвѣта, необыкновенно роскошные волосы спутанными прядями рассыпались по подушкѣ, вились вокругъ лица. Руки безсознательно, нетерпѣливо теребили одѣяло.

Докторъ Павелъ нагнулся къ самому лицу больной и вдругъ заговорилъ прерывающимся, сдавленнымъ отъ волненія голосомъ:

— Панна Станислава, панна Станислава, панна Станислава!..

Больная лѣниво и съ усиліемъ подняла вѣки, но тотчасъ же снова опустила ихъ. Она вытягивалась, ворочала головой по

подушкѣ и какъ-то тихо, болѣзненно и глухо стонала. Поминутно съ трудомъ открывала ротъ, какъ рыба, глотая воздухъ.

Докторъ обвелъ глазами голыя, побѣленные известкой стѣны, замѣтилъ плохо задѣланное окно, промокшіе и ссохшіеся башмаки больной,—груды книгъ повсюду: на полу, на столикѣ, на шкафчикѣ...

— Ахъ, ты, безумная!.. Ахъ, ты, глупая!—шепталъ онъ, ломая руки.

Лихорадочно, съ тревогой и жалостью, сталъ осматривать ее,—дрожащими руками измѣрилъ температуру.

— Тифъ...—прошепталъ онъ, блѣднѣя.

Онъ съ бѣшенствомъ схватился за горло, въ которомъ, словно клубъ пакли, застряло душившее его рыданье, не могущее разразиться слезами. Онъ видѣлъ, что здѣсь уже нельзя помочь, ничѣмъ невозможно помочь,—и вдругъ размѣялся, вспомнивъ, что за какимъ-нибудь хининомъ или антипириномъ пришлось бы посылать въ Обржидловокъ... за три мили. Станислава отъ времени до времени открывала глаза, бессмысленные, стеклянные,—словно въ глазныхъ впадинахъ у нея застыла какая-то жидкость,—и глядѣла, ничего не видя, изъ-подъ длинныхъ пушистыхъ рѣсницъ. Онъ звалъ ее, называя самыми нѣжными именами, поднималъ ей голову, слабо державшуюся на шеѣ,—все напрасно.

Въ безсиліи опустившись на табуретку, онъ устался глазами на пламя лампы. Вотъ оно—несчастіе: налетѣло на него вдругъ, какъ смертельный врагъ, нанесло бессмысленный ударъ и теперь влачить, обезсиленнаго, въ какую-то мрачную бездну, въ какую-то бездонную пропасть...

— Что дѣлать?..—шепталъ онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

Сквозь щель окна пробирался холодъ зимней вьюги и, какъ зловѣщій призракъ, проносился по комнатѣ. Доктору казалось, что кто-то дотрогивается до него, что въ комнатѣ, кромѣ него и больной, есть еще кто-то третій...

Онъ вышелъ въ кухонку и крикнулъ на прислугу, чтобы ему тотчасъ же позвали старосту.

Старуха мигомъ одѣла громадные сапоги, накинула на голо-

въ ковровый платокъ и, какъ-то забавно подпрыгивая, исчезла. Вскорѣ появился староста.

— Послушайте, не найдется ли кого, кто бы съѣздилъ въ Обржидловокъ?

— Сейчасъ, господинъ докторъ, никто не поѣдетъ... Метелица. На погибель ѣхать, что ли?.. Собаки не выгонишь.

— Я заплачу, вознагражу.

— Не знаю я... пойду, поспрошу.

Ушелъ. Докторъ Павелъ сжималъ себѣ виски, казалось собиравшіеся треснуть отъ прилива крови. Присѣвъ на сундукъ, онъ задумался о чемъ-то давнопрошедшемъ, далекомъ.

Немного спустя послышались шаги: староста велъ какого-то парнишку въ прорванномъ, недоходившемъ до колѣнъ тулупчикѣ, въ посконныхъ штанахъ, плохихъ сапогахъ и съ чернымъ шарфомъ на шеѣ.

— Этоть?—спросилъ докторъ.

— Говорить, что поѣдетъ... ишь, храбрый какой... Коня-то я могу дать, но гдѣ въ такую пору...

— Послушай, если ты вернешься черезъ шесть часовъ, получишь отъ меня двадцать пять, тридцать рублей, получишь... сколько захочешь... слышишь?

Подростокъ поглядѣлъ на доктора, хотѣлъ что-то сказать, но промолчалъ. Онъ вытеръ пальцами носъ, отвернулся въ сторону и ждалъ. Докторъ направился къ столику учительницы и принялся писать. Руки у него дрожали и поминутно поднимались къ вискамъ. Онъ обдумывалъ, писалъ, перечеркивалъ, рвалъ бумагу. Соорудилъ письмо къ аптекарю, прося его тотчасъ же послать лошадей въ уѣздный городъ за докторомъ, прислать ему хинина. Отъ времени до времени онъ наклонялся надъ больной и снова осматривалъ ее. Наконецъ, вышелъ въ кухню и вручилъ письмо юношѣ.

— Слушай, братецъ, — говорилъ онъ какимъ-то страннымъ, точно не своимъ голосомъ, положивъ руки на плечи подростка и тряся его, — во весь духъ, во всю прыть... Слышишь, братецъ?..

Парень поклонился ему въ ноги и вышелъ со старостой.

— Эта учительница давно живетъ здѣсь у васъ въ деревнѣ?—спросилъ докторъ у бабы, прижавшейся къ печкѣ.

— Три зимы!.. кажись, что такъ.

— Три зимы!.. И никого тутъ съ нею не было?

— А кому бы... я вотъ только. Приютила она, меня, болѣзная... службы говоритъ тебѣ, бабуся, уже не найти, а у меня дѣла не много... то, да се... А теперь вонъ вишь—что: надѣялась я, что она мнѣ и гробъ снарядить, а тутъ... Пресвятая Богородица, помяни насъ въ молитвахъ своихъ...

Старуха неожиданно стала шептать молитву, растягивая слова и, какъ верблюдъ, шевеля мягкими губами. Голова ея тряслась, слезы струились по морщинистому лицу, стекали въ беззубый ротъ...

— Добрая была?...

«Бабуся» начала какъ-то смѣшно всхлипывать и отмахиваться руками, словно отстраняя отъ себя доктора. Онъ вернулся въ комнату и, стараясь держаться на цыпочкахъ, по привычкѣ принялся ходить взадъ и впередъ... ходилъ, ходилъ... Останавливался иногда у постели и въ приливъ гнѣва, отъ котораго у него бѣлѣли губы и выставлялись зубы, говорилъ, обращаясь къ больной:

— Глупо, глупо! Такъ жить не только нельзя, но и не стоитъ! Изъ жизни не сдѣлаешь какого-то сплошного исполненія долга: одолѣютъ тебя идиоты, на веревкѣ потащатъ въ стадо... а если вздумаешь сопротивляться имъ во имя своихъ глупыхъ самообмановъ, то смерть тебя же первую уколошитъ, потому только, что ты слишкомъ прекрасна, слишкомъ любима...

Какъ пламя внезапно охватываетъ сухое дерево, такъ его неудержимо охватывало далекое, давно пережитое, забытое чувство,—поднималось изъ глубины души... какъ прежде, стремительное и мучительно-сладостное. Онъ увѣрялъ себя, что никогда ея не забывалъ, что до сихъ поръ боготворилъ ее, до сихъ поръ помнилъ... Онъ жадно, съ какимъ-то ненасытнымъ любопытствомъ, всматривался въ это знакомое лицо, и тихая, мучительная скорбь пронизывала его сердце. Три года жила здѣсь близъ него, и онъ узнаетъ объ этомъ только теперь, когда она умираетъ..

Все, случившееся съ нимъ сегодня, представлялось ему дальнѣйшей цѣпью удрученій его насильственно-барсучьего существованія. Въ то же время предъ нимъ раскрывался какой-то таинственный горизонтъ, какой-то океанъ, теряющійся въ туманной дали. Онъ метался какъ пескарь, неожиданно попавшій съ тинистаго рѣчного дна въ морскую воду...

Съ усиленіемъ отчаянія онъ жадно ухватился за воспоминанія, и, уходя отъ нестерпимой дѣйствительности, отдавался имъ, словно погружаясь въ волны предразсвѣтнаго іюньскаго тумана.

Онъ отдалъ бы все, что угодно, лишь бы хоть на минуту остаться одному и думать, думать...

Изъ комнатки учительницы маленькая дверь вела въ довольно большую комнату, уставленную столами и скамейками; онъ направился туда, усѣлся въ темнотѣ и, не то углубившись въ себя, не то обдумывая средства спасенія, весь отдался воспоминаніямъ. Вотъ что проносилося передъ нимъ.

Онъ—бѣднякъ-студентъ четвертаго курса—направляется зимнимъ утромъ въ «прозекторскую», искусно переставляя ноги, чтобы по крайней мѣрѣ не всѣ прохожіе могли видѣть, что дыры въ его подошвахъ заложены картономъ. Пальтишко на немъ узенькое, какъ больничный халатъ сумасшедшаго, и до того поношенное, что лѣтомъ еще жидъ не давалъ за него и двѣнадцати гривенъ. Нужда настраиваетъ его на пессимистическій ладъ, погружаетъ въ состояніе постоянной грусти,—нѣчто несравненно лучшее, чѣмъ томительная скука, но и не достигающее интенсивности страданія. Отъ этого настроенія легко можно избавиться: стоять только выпить нѣсколько стакановъ чаю, съѣсть бифштексъ; но чаю онъ не пилъ, и обѣдать ему тоже, вѣроятно, не придется. Онъ почти бѣжитъ по бурой грязи съ Долгой улицы, торопясь попасть къ тремъ четвертямъ девятаго въ воротамъ Саксонскаго сада. Тамъ онъ встрѣтитъ дѣвушку, пройдетъ мимо нея, поглядитъ на ея тяжелыя, длинные свѣтло-пепельныя косы... Она не подниметъ глазъ и только наморщить брови, напоминая прямыя и узкія крылья какой-то птицы.

Въ эту пору дня онъ встрѣчалъ ее именно въ этомъ мѣстѣ

ежедневно. Она поспѣшно шла на Краковское предмѣстіе, сѣдѣлась въ трамвай и ѣхала на Прагу. Ей было не болѣе семнадцати лѣтъ, но она смахивала на старую дѣвушку, въ башлыкѣ, небрежно наброшенномъ на мѣховую шапку, въ калошахъ, слишкомъ большихъ для ея маленькихъ ногъ, въ немодной и неловко сидящей шубкѣ. Она всегда несла подъмышкой какія-то тетради, исписанные листы бумаги, книги, атласы. Однажды, имѣя въ карманѣ пару двугривенныхъ, предназначавшихся на обѣдъ, онъ рѣшилъ воспользоваться этимъ и прослѣдить, куда это она ѣздитъ. Онъ пошелъ вслѣдъ за нею, усялся въ тоже 5-копеечное отдѣленіе трамвая, что и она,—но лишь только занялъ мѣсто, какъ тотчасъ же утратилъ всю свою предпріимчивость. Незнакомка измѣрила его взглядомъ, исполненнымъ такого ужаснаго презрѣнія, что онъ немедленно выпрыгнулъ изъ трамвая, потерявъ, такимъ образомъ, порцію супу и ничего взамѣнъ не выгадавъ.

Но онъ нисколько не досадовалъ на нее за это,—тѣмъ выше, тѣмъ значительнѣе поднялась она въ его мнѣніи. Думалъ о ней невольно, бессознательно, безпрестанно. Цѣлыми часами старался припомнить себѣ ея волосы, глаза, губы, цвѣта спѣлыхъ плодовъ шиповника,—и напрасно только напрягалъ память.

Едва она исчезала изъ глазъ, какъ и черты ея улетучивались изъ памяти. Оставалось только какое-то неотступное видѣніе, на подобіе бѣлаго облака съ неясными чертами, несшееся гдѣ-то вверху, впереди его. Мысли неудержимо стремились вслѣдъ этому облаку,—съ тоской и смиренной робостью, съ еле уловимой долей какой-то обиды и съ непреодолимой симпатіей. И онъ шелъ каждое утро сравнивать живую дѣвочку съ своимъ туманнымъ видѣніемъ. И, живая, она казалась ему еще прекраснѣе; какимъ-то боязливымъ трепетомъ проникалъ его чистый, какъ вода горнаго источника, взглядъ ея синихъ глазъ...

Въ то время одинъ изъ его товарищей, по прозванію «движеніе въ пространствѣ», величайшій «общественникъ», вѣчно начинавшій писать передовыя статьи и не кончавшій ихъ за отсутствіемъ необходимыхъ книгъ, «взялъ» да и женился, не-

жданно-негадано, на бѣдной, какъ церковная крыса, эмансипированной дѣвицѣ. Жена принесла «движенію» въ приданое старый коверъ, двѣ кастрюльки, гипсовую статуетку Мицкевича и съ десятокъ гимназическихъ наградъ. Молодые супруги поселились на четвертомъ этажѣ и тотчасъ же послѣ вѣнца принялись голодать. Оба такъ ревностно давали уроки, что, разбѣжавшись съ утра, встрѣчались только вечеромъ. Но квартира ихъ стала притягательнымъ пунктомъ, куда направлялся вечеромъ въ грязныхъ сандаляхъ каждый «общественникъ», чтобы вдоволь насидѣться въ креслѣ, накуриться непокупныхъ папиросъ, наговориться до хрипоты и израсходовать въ складчину послѣдніе нѣсколько грошей, на которые любезная хозяйка покупала булокъ, сардинокъ, и, артистически выложивъ провизию на тарелочкѣ, гостепріимно угощала посѣтителей. Тамъ всегда можно было съ кѣмъ-нибудь встрѣтиться, познакомиться съ остававшимися еще въ неизвѣстности великими людьми, съ подружками хозяйки, а неоднократно можно было и признаться какой-нибудь двугривенный. Какъ же поблѣднѣлъ отъ радости Обарецкій, когда однажды, войдя вечеромъ въ такъ называемую «залу», увидѣлъ любимую дѣвушку въ кругу подругъ. Онъ говорилъ съ нею... и до неприличія терялся... Возвращаясь домой въ этотъ вечеръ, онъ страстно стремился остаться наединѣ съ собой; ему хотѣлось не мечтать, не размышлять, а только быть съ нею всѣмъ своимъ существомъ, хранить въ представленіи весь ея образъ, звукъ ея голоса, думать въ унисонъ съ нею, — закрывъ глаза, отдаться созерцанію выплывающихъ изъ глубины души образовъ. Онъ помнилъ взглядъ ея дивныхъ глазъ, — такой печальный, но спокойный и кроткій, исполненный таинственной думы и поражающій какой-то глубиной. Онъ испытывалъ чувство радости и успокоенія, какъ путешественникъ, послѣ утомительнаго знойнаго пути добравшійся до чистаго источника, укрытаго въ тѣни елей, на горной высотѣ.

Всѣ окружали ее почтительнымъ вниманіемъ, придавали особый вѣсъ ея словамъ. Обладатель прозванія «движеніе», представляя Обарецкаго незнакомкѣ, важно продекламировалъ:

— Обарецкій, рефлексіонистъ, мечтатель, бодьшой дѣнтяй, а

впрочемъ, будущая знаменитость; панна Станислава Божовская, наша «дарвинистка»...

«Большой лѣнтяй» узналъ о «дарвинисткѣ» очень немного: окончила гимназію, давала уроки, собиралась ѣхать въ Цюрихъ или въ Парижъ изучать медицину, не имѣла гроша за душой...

Съ тѣхъ поръ они часто встрѣчались въ импровизированномъ «салонѣ». Панна Станислава приносила подъ полою шубки фунтъ сахару, какую-нибудь холодную котлету, нѣсколько булокъ; Обарецкій ничего не приносилъ, такъ какъ у него ничего не было, но зато поглощалъ булки и пожиралъ глазами «дарвинистку». Однажды даже, провожая ее домой, онъ предложилъ ей руку и сердце. Разсмѣялась отъ души и простилась съ нимъ дружескимъ рукопожатіемъ, а вскорѣ послѣ этого исчезла, — уѣхала въ Подольскую губернію, поступивъ учительницей въ какой-то барскій «домъ».

И вотъ онъ встрѣчаетъ ее въ этомъ глухомъ углу, въ этомъ селѣ, укрытомъ въ лѣсахъ, населенномъ одними мужиками, въ которомъ нѣтъ даже усадьбы, нѣтъ живой души... Одна жила здѣсь въ этой пустынѣ, и умираетъ одна... позабытая...

Всѣ былые восторги, мечты, несбывшіяся сновидѣнія поднимаются снова въ его душѣ и съ бѣшеннымъ натискомъ налетаютъ на него, какъ порывъ бури. Мучительная боль сжимаетъ его сердце, и ядъ страсти проникаетъ незамѣтно въ волнующуюся кровь. Онъ тихонько вернулся въ комнату больной, облокотился на перила кровати и упивался видомъ обнаженныхъ плечъ, чудныхъ линій ихъ соединенія съ шеей и контурами груди. Дѣвушка спала. На вискахъ у нея надулись жилы; изъ опущенныхъ угловъ рта сочилась слюна; жаромъ такъ и несло отъ нея; воздухъ входилъ въ ротъ съ громкимъ свистомъ. Павелъ присѣлъ на краю постели, нѣжно гладилъ рукою концы длинныхъ прядей волосъ, ласкалъ ими себя по лицу, касался ихъ губами, съ вырывавшимся изъ груди рыданіемъ.

— Стася, Стасенька... любимая...—тихо шепталъ онъ, боясь разбудить ее,—теперь ты уже не убѣжишь отъ меня... правда? никогда... будешь моей навсегда... слышишь?.. на вѣкъ...

Онъ пересѣлъ на табуретку, у изголовья больной, и снова

погрузился въ мечты. Пылкая молодость проснулась въ немъ отъ летаргическаго сна. Теперь все будетъ иначе. Какая жизнь открывается передъ нимъ! Онъ ощущаетъ въ себѣ силы атлета для дѣлъ, вытекающихъ непосредственно изъ сердца. Горе и надежда словно сливаются въ одно могучее пламя, которое лижетъ его мозгъ, жжетъ его,—и уже, не допустить успокоенія...

Ночь проходила. Часы лѣниво плелись, но все же, со времени отъѣзда посланнаго, протекло уже болѣе шести часовъ. Было четыре часа утра. Докторъ сталъ прислушиваться. Ежеминутно ему казалось, что кто-то идетъ, открываетъ дверь, стучитъ въ окно... Онъ какъ бы всѣмъ своимъ организмомъ превратился въ слухъ. Вѣтеръ шумѣлъ, заслонка позвякивала въ печкѣ,—но въ остальномъ опять та же тишина. И бѣгутъ минуты, кажу-щіяся столѣтіями; нетерпѣніе расшатываетъ его нервы, всего бросаетъ въ дрожь.

Когда онъ уже въ шестой разъ измѣрялъ температуру, больная медленно раскрыла глаза, казавшіеся почти черными подъ тѣнью густыхъ рѣсницъ, поглядѣла на него въ упоръ и прошептала какимъ-то стрекочущимъ голосомъ:

— Кто это?

Но тотчасъ же опять впала въ прежнее состояніе безчувственности. Онъ, какъ сокровищу, обрадовался этому мгновенію сознанія. Ахъ, если бы былъ подъ рукою хининъ, если бы ослабить головную боль, вернуть сознаніе! Но посланный все не ѣхалъ и не ѣхалъ.

Передъ разсвѣтомъ докторъ Обарецкій шелъ вдоль села, по глубокимъ снѣжнымъ сугробамъ, обольщая себя послѣдней надеждой, что вотъ-вотъ увидитъ его. Дурное предчувствіе, какъ острый кончикъ иглы, впивалось ему въ душу. Въ обнаженныхъ вѣтвяхъ танувшихся вдоль дороги тополей глухо шумѣлъ вѣтеръ, хотя вьюга уже утихла. Изъ избъ выходили женщины за водой и таскали ее ведрами, подобравъ юбки выше колѣнъ. Парни «задавали» корму скотинѣ. Изъ трубъ поднимался дымъ. То тамъ, то сямъ изъ открытыхъ на минуту дверей вырывалось облако пара.

Докторъ отыскалъ избу старосты и велѣлъ тотчасъ же за-

прягать лошадей. Спрягли двѣ пары, и какой-то парнишка подѣхалъ къ школѣ. Докторъ простился съ больной глазами,—расширенными отъ утомленія и отчаянія,—сѣлъ въ сани и поѣхалъ въ Обжидловокъ.

Часовъ въ двѣнадцать дня онъ уже возвращался, везя съ собою свою походную аптечку, вино, цѣлые запасы провизіи. Онъ поминутно становился въ саняхъ, какъ бы желая выпрыгнуть изъ нихъ и опередить быстро бѣгущихъ лошадей. Наконецъ, подѣхалъ къ школѣ и такъ и обмеръ въ саняхъ... Короткій сдвленный крикъ вырвался изъ его перекосившагося рта, когда онъ увидѣлъ раскрытые настежъ окна и толпившуюся въ сѣняхъ кучку дѣтей. Блѣдный, какъ полотно, онъ направился къ окну и остановился тамъ, прислонясь локтями къ косяку.

Въ просторной классной избѣ лежалъ на скамьѣ раздѣтый до-нага трупъ молодой учительницы; какія-то двѣ старыя бабы мыли его... Мелкія снѣжинки влетали въ окно и садились на плечи, на мокрые волосы, на полу-раскрытые глаза покойницы.

Докторъ вошелъ въ комнату умершей, словно съ тяжелой гирей на плечахъ. Онъ, не раздѣваясь, опустился на стулъ и машинально повторялъ только одно выраженіе, въ которое, казалось, вложилъ всю силу своего горя:

— Неужели же? неужели же?

Ему стало холодно, точно онъ продрогъ, околѣлъ, точно кровь въ немъ застыла. Онъ не страдалъ, не сознавалъ, что съ нимъ происходитъ; только словно какія-то немазанная колеса катились по его головѣ съ пронзительнымъ скрипомъ.

Постель Стаси была разбросана: одѣяло лежало на полу, простыня низко спустилась, пропитанная потомъ подушка лежала посреди кровати. Проволочные крючки у оконъ постукивали монотонно объ оконныя рамы; листья какого-то растенія, мокнушіе въ мискѣ, свѣшивались и сворачивались отъ мороза.

Сквозь полуотворенную дверь онъ видѣлъ мужиковъ, становившихся на колѣни вокругъ убраннаго уже «тѣла», дѣтей, молившихся «поѣ книжкѣ», плотника, снимавшаго мѣрку для гроба..

Онъ вышелъ туда и хриплымъ голосомъ велѣлъ сколотить гробъ изъ четырехъ неотесанныхъ досокъ, подъ голову подложить стружекъ.

— Ничего больше... слышишь!—говорилъ онъ старостѣ съ застенчивымъ бѣшенствомъ:—четыре доски, ничего больше...

Вспомнилъ, что кого-то слѣдуетъ извѣстить... семью. Гдѣ же эта ея семья?

Съ тупой, идиотской распорядительностью онъ сталъ складывать въ одну кучу книги, школьныя записи, тетради, какія-то рукописи. Натолкнулся среди этихъ бумагъ на какое-то письмо.

«Дорогая Елена! Уже нѣсколько дней чувствую себя такъ скверно, что чего добраго придется скоро предстать предъ грозныя очи Миноса, Радаманта, Эака и Триптолема, а также многихъ другихъ полубоговъ, которые и т. д. Въ случаѣ такого «переселенія» въ міръ иной, потребуй пожалуйста отъ старшины моей волости, чтобы онъ переслалъ тебѣ оставшіяся послѣ меня въ наслѣдство книги. Наконецъ-то я обработала «Физику для народа», надъ которой, помнишь, мы столько ломали наши дѣвичьи головы;—обработала начерно, къ сожалѣнію! Если у тебя найдется время, — конечно, въ случаѣ «переселенія въ міръ иной»,—подготовь это для печати, да заставь Антося переписать: онъ это сдѣлаетъ для меня. Ахъ, какая грусть!.. Да вотъ еще... Нашему книгопродавцу я задолжала 11 руб. 35 коп., заплати ему... изъ денегъ, которыя выручишь за мою шубку, потому что у меня въ карманѣ пусто. Себѣ возьми на память...»

Послѣднія слова были уже написаны какими-то неразборчивыми черточками. Адреса не было, — такъ что письма нельзя было отправить. Въ ящикѣ стола докторъ нашелъ рукопись той «Физики», о которой было упомянуто въ письмѣ, свертки какихъ-то замѣтокъ, листковъ, въ шкафчикѣ — немного бѣлья, шубку на кошачьемъ мѣху, какое-то поношенное черное платье...

Разбираясь въ комнатѣ учительницы, онъ замѣтилъ въ сосѣдней классной комнатѣ подростка, ѣздившаго за лѣкарствомъ

юноша стоялъ въ углу, прислонясь къ печкѣ, и переминался съ ноги на ногу. Глухая, животная ненависть заклокотала въ душѣ доктора.

— Почему ты не вернулся вовремя? — закричалъ онъ, подсакивая къ парню.

— Заблудился въ полѣ, лошадь у меня пристала... пришелъ пѣшкомъ по-утру, а барышня уже...

— Врешь!

Мальчикъ ничего не отвѣчалъ. Докторъ взглянулъ ему въ глаза, и какое-то странное ощущеніе овладѣло имъ. Глаза эти были утомлены, и взглядъ ихъ былъ прямо страшенъ: такое дикое, глухое, — какъ непроницаемая тайна, — безысходное мужицкое отчаяніе глядѣло изъ нихъ, словно изъ подземелья...

— Я вотъ принесъ книжки, что мнѣ учительница давала, — проговорилъ онъ, вытаскивая изъ-за пазухи нѣсколько потерянныхъ, запачканныхъ томиковъ.

— Оставь меня въ покоѣ!... убирайся вонъ! — закричалъ докторъ, отворачиваясь отъ него, и поспѣшилъ вернуться въ комнатку учительницы.

Тамъ онъ остановился посреди разбросанныхъ на полу книгъ, тетрадей, разной рухляди, и со смѣхомъ спросилъ себя:

— Что мнѣ здѣсь нужно?.. Ни къ чему я здѣсь, не въ правѣ я!..

Его охватывало глубокое почтеніе, проникновенная вдумчивость, огромное смиреніе. Останься онъ здѣсь хоть часъ еще, и его нервное напряженіе, казалось, дошло бы до крайняго предѣла, за которымъ уже начинается безуміе. Не рѣшаясь сознаться въ этомъ самому себѣ, онъ втайнѣ чувствовалъ, что его охватываетъ опасеніе за себя. Во всемъ, что могло его въ эту минуту, было такое громадное несоотвѣтствіе со всѣмъ его внутреннимъ строемъ, — что-то, обнаруживавшее въ глубинѣ его души конечную сущность человѣческихъ чувствъ — эгоизмъ, и, побуждая этотъ эгоизмъ, не на шутку требовавшее преклоненія передъ ореоломъ того, что унесло эту «глупую» дѣвушку. Надо бѣжать отсюда, — бѣжать возможно скорѣе... Порѣшивъ немедленно уѣхать, онъ сталъ выражать свое отчаяніе краси-

выми фразами, а въ этомъ была уже значительная доля облегченія.

Онъ приказалъ подавать лошадей.

Наклонившись надъ трупомъ Стаси, онъ шепталъ въ честь ея самыя прекрасныя слова, какія только могли придумать пустыя человѣческія сердца въ прославленіе земного величія. Въ дверяхъ онъ остановился еще разъ, оглянулся, подумалъ одно мгновеніе, не лучше ли было бы сейчасъ же умереть,—потомъ раздвинулъ толпу стоявшихъ передъ дверью крестьянъ, бросился въ сани и отвернулся, задыхаясь отъ судорожныхъ рыданій.

Лошади помчали его.

Смерть панны Станиславы оказала нѣкоторое вліяніе на настроеніе доктора Павла. Въ теченіе нѣкотораго времени онъ читалъ въ свободныя минуты «Божественную комедію» Данте, не игралъ даже въ винтъ, разсчиталъ двадцатичетырехлѣтнюю экономку. Однако, постепенно успокоился. Теперь онъ чувствуетъ себя превосходно: растолстѣлъ, скопилъ добрую толику денегъ. Оживился даже: благодаря его усиленной агитаціи, почти всѣ обржидловскіе оптиматы, исключая правда, брюзжащихъ, но зато и немногочисленныхъ консерваторовъ,—стали курить папиросы въ гильзахъ безъ клея, подъ фирмой «безвредныя для дыхательныхъ путей». Наконецъ-то!..



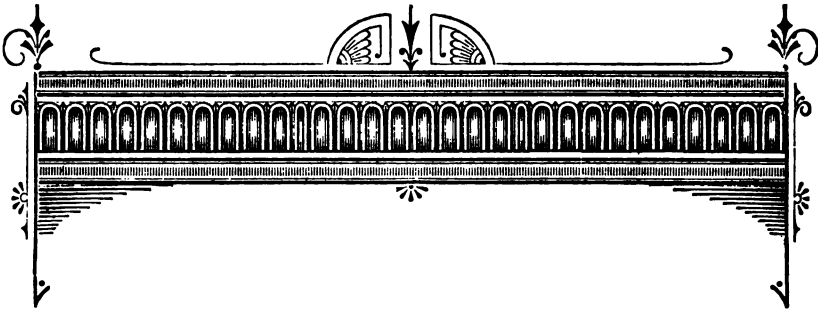


* * *

Сколько слезъ проливается жгучихъ,
Сколько стоновъ тяжелыхъ, глухихъ
Вырывается въ міръ подлунномъ,
Изъ надорванныхъ грудей людскихъ!..
Если бъ силу мнѣ яснаго солнца,—
Могъ бы слезы я всѣ осушить!
Если бы душу поэта мнѣ,—стоны
Могъ бы пѣснею я заглушить!..

Ив. Бѣлоусовъ.





Призраки.

I.

Стояла ранняя весна, и рѣки только что вскрылись. Московскія улицы были еще грязны и мокры, а воздухъ — затхлый; только на бульварахъ было суше и чище и воздухъ былъ душистѣе, потому что деревья начинали набирать свѣжія клейкія почки.

Въ одинъ изъ такихъ весеннихъ вечеровъ, когда трудящійся людъ, покончивъ работу, разбредается во всѣ стороны Москвы—кто отдыхать, кто веселиться,—на бульваръ къ Чистымъ прудамъ пришелъ низенькаго роста молодой человекъ, лѣтъ 26, съ выпуклой грудью и горбатой спиной. Одѣтъ онъ былъ въ ватное короткое пальто и мягкую поярковую шляпу. Нюхая душистый воздухъ и озираясь на мелькавшую мимо публику, онъ прошелъ медленной походкой до конца бульвара, потомъ повернулъ назадъ и, сѣвъ на скамью и опершись обѣими руками на трость, задумался.

Ему было грустно.

Мимо него проходили взадъ и впередъ всякіе люди—военные, мастеровые, штатскіе и студенты, женщины и дѣвушки. Всѣ они были веселы и жизнерадостны, и ему было странно это. Ему думалось, что у каждаго изъ этихъ людей непременно есть свои огорченія, или что-нибудь такое, что подтачиваетъ

имъ жизнь и радость. Но—нѣтъ: одни проходили смѣясь и шу-
тя, другіе оживленно разговаривали, третьи тихонько напѣвали
какую-нибудь пѣсенку. Всѣмъ было, очевидно, хорошо и не
грустно.

Многіе изъ тѣхъ, на кого онъ смотрѣлъ, оглядывались и на
него въ свою очередь, и когда они, продолжая разговаривать,
улыбались или смѣялись и проходили своимъ путемъ, ему дѣ-
лалось больно, точно смѣялись именно надъ нимъ и надъ его
уродствомъ, и онъ чувствовалъ себя все хуже и хуже, все бо-
льше смѣшнымъ, болѣе одинокимъ и несчастнымъ.

Въ сущности, его не презиралъ никто, но ему всегда каза-
лось, что люди, дурные и хорошіе, презираютъ его и ненави-
дятъ за то, что онъ такой низенькій, несчастный, съ такой
выпяченной впередъ грудью и выпяченной взадъ спиной. Со-
знаніе своего уродства убивало его; оно грызло его тѣмъ силь-
нѣе, чѣмъ болѣе онъ сознавалъ, что онъ вовсе не плохой чело-
вѣкъ, по крайней мѣрѣ не хуже тѣхъ многихъ щеголей, кото-
рые провожали его пренебрежительными взглядами и улыбками,
когда онъ проходилъ по улицѣ. Развѣ не всѣ люди имѣли оди-
наковое право надѣть, напимѣръ, модную шляпу? Но когда онъ,
горбунъ, входилъ въ магазинъ за шляпой, онъ уже предчув-
ствовалъ, предугадывалъ нѣкоторую насмѣшку. Онъ стѣснялся
своего портного, стѣснялся всякаго, съ кѣмъ приходилось имѣть
разговоръ о туалетѣ. «Уродъ,—а туда же, рядиться!..» Эта всег-
дашняя предполагаемая мысль со стороны торговца отравляла
ему всякое удовольствіе.

Звали его Павломъ Петровичемъ Гривенниковымъ, и хотя
фамилію свою онъ склоненъ былъ производить отъ слова «гри-
ва», все-таки втайнѣ негодовалъ на возможность производства
ея отъ «гривенника», и это обижало его. Ни происхожденіемъ,
ни образованіемъ онъ также не могъ похвастаться. Про его
отца говорили въ шутку, что онъ кормился за счетъ таракановъ
и крысъ. Несмотря на шутку, это было и правдой: отецъ
Павла Петровича въ изобиліи изготовлялъ какія-то средства,
которыми морили крысъ и таракановъ, и такимъ образомъ, дѣй-
ствительно, жилъ и богатѣлъ «за крысиный счетъ»—какъ про

него говорили. И на эти-то деньги, нажитыя отъ моренія крысъ и таракановъ, воспитывали, растили, кормили и учили Павла Петровича. Это его мучило теперь, но поправить дѣло уже было не въ его власти.

II.

Вечеръ дѣлался красивѣе. Мягко свѣтились звѣзды на небѣ, всходила неполная, но ясная луна и по бульвару ложились легкія прозрачныя тѣни отъ деревьевъ, скамеекъ и отъ проходящихъ людей. Еще не было ни настоящей весны, ни настоящей прелести въ природѣ, но уже чувствовалось что-то нѣжное, призывное и властное; казалось, что вокругъ пахнетъ свѣжей землей, рыхлой и влажной, пахнетъ травой, свѣжими древесными почками, и хотѣлось унести къ куда-то далеко на просторъ, чтобы вздохнуть полною грудью и крикнуть на весь міръ: «хорошо жить на свѣтѣ!»—а, затѣмъ, опять погрузиться въ тину и слякоть городской повседневной жизни, сумрачной и унылой.

Публики на бульварѣ становилось все меньше; спѣшащихъ и озабоченныхъ почти уже не встрѣчалось; бродили и сидѣли преимущественно по-парно и говорили не громко. Мимо Павла Петровича проходили иногда такія парочки—и онъ долго глядѣлъ имъ вслѣдъ задумчиво и ревниво, а въ ушахъ звенѣло какое-нибудь незначительное слово, брошенное на ходу, но казавшееся ему важнымъ, теплымъ и полнымъ значенія.

Го-луб-ка мо-я,
Учим-ся въ кра-я...

—вдругъ донеслось до него, и онъ встрепенулся. Два тоненькихъ голоса чуть слышно, почти беззвучно, протянули эти слова возлѣ него,—и было что-то трогательное въ этомъ униссонѣ.

Мимо Павла Петровича проскользнули двѣ легкія женскія фигуры; онъ шли, взявшись подъ руки, и, склонивъ другъ къ дружкѣ головы, напѣвали. Черезъ нѣсколько минутъ тѣ же фигуры прошли снова, но уже не пѣли, а смѣялись, и опять

такъ же тихо, дружно и легко. И такъ же тихо и дружно онѣ исчезли, какъ появились, какъ пѣли и какъ смѣялись. Онѣ исчезли, а Павелъ Петровичъ остался болѣе одинокимъ и болѣе несчастнымъ, чѣмъ раньше. Онъ не видалъ даже ихъ лицъ, но почему-то онѣ воображались ему прекрасными и обаятельными. Онъ позавидовалъ ихъ молодости и, главное, ихъ дружбѣ,— и уже ни о чемъ другомъ не могъ болѣе думать, какъ объ этихъ двухъ женщинахъ и о своемъ горбѣ.

Онъ всталъ и пошелъ въ ту сторону, куда скрылись его незнакомки; ему хотѣлось ихъ увидеть, и вскорѣ онъ увидѣлъ ихъ сидящими на скамьѣ возлѣ пруда; такъ же тѣсно онѣ сидѣли одна возлѣ другой, освѣщенные луннымъ свѣтомъ, и такъ же тихонько и дружно напѣвали что-то чуть слышное, почти неуловимое. Когда же онъ поровнялся съ ними и взглянулъ на нихъ, стѣсняясь и робѣя, боясь показаться ловеласомъ, онѣ плотнѣе прижались другъ къ другу,—и Павелъ Петровичъ вмѣсто пѣсни услыхалъ смѣхъ.

Сердце въ немъ заклокотало.

— Стыдно!—крикнулъ онъ имъ, раздражаясь и уже не владея собою. — Стыдно смѣяться надъ несчастіемъ человѣка!.. Стыдно!..

Слезы сдавили ему горло, и онъ, вздрагивая всѣмъ тѣломъ и закрывши рукой мокрое лицо, почти побѣжалъ впередъ, не чувствуя за собой ни вины, ни правоты, чувствуя одну лишь обиду, горькую, острую, которой была переполнена вся его жизнь.

— Голубчикъ! голубчикъ!—раздалось за его спиной.—Мы не надъ вами. Не сердитесь! Мы не надъ вами!

Павелъ Петровичъ остановился. Обѣ дѣвушки стояли уже возлѣ него и, какъ раньше онѣ дружно и тихо пѣли и смѣялись, теперь такъ же дружно и тихо успокаивали его, а онъ разсѣянно глядѣлъ на ихъ юныя встревоженные лица, на блестящіе глаза, на тонкія фигуры,—и обида его остывала и улеглась, какъ звѣрь въ свое старое логовище, откуда минуту назадъ она вырвалась, бѣшеная и разъяренная.

— Простите меня,—сказалъ Павелъ Петровичъ,—простите.

Я такъ несчастенъ, если бъ вы знали... Я невольно подумаль... Простите меня...

Въ знакъ примиренія, всѣ трое сѣли на скамью и вскорѣ разговорились.

Оказалось, что Катя и Вѣра подруги, что служатъ онѣ у портнихи и любятъ пѣть и кататься на лодкѣ; обѣимъ имъ по шестнадцати лѣтъ и хозяйка ихъ очень строгая, и если бъ она не уѣхала изъ Москвы на три дня, то имъ не пришлось бы прогуляться сегодня...

Мимо нихъ проходили иногда люди, такъ же, какъ и раньше, преимущественно, по-двое, но эти пары уже не волновали Павла Петровича и не возбуждали въ немъ зависти. Ему казалось, что все лучшее, что есть на свѣтѣ, находится возлѣ него въ эти минуты, и онъ отдыхалъ душою, можетъ быть, въ первый разъ въ жизни.

III.

— А мнѣ можно васъ проводить? — сказалъ Гривенниковъ, когда дѣвушки собирались домой.

— Только не до самого дома,—возразила Катя.

— Да, только не до дома,—подтвердила Вѣра.

— А вы гдѣ живете?

— Да тутъ, вотъ... недалеко... около моста. А теперь ледоходъ — какъ красиво! Пойдемте, и ледоходъ посмотримъ.

— Пойдемте. Я не видалъ еще ледохода.

Луна поднималась все выше и выше; робкимъ, неполнымъ свѣтомъ озаряла она мокрую мостовую, казавшуюся серебряной, бѣлыя стѣны и влажныя крыши домовъ и церквей, и окна магазиновъ, уже запертыхъ и черныхъ изнутри.

Направляясь домой, дѣвушки шли смѣясь, шутя и беззаботно болтая, а Павелъ Петровичъ, слѣдуя за ними и поддерживая разговоръ, иногда думалъ: «какое счастье быть молодымъ, здоровымъ и... не уродомъ!»

— Смотрите! смотрите! — почти закричала Катя, указывая впередь рукою, когда они приближались уже къ Устинскому мосту.—Смотрите, какая льдина плыветъ и прямо на мостъ!

— Скорѣе! скорѣе!—заволновалась Вѣра,—и всѣ трое, перебѣжавъ дорогу, остановились на мосту и, облокотясь на чугунный барьеръ, стали глядѣть внизъ, въ рѣку.

Рѣка была полная, почти вровень съ берегами, и казалась большой, глубокой и сердитой. При свѣтѣ луны было видно, какъ по одной сторонѣ ея струилась темными гребнями вода, а по другой, напирая другъ на друга, проплывали бѣлыя льдины, то замедляя ходъ и тѣсясь, то прорываясь и стремительно уносясь въ разбродъ, во всю ширину рѣки, толкаясь вправо и влево о берега или вдребезги разбиваясь объ острые каменные быки моста.

— Можно долго смотрѣть на рѣку, когда она вотъ такъ быстро течетъ!.. долго можно смотрѣть, и не будетъ скучно,—проговорила Вѣра, наклоняясь надъ барьеромъ.—Все думается что-то... все думается...

— Вотъ и на небо хорошо смотрѣть, когда оно звѣздное. Тоже все думается... И тоже не скучно, хоть всю ночь прогляди,—добавила Катя.

— А о чемъ вамъ думается, когда вы глядите на рѣку или на звѣзды?—обращаясь къ подругамъ, полюбопытствовалъ Павелъ Петровичъ.

— Да такъ... неизвѣстно о чемъ. То кажется, что мы очень счастливы, то кажется, что очень несчастны... не разберешь. И дальше неизвѣстно, что будетъ... Вотъ и думается.

— И о себѣ, и о другихъ думается,—подтвердила Вѣра.—Теперь вотъ о васъ мы будемъ думать... Когда глядишь на рѣку или на звѣзды,—такъ и хочется унести къ куда-то... неизвѣстно куда. Или глядишь на звѣзды, а сама думаешь, а земля наша становится такая маленькая-маленькая, все меньше да меньше, и люди дѣлаются маленькими, какъ песокъ, и всякое горе забывается, словно его и не было, а душа точно на небо улетаетъ въ это время и ужъ ничего не боишься,—хоть умереть...

Перегнувшись черезъ барьеръ, обѣ дѣвушки молча и задум-

чиво стали смотрѣть въ воду. Глядѣлъ въ воду и Павелъ Петровичъ. Глядѣлъ онъ и на небо, усѣянное блѣдными звѣздами, и ему тоже думалось о чемъ-то неясномъ, какъ и обѣимъ подругамъ—не то о счастіи, не то о безрадостной жизни.

Постороннихъ не было на мосту и никто не мѣшалъ имъ мечтать. Гдѣ-то вдалекѣ гремѣли ровнымъ гуломъ колеса по мостовой, внизу шуршали и скрипѣли на рѣкѣ льдины и всплескивала вода.

— Хорошо,—сказала тихо и восторженно Вѣра, выпрямляясь и устремляя глаза къ небу.—На небѣ точно ангелы всемогущую поютъ,—посмотрите!

И Катя и Вѣра, улыбаясь, глядѣли на звѣзды своими ясными добрыми глазами и вдругъ, не сговариваясь, дружно и тихонько запѣли, такъ же, какъ и раньше, почти неслышно:

„Слава въ вышнихъ Богу
И на земли миръ,
Въ человѣцѣхъ благоволеніе“...

А Павелъ Петровичъ глядѣлъ на ихъ юныя лица, слушалъ ихъ голоса, казавшіеся ему ангельскими, и чувствовать радость, истинную радость несчастнаго, внезапно облаканнаго человѣка.

IV.

Онѣ ушли...

Павелъ Петровичъ стоялъ одинъ на мосту и глядѣлъ въ ту сторону, гдѣ возвышался Кремль съ его башнями, утопавшими въ полумглѣ ночного весенняго воздуха. Въ покой водѣ дрожали, мелькали и смѣнялись отраженія уличныхъ фонарей, башенъ воспитательнаго дома и гранитной набережной. На рѣкѣ попрежнему шумѣло. Мчались быстрыя мутныя воды и по нимъ спѣсиво и медленно, точно стадо бѣлыхъ гусей, тянулись издалика несмѣтной толпой льдины.

«Какъ красиво! какъ хорошо!»—думалось Павлу Петровичу, а когда онъ взглядывалъ на небо, усѣянное блѣдными звѣзда-

ми, его манило въ эту высь, душа его трепетала радостью, и отзвуки дивнаго невѣдомаго гимна казались ему разлитыми во всемъ мірѣ.

Близость небывалаго счастья навѣвала на него забвеніе. Милые образы стояли передъ нимъ, легкіе и воздушные какъ призраки. Сердце сладко билось въ груди, душа, охваченная радостью, отдыхала. Ласковые глаза глядѣли на него, маленькія ручки дружественно пожимали его руку, и два голоса, тихіе и нѣжные, чуть слышно пѣли о чемъ-то невѣдомомъ и миломъ... Природа дышала обновленіемъ, и жизнь готова была вспыхнуть радостью и счастіемъ, какъ весенняя заря.

Павель Петровичъ забылся и стоялъ, положивъ руку на холодный барьеръ, и глядѣлъ въ даль, гдѣ рѣяли передъ нимъ эти дивные призраки.

Когда же онъ оглянулся и увидѣлъ при свѣтѣ фонаря, что поперекъ всего моста лежитъ косая громадная тѣнь человѣка въ широкой шляпѣ, съ уродливо выпуклой грудью и выпяченной спиной,—онъ сразу похолодѣлъ и поникъ головою.

Призраки разсѣялись...

Отъ рѣки потянуло сыростью и мракомъ,—и передъ Павломъ Петровичемъ медленно вырасталъ иной призракъ—длинной, безрадостной и одинокой жизни.

Н. Телешовъ.





Съ послѣднимъ поѣздомъ.

Ганса Оствальда.

СЪ НѢМЕЦКАГО.

Я возвращаюсь съ прогулки по восточному Берлину. Торопливо пробираюсь на Александровскую площадь, — быть-можетъ еще успѣю захватить поѣздъ городской желѣзной дороги. Въ полумракѣ нижняго помѣщенія вокзала поспѣшно беру билетъ у автоматическаго кассира, взбѣгаю по ступенькамъ наверхъ. ... Да, еще пойдетъ одинъ поѣздъ.

На вокзалѣ, кромѣ меня, еще четверо. Два молодыхъ чело-вѣка съ высоко поднятыми воротниками: влажный ночной вѣ-теръ свободно гуляетъ подъ сводами крытой платформы. Старая прачка въ поношенной сѣрой шали усаживается на скамейкѣ, поставивъ рядомъ съ собой рыжую бѣлевую корзину. У сторо-жевой будки желѣзнодорожный служитель подметаетъ платформу длинной метлой изъ прутьевъ. Передъ нимъ несется небольшое облачко пыли.

Подъ сводами этой бочкообразной галереи, образуемой нѣж-нымъ сплетеніемъ граціозно, но мощно поднимающихся кверху желѣзныхъ перекладинъ, слышится только царапанье метлы. Эти опустѣлыя публичныя помѣщенія большого города — такое утомленіе вызываютъ они...

И всего болѣе свѣтъ. Много бѣлаго, назойливаго свѣта отъ ослѣпительно-яркихъ шаровъ вверху надъ нами.

Съ улицы доносится лишь заглушенный гулъ.

Но вотъ—равномѣрный шумъ катящихся колесъ и какіе-то отдѣльные скребущіе звуки. Я взглядываю вдоль рельсовъ,—еще ничего не видно. Затѣмъ—пыхтѣніе и глухое буханье. Два ярко-желтыхъ глаза и надъ ними огненно-красный хвостъ пламени и дыма. Только—съ противоположной стороны. Это дальній поѣздъ.

Какой гулъ и грохотъ подъ высокими сводами крытой галереи!

«На Кельнъ!»

Никто не садится. Нагружаютъ только почту.

Снова равномѣрный стукъ колесъ, потомъ ослѣпительные огни. Пыхтя, подходит мой поѣздъ и съ визгомъ останавливается. Хлопаютъ дверцы.

Я сажу противъ толстаго купца. Онъ покачивается впередъ съ закрытыми глазами. Его жирныя руки, съ блестящими толстыми кольцами, неподвижно лежатъ на толстыхъ ляжкахъ.

Рядомъ со мною двое желѣзнодорожныхъ рабочихъ,—широкостные, сильные, въ закоптѣлыхъ, засаленныхъ одеждахъ. Они возвращаются съ собранія. До меня доносятся слова: право стачекъ... солидарность...

Свистокъ. Поѣздъ тронулся.

Онъ проходитъ надъ улицами,—по темному старому городу центра. Лишь нѣсколько высокихъ свѣтлыхъ зданій современнаго типа среди низкихъ темныхъ построекъ отжившихъ поколѣній.

И вы когда-нибудь станете такими же темными, отжившими—дома, люди, мысли...

По другую сторону—зеленая, вся озаренная бѣлымъ свѣтомъ колокольня. Надъ нею свѣтлый полный дискъ луны.

Потомъ «Биржа!» Дверцы хлопаютъ... свистокъ... опять впередъ.

Широкія улицы; громадныя, художественныя постройки. Вокругъ маленькіе свѣтящіеся шары и огни. Какіе крошечные среди этой безбрежной черной ночи!

Черная, блестящая, зеркальная поверхность воды. Какъ отчетливо вырисовываются на ней отраженія огней и безжизненныхъ стѣнъ!

Опять тихія улицы. Мертвые дома. Нѣсколько оконъ свѣтятся красновато-желтымъ свѣтомъ: единственный признакъ жизни.

Ярко освѣщенная улица — Фридрихштрассе. Здѣсь все еще толкуются люди.

Снова остановка. Снова хлопанье дверцами. Бѣготня нѣсколькихъ человѣкъ, стремящихся еще попасть на поѣздъ.

Когда мы выползаемъ изъ-подъ сводовъ крытой платформы, съ другой стороны подходит дальнѣй поѣздъ. Мы еще разъ проносимся надъ широкой полосой воды. Мимо домовъ. По одну сторону сияетъ золотой куполь рейхстага. Какими-то сказочными очертаніями вырисовываются при лунѣ освѣщенные мѣста и глубокія тѣни. Желтовато-сѣрыя облака, заволакивая другъ друга, плывутъ по свѣтлому небу.

Теперь дальнѣй поѣздъ идетъ рядомъ съ нами. Я заглядываю внутрь вагоновъ. Пассажиры, вытнувшись, спятъ, прислонясь къ подушкамъ. Нѣкоторые приводятъ въ порядокъ свои узлы и картонки. Поѣздъ идетъ быстрее нашего все быстрее, быстрее—все впередъ... по полямъ, холмамъ... и днемъ и ночью... надъ потоками, ручьями... Вдругъ:

„Ручьи бѣгутъ по склонамъ горъ;
Ликують звонкимъ хоромъ птицы.
Что жъ я не могъ до этихъ поръ
Пѣть, какъ птицъ вольныхъ вереницы?“

. . . проносится у меня въ мозгу въ тактъ грохоту вагонныхъ колесъ. Точь-въ-точь такимъ темпомъ они стучать на скрѣпахъ рельсовъ:

„Ручьи бѣгутъ по склонамъ горъ;
Ликують звонкимъ хоромъ птицы“.

. . . Теперь птицы едва ли ликують. Вѣдь стоитъ осень. Какъ обильно сыплются уже листья, срываемые вѣтромъ съ качающихся вѣтвей!

„Кому Богъ хочетъ милость дать,
Того пошлетъ въ далекій свѣтъ“.

И все въ тактъ. . . . Да, теперь я знаю: въ далекій свѣтъ. Именно это могучее желаніе, страстная жажда во мнѣ...

Теперь же, осенью, когда буря сносить все обветшалое, отжившее, отцвѣтшее, умершее, — сдуваетъ его, съ бѣшеннымъ свистомъ рветъ въ клочья... когда верхушки деревьевъ, качаясь, задрѣваютъ другъ друга... когда все должно рухнуть, что непрочно стоитъ на своемъ основаніи.

Уйти въ свѣжую прохладу осенняго воздуха. Сквозь туманъ — къ желанной цѣли. Навстрѣчу порывамъ осенняго вѣтра. Съ открытымъ лицомъ, съ поднятой головой, навстрѣчу осеннимъ непогодамъ...

„Въ поля, лѣса, ущелья горъ!“

Развѣять плотно налѣзшій осадокъ ремесленныхъ навыковъ, освободиться изъ тисковъ постылыхъ условныхъ отношеній, вздохнуть свободно внѣ атмосферы письменнаго стола.

Набраться бодрости для зимы.

И опять въ головѣ вертится въ тактъ:

„Что-жъ я не могъ до этихъ поръ
Пѣть, какъ птицъ вольныхъ вереницы?“

Да, именно такъ хочу я пѣть: свободно всей грудью. . . .

Последній вагонъ дальняго поѣзда. Его огни быстро бѣгутъ по железнодорожной насыпи, мимо своего подобія, блѣдныхъ огоньковъ моего вагона. Они перегоняютъ ихъ — далеко оставляютъ за собой...

„ . . . въ далекій свѣтъ!“

Я выхожу изъ вагона и иду по мосту Bellevue. Подо мной сплошной черной массой течетъ вода. Подымается холодный туманъ. Огни фонарей, разбѣянныхъ у дороги вдоль берега, мерцаютъ тусклыми туманными пятнами. Отраженіе луны сверкаетъ почти подъ самымъ мостомъ.

Я останавливаюсь и гляжу на черную гладь воды. Она кажется неподвижной. Только—я не замѣчаю этого.

Она движется впередъ, все впередъ. Непримѣтно.

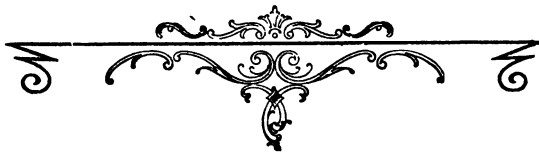
.....

Какъ прохладно и живительно вѣстъ этотъ осенній вѣтеръ!..

„ . . . какъ птицъ вольныхъ вереницы“.—

Да, она уносится впередъ, съ обычной отвагой и безпечностью — мимо жнивьевъ, скошенныхъ луговъ, дымящихся вспаханныхъ полей—къ морю, на югъ, къ горнымъ склонамъ, покрытымъ увядающими желтыми листьями виноградной лозы...

Е. К.

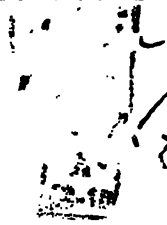
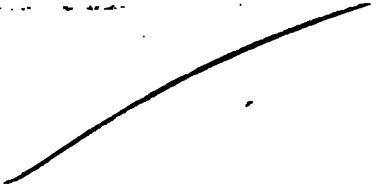


*FB-02131-SB

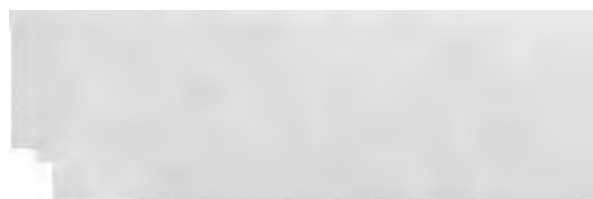
5-04
CC

ВАЖНѢЙШІЯ ОПЕЧАТКИ.

Стр. 113	строка 4	сн.	идти и прямой	идти на прямой.
" 116	" 3	св.	преварительно	отвратительно.
" 170	" 10	сп.	гдѣ причины ясны и святы, не нарушены ничѣмъ	гдѣ причины ясны и связь не нарушена ничѣмъ.
" 173	" 14	сп.	далеко	далеки.
" 175	" 21	св.	принимать	примать.
" 187	" 13	сн.	Новикова и Фонвизина	Новикова.
" 196	" 4	св.	сырой	сѣрой.
" 220	" 7	св.	свѣтъ	слѣдъ.



75/8.79





PG
3227
K2

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

